84(2=632.1)6
У435

БОРИС УКАЧИН

ГОРНЫЕ ДУХИ









ПОСВЯЩАЮ ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ МАТЕРИ МОЕЙ ЧАПЫЕВОЙ ЯНАШ ИЗ ДРЕВНЕГО РОДА КЫПЧАК—

автор

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 3212—87

84(2=Алт)-4
Р2
У41

Р-499262
Краевая библиотека им. М. К. Чаплиной

Укачин Б. У.

У 41 Горные духи: Повести и рассказы. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. — 408 с.

В книгу известного алтайского поэта и прозаика вошли изданные ранее на Алтае и в Москве произведения и новая повесть «Мой добрый друг Арсланбек».

У $\frac{4702010200—40}{М\ 138(03)—89}$ без объявл. Р2

ISBN 5-7405-0013-3

© Алтайское книжное издательство, 1989

ПОВЕСТИ



ГОРНЫЕ ДУХИ

1

— Кымыс, у меня ребенок заболел, иди посмотри, пожалуйста.

— Кымыс, нет ли у тебя чего-нибудь от кашля?

— Кымыс, желудок болит, есть лекарство?

— Кымыс, справку надо — болею...

— Где наша хохотушка?

— Вот если не будете звать хохотушкой, вылечу ваш желудок. Ха-ха-ха!..

— Кымыс, у снохи своя болезнь началась. Пожалуйста, пойдем, принимай нашего первенца!

— Это уж по природе, конечно... Бабка Эштен на старости лет решила всю премудрость свою передать внучке.

— А что худого? Все мы под покровом кок-тенери — синего неба, все зависит от батюшки нашего Алтай-кудая...

«Ласковые, веселые люди у нас в Куулгы, — думала Кымыс, поднимаясь на белом коне по горной тропе, путавшейся в высокой и душной зелени трав. — А еще веселее было бы, если б все, кто в Куулгы родился, тут и оставался. И куда их гонит, девушек и парней наших? Конечно, не скажешь ведь — не учись. А выучатся — уезжают. Насовсем из Горного Алтая. В Алма-Ате и в Ташкенте, и даже на Крайнем Севере встретишь алтайцев. Что манит туда их? Наверно, это и есть романтика...»

И много еще такого думала Кымыс. Не только потому, что сама вернулась в Куулгы. А потому, что дела молодежи в селе — ее дела. Все, от бригадира и директора школы до секретаря райкома комсомола, обращались к Кымыс, звонили Кымыс. Начнется ли весенний окот скота и на дальние стоянки предстоит отправлять сакманщиков — приглашают Кымыс, обсудить, откуда брать людей; нужно организовать воскресник по заготовке дров для школы — директор звонит Кымыс. Прибрать улицы по весне — опять Кымыс, опять секретарь комсомольской организации!

Лето еще только начиналось, а новые голубые джинсы Кымыс выгорели, нежное, округлое лицо обветрело. Черную косу она больше не прятала под косынку, не закалывала шпильками — тяжело становилось к концу дня голове. Коса моталась за спиной, щекотала мохнатым концом круп лошади, — тракторист Монкуш смеялся, что она не хуже лошадиного хвоста отгоняет комарье.

Уже второй год все пастухи и табунщики, завидев всадницу на белом коне, спешили навстречу — всегда находилось, на что пожаловаться, чем поделиться, о чем расспросить.

Белый конь взбирался медленно, мотая головой, хватая на ходу придорожные травы. В жаркой июньской тишине было слышно, как он похрумкивал ими.

Кымыс как-то спросила Мару, свою подружку:

— Хорошо уже знаешь хакасский?

— Конечно, хлеба по-хакасски умею спросить, — смеялась Мара.

— Тогда как же ты играешь у них в театре?

— А на русском.

— Почему бы тебе не работать здесь?

— Ты же знаешь, нет в Горно-Алтайске театра... А как я скучаю!

Может, и все так? Просто нет им тут места... А как же они там живут? Без этого солнца, без живых, зернистых звезд над Куулгы? Без белой луны, плывущей во мгле?.. Кымыс тяжело вздохнула и тихонько запела:

Синева, синева, где найти мне слова,
Чтобы вам описать синеву?..
Свой маршрут выбирай, приезжай на Алтай
Повидать синеву наяву...

Она не знала, кто сочинил песню, выучила по радио и поет... Все любят «Синеву», и русские и алтайцы. А боль-

ше всех — тракторист Монкуш... Похоже, Монкуш приходит в клуб только ради Кымыс. Усядется в первом ряду и слушает. Некоторые топают в такт ладоням: «Те-перь, Кы-мыс, «Ла-ду», пой нам «Ла-ду»!» Что же, можно и «Ладу», если нравится куулгинцам, пусть слушают, словно маленькие:

...Для меня твой смех награда, Лада!..

Едва закончит она свои номера, Монкуш отправляется домой...

Много молодежи в Куулгы, и комсомольская организация большая. Но могло бы в Куулгы молодежи быть больше... А как удержать, остановить? Какую придумать преграду? Рабочих рук не хватает. В месяц малой жары, во время покоса, приходится звать на помощь гостей — всех, кто оказывается в Куулгы. К деду Аба приезжает в это время внук Эрден, старший брат Монкуша. Монкуш тракторист, а Эрден — офицер, служит на Дальнем Востоке. Дед Аба письмо показывал — приедет Эрден с молодой женой. Будто бы татарочка. И не такая уж молоденькая... Долго, долго искал Эрден... Мог бы и еще повременить... А, Эрден? Ты не слышишь, Эрден?..

Кымыс поднялась на лесистую седловину. Вдруг навстречу ей из кустов метнулся красный взмыленный конь. Чабан Камылды Кертешев, не здороваясь, закричал:

— Хорошо-то как! Какой бог тебя послал, Кымыс! Давай торопись-капшай!

— Что случилось, Камылды?

— Говорю тебе, торопись-капшай, некогда тут рассказывать! Где чумбур? Гони коня! Торопись, говорю, там... умирает там!.. Она одна там...

— Кто умирает?!

— Кто-кто... Мать моих детей, говорю, торопись-капшай, говорю. Тарынчак заболела! Всю ночь болела и теперь болеет!

Красный конь под седлом Камылды крутился на месте, разгоряченный, мотал мокрой потемневшей головой, раздувал круглые ноздри. Камылды дернул поводья, повернул мерина, стегнул камчой и, пустив вниз по пологой седловине, еще раз обернулся распаренным, как из бани, лицом:

— Бог мне, верно, помог, что попалась ты!.. Не отставай, Кымыс!

Вбитая в землю копытами тропа торопливо обходила каменистые бугры и могучие стволы и снова бежала вперед. Вековые лиственницы и синие кедры удивленно гля-

дели на всадников. Белый конь Кымыс решил, видно, показать, что он не хуже красного мерина, — вытянув голову, прижав уши, перешел в намет.

Еще немного — и откуда-то снизу громкий лай огласил леса и скалы, и почти тотчас оттуда, из леса, выскочили собаки, черная с рыжей, и заплясали, заметались в ногах лошадей.

— Прочь, лохматые черти! — ругнул их Камылды.

Кымыс концом чумбура ударила по крупу коня, понеслась галопом, поднимаясь на стременах.

Камылды первый спрыгнул на землю у одинокой коновязи рядом с аилом, похожим на стог прошлогоднего потемневшего сена. Он вытирал измятой кепкой широкое бугристое лицо, когда Кымыс, прискакав, бросила чумбур и принялась отвязывать притороченную к седлу сумку.

— Капшай-торопись, милая, — шептал Камылды, привязывая белого коня и следя за Кымыс.

Из аила донесся пронзительный женский крик: «Э-эй! Эй!.. Что делать, что делать!..»

Кымыс в один прыжок — только коса метнулась — была возле аила, откинула дверь.

На женской половине на расстеленной бычьей шкуре металась и хрипела грязно-белая овечья продымленная шуба.

Кымыс отодвинула трех чумазых испуганных девчушек-погодков, с узкими блестящими щелками заплаканных глаз, и увидела серо-белое, как и шуба, лицо в черных растрепанных волосах. Она присела на корточки и, косясь на живот, распиравший шубу, приподняла голову женщины:

— Встаньте с пола, Тарынчак, койка же есть, ложитесь, — настойчиво сказала она. — А ну-ка, я помогу вам. Давайте, давайте разденемся.

Уложив Тарынчак, она заметила растерянного Камылды.

— Все будет хорошо, не стойте, Камылды, и вы, дети, не бойтесь, принесите дров, разожгите очаг, мне нужна теплая вода.

Тарынчак примолкла, только устало дышала, наброшенное на нее одеяло приподнималось и опускалось.

Пока Кымыс доставала из сумки и надевала халат, девочки принесли воду, Камылды стал разжигать потухший костер.

Тарынчак, видно, совсем отпустило. Приподнявшись на локте, повернув бледное лицо к забегавшему по дровам огню, она принялась ругать мужа:

— Я тебя за кем послала, дурак непутевый? Ты, наверное, спятил. Я ведь к тебе обращалась, а не к черной земле!.. Ой, ой, кудай-кудай! — вскрикнула она, откинулась на кровать, и снова ее большое тело не могло найти себе места.

Камылды вскочил и, не понимая, что она его не услышит, виновато оправдывался:

— Кымыс встретилась, хорошо, что сама сюда ехала...

Тарынчак только стонала и взвизгивала.

— Не надо так кричать, Тарынчак, — спокойно говорила Кымыс, натягивая резиновые перчатки.

— Не надо, не надо, мать моих детей, не надо, — повторял, словно горное эхо, Камылды.

Кымыс подумала, что детей у Тарынчак порядочно, тут вот трое, да дома, в Куулгы, уже взрослая Нина. А раз много детей, теперь то, что должно произойти с Тарынчак, произойдет быстро.

— Кого ожидаете, Тарынчак, мальчика или девочку? Ничего, ничего, Тарынчак, скоро все будет хорошо...

— Сына, конечно, сына ждем, милая, — торопливо ответил за жену Камылды. — Как же, девочек хватит. Нам теперь надо сына. Токтыр, помоги, говорю, пожалуйста, милая, пусть сын родится...

— Не мели зря языком, — хрипло прервала его Тарынчак, — лучше скажи детям — пусть уйдут во двор поиграть.

Девочки мигом выкатились. Хотел было выйти и Камылды, но гневный голос жены ударил ему в широкую спину:

— Куда убегаешь, шайтан? Я же велела тебе привезти тетушку Эштен, а не внучку ее... Ох, ох, держите, помогите... Падаю!..

Кымыс, проворно сунув руки под одеяло, гладила, массировала женщине живот. Схватки прошли, и она принялась вытирать мохнатым полотенцем пот с лица Тарынчак. Нежный, но требовательный голос девушки что-то приговаривал, советовал, настаивал, и роженица притихла, вслушиваясь.

— Говоришь прямо как бабка твоя, как тетушка Эштен, — надрывно вздохнула она.

— Я четыре года училась, сколько новорожденных в городе приняла, — рассердилась неожиданно Кымыс. — Где же я пропадала тогда четыре года? А? Разве вы не слышали, Тарынчак?

— А все-таки лучше бы привезла с собой тетушку Эштен. Ой, Кымыс, милая! — тут же закричала она.

Ту, которая отрежет пуповину новорожденному, алтайцы почитают как вторую мать: кин-эне — называют ее уважительно.

Еще девчонкой, таскаясь за бабкой, Кымыс не раз видела, как на женской половине аила сидела измученная женщина в ожидании ребенка. Над ней поверх очага протягивали тугую веревку. Когда начиналось страшное, старухи окружали женщину, поднимали на колени, чтобы она придерживалась за веревку. И тут самая главная, которая вскоре должна стать почетной кин-эне, — это и была всегда Эштен, — взяв остренький ножик, распарывала на женщине шубу под рукавами, чтобы просунуть туда свои руки, обмазанные жиром. Дальше все протекало нестерпимо долго и мучительно. Женщина кричала, металась, а у всех на устах были слова, обращенные к духам гор и разным богам: «Кудай-бог, помоги! Потерпи, милая, он поможет. Над тобой Ульгень и Солнце! Пусть аил твой окружат стада, пусть ходит по подолу твоему ребенок-богатырь, подаренный светлым богом и батюшкой Алтаем...» И были вот такие же случаи, когда ребенок шел неправильно и ему надо было помогать. А матери Кымыс никто не сумел помочь: ни Эштен, ни кудай. Кымыс не знала своей матери.

Камылды убежал и не слышал, как закричал ребенок.

Тарынчак, вся в поту, откинув голову на матрац, — подушку она давно скинула на пол, — глубоко вздыхая, дрожа губами, следила, как Кымыс быстрыми ловкими движениями делала что-то над голеньким красно-синим живым комочком с круглой черной головкой. Все девочки у Тарынчак рождались с черными головками. Ножницы, пипетка с темной каплей на кончике сквозь красный дрожащий туман и сумрак, — верно, от очага, задымившего аил, — мелькали в руках Кымыс, и Тарынчак никак не могла спросить, кого же она принесла в мир, и странно — ей, кажется, было все равно. Ей было только хорошо оттого, что кончились боли и уже не повторятся — она знала это, потому что красно-синенькое мраморное тельце с черной головкой находилось в руках Кымыс и, хотя перестало кричать, было живо — это видела Тарынчак по тому, как Кымыс улыбалась. Наконец она справилась с ним, завернула.

— Поздравляю вас, Тарынчак! Мальчик! Вы прямо молодец, Тарынчак!

Тарынчак едва взглянула на поднесенный сверток, попыталась улыбнуться, прикрыла веки.

Когда в аил бесшумно вошел Камылды, навстречу ему, вся сияя, шагнула Кымыс:

— С сыном поздравляю вас, Камылды!

— Правду говоришь?! — заорал Камылды. — Как быстро-то!

— Вот, посмотрите сами... Как же, ведь вам надо было мальчика, — так и светилась Кымыс. — Смотрите, настоящий батыр!

— О, куда-ай, неужели мальчик? — Камылды с ошарашенным видом отобрал сына у Кымыс и, заглядывая в личико, неуклюже качал его в огромных лапищах, хотя мальчик и не плакал. Он двинулся было к двери, но Кымыс загородила дорогу:

— Куда? Что вы хотите с ним делать?

— Как что? — удивился Камылды. — Хочу показать дочерям, пусть тоже поглядят на братишку!

— Оставьте его и позовите девочек.

Камылды выскочил из аила, закричал в сторону леса:

— Эй, дети мои, дочки! Нашелся тут один человек, идите скорей, посмотрите на брата-богатыря!..

Но тут же вернулся и, ни на кого не глядя, ринулся к мальчику и, низко-низко склонившись над ним, заговорил:

— Так, значит, ты сын мой, да? Охотником, говоришь, будешь, сынок? Молодец-то какой, а? На коне будешь скакать, да? Мальчик-богатырь? — Любуясь, он наклонял огромную голову с черными нечесаными волосами то к одному плечу, то к другому.

Кымыс между тем усмехалась: «Как же, станет он вам охотником, ждите! Вон Нина ваша — девчонка, а даже не думает в селе оставаться, ездила-ездила в город, экзамены в педагогический провалила, а все равно там год проболталась. А вы хотите, чтобы через двадцать лет парень в селе остался. Конечно, охотником будет, как все жители гор. Эрден, брат Монкуша, тоже охотник. Но где он? А ваш, может быть, космонавтом станет. Все мальчишки хотят космонавтами быть. Космонавты, инженеры, офицеры... А кому отары гонять? Вам, Камылды, тогда шестьдесят стукнет»...

У дверей послышался топоток, дверь приоткрылась, и в юрту проскользнули девочки.

— Смотрите-ка, спит мужичок, а на вас и смотреть не хочет, — подозвал их Камылды к люльке, завешенной белым рядном.

— А когда проснется, будет ягодки есть? — отважи-

лась спросить младшенькая и повела крутыми косичками, точно рожками.

— У тебя ягодки, Айкуль? А он только что просил, прямо требовал ягодок. Правда, Қымыс... Разве вы не слышали, как он кричал?

— Да он бы и не пришел к нам, если бы не знал, что Айкуль ему ягодки принесет, — улыбалась Қымыс.

— А откуда пришел он?

— Как откуда? Из лесу.

И тут Қамылды вспомнил что-то, кинулся к Қымыс, схватил ее ладошки в свои ручищи:

— Благодарю, благодарю, — задохнулся он. — Спасибо тебе за сына!

— При чем же тут я? — засмеялась Қымыс. — Скажите спасибо жене.

— Конечно! Это наша мама взяла его, — пискнула одна из девочек.

Қымыс и Қамылды оглянулись... Три черные головенки почти под линеечку. Помаргивали блестящие щелки глаз.

— Ну нет, — замотал головой отец, — если бы не Қымыс, она опять захотела бы девочку. — Қымыс при этом расхохоталась, и голос ее легким звоном рассыпался по аилу; а Қамылды настаивал на своем: — Правду я говорю, Тарынчак, если бы не внучка тетушки Эштен, ты опять взяла бы девочку, а?

Тарынчак была уже другая. Белое, чистое лицо ее в оправе черных, очень длинных, приглаженных волос было тихо и покойно. Только глаза улыбались устало.

— Надо барана зарезать, Қамылды, — сказала она, — не отпускай без угощения кин-эне.

— Я для Қымыс не одного барана зарежу! Я ей за сына — сразу двух лучших баранов!

— Зачем все это? — протестовала Қымыс. — Мне надо к Яманай ехать, у нее фурункул на шее, говорят, даже спускалась к деду Аба заговаривать, а Монкуш мешал им, смеялся, и Аба рассердился.

— Лучше не говори, Қымыс, не будет того, не отпущу! Потерпит Яманай, она терпеливая.

— Тогда знаете что? Давайте сразу дадим мальчику имя, — предложила Қымыс. — Марал должен иметь рога, а мужчина имя!

— Вот ты и дай, — обрадовался Қамылды, — это всегда делает кин-эне.

— А мне не привыкать! — воскликнула Қымыс. — Только скажите, как назвать, по-русски или по-алтайски?

— Как назовет кин-эне, так и будет... Мы на все согласны. Так я говорю, Тарынчак?

Тарынчак молча улыбнулась, смежая ресницы.

— Родившегося в тайге хорошо бы назвать Анчи, — сказала Кымыс. — Он ведь будет охотник, верно?

— Кин-эне дает ему имя Анчи. Как по-твоему, Тарынчак? Подходит? Мать детей моих, ты согласна? Тарынчак, а Тарынчак?

— Тихонько! Не будите ее. Когда проснется — договоритесь. Мне кажется, лучшего и не надо. Отца зовут Камылды — Быстрострелляющий... А сына — Анчи, Охотник!.. Очень даже подходит: Анчи Камылдович...

В тот день на стоянке чабана Кертешева Камылды, в урочище Кара-Суу, был большой праздник. Быстро зарезал он барана, разрубил на мелкие части жирное мясо, поставил варить. В ожидании свежей баранины они с Кымыс сидели просто так и говорили о том, что травы нынче хорошие, косить уже начали, но главный покос впереди и надо думать, как лучше организовать людей, как бы не утянулись в тайгу.

Вдруг громко взлаяли собаки, Камылды вышел.

Сидя на чурбаке, Кымыс переплетала косу, смотрела задумчиво в красный огонь. До нее донеслось, как кто-то подскакал, и Камылды закричал:

— Откуда, браток? А ты вовремя, у меня новость, сын народился, заходи в аил, почетным гостем будешь.

«Разве у него есть братья? — пронеслось в голове Кымыс. — Ах, это, верно, по племени, как крепки еще наши обычаи...» И вдруг она услыхала голос, от которого вздрогнула, — показалось, что это Эрден за дверьми аила. Но тут же и поняла, что это младший брат его, тракторист Монкуш. Ну да, она видела трактор, когда с Камылды неслась сюда.

— А я кошу траву, изжога замучила, вот и приехал к вам молочка попить, — говорил Монкуш. И все-таки голос его бередил что-то внутри Кымыс, наполняя ее волнением.

— Понимаю, браток, какая изжога. Поди, чахнешь, как весенний марал. Заходи в аил, тут она.

Монкуш что-то пробормотал.

— Ладно, не притворяйся, браток, и молочка попьешь, и сердце погреешь.

Когда они вошли, Кымыс смущенно сказала:

— А я думаю, какой такой брат к Камылды приехал? Ты, Монкуш, ведь из рода телос, а Камылды алмат, у вас же разные сеоки*.

— Один у нас корень, разве ты не знаешь? А еще считаешься алтайкой, — упрекнул Камылды. — Проходи вперед, браток, посмотри на братишку, у которого аил уже не вмещает родственников, число овец несчетно, а имя — Анчи.

Монкуш подошел к люльке, откинул рядно; не оборачиваясь, спросил:

— А кто дал имя мужчине?

И по тому, как была напряжена спина его, Кымыс поняла, что ответ он знает. А Камылды кивнул на нее большой головой:

— Конечно, кин-эне, — и по нарочитой поспешности его она видела, что и он о том догадался, и в странном замешательстве стала пояснять, почему назвала так ребенка:

— А ты знаешь, очень подходит: отца зовут Камылды, Быстрострелляющий, а сына Анчи, Охотник. — И рассердилась на Монкуша, заставившего ее чувствовать себя неловко.

А Монкуш продекламировал:

— Так, значит, у подножия Уч-Сюмера, в местечке Кара-Суу, родился ныне богатырь по имени Анчи, сын Камылды, пуля которого на землю не падает, сказанное которым навеки запомнится.

И засмеялся, очень довольный собой, будто Кымыс не знала еще в школе этого героического сказания. Вот такой смешной парень. Впрочем, он тут же оглянулся на Тарынчак и виновато спросил о ее здоровье.

— Спасибо, браток, — сказал Камылды, — мать моих детей — женщина сильная, вон какого богатыря родила мне. Значит, имя дали хорошее? — и подмигнул: — Кто вперед придет, тот огонь возьмет.

— А я не возражаю. — Монкуш, поигрывая нагловато глазами, снова пошел красоваться: — Кымыс и я — одно целое, разве вы не слыхали?

— Хорошо, если так, — посмеялся и хозяин.

— Как тебе не стыдно, Монкуш! — вспыхнула и встала с места Кымыс.

— Ладно, ладно, хохотунья, извини! — парень поднял темные, в мазуте, ладони и стал рыться в карманах, жалуясь, что не знает, что бы такое подарить новорожденному

---

* Сеок — род; телос, алмат, иркит — названия родов.

братишке из сеока алмат. Наконец выудил патрон, вытащил пульку и подал Камылды:

— Пусть ваш Анчи будет метким стрелком!

— Смотри-ка! — прищурился Камылды. — А для девочки ты ничего не прихватил? — Он, будто никогда не видал свинца, вертел пульку перед глазами в мясистых пальцах.

— Подарок с большим значением, — неожиданно раздалось с кровати. — Все оглянулись, Тарынчак улыбалась. — Когда отпадет у Анчи пуповина, я зашью ее вместе с этой пулькой в кожаный треугольник.

— Монкуш знал, что подарить! — не без насмешки сказала Кымыс. — Сразу видно внука деда Аба! Только он упустил из виду, что нужен еще треугольник, и непременно из красной кожи. Туда еще кладут клочок волос от первой стрижки и серебряную монету.

К чему это она выпалила — и сама не знала.

— Фью! Внук деда Аба и еще кое-что знает, — присвистнул Монкуш. — Я бы тебе рассказал, да ты не интересуешься.

— Что ж, ответь тогда, почему люди из разных родов, как ты и Камылды, считаются братьями? Не знаешь, однако?

Впрочем, она хитрила. Она сама забыла, почему это возможно, и решила, как говорят, «купить» его.

— А это было давным-давно, — сказал Монкуш и, закрыв глаза, огладил несуществующую бороду — совсем как его дедушка Аба. — Слышал я это вот этими своими собственными ушами, — и он потрогал рукой одно и другое ухо.

Кымыс рассмеялась. А Монкушу, видно, того и надо. Уселся перед огнем, подобрал ноги, пригласил Камылды послушать и продолжал заунывно.

— Жили в белоснежных горах Алтая два брата, два охотника из сеока телос. Настала глубокая осень, земля покрылась снегами, время уже на охоту ехать. Два моих уважаемых предка, два брата, двинулись в горы. Охотились-охотились, много белок и выдр добыли, горностаев и соболей... И вот, перед тем как им возвращаться, один из братьев пропал — словно ветром снесло! А другой, который постарше, искал его, искал, не нашел и вернулся домой. Прошел год, снова осень настала. Снова горы покрылись снегами, и снова надо было на охоту ехать... Когда старший брат пришел к своему шалашу, в нем сидел младший и качал в люльке ребенка. «Чей же это ребенок?» —

- 499262 -

Горно-Алтайская областная библиотека им. М. И. Калинина

спросил старший. «Мой сын», — ответил другой и рассказал, как тогда, в горах, поскользнулся и сломал ногу. И совсем уже находился при смерти. Но явилась прекрасная девушка, и помогла ему подняться, и привела в шалаш. Стали они жить вместе, родился сын. Всем была хороша она: лицо светилось, словно снега на вершинах!

Монкуш смотрел на Кымыс. Ему, наверное, нравилась эта легенда, глаза глядели уже серьезно, сосредоточенно и даже ласково, узкое, с крутым подбородком лицо как бы осунулось и было, пожалуй, даже красиво. Время от времени он обеими руками приглаживал длинные, до самой шеи, черные, совсем гладкие волосы.

И Тарынчак, и Камылды, и девочки, приползшие к очагу, во все глаза смотрели на Монкуша.

— Только один недостаток был у нее, — рассказывал он. — Руки прятала всегда в рукава шубы. Это — чтобы скрыть, что она снежный человек, алмыс! Ведь и пальцы и ногти у нее такие длинные, что и показать невозможно.

Монкуш снова провел по голове, и Кымыс заметила, что у него и руки и пальцы длинные и сильные. «Вот кому бы хирургом быть», — подумалось ей.

— Узнала алмыс, что старший брат едет, и убежала в горы. Прощаясь, сказала младшему, что никогда уже не вернется. «Ах, жаль мне ее, — сокрушался младший брат, — такой красавицы не встретить больше». «Зато сын остался, — ответил старший. — Родившийся от снежного человека — алмыса, пусть твой сын начнет род алматов». От этого мальчика и пошли на земле алматы. Вот почему мы с Камылды по происхождению братья, — заключил Монкуш.

Мясо сварилось, и Камылды, заслоняясь от пара рукой, вытаскивал его из казана в эмалированный таз. Поставил таз на круглый стол на низеньких ножках и подвинул гостям. Запах свежей, душистой, приперченной баранины разнесся по аилу.

Пока Камылды доставал из самодельного шкафа трехлитровую пузатую банку с аракой, Кымыс отнесла кусочек получше больной, оделила девочек, затем торжественно приняла банку из рук Камылды, налила араки в большую пиалу, отпила и, дополнив, подала Камылды.

Но он затряс головой:

— Зачем мне, сперва пусть попробуют гости. Держи, Монкуш.

Монкуш поднял пиалу с аракой и повернулся к хозяевам:

— Тарынчак и Камылды! Поздравляю вас с сыном! Пусть ваш очаг никогда не погаснет, пусть варится на нем жирная пища, пусть будет у вас полный аил детей — да продолжится род алтайцев!

Запрокинув голову, он опустошил пиалу, а Кымыс почему-то не казалось уже смешным, что голос его и сейчас напоминал голос и манеру Аба, а было ей даже как-то тревожно.

Долго еще угощались в аиле Кертешева. Когда солнце начало клониться к западным гребням гор, Кымыс поднялась:

— Мне пора. Поправляйтесь, Тарынчак, будьте счастливы.

Тарынчак зашевелилась, быстро-быстро заговорила, а глаза ее наполнились слезами:

— Прости меня, дурочку, Кымыс, милая, не сердись на меня, что я...

— Ничего, Тарынчак, главное, все обошлось, выздоравливайте и не думайте ни о чем. Давайте я положу к вам Анчи, хотите?

— Да, да, спасибо... А то заночуй у нас, а? Как мы рады будем...

Но Кымыс все же торопилась к Яманай.

— А жаль, — ухмылялся хозяин, — это ты все, Монкуш! Пусть бы дед Аба заговорил чирьяки, жалко тебе, что ли? — И подмигнул ему: — Гляди, полный загон баранов, выбирай любого и справляй себе свадьбу. Требуется совсем немного: согласие жениха и невесты.

— А в чем дело, я же согласен! — вскочил на ноги охмелевший Монкуш.

Кымыс кинула тяжелую косу с груди на спину, чуть не хлестнув Монкуша, и решительно направилась к двери.

— До свиданья, якши болзын, мир дому сему! — попрощался той же минуткой Монкуш и бросился за Кымыс.

— А молочка-то не попил, браток! — затрясся от смеха Камылды.

— Прошла изжога! — захохотал и Монкуш.

Кымыс направила коня в горы, ничуть не заботясь о том, что Монкуш ехал за нею след в след. Солнце быстро садилось в распадке гор, сумрак и сырость уже охватывали Кымыс, а она даже не понукала лошадь и не оглядывалась. При людях Монкуш всегда ерепенился, иногда это становилось какой-то забавной игрой, но она не пом-

нила, чтобы он вел себя с нею так же один на один. Впрочем, они остались вдвоем в горах впервые. К тому же, он крепко выпил. Кто его знает, что придет ему в голову.

Она слышала четкий звук подков его лошади и только крепче сжимала чумбур.

И когда в открывшейся долине показались загоны и огонек фонаря, бродивший в темноте, ей почудилось, что, кроме шума и скрипа кедрача, она уже ничего не слышит. Тогда она остановила коня и прислушалась. Но стучало только ее сердце. «Что это, — подумала она, — неужели просто так проводил? Скажите, какой кавалер!»

Кымыс расхохоталась. Напряжение, видно, все же держало ее и теперь отпустило, и ей действительно было очень смешно, и смех ее звенел над поляной, словно деревья трясли хрустальными колокольчиками.

Она все еще смеялась, когда огонек впереди двинулся в ее сторону и внезапно погас.

— Это ты, Кымыс? — донеслось из темноты уже совсем близко, и тут же вспыхнуло в круге света морщинистое женское лицо, обмотанное платком.

— Здравствуйте, тетушка Яманай!

— А я думаю, уж не дух ли какой смеется там надо мной? Потом вспомнила, никто в Куулгы не смеется, как Кымыс. Тебя-то мне и надо, милая...

2

Такси замедлило бег, плавно свернуло вправо, съехало с шоссе на грунт.

— На данном этапе Чуйский тракт отслужил нам, — сказал Эрден несколько торжественно, обернувшись к жене, устроившейся на заднем сиденье среди сумок, свертков и коробок. — Вот она и Куулгинская дорога!

— Дорога в сердце твое! — не менее торжественно произнесла Фатима, но ее смуглое, продолговатое, с чуть заметными скулками, строгое лицо пыталось скрыть насмешку — или так показалось Эрдену? Но тут их тряхнуло, и она рассмеялась, сверкнув большими карими глазами. — Ох, какая она ухабистая!

— А у нас в горах не много гладких путей. Верно, друг?

— Во всем Горном Алтае только и есть Чуйский тракт, — отозвался таксист, поняв, видно, прямо. — Это, майор, я только ради вас согласился.

— Отзывчивость вашу мы не забудем, друг!

Эрдена положительно тянуло на торжественность. Он, взрослый тридцатидвухлетний мужчина, офицер, впервые едет в родное село с женой... Долго не женившийся, он женился вдруг, почти не раздумывая.

Фатиме двадцать девять. Она умна, насмешлива. Эрдену нравилось, что слова сами собой слетали с ее языка. Высокая, тонкая, она была медлительна в движениях. Эрден любил смотреть на ее длинные ноги и руки, неторопливые и все же ловкие.

Дорога то поднималась на бугры, похожие на перевернутые казаны, то спускалась в котловины. С обеих сторон ходили волнами под ветром негустые хлеба. Горы, мирно дремлющие под солнцем, обступали путников.

— Осторожней, задавите! — подскочила Фатима.

— А, суслик, их тут тысячи, — отозвался шофер. — Портят они покосы, хлеб травят. Во время войны, да и после, мы, ребятишками, сдавали их шкурки в госторг, а взамен получали муку, сахар, капканы. Теперь дети пошли другие, культурные, не хотят пачкаться.

— Жизнь другая, — сказал Эрден, вспоминая бесовскую радость при виде суслика в капкане.

Из-за них мальчишки разбивали друг другу носы, воровали капканы, бросали учиться. А с каким нетерпением ждали, когда вылезут из нор суслики. Они появлялись в первой половине апреля. Земля сырая, холодная. Особенно по утрам. Ох, как холодно было и больно ходить по ней босиком!

— Вон, вон, опять через дорогу юркнул! А их едят, Эрден?

Хотя Эрден и вспомнил, как он каждый день варил и жарил и с каким аппетитом съедал сусличье мясо, спасавшее его от голодной смерти, признаться в этом почему-то не смог.

— Говорят, они полезны для легочников, — ответил вместо него шофер. — Лично сам я не пробовал.

— А ты, Эрден?..

— Они питаются лучшими корнями, — уклончиво сказал Эрден, — думаю, можно есть, ничего не случится...

Когда машина, сделав множество витков и поворотов, выползла на седловину горы, что высилась над обширной долиной, внизу под нею открылось селение: дом, рядом юрта, изгородь, дом и опять юрта.

Эрден дотронулся до плеча шофера: «Остановимся, друг». Фатима долго молча стояла, наблюдая с высоты за жизнью внизу.

— Вот где прячется твоя Куулгы, — сказала она наконец.

Там и тут дымились аилы. Эрден пытался отыскать дом деда Аба. Казалось, все дома тоже заметили его и уставились окнами. И аилы наблюдают, что за гость там прибыл с Эрденом. Вчера он дал телеграмму, что приезжает, и теперь не знал, за кого больше тревожиться: за Фатиму, за своих стариков или за Куулгы.

Когда-то он бегал по улицам среди этих домов и аилов, гонял телят, ходил в школу. Школы старой сейчас не видно, новая, кирпичная, двухэтажная, высится над поселком — ряды окон словно у городской. Нет, совсем другая стала Куулгы. Вон какие дома понастроили под белым шифером — разве разглядишь за ними старый дедушкин? А когда-то он казался самым большим и значительным...

Строения словно раздвинули горы, было похоже, что в дремотное горное озеро бросили с вершины большой камень, — и пошли, пошли от него круги, все шире и шире... А горы, словно старики седые на собеседовании, курили трубку за трубкой. Аилы курили, и горы курили — нравилась им новая Куулгы.

— Что мы тут стоим, Эрден? — повернулась к мужу Фатима.

Он глянул пристально:

— А что, тебе не нравится?

— Да нет, славно. Конусы, конусы, вперемешку с домами. Я просто что-то устала.

— Не конусы, а юрты это, аилы. Летом в них очень хорошо.

— Слушай, а ты в таком аиле родился, да?

— Нет, — вскипел вдруг Эрден, — я родился во дворце белокаменном!

— Ну что ты, Эрден? — Фатима побежала за мужем, и тоже залезла в машину, и тоже хлопнула дверцей.

«Аил для нее — экзотика, «конус», — молча и сердито усмехался Эрден. — Чужая — и есть чужая».

Молчала и Фатима.

— Стоп, друг, приехали!.. — сказал угрюмо Эрден и первым вышел у аила, почти примкнувшего к пятистенному приземистому дому, посеревшему от дождей и снега. Около него толпились люди в шубейках и просто в плащах и рубахах.

От людей отделилась и побежала навстречу Эрдену, вытянув смуглые скрюченные руки, чернявая, сморщенная старушка. Эрден рванулся вперед, улыбаясь и приговари-

вая, как ребенок: «Якши ба, здравствуй, здравствуй, моя карган-эне, моя старая мама!» Обняв маленькое, худое ее тело, он надолго прижал к себе мать.

За старушкой двинулся сутулый, невысокий старик в дубленой шубе, накинутой на плечи, в мягких кожаных ичигах на кривых ногах. Старик старался держаться прямо, задирал голову, темные глаза его были пронзительны и спокойны, а Эрден, дрогнув сердцем, отметил, что за этот год еще больше усох его дед.

— Здравствуйте, дедушка Аба!

— Наконец-то прибыл, сынок! Смотри, я уже должен задирать голову, чтобы глядеть на него.

Старая Тари плакала и смеялась, вытирая кончиком красного кушака лицо, любовалась Эрденом и не могла найти слов, чтобы выразить радость и волнение.

Эрдена окружили, протягивали руки, улыбались, расспрашивали.

— Якши ба, Эрден!

— Якши...

— Как доехал, Эрден?

— Якши, хорошо...

Каждый, здороваясь, успевал что-то сообщить, спросить о чем-то. Эрден тоже соблюдал обычай и тоже расспрашивал.

— Ну как, здоров ли отец твой?

— Здоров, спасибо... долго погостишь, Эрден?

Потом снова: «Якши ба, якши ба! Как растут, здоровы ли дети? Здоров ли скот? Здоровы ли сами?.. Заходи, Эрден, в мой аил, большим гостем будешь... И меня не забывай, Эрден, нам есть о чем вспомнить, поговорить...»

Наконец он вырвался из почетного окружения и направился к жене, все еще стоящей у машины. Все разом повернулись к ней.

Эрдену показалось, что это синие брюки в полоску и плотно сидевшая белая водолазка сделали ее фигуру такой вытянутой. Маленькая стриженая черноволосая голова напряженно застыла. И только покачивались у длинной шеи тяжелые янтари.

Когда Эрден подошел, она шепотом вдруг спросила: «И мне со всеми поздороваться за руку?» И за милый, доверчивый этот шепот он разом отпустил ей все грехи. «Сперва с бабушкой и дедушкой, а там видно будет», — так же тихо шепнул он и представил жену старикам:

— Вот она, Фатима, ваша сноха, старая мама...

Тари, будто давно знала Фатиму, произнесла:

— Здравствуй, балам!* — и первая привлекла ее к себе, обняла матерински нежно. — Как доехала, балам?

Фатима улыбнулась и тоже сказала просто, как учил ее еще дома Эрден:

— Якшилар ба, эне!** — И всем показалось, будто она хорошо говорит по-алтайски. Такой уж талант у Фатимы на языки. А слово «эне» теплой струей ударило в сердце старенькой Тари. И кругом зашептались, наполовину по-алтайски, наполовину по-русски, до Фатимы долетали обрывки фраз: «Слышали, по-нашему говорит. А, какая разница, теперь все люди одинаковые...»

Тари, взяв за руку Фатиму, повела ее к деду, который ждал поодаль. Льдинка, вонзившаяся ему в грудь в момент получения телеграммы, все еще не растаяла.

Фатима смело протянула руку, но большие карие глаза ее смотрели на старика почтительно-покорно и с любопытством:

— Якшилар ба, дедушка Аба!

Сам того не ожидая, старик сделал порывистое движение вперед, подал Фатиме обе руки, показывая всем свое уважение к ней и нежность.

Горло Эрдена перехватило, но он расправил еще больше широкие плечи, сведя в линию брови, сомкнул твердые губы.

Аба посмотрел на него помолодевшим взглядом и весело произнес:

— Теперь, дети мои, остается мне дождаться часа, когда хоть краешком глаза гляну на детей ваших, — тогда можно и умирать.

— Зачем, дедушка Аба, спешить туда? — улыбнулся Эрден и спросил: — А где брат мой Монкуш?

— Монкуш приедет под вечер, — ответила Тари, — он в урочище Кара-Суу косит трактором траву.

...Бачиматов Кара был в Куулгы самым старым человеком. Сам он считал, что ему пошел восемьдесят шестой год. И никто не называл его по имени, а все обращались уважительно «дед Аба». Алтайцы людей старше себя собственным именем не зовут. Снохи, внуки, племянники находят особые имена старикам, а вместе с ними и все во-

---

* Дитя, здесь — дочка.

** Эне — мама (*алт.*).

круг привыкают выказывать им особое уважение. В самом деле, кто же назовет одним простеньким, еще детским именем человека, у которого давно выпали зубы и волосы побелели, как шерсть у зимнего зайца. Некоторые даже не знают точного имени того или иного почтенного старца, знают только уважительное звание. Это и понятно — старого человека надобно величать. Это неплохо. Даже надо сказать — хорошо!

Вот многие и не знают, что у деда Аба настоящее имя Кара. Нет в Куулгы человека старше Бачиматова Кара. Пожилые считают его ярлыкчи-кижи, проповедником белой веры, ясновидящим даже, допущенным говорить с богами Бурханом и Ульгенем*. Многие бегали к нему, чтобы узнать судьбу, — говорили, дед может предвидеть. А молодые прозвище «ярлыкчи» пропускают мимо ушей. Ярлыкчи так ярлыкчи.

Еще в ту пору, когда во всем аймаке не было ни одного врача, дед сращивал переломы, ловко правил вывихи. Ходил из аила в аил, ездил даже по селам. И надо признать, был он мастером этого дела, и люди были ему благодарны.

Молодежи нравилось расспрашивать его о шаманах. Да Аба и сам любил вспоминать о временах, когда сжигали камов, знавшихся с подземным дьяволом Эрликом.

Когда на древнем Алтае зарождался бурханизм, Аба был не Аба, а молодым парнем Кара. И он уверял, что не только видал, как жгли камов, но и участвовал в их сожжении.

— В самом деле их жгли, камов, дедушка Аба?

— А что ты думаешь?! Белая вера несла чистоту и святость. А шаманы призывали на помощь подземного Эрлика, их вера черная, нам не годится.

Историю народных движений дед путал и смешивал с легендами. Рассказывая об Ойрот-Каане, Амыр-Сане, Лалдан-Церене, он уверял, что видел их «вот этими собственными своими глазами и слышал вот этими своими собственными ушами», и в пылу воодушевления не замечал, как начинал привирать.

Впрочем, Эрден и Монкуш слушали его россказни с удовольствием. Набьются в аил куулгинские мальчишки и парни и тоже охотно слушают, как готовился народ под знаменем Амыр-Сана к возвращению на Алтай Ойрот-Каана, как начали камов жечь. Дед поглаживал негнущимися пальцами седую голову, раскуривал трубку, задум-

* Бурхан и Ульгень — боги добра.

чиво смотрел в дымовое отверстие вверху аила и вел свою «правдивую сказку»:

— Я сам сжигал камов в Терен-Кообы.

Сказки эти Эрден и Монкуш знали уже наизусть и все равно любили — больно увлекательно и страшно рассказывал дед. Став постарше, Эрден, а за ним и Монкуш научились подзадоривать деда, спорить с ним, схватываться.

— А говорят, в Терен-Кообы кое-кто из камов сумел вылететь в дымоход. Правда, дедушка Аба?

— Кам Калпас превратился в коричневый камень, и остался нетронутым в огне, — уверял Аба. — Говорю вам, были, правда были, среди шаманов такие необыкновенные.

— Ну, хватит! Ба-таа! — остановит Тари, огладив по привычке коротенькие косички*.

Но Монкуш не унимается:

— А вылетавших в дымоход вы видели, дедушка Аба?

— Нет, вот этими своими двумя не видел. Те, которых жгли в Терен-Кообы, вроде бы не вылетали... Не помню. Но своими ушами слышал, что кам Тостогош из нашего племени иркитов, взявши под мышки внука Качи, тоже кама, вылетел в дымовое отверстие, превратился в лебедя и скрылся в небе... От наших иркитов этого можно ждать... Да, можно... Иркиты — необыкновенные люди!

— Это не для них ли собачье мясо лучше баранье-го?** — громко захохочет Монкуш.

Аба помрачнеет — туча тучею, покашляет и умолкнет надолго. Видя, что старик осердился, Монкуш начнет ласково подъезжать:

— Значит, вы не только в Ак-Бурхана, но и в некоторых камов верите, Аба?

Аба жмурил глаза, словно к чему-то прислушивался и таинственно с кем-то общался. В этот миг он впрямь напоминал мудреца, которому все видно, известно, понятно.

— Каким бы ты ни был комсомольцем, Монкуш, знай, что без бога ничто на белом свете не существует.

— И дождевой червяк создан богом?

— И та-тай! — брезгливо восклицал старик. — Бога нету, наверное, только для тебя и червяка. Для остальных он существует. — Воздев сухие руки к небу, запрокинув маленькую седую голову, Аба подолгу смотрел в дымоход; очнувшись и как бы возвратясь с того света, снова принимался за свое:

---

* Прежде алтайки гладили косички в знак уважения или просто — при упоминании о боге.

** Иркиты променяли барана на собаку — алтайская поговорка.

— Даже волк живет с разрешения бога. Как ты думаешь, почему он воет, задрав морду к небу? Пищи просит у бога. А бог-то, глядишь, и пошлет ему зверя или скотинину. Так что бога следует уважать, не забывать ни в радости, ни в беде.

— Аба, — вступал уже Эрден серьезно, — но если бог жалеет человека и всех живущих на земле, то отчего же он не останавливает войны? Он бы сделал, чтобы люди не враждовали...

— Ишь ты какой! — дернется дед. — Ты не поддевай меня, а лучше разумей, что говорю: бог создал человека не для смерти, а если человек и умирает, то душа его, дух его остаются живы.

— И бродят в горах?

— А как же! Следят, чтобы порядок был на земле. Вот наши маралы — животные священные, и горные духи...

— Расправляются со всеми, кто их убивает!

— А как же! Иначе порядка не наведешь. Садраша ты помнишь?

Как не помнить Садраша!.. Случился в тайге пожар. Все жители на борьбу вышли. Трудно приходилось людям, а звери просто обезумели от огня и дыма. Выскочил из огня марал, стал носиться туда-сюда, взметывать рогами. Не смог равнодушно смотреть на это парень по имени Садраш и пристрелил марала.

Уставший, он съел шашлык из маральего мяса, расседлал коня, концом аркана обмотал себе ноги, чтобы конь не ушел. И задремал. А конь молодой, строптивый. Испугался какого-то рыка звериного — мало ль зверья в тайге — и устремился в горы. И поволок человека. Садраш погиб.

— Бог видит! Сколько раз говорил я, что маралы священны, не надо их трогать, — сокрушался Аба. — Вот беда и приключилась. И что за молодежь пошла?.. Надо же думать, слушаться старших...

И многие верили деду Аба, и не только старые...

Эрден не верил. Не верил тогда, а теперь и вовсе, он, офицер, не мог допустить, чтобы бред этот пугал жителей гор. Да, все началось с марала...

Старый, но еще добротный аил Аба, крытый лиственничной корой, дымил вовсю, привлекая гостей. Люди приходили, присаживались к очагу за низенькие составленные столы, угощались и уходили, их сменяли другие. Молодежь

толклась во дворе, в доме крутили проигрыватель. Эрден появлялся и там и тут, но больше сидел со старшими. Он сызмальства знал их всех: толстую добродушную тетушку Эштен, принявшую своими руками добрую половину села; верткого, умного Кейлюка, организатора первой коммуны здесь; длинного, сухого, как старая коряга, деда Кондюбея; да и всех остальных тоже.

И Фатима приклеилась к месту. Впрочем, немудрено, на них с Эрденом смотрели, за них поднимали тосты, их расспрашивали о Дальнем Востоке, о порядках в армии и вообще обо всем, что приходило на ум.

— Пейте, пейте, гости дорогие, — суетилась Тари. — Кушайте, одним разговором сыты не будете.

— Этот благословенный чоочей* я выпью за келин** почтенного Аба, пусть ей улыбается счастье, — говорила дородная Эштен. — Ведь это я назвала ее муженька Эрденом! Я его кин-эне, счастливое дала имя, глядите, как помогло, — Фатима влюбилась!

Все зашумели, захлопали, спешили прибавить свое:

— Чтобы подол ее не пустовал, пусть на нем играют дети!..

— Журавушки всегда летают парой...

— Река за собой ручейки увлекает...

— Человека в горах узнают по слову, дорогая Фатима, однако слово — цвет, а плод у слова — дело, мотри у меня! — говорил дед Кейлюк.

В самый разгар веселья во дворе закричали: «Монкуш приехал, Монкуш! Посторонитесь, дайте пройти, пусть поздоровается со старшим братом и снохой».

Все на момент притихли. Раздвигая плечами людей, к столам пробирался Монкуш, на ходу приглаживая пятерней длинные волосы. Они выглядели странно в сочетании с цветастой рубахой, выпущенной поверх промасленных брюк, заправленных в кирзовые сапоги.

Фатима во все глаза смотрела на него, а Эрден долго тряс руку брата, бормоча: «Ну Монкуш, ну Монкуш, так ты выше меня на целую голову!»

Монкуш переминался с ноги на ногу, улыбался и не говорил ничего.

Братья были мало похожи, кроме того, конечно, что оба рослые, черноголовые. Но жесткие волосы Эрдена ежиком облегали его крепкую голову, а у Монкуша спадали мяг-

---

* Чоочей — пиала для араки (*алт.*).

** Келин — невестка (*алт.*).

кой гривой на воротник. Глаза у Эрдена колючие, хваткие, так и цепляются, а у Монкуша простодушные, насмешливые, а порой озорные. И лицо у Эрдена жестче, значительней, и характером он отличался от брата: нервный, настороженный, слишком, пожалуй, серьезный, сосредоточенный. А Монкушу только балагурить. Все это уже знала Фатима.

— Познакомься, Фатима, это наш Монкуш.

— Вижу, что это наш Монкуш. — Карие большие глаза ее смеялись. — Проходи, Монкуш, садись вот здесь, со мной и Эрденом. Ах, Эрден, да он у нас просто красавец, я и представить не могла, какой у него мужественный вид!

Монкуш под ее взглядом только плечами покачивал, того и гляди повернет назад.

— Ты что это? — прикрикнула Тари. — Уж не брата ли старшего застеснялся? Садись, не чужие они.

Монкуш сел и тут же уткнулся в тарелку с супом.

Кругом заговорили о том, как бы радовалась сейчас Мекечи, мать этих братьев, если бы только была жива. А какая она была добрая, безответная. А как долго и безуспешно ждала мужа с фронта. А как неутешно было горе ее, когда... Впрочем, жизнь есть жизнь, и если преподнесет невзначай цветок, радуйся, приколи к волосам...

Заметив, что Эрден нахмурился, тетушка Эштен весело затряслась всем телом:

— Время, время — конь необузданный! Были и мы молодыми, да состарились. И детям нашим не ходить пешком, и под ними гарцует иноходец быстроногий!.. Вот и Монкуша скоро женим! А, Монкуш?

— Мы ему привезли костюм к свадьбе, — сообщила Фатима, посмеиваясь.

Тари так и расцвела:

— По нашему обычаю он приходится тебе сыном, ты его и должна женить.

— Да костюмов у него хватает, — вставил дед Аба, — а вот найдется ли добрая невестка нам?

— А мне сорока-белобока на хвосте принесла, что в Кууглы немало красавиц. — Фатима искоса взглянула на мужа.

— Это я рассказывал ей про вашу Кымыс, тетушка Эштен, — вмешался Эрден. — Как приехала она в прошлом году из фельдшерского училища, я не узнал: хорошенькая, смелая, веселая! Да где она? Кто видел Кымыс?

— Она к нам в аил не заглядывает, — неожиданно напустил на себя важность дед Аба. — Молодежь нынче не

очень уважает старших, не нравится ей, видишь ли, когда я предсказываю что-нибудь или внушаю.

— Ах, Аба, вы так неприветливы с девочкой, — поджала губы тетушка Эштен. — Она уже отступилась от вас. А между прочим, она тоже людям много помогает.

— Ну что вы, тетушка Эштен, — громко сказал вдруг Монкуш, багровый от усталости, еды и араки, — один только наш дед Аба знает в человеке каждую косточку, где и как она расположена, а современная молодежь, какой-то там фельдшер, и понятия о том не имеет.

— А может быть, ты знаешь? — нахмурился Аба.

— А мне это ни к чему. Вы знаете «косточки» моего трактора?

Старик закипятился:

— Твой трактор не боги сотворили, он же... он же... это железо!

— А я вот все «косточки» его знаю!

— Журавль — птица болотная, как расхвастается, так и сядет на лиственницу.

— Хватит, хватит, Монкуш, стыдись спорить с дедом!

Но Монкуша уже понесло. Поглядывая на брата, словно призывая его в соучастники их детской игры, кося черным сметливым глазом на невестку, приглашая ее полюбоваться их дедом, он закачал головой: все, конечно, зависит от бога, от батюшки нашего Алтай-кудая. А ведь бог за деда еще и покарать может. Покарает он, конечно, и русских, приехавших в горы: с разрешения охотничьего общества они убили сразу шесть маралов.

— Ба-таа! Что ты говоришь? Ты сам это видел? — так и подскочил Аба.

— Как вы думаете, Аба, что же теперь будет с охотниками?

Дед сощурил глаза, разгладил костлявыми пальцами седые серые волосы и, смотря сквозь белые ресницы в тлеющий огонь, раздумывал. Потом не торопясь приподнял голову и, глядя в дымоход, зашевелил бледными старческими губами, будто шептался с кем-то или считал клочья облаков, плывущих над аилом. Достав из костра головешку, он прикурил от нее, краешком глаза наблюдая за Монкушем, и неожиданно весело произнес:

— Мысленным взором вот этих двух своих глаз обежал я вселенную из конца в конец, вот этими своими ушами прислушался, что творится там, и понял: с русскими теми ничего худого не приключится!

Монкуш удивился — он не ожидал такого ответа:

— Разве они не такие же люди, как мы?

— Такие! — отрезал дед. — Только вера у них другая, балам, а значит, и бог другой и обычаи.

— Допустим, — согласился Монкуш. — А вот село Кайру не так-то уж далеко от нас, всего лишь за перевалом. А парни там вовсю бьют маралов, и ничего страшного с ними не приключается.

— Всего лишь один перевал, говоришь? — Аба улыбался и вдруг как топором отрубил: — А ты знаешь, что Кайрунские горы разделены с нашим священным Уч-Сюмером, их подземные корни не доходят до великого Уч-Сюмера? Нету там гор, опрысканных святым молоком белой кобылицы. Потому и маралы там не принадлежат хозяевам гор или горным духам...

— Ну ладно, пусть Уч-Сюмер священный, — не унимался Монкуш. — Но если маралы опустятся в долину Ойдык-Мош, тогда можно стрелять?

— Что ж, ежели так далеко отойдут, то можно, — милостиво согласился Аба. — Стало быть, бог и духи его святые дали на то разрешение...

— Ага, значит, в долине Ойдык-Мош, говорите, можно? — Монкуш неудержимо захохотал. — Надо будет их, маралов-то, нагнать туда, скажу об этом ребятам! Тогда и Щербаков ваш не поможет. Ты помнишь, Эрден, Щербакова? Учился с тобой в Онгудае... Теперь он егерь на нашем участке.

Тут Аба не выдержал, сердито прикрикнул:

— А ну, хватит, молокосос, перестань!

Но был он совсем не страшен, а только забавен, и все ухмылялись: и Тари, и тетушка Эштен, и даже дед Кейлюк, и дед Кондюбей. И что тут сделалось с Фатимой! Решила, что она умнее деда, раз не верит ни в каких богов. А может, забыла насчет почитания старших? Или просто устала в дороге — с непривычки ей было жарко в аиле, глаза от дыма слезились, и в носу щекотало. Только она поднялась, будто кончая спор, засмеялась и громко сказала:

— А вы знаете, дедушка Аба, Эрден ваш тоже привез лицензию.

— Что он привез?

— Разрешение на отстрел одного марала.

— Что ты говоришь, Фатима? — возмутился Эрден.

Но все как-то враз замолчали и по его лицу и по лицу Фатимы угадали, что она сказала правду.

Аба встал и, маленький, сгорбленный, долго и тускло

молча смотрел на внука. Потом повернулся, пошел к двери. И люди перед ним расступались.

— О, балам! — закричала Тари Эрдену. — Беги за ним, догони, скажи, что это неправда!

— Разве так можно? — зашептались, зашушукались гости. — Обидеть так почтенного Аба!

Монкуш сорвался, выбежал вслед за дедом. Что он там говорил ему, неизвестно, но только вернулся со стариком, и все были рады и говорили шумно, будто ничего не случилось. Но все равно праздник был испорчен. И Фатима поднялась и ушла в дом отдыхать. Никто этого, впрочем, и не заметил...

3

В колхозе всегда работы по горло. Подойдет весна — посев, окот, стрижка овец. Осень нагрянет — уборка хлеба, вспашка зяби, ремонт скотных дворов. Люди все дни на работе, некогда на охоту сходить. Тянет, конечно, в горы, но сами себя утешают: «Зачем охотиться-то, когда и так всего хватает? Так только разве — развлечься, отдохнуть...» А дед Аба возгордился: «Послушался меня народ, перестал маралов стрелять».

Дни шли и шли. Однажды к Аба заехал незнакомый русский. Пил чай, долго беседовал. Был он рыжий, большой, весь в веснушках, даже руки. И хотя молодой, бороду имел с лопату, которой скребут снег во дворах. Говоря по-алтайски, он проглатывал слова, захлебывался, получалось очень смешно.

— Что такое тотемизм, ты знаешь, Аба? Как толкует его наука?

Аба не понял, но, подумав над словом «наука», испугался и опустил глаза. «Может быть, от милизии? — размышлял он. — Неужели забрать приехал?»

— Нет, — выдавил из себя дрожащими губами и приподнялся перед незнакомцем. — Я больше ни в каких богов не буду верить! Не увози меня, старик я, — прошептал он, и даже слезы показались на глазах.

— Да нет, дедушка, — успокаивал русский, — ты не бойся, я твой некер-друг буду. — И он выложил на столик пачку чая. — А это табак, крепкий... На, бабушка, возьми, — протянул он табак Тари, сидевшей на женской половине аила и все слышавшей. — А зовут меня Михаил, Михаил Щербаков. Теперь понял, дедушка?.. Будем некер-друзьями!..

Аба удивился. Смотрел на незнакомца с подозрением.

— Я старый человек, мой баранчук в армии, — решил он пустить Эрдена как козырь, — большой начальник там... А я больше не буду говорить, что есть на земле духи и хозяева гор.

— То есть как это нет хозяина гор? — удивился и рассмеялся Щербаков и большой, обросшей рыжими волосами рукой легонько похлопал деда по плечу. — Дед, говори, что горные духи есть, существуют, и что маралы священны и стрелять их нельзя...

Старик долго сидел, пораженно уставясь потухшими глазами на странного русского. Разве есть среди них такие, чтобы верили в горных духов?

— Есть хозяин земли, есть хозяин воды, — не унимался Щербаков, размахивая рыжими руками и захлебываясь словами. — Они-то и следят, чтобы маралов не убивали. Марал — тотем для алтайцев. Чуешь? Отсюда и тотемизм, — веско говорил он, и слова его, конечно, точно ложились в цель.

На прощанье он еще раз пристально посмотрел на деда и, будто только что вспомнив, сказал:

— А я ведь знаю вашего Эрдена, вместе учились в Онгудае.

С того дня Аба стал не Аба. Помолодел на несколько десятков лет, ходил легко, со всеми разговаривал, всем, кто заглядывал к нему в аил, не забывал напомнить о русском друге и, как всегда, прихвастнуть:

— Слышал, ко мне большой человек приезжал из Москобы, ученый? Вот подарил даже чай и табак. Слышишь, Тари? А Тари! — кричал он. — Покажи гостю, какой он привез нам табак.

— А вы его раньше, что ли, знали, Аба? Зачем он приезжал-то?

— Да говорит — есть хозяин гор! Вот этими двумя ушами сам от него слышал, — оживленно передавал старик. — Оказывается, он и меня знает, и Эрдена нашего.

Монкуш и его приятель Ямандик, из тракторной бригады, услыхав про такие чудеса, пытали Аба:

— А как зовут ученого-то, дедушка?

— Сказал он мне свое имя. Обожди, как же его?.. Обожди, обожди... Да вот призабыл, вот тут вертится, а не вспомню. Подожди, не уходи. Как же его звали? Тари, а Тари, как звали-то ученого из Москобы?

— Кажется, Мыкаил.

— Слышали? Да, да, она вот не даст соврать. Мы долго чаевничали. Да, точно, Мыкаил Щербак он.

Монкуш и Ямандик расхохотались:

— Да никакой он не ученый, дедушка Аба! — всхлипывал от смеха Монкуш. — Был у вас егерь Щербаков из охотобщества. Ну да, они с Эрденом учились, а теперь он егерем, разыскивает и штрафует, кто охотится без разрешения. Такая уж у него работа.

Аба не поверил, пустился в спор:

— Он же сказал, что ученый!

— Так, наверное, пошутил.

— Такие люди не шутят, зазря не хихикают, это раз. А во-вторых, он сказал мне, что хозяин гор существует — и точка! Вот этими ушами слышал.

Ребята знали егеря Щербакова. Куулгинские горы входили в его участок. Участок был велик, егерь не справлялся с нарушениями и придумал, видно, уловку. Решил подключить Аба к своей службе. Ну и ну! Однако какое дело Монкушу, пусть старик утешается.

А Щербаков стал частенько наезжать к Аба, всякий раз привозил какой-то подарок, подолгу беседовал.

— Ваша тайга и правда священна, дедушка, — не забывал он напомнить. — Мне и кайрунские жители говорили. Если кто-то поранит там марала, а он перевалит на эту сторону, то его не преследуют.

— А вы что думаете, я вру или шучу? — приосанивался Аба. — Наши реки неприкосновенные — не ставьте ловушки на выдр их, наши горы священные — не трогайте маралов их...

Щербакову только того и надо. «Верно, — поддакивал он, выкладывая чай на стол. — Цейлонский, понюхайте». И любил заводить разговоры про свой тотемизм. И все просил разъяснить его людям.

Однажды он появился мрачный, присел к очагу и долго оглаживал плоскую бороду, еще более красную в отсветах огня.

— Что делать-то, дед? Что делать? Майчиков ваш завалил, говорят, рогача. Несколько месяцев назад. Не докажешь, но все к тому сходится. А такой человек, и разговор-то поднимать совестно.

— Майчиков?! Пырсытачил колхоза? Вот оно как!

— Чин-чин, да-да, правда.

Дед смотрел остолбенело, потом встрепенулся и сообщил как открытие:

— Вот почему у него весной сдохла свинья! И какая свинья была!.. Подозревал я, что дело нечистое, подозревал... Он же алтаец, пускай и пырсытачил и коммунийст...

— Что ты говоришь?! — вроде даже обрадовался и захлебнулся словами Щербаков. — Ох, дедушка Аба, ты при случае сам поговори с ним, а главное — с женой его, с людьми вокруг, понимаешь?..

И дед ходил от аила к аилу, разговаривал, стращал, приводил в пример сдохшую председателеву свинью. Кто посмеивался, кто на ус наматывал, но разговаривали с дедом все одинаково уважительно...

Все произошло в тот год, между прошлым приездом Эрдена в Куулгы и теперешним. Когда ему рассказали о Щербакове, он рассердился, прямо-таки вышел из себя. А тут еще Фатима проговорилась о лицензии. Лицензию он на самом деле приобрел, но еще не знал, воспользуется ли ею. С одной стороны, давно хотелось доказать деду, что алтайцы такой же народ, как и прочие люди, что никакая особая власть алтайских богов над ними не довлеет, что дух и воля их так же свободны, как у русских. С другой стороны, не хотелось огорчать деда, кто знает, не рассердился бы навек старик. Хотя нрав у него никогда не был крутым. Однако же мать Эрдена, Мекечи, почему-то его боялась. Или уж так уважала? Эрден всегда думал об этом: боялась ли мать деда? Фатима и та струхнула, брякнувши про лицензию. Но Фатима другое дело. Фатима своенравная, да еще человек образованный, цену себе знает, а с людьми она умеет так обходиться, что они как-то все ей прощают и даже всегда нуждаются в ней, в ее слове, участии, просто в ее присутствии.

Вот и дедушка Аба сначала рассердился на нее, а теперь сидит под лиственницей, рассказывает ей свои «правдивые сказки». А она устроилась на бревнышке, подхватив под коленками ноги в узких полосатеньких брючках, и смотрит на деда не мигая. Ему, конечно, лестно такое внимание.

Эрден не выдержал, подошел, опустился рядом с Фатимой, она даже не шевельнулась. Еще бы, дед рассказывал про Куулгы — во всем Онгудайском районе нет больше села с такой биографией.

Хотя горы вокруг считаются священными и плотно населены всякими духами и хозяевами, но именно тут, в глухом урочище Куулгы, в тридцатых годах родилось товарищество «Кызыл-Мааны». И потому-то в дни празднования Октября каждый год в больших и малых докладах называют Куулгы. Пойдет ли речь об автономии Горного Ал-

тая, примером становится именно Куулгы, а не какое-нибудь там другое село.

Так оно и должно быть. Как ни говори, одна из первых коммун в Горном Алтае возникла тут, где родился и до сих пор живет дед Аба, безотказный врачеватель селян, где и теперь еще жив первый председатель коммуны Кейлюк Майчиков.

— Во-он у подножия горы его аил, видишь, дымится? Это он курит и вспоминает, что было, — говорит Аба Фатиме; он сидит прямо, дымит трубкой, прищурив глаза в прошлое.

— Октябрь-то, — звучит старческий, но еще сильный и трезвый голос, — он трудно пробивался в горы — как цветок в каменную щель. Путь его пролегал средь горячих пуль, на кончике штыков и мечей, которые всегда были наготове в ножнах. Брат Кейлюка был храбрым и добрым человеком. Когда начинались колхозы, он стал вожаком коммунистов, раскулачивал баев, конфисковывал у них имущество. На дворе тогда стоял месяц малой жары, как сейчас.

Может быть, и не так складно говорил дед Аба — по-русски он до сих пор говорил неважно. Но Эрден наизусть помнил этот сказ про Майчикова Кырлу, брата деда Кейлюка, отца нынешнего председателя колхоза. Это был хороший сказ, правдивый, и дед часто повторял его мальчишкам, да и взрослым, собиравшимся к его очагу в зимние вечера, и Эрден следил, чтобы все слова в нем находились на месте.

Итак, стоял месяц малой жары. Трава выросла выше пояса, дурманила запахами съедобных и несъедобных стеблей и цветов. Голова всех гор, великий Уч-Сюмер сверкал всеми тремя недоступными вершинами. Покрытый льдом и снегом, он был вечно холоден, горд и неприступен. Сердце его и весь лик его неподвластны ни злу, ни добру.

Месяц малой жары — время свадеб и гостей. В тот вечер в Куулгы играли свадьбу — самый радостный праздник для жителей гор. Со всех долин и урочищ собирались люди на той*. Тут и байга, тут и кюреш**, и конечно же — песня. Люди становились в круг возле аила молодоженов и, обнявшись, раскачивались и пели:

Твой аил, чья дверь, как луна,
Шелком-золотом да украсится,

---

* Той — свадьба, пиршество (*алт.*).

** Байга — скачки, кюреш — борьба (*алт.*).

Молодая твоя жена
Золотым умом да прославится!..

Петь о печальном было нельзя — радостная, счастливая песня летела в летней ночи, и звон ее отдавался у самых далеких звезд.

Кырлу тогда заведовал колхозной конефермой, и под седлом его плясал вороной жеребец Аргымая. Кырлу конфисковал у Аргымая, у самого большого богача во всей Урсульской долине, не только этого жеребца, но и все его табуны.

Раскачиваясь в свадебном кругу, благословляя молодоженов, Кырлу запевал:

Дымкой окутанный, дивный Алтай,
Лис твоих шубы на шубу нам дай!
В аиле, где светит луна в дымоход,
Невестке родня две косы заплетет...

Песня медленно плыла над белыми лунными полями, задевая крылами спящие цветы и травы, и вдруг взмывала над хребтами и перевалами. Откуда знать ему, Кырлу Майчикову, что в тот вечер он последний раз гуляет на милой алтайской свадьбе, последний раз пьет алтайскую араку из коровьего молока и последний раз поет алтайскую песню.

Алтайские песни что пара лебедей. Но не успел Кырлу и начать второй части, как иноходец, привязанный недалеко от аила к углу коровьего хлева, отчаянно и пронзительно заржал, зафыркал, забился. Послышался свист бича: шить-шить, цит-цит...

Кырлу побежал в темноту. Если бы он не бросился туда, в то время тридцатилетний коммунист, один из вожаков колхоза «Кызыл-Мааны», то допел бы вторую половину песни:

Светлыми реками славный Алтай,
Мягкую выдру на шапку нам дай!
В аиле, где жарок очаг допоздна,
Нам сварит еду молодая жена.

...Когда прибежал Кырлу к вороному своему жеребцу, из-за угла метнулась черная тень, и в ту же минуту нож вошел ему прямо в сердце.

Загремели по земле копыта вороного жеребца, а в крови Кырлу долго еще звенела и медленно-медленно угасала родная песня...

4

— Хотят, видно, собраться из всех логов и стоянок под видом комсомольского собрания и опять до утра танцевать. Зна-аем мы их...

— Опять будут крутить эту музыку.

— А что нам, старикам, там делать? Как будто других дел нету. Лучше пораньше лечь да выспаться, да с утра на работу...

— А дедушка Кейлюк думает, что с молодежью он снова станет молодым, что ли? Смотрите-ка, давно не учил, не ругал людей, опять, старый черт, лезет. Словно без него земля перестанет вертеться. Посмотрите-ка...

— А там не написано, что будет кийно?

— Нет, ничего не сказано.

— Оказывается, бывает собрание без кийно!

Утром у дверей клуба и колхозной конторы толпился народ у объявлений, написанных Кымыс. И размеры объявлений, и сами буквы на них, да и слова — все было необычно, празднично и зазывно:

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

на тему
«СЕЛО И СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ»

Повестка дня:

1. Участие молодежи аймака в заготовке кормов. (*Докладчик секретарь РК ВЛКСМ тов. Аргучинов.*)

2. Коммунисты и комсомольцы Куулгы в двадцатые годы. (*Докладчик бывший председатель Куулгинской коммуны «Ленинская искра» тов. К. Майчиков.*)

ВСЕХ, ВСЕХ приглашаем, стариков и молодежь!

Бюро комсомольской организации колхоза

А когда солнце стало возвращаться в свое ночевье, с гор, окружающих Куулгы, с песнями и смехом начала спускаться к селу молодежь. Издалека был слышен топот коней, тихое село сразу ожило.

В высоких узких окнах клуба, отстроенного только

в прошлом году, замелькали фигуры принаряженных девушек и парней. И до самой утренней зари лежал желтый свет длинными столбами на лужайке.

Первое слово, конечно, взял секретарь райкома комсомола Аргучинов. Пронзительным и вместе с тем монотонным голосом, не отрывая глаз от бумаги, он начал говорить об общих планах колхозов и совхозов, о звеньях и механизированных бригадах.

— Начинается... — донеслось откуда-то.

— Теперь снова будет цифры перечислять...

— И без того ясно...

Тонкими пальцами взяв стакан, Аргучинов осторожно глотнул воды, направил назад длинные гладкие волосы и, кашлянув, деловито продолжил:

— За годы Советской власти...

Кто-то резко крикнул:

— Мы это знаем, товарищ Аргучинов!

Кымыс звякнула колокольчиком, принесенным из школы:

— Что это, товарищи? Тише!

— А что? — вскочил из третьего ряда Монкуш. Конечно, его-то голос Кымыс и слышала! — Мы и так знаем, что скажет товарищ Аргучинов: что в Куулгы есть новый клуб, магазины, школа, ясли, библиотека, — слыхали уже!

— Правильно, верно, слышали, хватит, — послышались голоса парней.

Кымыс растерянно поглядела на Аргучинова, отчаянно затрясла колокольчиком. Ну что за парень, опять как с цепи сорвался! Это он ей что-то доказывает, стоит ему увидеть ее, как что-то в нем словно взрывается, — все это в одну секунду пронеслось в голове Кымыс.

— Знаем мы это, хватит, прав Монкуш!

— Что вы, ребята, дайте слово человеку сказать! — гаркнул Рамазан, что пасет овец с матерью, старой чабанкой Яманай, в урочище Ак-Кем.

— За материной спиной добился славы и загордился, — засмеялся кто-то. — Тут тебе не съезд колхозников, не Москва. Лучше забыл бы, как ездить туда бесплатно!

— Что там болтает завистливый твой язык, Атраш? А вот этого не пробовал? — И Рамазан двинулся меж рядов, потрясая кулачищем.

— Совесть есть у вас, ребята?! — вскочила Кымыс.

— Давай перекур, Кымыс!

«Окончательно выпряглись», — думала она, собирая в комок волю, неистово звеня колокольчиком. Бросив его,

перегнувшись через кумачовый стол, протянула к залу руки:

— Ребята! Давайте сперва послушаем доклад! — И может быть, голос и отчаянием сломленная фигура, подействовали — все глаза обратились к ней. Она выпрямилась, красная, взволнованная, хорошенькая, сверкая глазами, сказала твердо: — Продолжайте, товарищ Аргучинов!

Зал медленно затихал. Сморщив худое лицо, поправляя очки, Аргучинов хмуро окинул взглядом ряды. Молодежь, молодежь — сплошь молодые лица, и только в конце — прямой и темный, как старое сухое дерево, дед Кондюбей, рядом ссутулился дед Аба, известный всему аймаку, при нем старуха, освободившая уши от косичек. Еще вон солидная пара колхозников Батыровых, дети которых — знаменитые люди на Алтае. А где же Кейлюк? Так и не увидев его, Аргучинов начал скороговоркой о прошлогодних успехах молодежи Куулгы, назвал Монкуша и Рамазана. Потом, пропустив несколько страниц, заглянул в конец доклада, помолчал и вдруг крикнул:

— Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым! — повернулся и сел за стол.

Объявили перерыв...

Возвращалась молодежь в клуб неохотно, неохотно рассаживалась. В открытые двери за людьми рвалось вечернее дыхание полей, ночные запахи трав.

По второму вопросу «Коммунисты и комсомольцы в двадцатые годы» слово предоставлялось бывшему председателю коммуны «Ленинская искра» Кейлюку Майчикову. Кымыс, улыбаясь старику, захлопала маленькими ладонями, словно голубь крыльями, — и несколько десятков голубей вспорхнули в зале.

Хотя Кейлюку около семидесяти, двигался он энергично. Легкими, быстрыми шагами этот невысокий, крепко сколоченный человек вышел на самый край сцены. Нервно мял он темные, костлявые руки и молчал, глядя под ноги, о чем-то думая. Люди молча ждали.

И вдруг, словно пришпоренный конь, старик вскинул голову:

— Что я могу сказать вам, теперешней молодежи? — И сам же ответил: — А вот и есть о чем поговорить с вами, а вот и есть, говорю! Вы слышали, как внук дедушки Аба крикнул? Знаем, мол, что в Куулгы есть клуб, магазины и прочее. Так ведь кричал, парень? А?.. Так! А знаешь, кто это все построил тебе? Со стороны, грешным делом, мне померещилось, что вам прискучили слова «пар-

тия», «родина». Можно так? Нет! — глухо крикнув, резанул он воздух короткой и ловкой рукой. — Вот вы мне скажите, сию же минуту поднимитесь и скажите, кто из вас в зимние холода рос в аиле на дне глубокой ямы?! Монкуш, Ямандик, Рамазан, Атраш, кто из вас хотя бы видел ребенка, закутанного в овечью шкуру и в лютый мороз оставленного в яме, а? Не видели и, дай бог, не увидите! А вот нас растили именно так, на дне ямы...

— Теперь время другое, дедушка!

— Правильно-чин говоришь, Ямандик, правильно-чин. Но скажи мне, откуда пришло к вам оно, это время, кто принес его, а?.. Кто проливал за него свою кровь?

Как безумные кони, гонимые волками, встали, видно, на дыбы перед Кейлюком двадцатые годы Алтая. А может, они острыми иглами кололи сознание старика. Он закрутил головой, оглядывая зал, и вдруг раскинул в стороны короткие руки:

— Где мы могли провести такое собрание?.. Вот я живой еще стою перед вами, скажите, где мог я собрать своих коммунистов и комсомольцев? У нас не было даже просторного аила. Мы ждали погожего дня, чтобы собрать партийную ячейку на темени какого-нибудь холма. Правду я говорю, Кондюбей?

— Точно, Кейлюк, так оно и было, — угрюмо ответил старик с козлиной бородкой, похожий на черную корягу, сидевший с Аба.

В зале зашевелились, зашептались, кто-то хихикнул.

— А вам чуть ли не в рот кладут разжеванную еду! — взорвался Кейлюк. — Можно хихикать! Хихикайте, я послушаю.

— У меня вопрос, — послышался негромкий девичий голос.

— Нет уж, вызвали меня, так слушайте! Слово пока дано мне... Мотрите, мотрите, можете сердиться, как хотите.

— Да мы не собираемся сердиться.

— Ну что, Якарай, что там случилось, о чем надумала спросить?

Якарай, молоденькая учетчица, несмело поднялась:

— Вы, кажется, хотели рассказать, как создавалась коммуна, кто были первые коммунисты...

— Правильно-чин ставишь вопрос, Якарай, молодец!— Кейлюк закипел, заторопился: — Ячейку, конечно, организовали мы при помощи айкома и обкома. А первые коммунисты? Отвечу. Прежде всего — Мандаев Адар. За ним

Кайбашев Тран, младший брат Адара Аду, а потом мой брат... Майчиков Кырлу... — Кейлюк споткнулся. — Вот это были люди золото, молодые мои товарищи. — Голос его стал глуше, глуше, а потом и совсем замолк.

Все поняли почему. Все живо представляли Майчикова Кырлу, брата Кейлюка, — сколько рассказывал о нем дед Аба! Майчиков Кырлу был в их представлении и обыкновенным человеком и уже богатырем, дух которого, по словам Аба, бродил по горам и следил, чтобы все в Куулгы совершалось по его заветам...

— Вот такие были люди, — повторил, помолчав, Кейлюк и вытер тыльной стороной ладони неожиданно выплывшие тяжелые свинцовые слезы. Он смотрел в лица своих земляков и видел, что были они сейчас с ним заодно. Глубоко вздохнув, он опять начал: — Вот еще о чем хочу сказать... Знаете ли вы, кто строил школу. Не эту, новую, а еще ту — вы в ней тоже учились. Какие люди рубили фундамент, возили бревна?.. Точно не помню, как бы не соврать, но, кажется, фундамент заложили в двадцать восьмом году. Так, Кондюбей? Верно, Аба?

— Да... Так и было, Кейлюк, — промолвил Аба. — Говори, все правильно.

— Мотрите, товарищи-некерлер, слушайте внимательно... фундамент тот был не простой, а основа основ...

Видно, он хотел сказать, что тот фундамент стал основой всей жизни здесь, так как с него началась грамотность, началось прозрение. Он припомнил ликбез и как писали они на дощечках, писали углем из костра да еще свинцом, из которого лили пули, чтобы уничтожать врагов Советской власти.

Тут кто-то выразил удивление, и Кейлюк призвал в свидетели старую Тадыл, и она, шамкая, подтвердила, что все было в точности — писали углем и свинцом. И Кейлюк вертелся волчком, таращил глаза и кричал уже почти весело:

— Вы слышали, а? Тадыл человек правдивый, всем известно, вот... — И когда заговорили о новой школе и Рамазан крикнул, что десятилетка — это веление времени, Кейлюк прямо обрадовался: — Так что не зря мы учились свинцом стрелять и писать!

Все дружно захлопали.

— Под конец, уходя с вашего собрания, я хотел бы еще сказать об одном, товарищи-некерлер. Как я наблюдаю, из нашего Куулгы многие не работают в колхозе и не учатся.

— Словно в игрушки играют, шатаются между райцентром и деревней, — трубным голосом вставил с высоты своей Кондюбей.

— А кто-нибудь должен им подсказать, что дело так дальше не пойдет,— продолжал Кейлюк.— А, товарищи-некерлер? Вот ты, Ямандик, тракторист, работаешь хорошо. А сестренка твоя, где она, а?

— Какое мне дело, — буркнул Ямандик. — У ней паспорт есть — дело ее, хочет — работает в колхозе, хочет — в город уедет.

— Мотри, Ямандик, неверно говоришь... А скажи мне, кто учил твою сестренку до десятого класса? В чьем интернате она жила?

— Только одна моя сестренка, что ли, уехала в город? Что она, хуже других?.. Дети Батырова — семь человек, и все уехали. А тоже росли в колхозе и в интернатах жили...

— Мотри, мотри, парень молодой. — Кейлюк рубил воздух ловкой короткой рукою. — Твоя сестренка то в городе, то в районе, то в Куулгы, словно ее налоговым агентом назначили. Что это, а? А ты ее старший брат, пойми — старший!.. Детей Батырова с ней не сравнить. Все выучились, специалисты. Скажи, кого только нет среди них: врачи, и артисты, и так далее.

— А может, нашему колхозу не нужны врачи или артисты, — упирался Ямандик.

Но тут попросила слова Нина Кертешева, старшая дочь Камылды и Тарынчак.

— Бажалыста, очень хорошо, — промолвил Кейлюк, словно обрадовавшись случаю отдохнуть, и торопливо сошел со сцены, сел в первом ряду. А Кымыс невольно следила за Ниной.

Сверкая дешевыми, но броскими ожерельями, в красной кофточке без рукавов, Нина Кертешева быстро поднялась на трибуну. Она была подстрижена под мальчика — сзади волосы сняты совсем, впереди вились короткими прядками. Руки и плечи у Нины полные, круглые. И вся она крупная. Может, и правда Монкуш, как еще недавно болтали, был бы под пару ей. В школе Кертешева сама писала ему записки. Сейчас она постояла, собираясь с мыслями, сосредоточиваясь.

— Была бы возможность, — приступила она, — я бы завтра покинула это село. — И, видно, по привычке улыбнулась, заморгав накрашенными ресницами. — Я работала на фабрике, но мне и там не понравилось — не моя

это специальность, но все же город есть город, жить там интереснее...

— А какая же твоя специальность? — не удержалась, поддела ее Кымыс и невольно поискала взглядом Монкуша в третьем ряду.

— Зачем ты так, Кымыс, ты же знаешь, специальности у меня нет, — вроде спокойно, но настороженно и медленно повернулась к ней Нина, а Кымыс опустила лицо и пожала плечами, усмехнувшись.

Но Монкуш уже поднялся, закричал с вызовом:

— А зачем же ты тогда приехала, кто тебя звал сюда?

— Никто не звал, Монкуш, успокойся, — гордо сказала Нина. — Ты же знаешь, моя мать ждала ребенка, ты ведь был у них, когда родился Анчи...

Кымыс сидела, не поднимая лица, ей казалось, что сделала она сейчас что-то стыдное, может быть, так оно и было. И почему так сделала, не могла понять.

А Нина, между тем, говорила, справившись с собой:

— Ну вот, наступает вечер, и куда можно пойти, чем заняться? В кино? Кино раз в неделю, от силы два, фильмы старые, крученые-перекрученые. Ну ладно, пусть я пасу овец. Или работаю дояркой. Кто меня отпустит через день хотя бы в кино или просто в село? Или буду ездить туда и обратно, а когда же работать? А спать? И вообще, зачем заканчивать среднюю школу, если готовить себя в доярки?

— Рыба ищет, где глубоко, — не узнавая своего ехидного голоса, опять вставила Кымыс. — В этом смысле ты права. Но тебе задали вопрос, ты же не ответила — зачем же ты приехала?

— А ты, Кымыс, и сама не устроилась в городе, потому и сидишь здесь, не так ли? — обернувшись, сердито выпалила Нина. — Патриоткой заделалась, потому что таких акушерок в городе полным-полно!

— А ты не забыла, что Кымыс — кин-эне твоего брата Анчи? — крикнул в ярости Монкуш.

— Все возможно, — сказала Кымыс и медленно поднялась в полной тишине. — Но в деревне акушерок действительно не хватает. Человек должен искать не только где лучше, но и... да, искать, где ты нужен!

Нина махнула рукой, Монкуш опять выступил:

— А как там на фабрике, не выращивают ягнят?

— Это она без мяса соскучилась! — вставил кто-то.

— Вы правильно догадались, на фабриках ягнят не выращивают, — уже иронически улыбалась Нина. — А тебе,

Монкуш, я отвечу. Да и тебе, Кымыс. Вам двоим я отвечу, — сказала она с особым значением, и, кажется, — слезы давили ей горло. — Честное слово, я не вернулась бы в эту дыру, если бы в городе дали хоть какую-нибудь комнатенку! — Она уже хотела сойти с трибуны, но, вспомнив что-то, оглянулась на президиум: — И никакие самые распрекрасные статьи в газетах не могут переделать людей! Зачем человек из города вернется сюда? Что он здесь потерял?

И пошла. А зал поднялся на дыбы. Будто с гор налетел ураган — все кричали, гомонили, волновались.

— Она права!

— Она знает жизнь!

— Она видела, что к чему!

— Кертешева! Кертешева! — окликнул Аргучинов, его острый выбритый подбородок вздрагивал, сухое лицо холодно замкнулось. — Вы член комсомола, Кертешева? — При этом он сердито взглянул на Кымыс.

— Что такое? — задержалась Нина.

— Вы, Кертешева, — дезорганизатор!

— Неужели, товарищ Аргучинов? — Кертешева моргала длинными ресницами.

— Садитесь, — насупился Аргучинов и встал на трибуну: — Современность, товарищи, надо понимать глубже, гораздо глубже, и смотреть на явления более перспективно! Сегодня в наших селах нет газа, нет телевизоров — никто этого не скрывает, еще недостаточно хорошо мы живем. Но ведь только что в своем интересном выступлении товарищ Майчиков говорил, что в его время не было ни тракторов, ни машин, ни школ, ни клуба, а теперь...

— Начинается, — вздохнул кто-то.

Но Аргучинов как не слышал:

— Надо быть оптимистами, товарищи. Глядишь, в скором времени будут в вашем Куулгы и газ и телевизор!..

И тогда поднялся среди людей дед Аба. Аргучинов умолк и смотрел на его маленькую седую голову на сутулых плечах.

— Видать, — сказал своим медленным и глухим голосом Аба, — зарасти-ка все травой, где ходили-гуляли, молоком материнским кормились? Не оглянется молодежь ни на мать, ни на отца, которые дали имя, людьми сделали, — а, видишь, дали бы в городе угол! Ну что же, может, Советам скот не нужен? — Он подождал, безнадежно махнул рукой. — Скоро, скоро уже, вот увидите, горькой полынью и крапивой порастут места, где стоят аилы ваши,

и луга, где ходит скотина. А почему они едут отсюда? — поворачивал он седую серую голову, взглядом ощупывая людей, и остановился на Батыровых, Сюден и Макыше. — Я думаю, основная причина — учеными быть хотят. Все хотят быть учеными, ученее нас! Так говорю, Макыш? — Говорят, ваши дети такие образованные, что родной язык позабыли.

Тари в такт его голосу и словам кивала, поглаживая тощие седые косички.

Будто уголь упал за голенище — так резко вскочила жена Макыша Сюден:

— Куда-ай, бог ты мой, что он говорит, люди? Вы слышали? Верно, верно говорят, дедушка Аба к тому возрасту приближается, когда из ума выживают. Как понять это, люди? Как понять? — Она бойко вертелась на месте, то раскидывая, то прижимая к груди руки, маленькая, толстенькая. — Кто выучился — тоже негоже? В каком советском законе это сказано, а? Кто написал, кто сказал, что людей не надо учить? Посмотрите, подумайте, люди. Взрослый человек, дед офицера! Кейлюк, дедушка Кейлюк, объясните ему, — шумно дышала Сюден, вытирая пот шапкой.

Кейлюк тотчас же поднялся:

— Мне думается, дед Аба частично-то прав, только...

— Куда-ай, бог ты мой, люди! Что сегодня — все с ума посходили? — заверещала Сюден, но Кейлюк рубанул воздух короткой рукой:

— Перестань, перестань, Сюден. Сперва послушай меня, а потом будешь плясать... Хорошо, спасибо тебе, Сюден, что выучила детей. Не пойму только, что ты за человек. Перестань, говорю... О-о, тарахтит! Садись и слушай, мотри у меня... А если язык зудится, поцелуй бороду Макыша.

Зал так и грохнул от смеха. Кымыс, забыв о своем колокольчике, уронила голову на стол и вся затряслась, Аргучинов — и тот улыбался.

— Ну, утихли? — сказал Кейлюк и обратился к молоденькой учительнице. — Скажи мне, Айна Байрамовна, прав я иль нет: как ты думаешь, все ли в порядке в деле воспитания наших детей?

Когда Кейлюк назвал ее по имени-отчеству, Айна покраснела и сидела перед стариком, как ученик, не приготовивший урока.

— Вот я, например, думаю, что в этом деле много упущений, — как можно громче напряг голос Кейлюк. — Уче-

ников не учат в школе, чтобы они любили свою землю, — не вообще советскую землю, а тайгу нашу, огромную и зеленую, как море. Нет, не готовят к тому... Признайтесь-ка, кто из вас учит ребятишек, как учили нас раньше, любить и ласкать новорожденных жеребят, ягнят, телят, а?.. Как нужно за ними ухаживать и кто должен это делать? Есть такие уроки? Есть такая учительница или учитель? Покажите мне их, и я, старик, не постыжусь, поклонюсь им: «Балам, спасибо!» Молчите? Вы и должны молчать. Вместо того, чтобы научить детей любить колхозную землю, скотину, дорожить ею, они ею пугают: «Будешь получать двойки, всю жизнь будешь колхозных коров доить». Так-то вот... Разве я говорю неправду?

— В самую точку попали, — просипела старая Тадыл.

— Но я не учила детей, чтобы они не ходили за скотиной, — оправдывалась Сюден.

— Прению надо кончать! — сказал, вздохнув, Яшнай Яйканаров. — Что же мы тут — до утра сидеть будем? Потом до обеда спать, а когда работать?

— Минуточку, бригадир, — словно только что очнулся, встал Макыш Батыров, провел расческой по длинным, круто завитым усам — его и звали Буденным. Макыш на фронте был каким-никаким командиром, вернулся при орденах, до сих пор носил галифе и китель. И голос у него был густой, четкий, вполне командирский.

— Мы гордиться должны, что многие в Куулгы получили образование. Многие служат, остались в армии, как Эрден. Разве это не честь для алтайца? Кто осмелится сказать Эрдену: «Брось, не служи в Советской Армии, приезжай домой, механизаторов у нас не хватает?» Знаю, не скажете. И мы гордимся перед областью, товарищ Аргучинов, что воспитали таких детей. И сын чабанки Таны известный уже поэт — нужны поэты Алтаю! Бег времени, молодые люди!

— И намотайте себе на ус, — кричал и крутился дед Кейлюк, — все начинается с коровьего навоза и хлеба, что колышется на полях Куулгы, мотрите мне!

Уч-Сюмер серой громадой вылез в рассветном небе, минута — и сверкнули золотисто-белые вершины — коротка летняя ночь!

5

Взяв в колхозе коней, они решили съездить на стоянку тетушки Яманай в Ак-Кеме — когда-то там была стоянка матери Эрдена.

Едва они выехали, миновали первый подъем и кедры начали осенять голубыми крылами тропу то справа, то слева, Эрден стал поглядывать на Фатиму, державшуюся напряженно прямо:

— Ты не устала?

— Нет, что ты, — говорила она, — мне ужасно все нравится. Я никогда такого не видела. Я же говорю, давно живем с отцом на Дальнем Востоке, и там тайга, но такой красоты нету...

— Горы... — улыбался Эрден. — Они подчиняют, захватывают — подоблачные, белоснежные... Видишь вершины, что подперли небо? Они-то и есть священные, там-то и проживают горные духи... Уч-Сюмер — по-русски Трехглавый. Вечные снега...

— Ты знаешь, мне иногда становится жутко. Наслушаюсь сказок, а ночью мерещатся тени древних алтайцев, хозяев гор, топот их богатырских коней, звенят серебром удила...

— Ты скоро стихами заговоришь. Это все горы. У нас много поэтов. Ты, по-моему, устала?

— Ну, хорошо, я устала, — сказала Фатима, морща в улыбке губы.

Эрден спешился, отвел коня в сторону, привязал к лиственнице и протянул руки Фатиме. Обхватив за шею, Фатима скользнула вдоль его тела и замерла, прижавшись нежной смуглой щекой, пахнущей хвоей и свежим ветром, к подбородку мужа. Здесь она вся была другая, новая, и Эрден так любил ее. «Подожди», — шепнул он, отвел с тропы ее коня и бросился в душистую траву. Она стояла, выгнувшись, сплетя руки на затылке, и смотрела на него и улыбалась — он так любил ее!

Они долго лежали в дурманной траве, а кони рядом хватали головки цветов, позвякивая уздечками, и поскрипывал мощный кедр.

— Послушай, может, эти горы и правда волшебные? Я люблю тебя так, как никогда, кажется, не любила, — говорила Фатима.

— Конечно! — смеялся Эрден. — Конечно-оо! — И эхо неслось по горам. — Уч-Сюмер — главный волшебник. Метеостанция здешних мест. Будут ненастные дни или установится вёдро, эти вершины точно предскажут. Как почуют они непогоду, тотчас затуманятся, начнут клубиться темными тучами и кипеть — тучи так и ворочаются. А если предстоит прекрасная погода, они блещут, сияют под солнцем, сыплют во все стороны огненные блики —

вот так-то! В древние времена у подножия их жил человек по имени Казыраш. Было у него три сына: Бамандык, Тадалык и Тартыгаш.

— Это что, новая сказка?

— Слушай... Однажды поехали сыновья Казыраша на охоту и встретили странного марала: на загривке разноцветные лоскуты и ленты, точно кто-то нарочно его украсил. Гонялись они, гонялись за ним целый день. А кони, сильные, ловкие, могли бежать по бревнам и валежникам, как шустрые белки. Нипочем им опасные броды и заграждения. Но марала сыновья Казыраша в тот день так и не убили. Кони устали, и кончились пули. Что делать? Вернувшись домой, рассказали братья отцу о встрече с необыкновенным сыгыном-маралом. А отец их Казыраш был великим шаманом. Три дня шаманил он, выпрашивал марала у самого хозяина гор. На четвертое утро сыновья его вновь отправились на охоту и вернулись с добычей.

— А куда они девали ленты? Женам? На загривке у него действительно были привязаны ленты?

— Кто его знает, я же марала не видел. Но дедушка Аба слышал об этом своими собственными ушами... Ну вот, с той поры весь белый скот передох у Казыраша, стали болеть и умирать по очереди дети.

— О господи, какой ужас!

— Ужасно было и Казырашу. Перепугался кам, разуверился в собственном могуществе. Разбил свой шаманский бубен и сжег одеяния. Даже решил перейти в новую веру. И стал теперь по-другому действовать: привязывал к веткам деревьев кыйру-ленту, карабкался на перевалы, оставлял там дань хозяину тайги, опрыскивал горы молоком белой кобылицы, подкладывал в огонь душистый арчин*. Но ничего не помогало. Тогда он прослышал, что где-то далеко-далеко, в Чойской чаще, есть кам, который и в огне не горит, и в воде не тонет. И послал он к нему младшего сына Тартыгаша... Семь суток камлал тот кам, не переставая, а потом говорит: «Вы убили священного марала, а потому будет хиреть ваш род и до конца гибнуть скот ваш белый».

— Число семь и на Алтае имело особое значение? Ну, и сбылись предсказания?

— Все сбылось. И сам Казыраш, и наследники — все до единого перемерли у подножия Уч-Сюмера. С тех пор ясновидцы, как наш дед Аба, объявили горы священными.

---

* Арчин — можжевельник (*алт.*).

На горы не полагается подниматься, вблизи них нельзя громко кричать, стрелять из ружья. В реках, несущихся с вершин, нельзя ловить выдр черно-золотистых, нельзя стрелять золоторогих маралов. Священные, ясно? Ясно-о? Ясно-о??! — закричал, вскочив, как дикий, Эрден.

— Что ты вопишь? — и Фатима встала, оглядываясь.

И в тот же самый миг раздался топот копыт, Фатима вцепилась в Эрдена. На седловину выскочил снизу белый статный конек, а на нем девчонка в голубых джинсах и сапогах.

— О, это действительно горный дух! — рассмеялся Эрден и крикнул всаднице, под которой крутился конек:

— Кымыс! Здравствуй, Кымыс! Ты куда? Поехали с нами к Яманай!

Кымыс справилась, наконец, с лошадью, угрюмо посмотрела на них и крикнула с отчаянием в голосе:

— Нет! Я к Кертешевой Тарынчак, сына ее посмотреть! — И, рванув с места, кинулась вбок по крутой тропе.

— Ну и девчонка, бесенок какой-то, верно? — засмеялся Эрден, но что-то тенью прошло по его лицу, какая-то неловкость, и Фатима усмехнулась, сказала жестко:

— Смотри-ка, а она влюблена в тебя!

— В нее влюблен Монкуш, — отвернулся Эрден. — А тебе по обычаям нужно помочь ему жениться на ней.

— Тебе было бы приятно?

— Иначе Тари и дедушка Аба перестанут уважать тебя.

— Смотри, как ты беспокоишься об их уважении! А мне показалось, что это ты привез лицензию, — повела она бровью.

Эрден нахмурился, отвязал коня, подвел к жене, и сам, вскочив на своего, выехал на тропу.

Долгое время ехали молча. С тех пор как Эрден с Фатимой прибыл в Куулгы, он как бы заново перелистывал и перечитывал пожелтевшие страницы книги своей здешней жизни — может быть, потому, что рядом была Фатима и он кое-что показывал ей, а кое-что и сам вспоминал невольно. А на этой дороге каждое дерево, каждый камень встряхивали в его памяти какой-нибудь случай, какую-нибудь историю — до сих пор где-то тут, среди гор и полей, бегало его детство.

Один поворот остался до знакомой поляны, Эрден крикнул: «Догоняй!» — взмахнул плетью, дернул поводья и выскочил на солнечный круг у большого аила, который так и обдал сердце горькой радостью.

Кое-как привязав коня, он заскочил в аил:

— Здравствуйте, тетушка Яманай! Как стадо? Как здоровье? — Он бережно взял в широкие ладони сухощавую, со скорбленными пальцами старую руку чабанки, словно приютил в них маленькую взъерошенную пташку. И не сводя глаз с Яманай, улыбался.

Она заторопилась: «Ой, что же я стою!» — качнулась к кадке с чегенем*, взболтала мешалкой, налила в пиалу, подала Эрдену и в свою очередь осведомилась:

— Ну, как ты служишь, когда приехал к своим?

Залилась лаем собака, и чабанка из аила крикнула на нее:

— Чик, перестань! Спятила, что ли? Человек давно сидит в аиле, а она взъелась на коня у коновязи...

— Нет, тетушка Яманай, — все улыбался Эрден, — там еще один человек едет.

— Разве? — удивилась Яманай и вышла вслед за Эрденом. — Чик-чик, Тайгыл! — Она подняла с земли корявый сук, и собака тут же припала к земле, прижав уши и виляя пушистым хвостом, подползла к хозяйке.

Фатима еще издали поклонилась и, соскочив с коня, боком прошла вперед, косясь на огромного волкодава.

— Познакомьтесь, тетушка Яманай, — представил Эрден жену.

— Он все-таки дикарь, — пожаловалась Фатима, — ускакал от меня, бросил! — Она строго смотрела на него, а лицо ее смеялось.

И Эрден смеялся, и довольный, объяснил Фатиме, что перед нею стоит передовая чабанка и... самая первая трактористка колхоза!

— Опять новая сказка! — засмеялась Фатима, вглядываясь в загорелую до черноты, круглолицую пожилую Яманай.

— Трактор — это уже в прошлом, Эрден, я давно забыла. — Яманай по привычке прикрывала ладошкой высохшие губы, будто чувствуя неловкость за то, что давно выпали ее красивые крепкие зубы. А вокруг глаз так и двигалась частая паутина морщин.

Нет, Эрден не собирался рассказывать очередную сказку. Эта высокая худощавая немолодая женщина, которая

---

* Чегень — кислое молоко, из которого приготовляют араку и сыр-курут.

беспокойно ходила взад-вперед, возилась с посудой, хлопотала, чтобы попотчевать гостей, в самом деле была первой трактористкой колхоза «Кызыл-Мааны».

Трактора в Горный Алтай пришли только после войны. До того пахали лошадьми — лучше не вспоминать о тех временах, пусть остаются во тьме годов. Взрослых сильных коней отправляли на фронт, колхозу оставались двухгодовалые стригуны. Особенно трудно приходилось весной, когда кончались корма.

За плугами плелись женщины да четырнадцати-пятнадцатилетние мальчишки. От голода и усталости падали на ходу и были не в силах подняться. Падали не только люди, падали лошади.

Кончалась война, когда объявили, что людей посылают учиться на трактористов. В колхозе не нашли подходящих парней или мужчин и направили из «Кызыл-Мааны» на курсы Яманай. Сколько же было ей лет? Года двадцать четыре или пять... А Эрдену всего только шесть, может, семь. Был бы старше, стать бы ему одним из первых трактористов в горах.

Эрден все помнит отлично: стоял месяц малой жары, люди готовились к сенокосу. Однажды в деревне услышали шум и треск, раздававшиеся по горам и падям. На дорогу вылезло что-то черное, и ближе, все ближе подползало оно к Куулгы, испуская дым и пар, — дух доносился смрадный.

Женщины побросали дела и глазели на чудище. Иные, не решаясь покинуть юрту, приоткрывали двери, следили, как «оно» лезет. От гула сотрясались аилы, того и гляди попáдает посуда.

Когда трактор приблизился, женщины, как по тревоге, заметались, хватая мальчишек, рвавшихся посмотреть. Но куда там, где пацанов удержать! Они хоть и побаивались подходить к «железному коню», все же встретили его у околицы и бежали, держась поодаль.

Дед Аба не выходил из аила, даже не смел о том и подумать. Худые пальцы тряслись, губы шевелились в молитвах к небесам и хозяевам гор.

В это время прибежал Эрден.

— Дедушка Аба! — выдохнул он взволнованно и объявил: — Трактор приполз! — Дед молчал, Эрден повторил: — Приполз, говорю, трактор! Что вы сидите-то, ну пойдемте же, поглядим.

— Эйт! — вздрогнул дед брезгливо и испуганно, приподняв маленькое, всего-то с пригоршню, печальное лицо,

взглянул на Эрдена странными глазами, долго гладил сухими заскорузлыми ладонями белые волосы, медленно повернулся к Эрдену, поинтересовался: — А как эта беда появилась — по земле приползла или летела под облаками?

— Своим ходом пришел! — выпалил Эрден радостно. — Пойдем поглядим, какие глаза у него — как луны!

— Как луны, говоришь? — удивился Аба. — А какой же он масти?

— Не-ет, Аба, он весь черный, железный.

— Значит, железно-черный?! — Аба крепко сжал ладонями старческие щеки, словно хватил его приступ зубной боли. — Точно! Таким он и должен быть! Я же предвидел еще месяц назад! — И Аба преобразился, приосанился и долгим взглядом мудреца, прищурившись, смотрел на красные угли гаснущего очага.

Тогда еще была жива мать Эрдена, но ей не пришлось увидеть, как прибыл трактор, — она пасла на альпийских лугах на вершине Ак-Кем бруцеллезных коров — их ежегодно отправляли туда на жировку.

Была бы жива Мекечи, радовалась бы теперь, гордилась бы: «Мой младший, Монкуш, тракторист». А возможно, и не так, возможно, утаила бы радость под сердцем, как маленького ребенка: теперь людей мало что удивляет.

Теперь не только люди, но и скот изменился. Идет машина, а она, корова-то, ляжет поперек дороги как ни в чем ни бывало и жует себе жвачку. Знает, что не задавят, объедут. Тогда же...

— Ах, страх ведь это! — говорили люди, глазея на трактор. — Наверное, нет сердца у того батыра, который пригнал это чудо.

— Ба-ата-а! — изумлялись. — Пахнет-то как! — И прикрывали рты рукавами шуб.

Нет, кто все же пригнал его?

— Были люди, у которых два сердца. Может, кто-то из них?

Когда трактор встал у колхозной конторы и из кабины вылезла Яманай, люди глазам не поверили: она была в синем комбинезоне и в платке, точно русская.

— Яманай?!

— О, кудай мой — бог ты мой, чего только не увидишь, покуда жив!

Яманай сходила в контору и вышла и, улыбаясь во все свое круглое лицо, смотрела на народ, когда прибежала мать и закричала еще издали:

— Это правду ты, балам, ты, Яманай? — И она заплакала. — Как же мне теперь жить?

— Мама, подойди сюда, сядь-ка вот рядом, сюда вот...

— Нет, дочка, нет, и не зови, не пойду, — отмахивалась мать. — Нет, дочка, нет. Только ты его, своего трактора, к аилу не подгоняй, балам. Фу, фу!.. Одна приходи, балам, одна.

Яманай завела машину, люди кинулись кто куда — зашуршали обутки и шубы. Может, это неправда, но говорят, кто-то в страхе бросил шапкой в трактор. Мать Яманай — а это уж точно! — хотела тоже бежать, но, запнувшись о полу, упала, запричитала:

— Не наехай на мать, пожалуйста, не наехай на старую свою мать, балам, не... Тяни поводья в сторону, балам, не задави свою старую мать, балам!..

Годы, годы... Далеко они, не вернутся. Но иногда, как живые, они приподнимаются и шевелятся в сердце.

Осенний день того года, когда она начала вспашку зяби, стал не простым днем, а праздником. Что говорить, на поле пришли все, и стар и млад. Всем было любопытно, как это трактор пашет, — это Эрден хорошо помнил.

Дойдя до места, трактор остановился. Парень, которого все называли прицепщиком, опустил лемеха плуга, и трактор двинулся, оставляя за собой борозды. Аккуратные пласты выкладывались равномерно, точно листы читаемой книги... Люди шли за трактором. Были плакаты и флаги. Старики, нагнувшись к борозде, брали в руки землю, смотрели, подносили к носу, нюхали.

— Да, что и говорить, силен, силен!

День и ночь резали колхозники для тракторного газогенератора березовые полешки. И Эрдену приходилось колоть их на маленькие конусообразные и квадратные чурочки.

Яманай была белолица, но ее все равно прозвали Черною силой. Сперва она, конечно, сердилась, потом привыкла, пусть кличут, она же не черная, не железная.

А годы шли. Стала увеличиваться пахотная земля «Кызыл-Мааны».

— Если продержится мир на земле, то скоро достигнем довоенного уровня жизни, — говорили люди. — Заплата к заплате — и дыры не видать.

— Свое отработал Черный богатырь, одно воспоминание осталось, — смеется Яманай.

В аиле жарко от большого костра, на котором хозяйка готовит угощение. Да и на дворе ясный солнечный день. У Яманай на кончике носа блестят бисеринки пота, это у нее всегда: чуть пригубит араки — потеет.

— Отработал, отработал свое Черный богатырь, — повторяет Яманай. — И дети выросли, и трудности забылись...

— Ехал — ничего не узнавал, — сказал Эрден. — Все кругом перепахано. Трактора добрались до Ак-Кема и Сообека.

— Точно, — подтвердила она, — всюду сеют овес на зеленку и ячмень.

— Когда была жива мама, — загрустил вдруг Эрден,— сколько пришлось мне побегать тут по полям за телятами. Первый раз я тут разбился, первые колючки впивались тут в мои пятки.

Яманай чуть пригубила чоочей с аракой и в знак уважения подала его жене Эрдена.

— Выпей-ка за меня, — сказала она и торопливо вернулась к прежнему разговору, испугавшись, что печальные воспоминания одолеют Эрдена. — Теперь в колхозе много разных машин!

Фатима тоже только пригубила чоочей и подала обратно хозяйке:

— Поделимся! Недаром сказано, что пить из одного чоочея слаще, ехать на одном коне мягче.

— Да ты совсем наша! — похвалила Яманай. Конечно, не за возвращенный чоочей, а за почитание обычая.

— Давно за руль не садились? — глядя на круглое доброе лицо Яманай, поинтересовался Эрден. — Забыли, наверное, все.

— Да, давно было дело, — согласилась Яманай. — Потом чабанить стала, потом дояркой, теперь снова пасу овечек с Рамазаном... Идут годы...

Она снова наполнила аракой фарфоровый сосуд и поднесла Эрдену:

— Ты, Эрден, из рода майман, так что приходишься мне племянником. Хорошо, что не забываешь. В тайгу мало кто заглядывает, иногда и взгрустнется... Дети выросли, разъехались кто куда.

— А я что-то забыл, сколько у вас детей?

— Четверо, — охотно пояснила она; было видно, детьми Яманай гордится, довольна, что поставила на ноги. — Старший семьей обзавелся, жена у него нездешняя, из Ябоганской долины, там и живут. Другой работает неда-

леко, учителем в Усть-Каракольской школе. Рамазан со мной, а Мара в Хакасии, артистка она у меня, в Москве училась.

— Значит, из Хакасии ждете сватов? Я был в Абакане, там много хороших джигитов.

— Теперь все пути-дороги переплелись. — Яманай кинула взгляд на жену Эрдена. — А у тебя родители живы-здоровы, дочка?

Фатима коротко ответила, что отец у нее жив. Яманай кивнула и тотчас предложила что-нибудь спеть, и сама затянула протяжно и пронзительно:

Думала, приедет дядя,
Стала сушить сурочье мясо.
Не дождавшись дяди,
Долго плакала на каменистом бугре...

— Жену, Эрден, научи петь по-алтайски, тогда совсем ладно будет, — засмеялась, закивала она головой. — Ну, давай, давай, запевай теперь ты.

Эрден не отказывался. Голос у него был просторный, легкий, и были это песни земли, сохранившей следы его детства:

Мы не вершины двух гор,
Живы будем — встретимся снова...

Яманай подхватила:

Глядя на следы проскакавшего коня,
Узнаем, какой он был масти...

Голоса их слились. Песня дрожала, уносясь по хребтам, задевала зеленые крылья лесов, что качались у подножья Уч-Сюмера.

Горы, близкие и далекие, слушали песню. Фатима, сидя на белой кошме возле жаркого очага, покачивалась в такт. Потом она прилегла и слушала, потом ей стало казаться, что она и сама поет, хотя и не знает слов...

— Смотри-ка, Эрден, — шепнула Яманай, дотронувшись до его руки.

Темная стриженая голова Фатимы резко выделялась на белой кошме, строгие черты, как всегда во сне, распустились, в лице обозначилась какая-то беззащитность, отчего сердце у Эрдена защемило, и он почему-то подумал: «Если бы жива была мама!..»

День угасал. Вершины Уч-Сюмера сияли еще ослепительней — солнце жгло их последним огнем. Становилось заметно прохладнее — так всегда становилось здесь в конце дня, еще когда Эрден жил с матерью вот в таком же аиле, притулившемся у красной скалы. Лиственницы, тогда молоденькие, теперь разрослись, раскорячились и, изогнутые, нескладные, кружили по скалам, словно исполняли шаманский танец.

Эрден карабкался наверх и узнавал расселины, по которым лазил мальчишкой. Отсюда загоны и кошары, отстроенные заново, но уже посеревшие от непогод, казались старее, и легко было представить, что когда-то все было, и вот-вот выбежит мать из аила, приставит ладони ко рту, закричит: «Где ты, Эрден? Солнце уже садится! Давай...» Она в кирзовых сапогах, в старой, наброшенной на плечи шубе, с косами из-под круглой бархатной шапки, опушенной белкой. «Если б не ходила за бруцеллезными коровами, может, и теперь была бы жива», — со стесненным сердцем подумал Эрден.

Ему живо представились те далекие зимние дни, тащившиеся со скрипом и шатанием, как тяжело груженные старые сани. Так и слышались ему вздохи коровьи, голодный рев и мычание.

А заболеет, бывало, мать — Эрдену чистить хлева. А мать, полулежа возле холодной железной печки, мучительно кашляет и тихо бесслезно плачет. С нетерпением ждал мальчик, когда пройдут морозы. Он уже знал, что, как бы ни было трудно, лето принесет облегчение, обласкает коротким счастьем. Они с матерью переедут на джайлау, разобьют аил возле озерка Ары-Кем. Много лет подряд стояли там коровы, земля унавозилась, а потому травы там густы и выше человеческой головы. И растет во множестве кандык — таежный цветок со сладкими корнями. Есть места, где он толпится гурьбой. Сейчас небось малиновые цветы его опали, тяжелые головки созрели, раздались, набухли зернами, нагнулись к земле, путаясь в листьях, узких и дрожащих подобно язычкам уставших собак. Таежная земля влажная, мягкая. Чуть копнешь — и покажутся белые корни.

Летом хорошо детям доярок и пастухов — как ни говори, молока пьешь вволю, из него же можно делать творог и курут*.

А настанет осень — время обуви и теплых одежд, за-

* Курут — копченый сыр (*алт.*).

ноет, сожмется от боли маленькое сердце. Оттого, наверное, и спросил Эрден однажды зимой у матери:

— Мам, а почему бы нам завтра с утра не перекочевать на джайлау?

— А что мы там будем делать в тайге?

— А лето же там осталось? Тепло там, кандык растет, будем делать творог и сыр.

Мать прижала к себе сынишку, долго-долго гладила по черным жестким волосам и шептала:

— Глупенький ты мой, несмышленыш ты мой...

Одну из весен Эрдену никогда не забыть. Хоть и захочешь, так нет — крепко вцепился тот день в память.

Проснулся однажды Эрден и услыхал, как где-то близко кукует и кукует кукушка. Выскочил он на волю. Казалось, от кукованья весь мир в то утро изменился: неистово зеленели леса и горы, теплынь наполняла простором долины, а под куполом исчерна-синего неба, пропахшего свежим ветром, звучало и звучало: «Кук-ку, кук-ку». Мальчишке бежать бы, лететь, но застыл недвижимый.

— Вот и кукушка вернулась — значит, настало лето,— обрадованно произнес материн голос. А он даже и не заметил, когда она подошла. — Это первая нынче кукушка. Ты каким ее ухом услышал: правым или левым?

— Правым, — не задумываясь, ответил Эрден. — Лесистая гора на правой же стороне, мама...

— Якши, якши, балам, хорошо, — обрадовалась Мекечи. — Если верить старикам, ты будешь счастливым. Может, скоро, на твое счастье, отец с фронта вернется.

Как она была в то время молода и красива! Глаза удивленные, карие, сильно суженные к концам, как у оленя, а тонкое смуглое лицо кончалось остреньким нежным подбородком.

— Вернется отец, вернется отец! — стал тут же скакать и бегать вокруг нее мальчишка.

И в самом деле, немного прошло с того дня, и все города и веси Алтая облетела радостная весть: «Война окончена! Победа за нами!»

Заклубится, бывало, дорожная пыль, покажется в ее дымке гонец, и снова услышишь: «Конец проклятому фашизму!»

В один из таких полных ожидания дней на стоянку Мекечи из деревни прибыли люди и за чаепитием сообщили, что вернулся с войны Кумдус, что он без ноги, но все же будет теперь среди детей и родных, родным воздухом дышать, белизной алтайских вершин любоваться.

Мекечи взяла Эрдена и спустилась с ним в деревню.

В анл Кумдуса набилось множество народа. Приходили поздороваться с фронтовиком, сидели, разговаривали, расспрашивали о том о сем, но у всех была одна тайная мысль — услыхать о своих близких.

— Как хорошо, что вернулся, молодец, сынок, хоть живым остался! — говорили Кумдусу, опасливо косясь на его грубый протез.

Кто-нибудь тут же справлялся:

— А тебе не случалось, Кумдус, повстречать там моего сынка?

Мекечи, держа Эрдена, с трудом пробилась вперед, протянула руку Кумдусу. Неожиданно взгляд ее упал на безжизненную его деревяшку, и из глаз ее покатились скользкие и тяжелые, как крупинки ртути, слезы. Опомнившись, она развязала ветхий, когда-то красный кушак, вытерла концом глаза и подтолкнула Эрдена поближе:

— Человек этот, балам, воевал вместе с твоим отцом. Не стесняйся, подойди, балам, спроси, когда приедет отец.

Эрден стушевался, попятился, стараясь спрятаться за мать.

— Так чьим же ты будешь сынком? — настойчиво и в то же время ласково допытывался Кумдус. — Хорошие дети не забывают своих отцов, ну-ка, скажи мне?

Эрден, опустив голову, шмыгал носом, и все же маленькие острые глаза его косили исподлобья на незнакомца.

— Чей же ты будешь? Скажи, сынок?

И мальчик упавшим, не своим голосом вдруг прошептал:

— Я сын Учура.

— Чей, чей, говоришь? Прослушал я, — подтрунивал Кумдус, — а ну-ка, повтори, богатырь!

— У ч у р а! — наконец более чем внятно выпалил Эрден.

— Молодец-то какой, а! Как солдат отвечает! — похвалил Кумдус. — Быть тебе генералом! Ведь отец твой, Учур, самый меткий у нас стрелок, он и на войне крошил зверя направо-налево. А теперь скажи мне, сынок, из какого ты сеока?

Эрден совсем осмелел, отчеканил:

— Май-ман.

— Вот молодец, знает все как свои пять пальцев! — Кумдус и в самом деле удивленно и живо смотрел на всех и довольно смеялся. — А имя-то я и забыл спросить, давай познакомимся?

— Эрден.

— Ну и ладно, вполне знакомы. — Кумдус запустил волосатую руку в вещевой мешок и вынул маленькую штучку, завернутую в цветастую бумажку.— На-ка, держи, скоро твой папа приедет и привезет тогда больше, целый мешок.

Будто и правда муж должен завтра прибыть домой, Мекечи облегченно вздохнула, просияла лицом, выпрямилась, благодарно улыбнулась всем и вышла.

Не выпуская ручки Эрдена, она заторопилась к старикам Аба и Тари. Эрден вырвался, помчался вперед, еле касаясь голыми пятками земли, показывая знакомым мальчишкам красивую штучку в цветистой бумажке:

— И мой папа едет! Завтра же будет дома! Не веришь, пойди, узнай у дяди Кумдуса.

Едва переступив низенький порог, Эрден объявил:

— Завтра отец приедет!

Аба, прогревавший кости у очага, приподнялся:

— Кто принес тебе эту радость, балам?

— Дядя Кумдус, он и маме сказал только что! Ну, скажи же, мама!

— Правда? — засуетилась Тари.

— А мне об этом известно, — солидно кашлянул дед.— Ведь за несколько дней я могу кое-что наперед предвидеть!

— А дядя Кумдус меня еще угостил, вот, сладенькое, компет называется. — И Эрден совал всем по очереди попробовать и понюхать «компет» и не забывал прихвастнуть, что отец привезет целый мешок. — А какой командир дядя Кумдус, если бы вы видели! — Эрден, вспомнив о чем-то, оглянулся на мать вопросительно: — А наш папа тоже без ноги придет, да?

Вопрос, как невидимый меч, повис в воздухе, никто ничего не ответил.

Мекечи верила, что Учур скоро вернется. Верила и ждала. Один за другим возвращались фронтовики. Много раз Мекечи седлала коня, сажала за спину Эрдена и спускалась с далеких стоянок в деревню. Но не нашлось человека, кто сказал бы ей, что воевал с Учуром, мол, на одном фронте или мимоходом столкнулся на поле боя. И все же верила, что Учур — не сегодня, так завтра приедет.

Потянулись дни надежд и ожиданий.

— Я сегодня во сне его видела,— скажет, бывало, Мекечи заехавшим на ее стоянку гостям. — Будто перехо-

дит он через реку, во все стороны брызги летят, глаза так и сверкают, черные-пречерные, — так торопится мне навстречу.

Не раз Эрден прерывал ее:

— Мам, ты сон этот сколько уже рассказываешь, а отца все нету и нету.

— Так он же далеко, как же может быстро добраться? — успокаивала Мекечи. — Ты смотри только не прокарауль, он обязательно будет!

Шаг за шагом, как вьючные кони по узкой тропе, тянулись дни и месяцы. Многие женщины, получив похоронный лист, извещавший, что муж или брат геройски погиб за Родину, выплакали все слезы и навсегда расстались с надеждой.

Похоронку об Учуре Мекечи не получала. Но стала она хмурой и молчаливой. Нелюдимой даже. И жила никому не известной уединенной жизнью. Пасла бруцеллезных коров, и заботы и тяготы ее ничем не отличались от забот и тягот других пастухов колхоза с ярким, как весенний мак, названием «Кызыл-Мааны» — «Красное знамя».

Только Эрден знал, как вечерами, а иногда даже днем, сидя возле коров и глядя на дорогу, ползущую черным арканом к их стоянке, мать безутешно подолгу плакала и тяжко вздыхала.

Прошел еще год. Чего только не делала Мекечи, чтобы разузнать о судьбе мужа. И к разным ярынчи* ходила тайно, пытаясь прочесть участь Учура по обожженной на костре бараньей лопатке, и к старухе-ворожейке в Онгудай ездила, свезла мяса, масла да шерсти, смотрела вместе с ней в зеркало. Все они говорили, как две капли воды, похожее: велели верить и ждать — Учур ее был далеко где-то, но жив и здоров.

И Мекечи ждала. Иногда, чтоб разогнать тоску, облегчала сердце песнями ожидания:

Есть звезда Тети-Каан,
Семь кругов ей бежать до утра.
Где моя отрада и звезда,
Добежит ли она до меня?

...Из аила в аил ходила цыганка, гадала на картах. Люди хотели знать, куда повернет путь-дорогу всемогущая матушка-судьба. Мекечи тоже не выдержала, приехала в деревню, но опоздала — цыганка уже исчезла. Говорили, что ушла недавно и, наверное, пылит где-нибудь по

* Ярынчи — знахарь, колдун (*алт.*).

проселку. Пешком, конечно, цыганка уйти далеко не могла, и Мекечи решила ее догнать. Настегивая коня справа и слева, помчалась она вслед, будто торопилась встретить мужа, будто сказали ей, что навстречу Учур шагает.

Прошло примерно столько времени, сколько понадобилось бы, чтобы выкурить трубку, и она догнала цыганку. Так и ходили бока коня от быстрого бега. На ходу спрыгнув на землю, Мекечи робко, словно виноватая, подошла к цыганке.

Та догадалась, зачем Мекечи гнала так коня, и без слов присела на круглый камень у дороги. Прежде чем разложить разноцветные карты на подоле широченной черной юбки с красной оборкой, цыганка опытными и в то же время грустными глазами со значением вглядывалась в алтайку. А глаза молодой алтайки были потухшие, тень утраты и огромной усталости надвинулась на лицо. И старой цыганке стало вдруг жаль ее, измученную. Но святое это чувство как возникло внезапно, так и исчезло. Она протянула черную жилистую руку:

— Положено позолотить, дорогая.

У Мекечи не было ничего. Второпях она забыла, оставила дома, что надо было положить в эту руку.

— А если я тебе скажу всю правду, как есть, не будешь сердиться? — загадочно прошептали губы гадалки. — Мне все известно, милая. Но тебе ведь нечем ручку позолотить.

— Скажите мне только правду, жив ли он?.. Я... Я хочу все знать, скажите. А подарок будет! Хочешь, теленка дам, торбока, хочешь, шкуру возьми, шерсти, только скажи, жив ли мой? — почти молилась перед старухой Мекечи, неизвестно почему перейдя на «ты».

Цыганка, шевеля, как в ознобе, высохшими губами, трясла седой головой. Жилистыми руками она начала тасовать и раскидывать карты. Обнажив вставные зубы, сладенько, как маленькой, улыбнулась:

— У тебя, видать, есть дома баранчук?

— Есть, есть.

— Вот видишь, правильно говорю? Ты пастушка или чабанка?

— Пастых я... Ну скажите, скажи ты мне скорей, не видать ли там моего Учура? — Мекечи волновалась, кивала остреньким подбородком на карты.

— Ай-ай, красавица, не торопи, — покачала головой старая.

А конь Мекечи понурив голову стоял рядом и тоже ждал.

— Пойми ты меня, говори, где Учур мой?! — взорвалась вдруг Мекечи и привстала.

— Ай-ай, милая-я! Успокойся, сейчас... — Цыганка вздохнула протяжно: — Да-а... Закрыта дорожка для него, — заключила она и хотела было складывать карты.

Но тут Мекечи истошно крикнула, оленьи глаза ее распахнулись, остановились, и она потеряла дыхание.

Испуганно заметалась гадалка. Но Мекечи очнулась и, как волчица, у которой охотник отбирает волчат, яростно бросилась на старуху и прижала ее к земле.

— Врешь, — кричала и хрипела она. — Врешь!

У старухи со страху вышибло все слова из ума, и она в тон Мекечи вопила:

— Врешь, врешь! — И выходило так, будто они передразнивали друг друга.

Долго не могла совладать с собой Мекечи в тот день. Она то сердилась на цыганку, то винила себя и каялась, что погналась за нею: теперь не было бы так тягостно.

Она старалась забыть испещренное морщинами темное лицо и угасающие глаза. Но они все время всплывали в ее сознании и возникали слова: «Да-а, закрыта дорога его назад».

Надежда на возвращение мужа не сразу покинула Мекечи, не сразу погасла в ней. Она еще теплилась в глубине, но постепенно теряла силу и уверенность. Та, прежняя вера была глубокая, стойкая.

Бежали дни, месяцы, и как-то незаметно начали рваться нити золотой надежды, как струны топшура...

Стоял на дворе месяц возрождения — тулаан*, и безоблачным был весенний день. В такие дни любо чабанам, пасущим овец на солнечном склоне. Солнце подогревает бока горы, они исходят паром и прохладою. Вокруг просторно, далеко видать и пахнет весною. В сумрачном, пропитанном дымом аиле сидеть неохота, так и тянет на воздух, хочется дышать им, вбирать его в себя, бродить под ярким солнцем. Недаром говорят в народе: в месяц возрождения все оживает, суслики и те из нор выскакивают поглядеть на солнышко.

Как бы там ни было, но Мекечи не пришлось в тот день выйти из аила. Напротив, с соседних стоянок, по одной и по две, верхами и пешком, тянулись к ней женщины. Как

---

* Тулаан — апрель (*алт.*).

же, надо оказать помощь Мекечи! Мекечи тяжко! Довольно до ближней юрты долететь новой вести, а дальше она найдет дорогу...

Прошло несколько дней, и с гор, как весенние ручьи, побежали слухи по Куулгы:

— Вы не слышали — Мекечи родила?

— Бронтовики дают о себе знать...

— На кого похож новорожденный?

— Трудно сказать.

— Хи-хи-хи.

— Сколько можно ждать бедной мужа!

— Говорят, мальчик, что ли? Ничего, когда-нибудь да будет мужчиной, кошма тянется, человек растет.

— Да если говорите, что из рода телос, так ждите: не простым человеком будет, я не зря болтаю, посмотрите...

Вот такой пошел разговор по белу свету, когда в месяц возрождения в год 1951 родился Монкуш.

Услыхав, что дочь принесла суразенка, дед Аба не пришел в ярость. Как обычно, он был покоен, будто ничего не случилось. Думал, долго курил, а под конец обронил негромко:

— Что же, это неплохо. Что плохого в том, что ребенок родился? Суждено ему богом жить под солнцем, значит — должен был появиться.

Но тетушка Тари поднялась на дыбы. Лицо ее съежилось, точно сухая береста, брошенная в огонь:

— Как смотреть-то теперь на людей?! Бессовестная! Что сказать, где найти оправдание, если вернется Учур, твой единственный зять?!

Аба тут же закрыл ей рот:

— Хватит, не болтай! Перестала верить, что ли, в меня, или до тебя не доходит, что я давно уже знаю: Учура нет больше. Он давно на том свете, нечего и ждать...

Не сразу потушишь пламя, если вспыхнула береста. Тари не унималась:

— Нет, люди, нет! Передайте ей, пусть забудет как открывается наша дверь! Пусть на глаза не показывается со своим суразенком!

С тех пор и Эрдену было как-то неловко перед людьми. Он тоже сердился на мать. Вернувшись летом на каникулы из Онгудая, где теперь учился и жил в интернате, он не торопился съездить к матери на стоянку. Жил в деревне, работал в сенокосной бригаде, вечерами возвращался к Аба и Тари.

И Мекечи не спускалась в деревню. Зимою и летом —

все на стоянке, все на работе. Изредка лишь появлялась ради старшего сына — ей хотелось взглянуть на Эрдена хоть издали. А в зимние месяцы она не забывала послать через людей в Онгудай толкан* и масло и только просила: «Скажите, что от бабушки с дедушкой».

...Когда отец уезжал на фронт, Эрдену было всего три года. Обычно, придя с работы, он играл с первенцем, вскидывал его, приговаривал:

— Если б мог я достать золотую луну, достал бы тебе, сынок, а ты катал бы ее по полу колесом! Катал бы, а?

Эрден тогда даже не представлял, что отец уедет куда-то и не вернется. Отец мог уехать на день — на два, но не больше. И теперь он помнился смутно. Но не забыл — это он точно помнит — смех и слова его: «Если б сумел я достать луну, ты бы катал ее по полу колесом...»

А Монкуша, младшего брата Эрдена, никто, кроме матери, не ласкал. Когда у него показались первые зубки, никто не улыбался широкой и доброй улыбкой, никто не прижимал его к сильной груди сильной рукой. Монкуш привык кочевать с матерью по стойбищам. Когда настала пора идти в школу, он впервые увидел деревню и удивился. Он думал, что на свете живут лишь телята да горы, цветы да травы, а среди них мальчики, гоняющие телят...

Идут годы... Вот опять на Алтае лето, и непрестанно кукуют кукушки у подножия Уч-Сюмера. Они, вероятно, и сами не знают, сколько радости принесли и скоту, и людям. Ведь зимою их, кукушек, у подножия Уч-Сюмера не бывает...

6

Дня четыре ходил Эрден по гостям, по знакомым аилам, угощался аракой, потом рыбачил на Куулгы, съездил к Яманай, показал Фатиме дорожки своего детства, а Фатиму представил родным горам и ущельям. А тут как раз подоспел сенокос, и Эрден, как и в прошлые приезды, только теперь с Фатимой, прибыл в бригаду, что готовила сено в урочище Ак-Кообы. А Монкуш еще где-то докашивал луга.

Месяц малой жары густо пахнул скошенным сеном, обдавал разнотравьем. Небо и горы смыкались, прессуя едкие, острые, сладкие запахи. В долинах в плотных травах мелькали молниями косы, шуршали, вжикали. Фыркали

* Толкан — жареный ячмень (*алт.*).

в зарослях спутанные кони. То тут, то там взрывался смех, кто-то затягивал песню...

Фатима в неизменных полосатых синих брючках и в белой кепчонке, надвинутой на нос, шла с граблями в ряду женщин и девушек, равняла валы, собирала копны.

Эрден работал у зарода. У стогометчиков имелся кой-какой запасец «для промочки горлышка» в тажауре из бычьей кожи. Когда солнце сползло к горам, а воздух ощутимо посвежел, мужчины стали все чаще отирать пот, останавливались, косились туда, где припрятали тажаур. Комары не давали покоя.

Едва закончив вершить, метчики расселись в тени стога, закурили. Закурили — заговорили. О войне, пожравшей лучших богатырей Куулгы, обобравшей колхоз, о том, как бы устроилось так, чтобы война и не снилась людям.

А Эрдену, конечно, вспомнилось военное деревенское детство, горькое и сладкое одновременно: игры в войну, несомненно такую же, какую вели взрослые, драки с ребятами, ловушки для сусликов и кротов, петли для зайцев.

— Как ни придешь — нету, как ни придешь — пусто,— рассказывал он едва ли не с прежним мальчишечьим азартом. — А раз подходим — в петле мечется заяц.

— Вот радость-то! — хихикнул кто-то.

— Радость-то радость, да была она преждевременной,— засмеялся Эрден, вздохнув. — «Заяц, глянь, заяц!» — заорали мы, бросились сломя голову, а он с перепугу рванулся, порвал петлю и был таков...

— Это же точно, как Монкуш охотился! — опять засмеялся кто-то. — Расскажи, Ямандик.

— Бросьте, ребята...

— Нашли кого упрашивать. Да чего там, давайте я расскажу, — вызвался один из парней. — Решили мы на охоту сходить в Ойбок. Ну, рассадили людей по местам и пошли будоражить, гнать на них косуль. Слышим выстрел как раз там, где Монкуш уселся. Дело недолгое, далеко разве? Наскочили: «Ну как?» — кричим, а Монкуш вот этаким манером показывает: «Свалил, конечно, вон дрыгает ножками в траве, идите-ка обдерите шкуру!» Глядим — правда козел. И чуть за ноги уже не взялись, а он как вскочит — и нету. Правда ведь, а, Ямандик?

Ямандик усмехнулся. А чего тут говорить? Все и так понимали, пуля едва не задела козла, он и грохнулся в обморок, а Монкуш от радости — «обдерите шкуру».

— Ничего, попадет в армию, научится точно бить, — сказал Эрден. — И охотником станет, вот увидите.

Хорошо в такие-то вечера! Тихо ноют спина и плечи, подувают с полей прохладные ветерки, колеблют огонь на земле. Солнышком мигает огромный костер. С наслаждением тянешь горячий чай, слушая всякую всячину. Кажется, и природа стихает, прислушиваясь.

Где-то в овраге журчит, разговаривает речушка. От травы и лесной чащи веет теплом. Мелькают таинственные тени. Красным джайраном, медленно удаляясь, скачет луна по горам. Только что сметанные зароды задумались под сумрачным небом. В росистой траве поют, подзадоривая друг друга, перепелки. В углах шалаша, крытого сеном, шуршат мыши.

Люди угомонились. Кое-кто стелет на ночь. Эрден закурил сигарету, задумчиво глядя в огонь, лежащий перед ним.

— А скажите, Эрден, в чужих городах вы тоскуете по Куулгы? — нерешительно произнес вдруг девичий голос рядом с Фатимой.

Он покосился, всматриваясь. Девушка, крупная, с полными развитыми плечами, округлыми руками, напоминала кого-то, но он не мог сообразить — кого.

— А мне ведь не узнать, совсем другое поколение выросло, — сказал он. — Остается только спросить: чья вы дочка?

— Кертешева она. Камылды Кертешева — помнишь?— сказала тетушка Эштен.

— Вон оно что! — Эрден смотрел на Нину Кертешеву удивленными глазами, думая, что девчонка пошла по отцу, — Камылды костистый, здоровый был парень, и вон уже какая дочь у него. — Ну, как поживает отец, что делает?

— Пасет овец, — ответила Нина коротко и потупилась. Эрдену показалось, что она покраснела.

— А что ж, — сказал он. — Значит, силенка еще имеется.

Нина подняла глаза, будто хотела что-то спросить, но Эрден будто не заметил, обратился к высокому тощему старику, по другую сторону костра неторопливо глотавшему чай из пиалы, сделанной из березового нароста.

— Дедушка Кондюбей, по скольку нам было лет, когда возили копны в вашей бригаде? Камылды уже отцом сделался. Ох, и работали!

— Бывало, как установится ведро, никто не знал отдыха. Стога вершили даже под луной, не то что теперь, — недовольно отозвался дед, схлебывая чай. — Теперь зарод

еще не готов, тучи нависли, вот-вот дождь хлынет, а парни на часы смотрят — подошло к шести, все бросят, на коней — и в деревню, точно срочный приказ получили.

— Вечно ты, Кондюбей, недоволен молодежью, будто они тебе ноги оттоптали, — проворчала тетушка Эштен и подбросила сухих поленьев в костер. — То было время большой войны, Эрден. Нет, вру, война-то окончилась, но трудные годы шли.

— А теперь что, корма для скота не нужны? — не унимался Кондюбей. — Может, придумают воздухом скот кормить?

— Ай, привыкли вы только свою молодость хвалить да свое поколение, — не выдержала Нина Кертешева.

— Как говорится, своя рубашка ближе к телу, — засмеялась тетушка Эштен. — Э, да ладно. Скажи-ка лучше, Эрден, правда, вспоминаешь ли когда нас, стариков, или хотя бы дедушку Аба?

— Зачем бы тогда я отпуск свой здесь проводил?

— Хороший конь находит дорогу домой, — заметил Кондюбей.

— Об этом даже в песне поется, — подхватил Эрден. — Как же там? Послушай, Фатима: «Конь чужой не станет конем твоим, тоскуя по родине, он уйдет. Невеста с чужбины не станет тебя любить, со слезами вернется к порогу родному...»

— Про коня ничего, а насчет невесты... не очень-то современно, а, балам? — даже не обернувшись к мужу, сказала Фатима Нине Кертешевой.

— Если ты это про себя, то ты — настоящая алтайка, честное слово! — воскликнула Нина с нежностью и прилегла стриженой головой ей на плечо — только сейчас Эрден осознал, что эта большая девушка постоянно держалась возле Фатимы, смотрела на нее с восхищением и даже волосы причесала так же.

И что-то теплое повернулось в его груди:

— Нина, а мы с твоим отцом вот здесь, в Ак-Кообы, как-то сено возили, и он потерялся. Испугались, мало ли, думаем, что может случиться. Бросились искать: «Камылды, Камылды, где ты?» А он сидит себе в седле и спит. А конь его сошел в сторону от дороги и пасется в темноте.

— Не думали, что ночь над головой, а работали, — опять вставил свое Кондюбей, пыхтя трубкой. — Это я тоже хорошо помню. Камылды — человек. А рос как? Чуть ли не из одной чашки с дворняжкой ел.

— Потому, наверное, и Нину всегда с собой таскал, — улыбнулся Эрден. — Посадит к себе на коня и ездит. Пока, говорит, голова на плечах, никому не дам дочку в обиду, уж не позволю мучиться от голода иль унижений, выучу, погодите, в ученого человека — пусть все завидуют, парчой-шелком одену, соболей куплю...»

— А я два года подряд пыталась поступить в институт и оба раза проваливалась, — громко и хрипло сказала вдруг Нина и, обхватив колени руками, сжалась, подняв полные плечи, отвернулась в темноту.

— Ну вот, мужики, собрание у вас тут продолжается, что ли? Как соберетесь — другого нет разговору, как про дела. Ну какие шелка-бархаты по нашему житью? У Камылды пятый народился. А на соболей Камылды и не охотится, день-деньской в работе. Вот разве женишок найдется, собольком одарит? — ласково оглянулась на Нину тетушка Эштен, и круглое, красное от костра лицо ее так и лоснилось, так и играло.

Нина не оборачивалась и все молчали, будто и впрямь обдумывали ее слова...

— А говорят, в наших местах маралов стало много? — громко, с не очень естественным оживлением спросил Эрден.

— Куда они денутся, много их, только мы с ними, с маралами, не связываемся, — торопливо пояснила Эштен, — нельзя нам, никогда это у нас добром не кончается.

Эрден затянулся сигаретой, вглядываясь в караван гор, бредущий под сумрачным небом и несущий на могучих спинах леса́, полные зверья.

— Егерей, конечно, боятся, — сказал он задумчиво. — А я, между прочим, достал лицензию на марала. Ничего бы парочку маральих рогов привезти своим ребятам, — поди, в зоопарке только и видели, да и то не все.

— Ты им золотой корень увези, — сказал дед Кондюбей. — Вот золотой корень надо увезти! Кто пьет настой из золотого корня, обязательно здоровеет. Очень целебный, не зря говорят — корень жизни. А марала — его не полагается стрелять...

— Это кому не разрешено. А у меня, говорю, лицензия...

— Вы хоть и офицер и живете не здесь, а ведь тоже алтаец, — вмешалась неожиданно Нина.

— Пожалей ты своего дедушку Аба! — сказала и тетушка Эштен.

— Да уж дед Аба у них первый мудрец, он все знает! — впервые подал голос Ямандик, присевший к огню, и было неясно, всерьез он или смеется.

Никто не подхватил шутки, — если шутил Ямандик. Но никто не поддержал и Эрдена, не вызвался пойти с ним на охоту. Даже молодые ребята сидели с застывшими лицами, глядели в костер. Эрден и не хотел рассказывать им про лицензию, но уж так получилось.

«Дела-а, — думал он теперь, — а еще говорят, недавно было такое деловое, такое бурное комсомольское собрание...» И все в нем кипело, и напряглись скулы, и он уже собирался произнести обвинительную речь, как Фатима вскричала:

— Смотрите-ка, горный дух! Эрден, это он уже за тобой гонится!

Все обернулись.

В тени шалаша белела невысокая лошадь, а возле возилась женская фигурка — по джинсам, заправленным в сапоги, все узнали ее.

— Да это Кымыс! — воскликнула Нина. — Кымыс, разве ты за кем-нибудь гонишься? Скажи — Фатима глубоко ошибается, верно? Ты просто дороги сегодня спутала!

— Эта Фатима вечно чего-то придумает, — сказал Эрден, улыбаясь.

Кымыс подошла к костру, обвела всех взглядом, наткнулась на насмешливое лицо Фатимы и, глядя ей прямо в блестящие круглые глаза, рассмеялась, даже расхохоталась:

— Конечно, Эрден, никто из них ничегошеньки не понимает! Совсем никто ничего не понимает! А верно, искала я одного человека, прямо на крыльях летела — конь у меня крылатый.

— Как же он, бедный, подвел тебя? — едко сказала Нина.

А Фатима легла головой на колени к мужу и закинула ногу на ногу.

— Вы что это, девчонки?! — прикрикнула Эштен. — Человек голодный, с самого обеда во рту росинки не было. Садись, балам, ужин есть еще, там осталось.

— Не хочу я ничего, карган-эне, меня так накормили сегодня! Только чаю. Только чаю! Что-то мне нехорошо, — сказала Кымыс устало и почти упала к костру.

7

Яманай спускалась в деревню через урочище Соодек. Она любила это местечко, может, потому, что слишком многое, давнее связано с ним у нее. Когда-то, еще совсем молодой и отчаянной — а она была отчаянная! — она забралась сюда со своим трактором, разворачивая тропу, снося обочины, поросшие травою, валя придорожный кустарник, и вспорола долину лемехами, словно барана, вывернула верхний плодородный пласт, заставила землю принять зерно, чтобы возвратила потом сторицей алтайцам. И сколько после того было долин, сколько гектаров целины подняла она, но эта — эта словно на всю жизнь стала свидетельницей ее первой любви.

С тех пор много раз колосилась на поле пшеница, белели, сухо шурша на ветру, овсы, а теперь вон по пояс вымахали кормовые травы, ходили волнами, словно сизое море. И плыли по нему корабли, волнуя знакомым урчанием — кто-то из куулгинских механизаторов докашивал последнее.

Яманай слезла с лошади — то ли непросто ездить верхом, когда женщине под пятьдесят, то ли жарко стало в шубейке — выбралась поутру, забоялась простудиться, то ли захотелось узнать, кто это косит в ее долине.

Один из тракторов по внешнему кругу подходил к ней. Она узнала ДТ-54 Монкуша и его самого и помахала.

Поравнявшись, Монкуш остановился, поздоровался (ох, и уважали ее механизаторы, а ведь не первое уже поколение!) и выскочил из кабины.

Присели, заговорили, в это время подплыл второй, и маленький, сбитый, как колобок, Байрам тоже побежал к ней, разбрасывая сапогами траву.

Дух стоял нестерпимый, пьяный, мешаясь с дымом, он наполнял Яманай особым весельем. Она рассказала, как были у нее Эрден с молодой женой, как вспоминали Черную силу, как понравилась ей сноха Монкуша — видать, любит ее Эрден, а она уважает его все равно как алтайка.

— Чуешь, Байрам, почему сейчас, когда мы заканчиваем покос, прибыла к нам знаменитая Яманай, без имени которой не обходится ни один доклад в районе? — с важностью, равной важности деда Аба, проговорил Монкуш, лукаво щуря черные масленые глаза.

В веселые минуты морщинки на темном скуластом лице Яманай начинали странно резвиться. А если собиралась

сказать нечто важное, то у самого рта подрагивали какие-то жилки.

И сейчас несчетные морщины Яманай побежали, побежали вокруг узеньких глаз.

— Да, да, Монкуш. Яманай из рода телос приехала проверить, как вы справляетесь без нее с полем.

— О, это я еще вчера предвидел! — надувшись, сказал Монкуш. — Для начала попросим у вас самосада, выкурим трубочку, а потом садитесь на мой ДТ — покажите пример молодым.

Они с Байрамом рассмеялись. Рассмеялась и Яманай.

— А что, — отвечала она задорно, доставая табак и трубку и угощая ребят, — можно и показать. Я вот спускаюсь в деревню, чтобы подать заявление в правительство — не пустят ли меня в космос? А трактор — что, трактор — дело привычное...

— Так, может, и вправду сделаете кружок? — спросил Монкуш, с наслаждением затягиваясь крутым табаком Яманай, посменваясь и все же испытующе поглядывая на солидную женщину в теплой бараньей шубейке с цветной оторочкой, в черной бархатной шапочке и мягких, прекрасной выделки ичигах.

— Я бы села за руль, конечно, если бы вы меня, парни, чаем напоили. Какая сила без соленого чая?

— А вот сделаем один гон — и раздуем костер, как раз завтракать будет время, а?

— Эх, была не была, пойдем к твоему коню. А своего я вот здесь привяжу, постоит.

Поле исходило паром, сияли в небе белоголовые вершины, и шли к трактору далеко не молоденькая Яманай и молодые сильные парни с мурлыкающим транзистором.

Монкуш подсадил Яманай, обежал машину, уселся на сиденье рядом и начал показывать и объяснять:

— Вот это — муфта сцепления. Для подачи топлива смотрите не забудьте вот на эту педаль нажать... Особенно на подъеме, а то заглохнет.

Байрам тоже мычал, что-то подсказывал.

Оба с интересом заглядывали Яманай в лицо — им и хотелось, чтобы она повела трактор, и так и подмывало испытать ее.

Яманай сбросила шубу еще на земле, где курили. Советы ребят доходили до нее издалека, она не вдумывалась в них, хотелось только не ударить лицом в грязь, плавно тронуться, начать тот забытый желанный круг.

Байрам, намотав шнур на маховик, дернул несколько

раз, мотор заработал, выбивая густой черный дым. Сердце Яманай забилось, казалось, не в груди, а в глотке и так и норовило выскочить. Она всеми силами старалась не выдать, что трусит. Пока Байрам регулировал мотор, из трубы вместе с дымом вылетали синие искры.

Монкуш закричал сквозь гул и треск:

— Выжимайте сцепление!

Старая Черная сила послушно выполняла команды.

— Включайте скорость... вот-вот-вот, не торопитесь, плавнее отпускайте, так... поехали! — Монкуш выглянул из кабины, махая откатившемуся Байраму.

Яманай сгорбилась, вся подалась вперед, словно собиралась взлететь, но видела впереди что-то не желавшее уступить дорогу. Лицо озабочено, расширенные глаза, не мигая, смотрели вперед. Трактор велик, она же маленькая, нахохлившаяся, как степной беркут, дрожала не меньше самой машины.

Монкуш, восхищенный, похваливал:

— Вот вы какая, оказывается... Тракторист настоящий, а?

Яманай не отвечала, поглощенная делом. Изредка оглядывалась, чтобы убедиться, что косилки идут ровно,— трава ложилась аккуратными полотнищами. Она успокоилась.

Как стало легко, хорошо. Так вот косила бы и косила. Сияло солнце, зеленело поле.

Но пора и честь знать, не зарываться, старая! Вот уже шуба ее белеет, вот и конь ее задрал морду, заржал, наверно, в недоумении.

Яманай переключила скорости, сбросила газ. Не выключая мотора, крикнула Монкушу:

— Не выскакивай, здесь пересядешь! — и, открыв дверцу, заторопилась, скользнула на землю.

Скользнула — и повалилась, вскрикнув. Острая боль, пробившая ногу, на миг затемнила сознание. Открыв глаза, она увидела над собою громаду машины. Монкуша с Байрамом, их искаженные лица.

Пошевелилась и застонала: «Нога-а!» И села, подтянув левую ногу, подхватила ее руками, приподняла — и вся закачалась, сморщив посеревшее лицо: ниже колена ногу прошивала огненная боль.

Монкуш пытался дотронуться, Яманай застонала, задохнулась. Попробовали стянуть ичигу — что-то не пускало изнутри.

Стоная и охая, не вытирая слез, заливших морщины,

Яманай потребовала ножик и приказала Монкушу разрезать толстую, мягкую, прекрасной выделки ичигу.

Наконец ее стянули и ахнули: нога отекла и стала на глазах распухать.

С такой ногой Яманай уже не сесть на коня. Монкуш освободил от косилки трактор. Яманай с трудом взгромоздили на сиденье, и они с Монкушем отправились в Куулгы.

А что Куулгы? Больницы нет, только медпункт.

Подъехали к правлению, но «газика» председательского на месте не оказалось. И ни одной машины, чтобы добраться до Онгудая.

Яманай крепилась. Когда Монкуш подошел к ней, расстроенный, потемневший, она, смахивая со лба бисеринки пота, выступавшие от непомерной боли, сказала:

— Своя колотушка голову не разбивает, вези, Монкуш, меня к тебе домой.

Монкуш подозрительно и напряженно уставился на нее.

— А может, все же в медпункт? — спросил осторожно.

— Нет уж, какая тут помощь от Кымыс, вези меня, пожалуйста, к дедушке Аба...

Дед Аба осмотрел ногу Яманай. Она стала еще толще, раздулась, как жирный осенний барсук.

Аба, как обычно, не торопился. Шевелил тонкими бесцветными губами, шептал про себя беззубым ртом. Расспросив, что и как получилось, строго посмотрел на Монкуша:

— Ведете себя как шальные мальчишки! — Привычно закрылись его глаза, разгладился ясный лоб. — Пора угомониться, Яманай. Мало ли что было давным-давно.

Яманай и Монкуш молчали. Возражать было нечего, уж лучше погодить, пусть Аба выговорится и примет решение.

Аба приказал:

— Давайте барана!

— Ба-таа, мои бараны на стоянке, далеко ехать, — постанывала Яманай. — Найди, Монкуш, тут, помоги, а я после отдам тебе...

Монкуш выбежал и вскоре затащил в аил здоровое белое упирающееся животное. Аба, конечно, признал его, но ничего не сказал. Недвижно сидел у очага и курил.

Монкуш свалил барана, взрезал живот и, сунув руку внутрь, оторвал одну из основных кровеносных артерий. Аба поднялся, сутулясь, велел располосовать брюхо и вытащить требуху. Быстрыми, умелыми движениями Монкуш проделал и это.

Тогда Аба взял у него нож и, вспоров желудок, попросил Монкуша помочь засунуть туда раздутую ногу Яманай.

Воздевая руки к небу, он проговорил залпом, на единой ноте: «Пусть хозяева гор и рек, великие духи земли и неба возьмут белого барана, пусть помогут бедной Яманай излечиться, пусть ее дух не торопится на тот свет, пусть тело ее освободится от мук». Он быстро опустился на колени, обернул бараний желудок вместе с ногой Яманай снятою еще горячей шкурой и завязал.

Под спину Яманай старая Тари, снующая возле, подложила подушку, подстелила мягкую кошму, чтобы было удобней прилечь.

А Монкуш тем временем разделывал и разрубал баранью тушу.

Тари стала бросать мясо в казан с кипятком, стоявший на тагане.

Оживился, задымился аил Аба. Все с нетерпением ждали, когда сварится мясо.

Монкуш и Яманай прекрасно понимали, что дело не в молитвах. И все же, когда опухоль стала спадать и отступила острая боль, Яманай невольно поеживалась: уж не по молитве ли Аба снизошло на нее благословение духов, хозяев ее родных рек и гор? Уж не спустились ли они сами сюда? Еще она думала — как хорошо, что рядом в деревне живет этот худой, морщинистый, уже сгорбленный человек. Как могла она смеяться, когда кто-то заговаривал о его мудрости, и возмущаться, что он морочит народ? Теперь вот она лежала в его аиле. Ах, пока не грянет беда, ничего не уразумеешь...

Мясо сварилось. Заслоняясь рукой от пара, клубившегося над казаном, старая Тари большим деревянным черпаком вытаскивала куски баранины в деревянное корыто. Отрезала по кусочку от каждого и побросала в огонь. Дед Аба приподнялся и, что-то быстро и невнятно бормоча, отламывал ветки от высушенного можжевельника и тоже кидал в огонь, отчего вокруг черного казана взвивалось жаркое пламя.

По окончании ритуала все стали есть мясо, запивая дымящимся бульоном. Чтобы Яманай не бередила ногу, к ней придвинули низенький круглый столик, положили отдельно куски баранины в миску и подали пиалу с бульоном.

Ели молча, сосредоточенно. Аба острым ножом отсекал от жирной грудинки тонкие пластики и, погоняв их во рту, проглатывал. Даже передних зубов у него почти не оста-

лось, и когда попадался твердый кусок, он долго катал его, орудуя деснами и языком.

Человек, давно не евший мяса, подобен животному, давно не лизавшему соли. Запах вареного мяса он почует издалека. От одного запаха начинает слюни глотать, все нутро его приходит в движение.

Зимой другое дело. Зимой в селе не живут без мяса. К осени подрастет молодняк, нажируется на альпийских лугах за лето. Каждая семья уже в ноябре колет про запас бычка либо годовалого жеребенка. Да прибавит еще двух-трех баранов. И считай, на зиму обеспечены. А без мяса — житья нет. Тоскливо и тяжело без мяса алтайцу. Потому-то он день и ночь, зимою и летом ходит за скотиной.

Но где возьмешь столько скота, чтобы круглый год резать и есть? Требуется передышка. Так что летом мясо редко, разве только в колхозной бригаде поешь, да и то не как дома.

Сегодня после мяса, потея, с роздыхом, пили горячий чай с молоком и солью.

Когда дед Аба придвинулся к больной и начал развязывать овечью шкуру на ноге Яманай, дверь неожиданно отворилась и на пороге встала Кымыс.

Она была в белом халате, с чемоданчиком — от кого-нибудь услыхала.

Аба на мгновение растерялся — руки его остановились.

И Кымыс нерешительно замерла, но глаза и тело ее так и устремились к Яманай.

Та заволновалась: от порывистой Кымыс можно всего ожидать, любых неуместных слов, — угольные глаза ее так и метались.

Монкуш вскочил, но спокойно и громко предложил:

— А, Кымыс! Пойдем-ка, Кымыс, прогуляемся! Нам с тобой тут нечего делать, без нас управятся.

— Что ты, — возмутилась Кымыс, — может, помощь потребуется?

Дед молчал, уронив на грудь серенькую ушастенькую голову. А глаза Яманай с мольбой смотрели то на Аба, то на Кымыс и молили Кымыс и уйти и остаться.

— Тогда не стой у дверей, проходи, — показал Монкуш глазами.

Кымыс осмелилась и шагнула.

Дед Аба не просто сидел, закрыв глаза, он соображал. Сперва ему захотелось все предоставить девчонке — пусть

выкручивается, как может. Однако Яманай-то была ни при чем, и он решил показать, на что способен Аба, что́ он такое есть! Момент был подходящий. Эйт, он не уступит эту «хорошую ногу», вылечит сам, докажет, что он не хуже любого городского врача.

Такие ноги Аба не в новинку. Тяжело предсказать, предвидеть, а нога вот она. Тут он, как дикий гусь, сухим из озера выпорхнет.

Моментально все взвесив, Аба приступил. Кымыс, обследовав ногу Яманай, теперь поддерживала ее. Аба молчал.

И вдруг поднял к ней взор:

— Для чего нам эти вот пальцы? Пальцы должны уметь говорить с больной ногой, разузнать, что случилось, и мне шепнуть. У моих пальцев есть язык, а у твоих, девочка?

Кымыс ждала, к чему он клонит. А пальцы деда ловко скользили по желтовато-синей ноге Яманай. Опухоль действительно опала. Аба смыл теплой водой налипший навоз и снова заработал, массируя, поглаживая ногу, пристукивая костяшками пальцев и непрестанно шевеля при том высохшими губами. Яманай вскрикивала, стонала, дед не обращал внимания.

Но внезапно, взглянув на нее, он почему-то спросил:

— Может быть, тебе лучше будет с Кымыс? Она же ученая, токтыр!

Кымыс опередила Яманай:

— Что вы, дедушка Аба, что вы?! Только вы можете тут помочь. С такими переломами лишь в Онгудае да в городе справляются.

Старик едва не рассмеялся. Его серая ушастая голова быстро и весело приподнялась, завертелась, как шустрая, хитроватая мышь. Он, было видно, торжествовал, в острых глазах так и посверкивал огонек, и он попросил Кымыс повторить.

Она уловила какой-то подвох, но покорно сказала:

— Да, в Онгудае или в городе... А что?

— А то! — веселился дед. — Только кто сказал тебе, девочка, что у Яманай перелом?

Кымыс вспыхнула, а дед, как пришпоренный конь, готов был взвиться на дыбы. Но он умел себя сдерживать. Глухо кашлянув, он изрек:

— Мои разумные пальцы только что мне подсказали, что перелома у Яманай нету, только несчастные трещины... Так что то́ктыр ошибся.

— Я не доктор, — встала Кымыс, — я всего-навсего акушерка.

Аба вылупил глаза. Но это было чистой воды притворство, он просто бурно радовался. А поостывши, прищурился:

— Так чему же ты тогда десять лет училась?

— Как чему? Разве акушерство не дело?

— Может быть, может быть, это твоя неученая бабушка знает лучше меня. — Аба весело покачал головой. — А я вот никогда не учился, ни в Москобе, ни Ойрот-Туре*.

— Что ты пристал к девчонке! — прикрикнула Тари.— Подумай, тебе восемьдесят пять, а ей? Займись делом.

Но дед ерепенился:

— Так как же быть дальше с ногой Яманай?

Кымыс не поддавалась, в голосе у нее засквозила даже шутливость:

— Я-то знаю, но ведь дед Аба сделает это лучше. Надо бы гипс положить, верно я говорю?

Дед не ответил.

То ли от разгоревшегося спора, то ли от известия, что нет перелома, Яманай успокоилась, и вокруг узеньких глаз вновь забегали морщинки. Неожиданно она приняла сторону Кымыс:

— Она у нас молодец, дедушка Аба, от верной смерти спасла она жену Камылды, теперь у них сын растет; думаю, она настоящим доктором станет.

— Может быть. Но меня тогда уже не будет, — мирно прохрипел Аба, но тут же вскинулся: — Все вы готовы клевать меня!.. Лучше скажи, Яманай, сколько тебе годков-то точно? — И отошел к большому сундуку, вытащил какие-то струганые палочки разных размеров.

— Осенью сорок девять стукнет.

— Когда это осенью?

— В месяце гона маралов**.

Монкуш, сидевший в стороне, присвистнул про себя: «Что это мы считаем ее старой? Однако выглядит она плоховато, Черная сила.

Аба стал примерять лучинки к ноге Яманай, выбирал подходящие:

— Значит, так, Яманай, около четырех месяцев жить тебе с моими волшебными палочками. Вот сейчас подберу и обую тебя.

---

* Ойрот-Тура — Горно-Алтайск (*алт.*).

** Сентябрь.

Лучинки были тонкие, умело обструганные, по длине каждой обнаружились у деда тонкие кошмы, которые он ловко подсовывал под лучинки.

Кымыс, глядя на эту операцию, вспомнила курганского хирурга, поднявшего на ноги знаменитого прыгуна Брумеля. У нее есть книга об этом враче — «Высота». Высота Брумеля и высота хирурга. Природное дарование, любовь к людям, чуткость к человеческим страданиям сделали из пастуха-горца гениального доктора, умеющего сращивать и наращивать кости, выравнивать врожденные дефекты, как никто другой. Природное дарование, чуткость к человеческим страданиям, любовь к людям сделали из Аба костоправа! А разве мало было таких в народе?

— Ты прочел книжку Брумеля, которую брал у меня?.. — оглянулась Кымыс на Монкуша.

— А знаешь, и я думаю о том же...

— Кнежке-кнежке, разве в них правда? — рассердился неожиданно Аба. — У тебя, Яманай, не завалялись ли там, на дне материнского сундука, царские медные деньги?

Все переглянулись. О чем это он? Смеется над ними?

— Откуда они могут быть у Яманай? — ворчливо подала голос Тари. — Нешто она думала, что когда-нибудь будет худо с ногой? А у тебя не остались разве?

Тогда Аба достал залежалый мешочек и вытряхнул на столик какие-то медяки. Затертые, старые, конечно, несовременные. Дед выбрал один, остальные завязал аккуратно. Придвинув фарфоровую пиалу, стараясь не уронить ни крупицы, стал подпиливать над нею медяк. Опилки, тускло блестя, сыпались в пиалу. Аба плеснул туда чаю, размешал ложечкой и подал Яманай:

— На, выпей, медь помогает срастаться костям.

Яманай выпила, а дед объяснил:

— Медь попадает прямо на то место... где трещина и излом... А теперь отдыхай. Завтра еще дам...

И тут же, натянув на плечи шубу, Аба лег у жаркого еще очага.

8

Эрден спал плохо, ворочался с боку на бок, просыпался от кошмаров и снова смежал побежденные сном тяжелые веки. И снова перед ним проносилась, подрагивая черным влажным носом, тонконогая косуля. И снова проплывал, вскинув ветвистые рога, красавец марал, медлительный и красный, как луна у горизонта.

То он видел лесистые сопки, подернутые морозцем.

Среди глубокого снега там и тут торчали жерла пушек. Надрывно выли зенитки, с оглушительным визгом летели один за другим снаряды, оставляя клочья дыма. Возникали лица знакомых солдат, офицеров. И вдруг он увидел Монкуша — в толстом солдатском ватнике, в длинных негнущихся валенках. Брат бегал, носился, подавая снаряды. Ползли танки-мишени, гудели в небе самолеты, сверкая синими и красными огнями. Монкуш почему-то стал подавать команду: «По танку огонь! По танку огонь!..»

Дым и гул над полигоном — Эрден остро сознавал, что это полигон. После двух-трех залпов возле зенитных орудий исчезали сугробы. Бежали солдаты. Эрден радовался за брата, видя, как четко он машет рукой и кричит: «По цели — огонь!»

«Он у нас молодец, я очень полюбила Монкуша, это наш красавец Монкуш, смотри, какой он мужественный и нежный, мы обязательно его женим», — болтала Фатима, закрывая от Эрдена своим смуглым лицом с узеньким подбородком и большими серьезными умными глазами и полигон и брата. А может быть, это вовсе не Фатима, а мать, конечно же, это Мекечи, это ее остренький смуглый подбородок, она такая же высокая и гибкая, как Фатима, — почему же он не замечал, как они похожи?

Но это уже точно Мекечи, это ее оленьи, суженные к концам глаза. Впрочем, нет, это смотрит на него марал. Насмешливо или печально? «Фатима, Фатима, он ушел, он только что был здесь!»

С тяжелой головой Эрден поднялся все же привычно рано, привычно сделал зарядку, но не побежал на речку, чтобы натаскать до завтрака сверкающих чешуей жирных хариусов, а бездельно болтался по двору.

За завтраком Фатима спросила, отчего он такой взбаламученный.

— Спалось отвратительно, измучился, думаю — зов тайги всего-навсего, — усмехнулся Эрден.

— То есть?

— Как тебе объяснить? Живет во мне дикая кровь кочевых майманов.

— Ну, кровь майманов мы с тобой, Эрден, теперь оправдаем — покочуем по белу свету, — ухмыльнулась Фатима. — Я считаю, это даже здорово, что у нас с тобой такие корни. Ведь древние тюрки — это наши корни.

— Так вот я насчет этого самого зова тайги. Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит, — засмеялся Эрден. — А ты, Монкуш, как?

— Что, уже сегодня? Не знаю, надо бы с председателем утрясти.

— А мы сперва проверим и пристреляем ружье. У нас ведь где-то было ружье? Живо еще?

Когда Монкуш внес после завтрака старое кырлу — нарезное шомпольное ружье не то китайского, не то тибетского образца, лицо Эрдена вдруг посуровело и замкнулось — Фатима не любила у него такого лица, говорила, что в такие моменты он словно не доверяет себе или «просматривает» себя.

Он осматривал, крутил и вертел в руках ружье, прикладывал к щеке, прицеливался, а сильные, цепкие руки его дрожали.

Никто не понял, что ему на миг представилось, как бы отец его Учур из сеока майман держал это ружье, смотрел на далекие горы, готовился на охоту. Мог же он вернуться с фронта живым и здоровым и нянчить теперь старое ружье, не похожее на те, военные. Этим он не убивал людей, не направлял его даже на собак. Домашние животные есть домашние, кто направит на них ружье, у того оно потеряет меткость. Прямой длинный ствол. Два белых кольца. Одно вблизи затвора, другое — у самого входа в пулевое отверстие.

Вот так Учур гладил бы ружье, а где-то там, среди утренних росных трав, бродили бы горные косули. Они созданы богом для добычи охотника. Но во множестве их тоже нельзя стрелять. Учур — меткий охотник и добрый табунщик, он не будет преследовать зверя с жадностью. Ему хватит одного-двух. А это разрешает и сам батюшка Алтай. Щедр Алтай для честного человека, но коль родился алтайцем, тоже будь добрым, не жадничай.

Это на войне следует убивать. Враг — он хуже зверя, у него нет сердца, ему все равно, кто перед ним. Потому и Учур, воин и охотник из древнего рода майман, уничтожал врага безжалостно. Враг первым напал на него, пусть ему будет хуже.

— Ака!* — вдруг сказал Монкуш. — Ружье надо почистить, внутри, поди, ржавчина.

Эрден вздрогнул, долгим непонимающим взглядом посмотрел на брата.

— А ты ведь хотел съездить к Щербакову: поругаться и заодно взять у него ружье. Зачем возиться со старым?— сказала Фатима.

---

* Ака — старший брат (*алт.*).

— Да, — опустил Эрден глаза, — хотел взять у него «оленя», охотничью двустволку... Но, понимаешь, раздумал.

— Почему?!

— Потому! — отрезал он без объяснений.

Фатима вздернула плечи, глянула на Монкуша, но тот исподлобья смотрел на брата.

Эрден взял себя в руки и тихо произнес:

— Это ружье отца. Понимаешь?

Монкуш молчал. А Фатима встревожилась: с ее Эрденом что-то делалось, он опять стал непроницаемо-неподвижен.

«Голос первой кукушки, балам, ты каким ухом слышал сперва — правым или левым? — прозвучало в Эрдене так, что он задохнулся, прикрыл глаза. — Якши, якши, балам, ты должен быть счастливым, раз слышал правым ухом! Может быть, скоро приедет отец...»

«Чей же ты будешь, мальчик, не стесняйся, сынок, скажи...» — «Я сын Учура...» — «Ах, какой молодец, как солдат отвечает! Быть тебе генералом! Сын Учура, того, что без промаха бьет? Знаю, знаю, он и там настрелял стервятников... Скоро приедет, конфет привезет». — «Завтра, завтра!»

— Да, — жестко сказал вслух Эрден. — Это единственное, что осталось от нашего отца! — Он обернулся к Монкушу и вспомнил, что отцы у них разные. Хотел как-нибудь смягчить обиду, но у Монкуша и мысли, видно, не появилось обидеться. Ну да, для него просто не существует этого понятия — отец! С детства старшие старались не говорить о его отце, обходили. И он привык жить без гордости и боли. Может, боль-то и была... Но теперь слово «отец» ничего не говорило ему...

— Надо бы смазки достать и теплой воды, Монкуш, — попросил Эрден, и тот, козырнув, четким шагом пошел в аил.

Эрден развязывал ремешки, прикреплявшие ствол к деревянному ложу, и гудел под нос грустную алтайскую песню. Алтайские песни всегда были при нем.

Когда Монкуш принес воду и смазку, Эрден, намотав тряпку на шомпол, стал прочищать ствол.

Прикрыв левый глаз, он долго просматривал ствол на свет и передал ружье брату:

— По-моему — блеск!

Они еще долго возились. Мыли, протирали, смазывали, собирали...

— Ну, товарищи-друзья, пойдемте поглядим, на что оно способно.

— Можно и мне с вами? — вскочила Фатима.

— Попадешь в цель — отвалю килограмм шоколада.

— Согласна! Но вдруг Монкуш попадет? Что за это ему?

— Ружье! Насовсем! — не задумавшись выпалил Монкуш.

Эрден усмехнулся:

— А если я?

— То же самое, ружье! Идет?

— Идет-то идет, но боюсь, что брат мой останется без ружья. Я ведь тогда увезу его.

— Как говорится, ака, ковер покажет!

Эрден захохотал на весь дом, ему нравилась смелость Монкуша, и он объявил, что целью будет спичечная коробка, а расстояние — двадцать шагов.

На земле все рядом, все связано. Покати со склона камушек, он непременно увлечет за собой другие, которые без него так и пролежали бы спокойно. Вот и старое отцовское кырлу заставило Эрдена многое вспомнить. Воспоминания цеплялись одно за другое, не желали одно от другого отстать.

В армии, особенно в первые годы службы, заспорят, бывало, на полигоне о точности глаза и меткости ружей, Эрден не утерпит, расскажет о старом кырлу, о стрелке Учуре, о котором легенды ходили по Куулгы, и никто уже его не переплюнет, не найдет примера интереснее.

Ведь Учур, кроме охотничьей меткости, обладал способностью молниеносно ориентироваться, находить цель. Кырлу после каждого выстрела надо заряжать. И как заряжать! Засыпать в ствол порох, затолкать шомполом пулю, вставить капсюль в запальник. Случалось всякое. Иной от волнения прежде, чем засыпать порох, затолкнет пулю, и выстрела не произойдет, только негромко взорвется капсюль, пуля же останется в стволе. Хорошие охотники таскали с собой мерки для пороха, а пули клали в рот, чтобы брать по одной, когда настанет час, не искать и не путаться в охотничьих принадлежностях.

До сих пор поминают старики, как выиграл Учур мешок сухарей у одного продавца.

Продавец был нездешний и не знал о ловкости и меткости Учура. Да и мыслимо ли пять раз выстрелить из шомпольного ружья и притом попасть в цель, пока кто-то

обежит вокруг аила. Ведь окружность аила не больше двадцати метров. Продавец возмутился:

— Не трепись, Учур, ты даже двух раз не успеешь выстрелить из этой бандуры, пока я обегу аил.

— Возможно, — невозмутимо пожал плечами Учур, — но попробовать надо.

— И в цель берешься попасть?

— Не все, но из пяти пуль две положить можно.

— Условие?

— Небольшое. Мешок сухарей. Сладких.

— А если проиграешь?

— Свою новую шапку из лисьих лап отдам.

— Богато... Ну что ж, друг... А мишенью что будет?

Учур обвел взглядом аил, заметил висящий бычий пузырь, приготовленный для топленого масла, кивнул на него:

— Повесь-ка повыше, к самому дымовому выходу. Пробежавшись, найдешь в этом шарике следы моих пуль.

Долго, говорят, рассказывал потом людям русский продавец об Учуре, хотя и проиграл целый куль сухарей. Сладких.

Дул прохладный утренний ветерок. У проселка под молодым солнцем на зеленых стеблях дрожали тысячи глазастых росинок. Неутомимо кричала, забивая других птиц, кукушка.

— Давайте на том вон пне поставим коробок, — предложил Эрден и пошел отмерять шагами расстояние.

— А как стрелять: лежа или стоя? — интересовался Монкуш. — Надо бы с подставки или с руки.

— Хоть как, — сказал Эрден, — кырлу увесистое. Если бы у нас с тобой была тозовка, можно бы и с руки и стоя, да не в спичечный коробок, а в монету.

Коробку поставили.

— Начинай, Монкуш, — предложил Эрден.

— По-моему, надо по старшинству, — возразила Фатима. Может быть, она жалела Монкуша. — Покажи пример, Эрден!

Эрден лег у бревна, положив на него ружье. Все замерли. Он не торопился, целился тщательно, долго...

Монкуш, разволновавшись, вдруг произнес:

— Ака, мы забыли договориться, сколько каждый должен сделать выстрелов!

Обернувшись, Эрден сказал спокойно:

— Есть такая примета, Монкуш: ты сказал мне под руку, теперь не попаду.

Фатима захохотала:

— Честное слово, Монкуш, он уже ищет оправдания! Будь уверен, кырлу станет твоим, да он и так должен уступить его тебе.

— А я не желаю уступок, — хмуро сказал Монкуш. — Спор должен быть честным.

— Этот мальчик тревожит меня не на шутку, — примирительно усмехнулся старший брат и изучающе оглядел Монкуша, будто видел впервые. — Один выстрел пробный, три на пари, согласен?

— Начинайте, ака.

Эрден снова стал целиться, но в этот момент откуда ни возьмись явился вьюнок-ветерок, промахнул над пнем, и коробка упала.

— Нет, мне явно не везет, — уже неспокойно и огорченно сказал Эрден и отложил кырлу.

— Тогда давайте мне, — решился Монкуш. — Не оседланного же коня тут проигрывать...

Спичечную коробку водворили на место. Но Эрден не уступил брату ружье и снова прицелился. В груди у него дрожало, он невольно торопился, боясь, что какой-нибудь вьюнок сдует коробочку.

Раздался выстрел, охнул лес, отозвались дали, а коробка стояла на пне. Эрден смущенно посмотрел на жену и брата, шагнул вперед, чтобы выяснить, в чем дело. Следов пули нигде не было.

На удивление всем, он опять невозмутимо сказал:

— Давайте-ка еще попытаю счастья.

Второй выстрел грохнул тут же, а спичечная коробка оставалась на месте.

— За мной еще два, — уже почти равнодушно сказал Эрден, заряжая ружье. — Только мне хотелось бы знать, за кого болеет Фатима.

Та воскликнула:

— Конечно же, за Монкуша!

— Так вот почему я промазал, ясно! — сказал Эрден.— Ну, поехали...

Эрден промазал снова и, побледнев, поднялся, протянул ружье брату:

— На, Монкуш, возьми насовсем!

Монкуш неловко покачивался, косясь то на Фатиму, то на Эрдена. Он словно не мог представить себе, чтобы брат не попал в цель, а может, радовался, что никто посторонний не видел, а то еще пустят слухи, что офицер не умеет стрелять. Вид у него был отчаянный, оскорбленный.

— Нет, Монкуш, — отвечал Эрден на этот его вид, — я не нарочно. Может, потому не получилось, что давно не стрелял из него. Неужели отец славился с этим ружьем? Или старое кырлу не хочет нас признавать?

— Монкуш, тебя-то оно признает, я уверена!

— Давай, Монкуш. Все равно ружье уже твое.

— Но ведь я знаю, ружье хорошее, — все еще подозрительно смотрел Монкуш на брата.

Эрдену были приятны его сомнения. Вовсе не потому, что видел в них соломинку. Приятно было, что брат воспитан и умеет почитать старших. Эрден давно привык к тому, что у него есть брат, привык относиться к нему снисходительно и заботливо. Теперь он почувствовал что-то новое. Монкуш, оказывается, на самом деле самый родной ему человек. Только у них двоих в жилах текла кровь их матери Мекечи. Почему же прежде Эрден не ощущал этого так искренне и глубоко? Как хорош, как общителен, как смел и весел и как вдруг стеснителен его младший брат! Его обуревало желание сделать что-то для Монкуша, учить его, помогать, поделиться последним. Подумать только, если бы не Монкуш, Эрден был бы совсем одиноким, как дерево посреди степи. Ни землю обойти, ни море переплыть...

Раздался выстрел. Фатима и Эрден разом оглянулись — коробки на пне не было!

— Ай да Монкуш, ай да молодец! — закричал Эрден, и веселое эхо долго неслось по вершинам лиственниц. — Да я тебе не то что кырлу, я куплю тебе любое ружье!

Ах, как прекрасен, как ловок был его младший брат!

— Брат! — кричал он, обхватив Монкуша и перебирая его лопатки. — Брат!

И слово это наполнялось особым, горячим смыслом, теплой кровью омывая сердце Эрдена.

Монкуш, багровый, смотрел себе под ноги.

Больше Эрдена шумела и смеялась Фатима:

— Подумать только! Как здорово, а? Передо мной впервые настоящий охотник и мужчина!

— За ака остался еще выстрел, я думаю, он нам еще покажет...

— Кто это, что это думает тут показать? — неожиданно грозно прозвучало над поляной.

С дороги к ним съезжал всадник, размеров огромных, рыжий, веснушчатый, с бородищей-лопатой, на рыжем прекрасном коне, и во весь рот ухмылялся:

— Ба, кого вижу, Эрден!

— А! — нахмурился Эрден. — Вот, Фатима, позна-

комься, пожалуйста, ископаемый экспонат, редкий и веселый представитель тотемизма! Слишком веселый!

— Уже пронюхал? Я так и знал, что ты разъяришься.— Михаил Щербаков соскочил с коня и поймал руку Эрдена. — Но что мне делать? — жаловался он Фатиме, здороваясь с нею. — Лупят и лупят зверье. В одном Куулгы благополучно. Между прочим, стараниями вашего деда. Ей-богу, он мне отлично помогает! — И вдруг удивился сам себе: — И как это мне не пришло в голову раньше использовать ваш прекрасный обычай?

— Хорошенький обычай! Поганое суеверие, а ты его подогреваешь!

— Тебе жалко, что старик запугивает браконьеров?

— А ты предпочитаешь, чтобы они умирали от страха перед богом? Милый мой, ты роняешь их человеческое достоинство. Ну ладно, без шуток. Они же должны оставаться людьми. Да разве дело только в этих подлецах? Ты морочишь всю Куулгы! Едва заикнусь о маралах, они глаза отводят. Даже самые молодые! А уж со стариком-то что ты делаешь?

— Во-он оно что, заступаешься, значит, за деда, оберегаешь.

— Конечно, — спокойно ответил Эрден. — А ты оберегаешь его предрассудки и бог знает еще что. Ишь какого мальчика в напарники себе подыскал!

Монкуш и Фатима пошли на дорогу, едва разговор стал приобретать неприятную окраску. Теперь Эрден повернулся, желая догнать их и не обращая больше внимания на Михаила Щербакова.

Щербаков уже не смеялся. Он шел за Эрденом, шаг в шаг, ведя в поводу коня.

— Послушай, Эрден, — окрикнул он. — Я ведь только одному старику говорил всякие такие вещи про су-ээзи*, а его все равно ведь с этого не собьешь, ну и что — поговорим так-то и разойдемся.

— Подарочки покупаешь?

— Но старику так одиноко. Редко кто к нему забегает. Все Тари и Тари. А как он рад гостю! Как же я явлюсь с пустыми руками?

— Ты мне зубы не заговаривай! Ты и в школе был легкомысленным. А теперь имеешь дело с природой. Понимаешь — с при-ро-дой! Да как ты можешь тут фальшивить хоть в чем-нибудь? Старику говоришь, а он — людям.

---

* Дух воды.

А люди связывают это с несчастными случаями, пугают детей!

— Так ведь я не педагог, Эрден.

— Нет, Михаил, — остановился Эрден, — ты, как я понял, отличнейший педагог. Пропагандист!

— Ну, будет, будет, друг, забудем это...

— Нет, я этого не понимаю.

— Ну ладно. Постой. — Щербаков был уже так же красен, как его конь. Он глядел в землю, раздумывал. — Тьфу, действительно мальчишка! Но мы что-нибудь придумаем, Эрден. Слово!

9

Весь день солнце неистовствовало, и вершины Уч-Сюмера сверкали всеми гранями и рвались ввысь, словно ракеты, — признак, что постоят еще жаркие, погожие дни. Теперь солнце неотвратимо падало за горы, теряя жар и ослепительность. Столетние кедры, выраставшие перед путниками стеной, поглощали его блеск. Слышно было, как с узкой тропы из-под копыт лошадей скатываются камни. Умолкли птицы, только изредка в кустах посвистывала пичужка да громче становился тяжелый гул далекой реки.

Еще час назад Фатима и Тари суетились около рюкзаков, собирая припасы, а старик Аба смотрел недобрыми глазами на охотничьи сборы, и вот уже тайга.

— Слушай, Эрден! — позвал Щербаков бодрее обычного. — Да ты не убивайся! Привезем старику маральего мяса, скажем, что никаких су-ээзи нету, что тотемизм — сплошное вранье — и все тут! Ну, хочешь, я буду сам говорить, он же мне верит.

— Как же. Близок локоть, да не укусишь.

Добравшись до правого склона одного из дальних хребтов, они остановились. Расседлали коней, привязали их на длинные арканы, отыскав травостой получше, разожгли костер.

— Воздух-то какой! — радовался Щербаков. — Эх, и славно заночуем мы здесь с тобой! Утром пойдем копать золотой корень, а вечером будем караулить солончак. Хорошо ведь, а, Эрден? Я тут все места знаю! И где маралы ходят, и где другой какой зверь...

Протянувшись на сотни верст, густела, чернела вокруг тайга. В вышине, над снежными и лысыми вершинами, дрожал свет звезд. Теплый ветерок играл пламенем костра.

Эрден лежал и, закинув руки за голову, смотрел на

кедровые вершины. То и дело скользили в небе пугливыми косулями звезды. Когда они с дедом вот так же смотрели на звезды?

«Сколько звезд на небе, Аба?» — «Поди ты, кто их, звезды, считал?..» — «Одна, две, три... десять... двадцать...» — «Детям нельзя считать звезды!» — «А почему?» — «Кто будет звезды считать, у того лопнет живот».

...Эрден верил и побаивался.

— Ты о чем там задумался? — допытывался Щербаков. — Ружья у нас добрые, без добычи не возвратимся. Так что будет подарок твоим друзьям, увезешь маральи рога. Слово!

— Как, по-твоему, Михаил, какая наука самая важная в наше время?

— Наука? — удивился Щербаков. — Я как-то не задумывался. А ты, конечно, считаешь, что военная?

— Нет, Михаил, я по-другому думаю, — все еще отрешенно отвечал Эрден, поправляя головешки в костре.

Фыркали кони, шелестели под ними травы, ярко отсвечивали стволы висящих на дереве ружей.

— Так какая?

— Педагогика! — сказал Эрден, закуривая.

— Смотри-ка ты!

— Да, хотя бы потому, что из ребенка педагоги лепят человека — настоящие, конечно. Ребенок впитывает все, что внушают ему. Трудно уж потом это выбить из него! К чему приучили в детстве, что слышал от старших, условия, в каких рос и делался человеком, на всю его жизнь накладывают отпечаток.

— Тогда получается странно, не вяжется что-то, — ухмыльнулся Щербаков. — Ты рос с дедом, почему же не научился верить в су-ээзи?

— Вот потому-то я и считаю педагогику самой важной! — воскликнул Эрден. — Верил я, верил! Не только в бога, но и в черта. — Во все предрассудки Аба. В то, например, что вечером нельзя выносить огонь из аила...

— Ну?!

— Конечно! С огнем уйдет счастье. Нельзя выносить вечером из аила молоко — не будешь богатым! Верил и в это...

Эрден принялся рассказывать, как привязывали они с Аба разноцветные ленты — дары горным духам — на деревья, когда одолевали перевалы или миновали бурные реки. Как в ненастные дни, в грозу, бросали арчин в огонь, задабривая хозяина неба.

Звезд высыпало все больше. И вдруг показалось Эрдену, что на всей земле, кроме них двоих, нет никого. И нет на земле огня, кроме их костра. Холодом обдало его. Едва брезжил смутный простор над темными спинами гор. Неожиданно совсем близко раздались истошные крики.

— Гм, сова. Ишь, не спит, — заметил Щербаков.

— Нехорошая птица, — произнес Эрден с невольной интонацией деда Аба. — Слышишь, ухает: «Умри, умри!» Есть поверье, будто бы она пророчит несчастье. Глядишь, и правда кто-то умрет. Много такого слыхал я от деда...

— Интересно, есть в этом что-то или просто так, совпадение.

— Ну что может быть? Неграмотный, темный, привык подчиняться природе.

— Но ведь как он ногу-то Яманай, а?

— Так он же знает все кости на ощупь — строение, расположение. Мало ли таких людей в народе? Этого и наука не отрицает. А ты, хотя и русский, но не лучше алтайского ярлыкчи!

Щербаков не рассердился, не вспылил, а весело расхохотался, повторяя: «Алтайский ярлыкчи»! И добавил так же добродушно:

— Давай-ка спать. Если завтра духи нам помогут, то пошлют рогача, будет шашлык.

Эрден не отозвался. Костер угасал, словно медленно закрывался теплой кошмой. Во всем мире наступила тишина. Только шелестели травы да хрумкали, пофыркивая изредка, кони.

И думали в этой тишине свои таинственные думы горы.

...Охота была удачной. За два дня Михаил с Эрденом убили двух маралов. В Куулгы спустились под вечер. Народ только что вернулся с поля, деревня, вымершая днем, ожила, доили коров, носили воду, дрова, занимались мелкими домашними делами.

Тари и Фатима возились с приготовлением ужина, Аба сидел неподвижно у очага. Михаил, ввалившись в аил, встал по стойке смирно, отрапортовал:

— Дедушка Аба, мы с Эрденом убили двух маралов! Вон там мясо на дворе. Сами, как видите, живы-здоровы, а значит, никаких духов не существует на свете. Это вам сам Щербак говорит. Слово! Примите извинения за прежние глупые шутки, больше не буду.

Что-то покатилось и зазвенело на женской половине аила. Маленькая Тари, сморщившись еще больше, глядела на Михаила.

Аба поднял голову, но слов не находил, сидел как во сне.

На одну лишь минуту нашло замешательство на Фатиму. Она переводила взгляд с Аба на Тарп, с наигранно улыбавшегося Михаила на хмурого Эрдена и вдруг захлопала в ладоши:

— Мальчики! Неужели и правда убили? А где они, покажите! Большие?

Она выбежала вслед за Эрденом, а через минуту уже вертела две пары великолепных рогов, считала отростки и говорила, может быть, больше и громче, чем следовало:

— Вы, мужики, злодеи! Такую гордость загубили. Но до чего же красивы. И теплые, кажется. Я никогда не держала в руках. Какое-то совершенно незнакомое чувство!

И тут же принялась помогать Эрдену готовить шашлык, потому что Михаил сказал, что уж раз так случилось, надо всех угостить, превратить это в общий праздник.

Аба сидел не шелохнувшись. Страшный вопрос, что же будет теперь, сковал его. Потом ему пришло в голову, что все же с Эрденом был русский. Он горестно уставился на Эрдена:

— Что, обоих зверей застрелил Щербак?

Эрден в это время выскочил из аила, и Аба замолк надолго.

Все уже знали, что Эрден возвращается к месту службы. К тому же видели его и Михаила, с большой поклажей спускавшихся с гор. И очень скоро потянулись к аилу Аба люди. И каждый шел не с пустыми руками, а с каким-нибудь свертком.

— Вот, Эрден, принес тебе на прощанье, — говорил то один, то другой, вручая ему тажаур с аракой. — А вот тут курут-сыр для твоих армейских друзей. Пусть не брезгуют, откушают, в нем запах и сок твоих родных гор.

Эрден знал обычаи и не отказывался. Приносят ведь от души, нехорошо обидеть, рассердить человека. Могут сказать, что внук Аба, став «описером», зазнался. Эрден ставил подарки на видное место.

Когда мясо сварилось, людей стали приглашать из аила в дом, где Фатима и Тари накрыли столы.

Все еще не поднимаясь, Аба спросил настойчивее:

— Так зверей-то убил Щербак? Одного и другого? Так ведь, Эрден?

— Да чего вы боитесь, дедушка? — Эрден подошел к нему под взглядами собравшихся, а были тут и стар и млад. — Да не бойтесь вы ничего, дедушка Аба! — Он хо-

тел помочь деду встать, нагнулся и подал руку, но посмотрел на лица глядевших на него с недоверием и любопытством людей и распрямился: — Одного рогача убил Михаил, а другой мне на прицел попался! — И было в его голосе не только желание сказать правду людям, разуверить их в чем-то, но и гордость охотника.

Что с ним поделаешь! Горько стало Аба. Но ведь не возьмешь крапиву и не выдерешь его хорошенько.

— Ты же знаешь, горы наши священные, — глухо проронил старик, хотел что-то еще сказать или сделать, но так и не нашелся и прикрикнул сердито на Тари: — Подай сюда арчин, что висит над головой.

Тари по-молодому соскочила и подала пучок можжевельника. Кудрявый, зеленый, он был хорошо просушен, крошился и осыпался.

Аба взял дрожащими руками арчин и тихо, чуть слышно, заговорил:

— Слушай меня, вестник Белого Ульгеня, с камчой из красной тучи, с поводом из радуги, с плетью из белой молнии! Вестник между небом и землею, помоги роду моему, прости, прости... Когда была сотворена земля, о Белый Ульгень, тогда создан был и наш род. — Аба подбрасывал в огонь арчин, пламя вспыхивало, по аилу разносился дух, щекочущий ноздри.

Чуть успокоившись, старик повернулся к Эрдену:

— Предупреждал я тебя с малых лет, так ты меня, старика, все-таки не послушался. Что ты за человек такой? Ладно, идите...

Провожая Эрдена, пили араку, ели мясо и пели до рассвета. Особенно веселился и балагурил Щербаков. Играл на гитаре, сыпал алтайские частушки вперемешку с русскими, тряс рыжей бородищей, потешал людей:

Черный речка — Кара-Су
Кайда менн сакыйт не?
Черный глазка — Кара кес
Кайда мени сакый не?

Понизив голос, захлебываясь словами, он передразнивал девчат:

Сенин кара чамчанды*
Полоскаю каждый день...
Сенин кара кезинди**
Поминаю каждый день...

---

* Твою черную рубаху.
** Твои черные глаза.

Люди веселились в доме, Аба сидел в аиле. Перебирал в памяти реки и горы Алтая, крутые перевалы и бормотал:

— Не обращайте внимания на моего глупого внука, леса мои, горы мои священные... Отец мой, Белый Бурхан, создатель его великий кудай!..

Порой ему казалось, что горы отвечают: «Аба, ты, однако, сам перестал верить Белому Бурхану?»

— Нет, нет, верю, верю, — испуганно шептал старик.— Прости меня, отец и создатель, Белый Бурхан! Обойду весь свет, орошу молоком белой кобылицы, прости меня, прости!

«А коли так, отчего не остановил ты внука, не удержал его, отпустил?»

— Останавливал, останавливал, говорил я ему! Это не он, это русский Щербак виноват, он натолкнул. Прости ему, создатель солнца и луны, простите, покровители живущих!

Он так и не дал до утра угаснуть костру. Эрден с Фатимой несколько раз приходили, звали его в дом, но он оставался неприступен. «Что же теперь будет, что же теперь будет?» — не переставал бормотать. Фатима, присаживаясь на корточки, брала его за руку, заглядывала в глаза, но он никого не видел, изредка только подбрасывал арчин в огонь да шептал молитву.

В аиле было светло, но он чувствовал, как мрак наваливается на него, обступает все плотнее. Заслышав лай собак, вздрагивал — кажется, там, во тьме, сотрясая землю, звеня сбруей, мчатся за маралом, разукрашенным кыйрой-лентой, сыновья Казыраша. Кружат по великому Уч-Сюмеру, плещутся под ними озера, качаются горы...

— Смилуйся, смилуйся! — воздевал руки Аба к дымоходному отверстию. — Седьмым поколением клянусь тебе, мой Белый Бурхан, не переступлю золотой твой порог, мой кудай! Пусть будут горы вечно зелены, не дай сгореть им, нашли дождя на семь дней, нашли снега на семь дней — только не гневайся!

Чего не приходит в голову перепуганному человеку! Аба начинало казаться, что душа его отделилась и вместе с духами с пением движется в подземелье горы Текпенек-Алды.

— Оставьте душу мою, оставьте душу! — упрашивал Аба.

В ответ слышался таинственный голос: «Тогда возьмем душу Эрдена...»

— Нет, нет!!! Горы мои, духи горные, нет, нет... Будьте добры, будьте... Только не Эрдена! Нет...

Под утро стали расходиться гости.

Тетушка Эштен перед тем, как уйти, зашла в аил к Аба:

— Аба, святых маралов убивал не Эрден, а Щербак. Щербак, говорю тебе, стрелял их. Вот я и наелась мяса.

Задремавший было Аба вздрогнул:

— Коли нажралась, так иди домой, Эштен! Я тебе не ребенок. Ишь, успокаивает. И забудь, как открывается дверь в мой аил!

Эштен потопталась на месте и вышла, шаркая тяжелой кожаной обувью...

Через два дня Эрден уезжал. В прекрасный июльский день покидал он Куулгы. С порога деда Аба хорошо было видно, как переливаются огнями вершины Уч-Сюмера, как серебрятся их далекие глетчеры.

Перед тем как сесть в машину, Эрден и Фатима простились с Монкушем, обняли стариков, по-русски крепко расцеловав.

— До свидания, до следующего лета. Не тревожьтесь, Аба, все будет хорошо, — говорил Эрден, а у самого тревожно щемило сердце при виде Аба, сильно сдавшего за двое суток. Бледное лицо старика стало как бы пергаментным, холодные руки плохо сгибались, ноги дрожали.

Эрден по кругу прощался с людьми, собравшимися его проводить. Тут только понял, что ему не хватило времени, чтобы обойти все аилы, попить с земляками чаю.

Деду Кейлюку он не знал что и сказать:

— Конечно, нехорошо получилось, дедушка, не зашел я к вам, не успел.

— А я ждал тебя, Эрден. Было что сказать, да и тебя хотелось послушать... Мотри, в будущем году!..

Щербаков, остававшийся все это время у Эрдена, чтобы помочь обработать маральи рога, подсел к хмурому Аба и снова сказал:

— Дедушка, ты слышишь, нету их — ни ту-ээзи, ни су-ээзи. Так это я, привирал ради выгоды общественной — да я уже говорил. Не сердись на меня, и на Эрдена не надо сердиться, он тоже хотел как лучше... Вот увидите, все будет прекрасно, обойдется самым великолепным образом!

Аба кивал, смотрел бесцветными глазами перед собой.

Щербакову показалось, что в последнюю минуту он встрепенулся, хотел что-то сказать Эрдену, но из-за маши-

ны вынырнула Нина Кертешева — в новом шелковом костюмчике, в косынке и с чемоданом. Вытерев концом косынки лицо, словно старая Тари поясом, смущенно обвела всех взглядом, отыскала Фатиму и нерешительно двинулась к ней:

— Фатимочка, не найдется ли местечка в вашей машине?

— А по делу едешь? — улыбнулся Эрден. — Куда собралась?

— Мне бы до города.

— Ясно. Снова поступать куда-нибудь?

Нина, ни на кого не глядя, кивнула.

Эрден еще раз обошел всех по кругу, махнул горам, подернутым синей дымкой:

— До свидания, Алтай, до свидания, Уч-Сюмер, и вы прощайте, золоторогие маралы!

10

— Говорят, сильно заболел дед Аба.

— Токтыр, что ли, приезжал?

— Приезжал, говорят, из райцентра, внучка Эштен позвонила в больницу.

— Ба-таа! А всходил ли Аба на священную гору, славил ли духов? Просил ли благословения?

— Нет, сам он никуда не ездил. За аржаном к священному источнику ездил Монкуш. Аба, говорят, пил и умывался.

— Зачем же он Монкуша посылал? Не нашлось, что ли, человека посерьезнее, который знает молитвы хозяевам гор?

— Говорят, ничего не ест. Пьет только чай. Сам сказал: «Все, конец, пора в дорогу...»

— Ах, какая беда! Ведь это все Эрден. Как же он не послушался деда!

— Нет, трудно все-таки понять этого Эрдена. Можно сказать, родного деда променял на марала...

Словно серые юркие мыши в сухой осенней траве, шмыгали из аила в аил слухи...

Кымыс подошла утром к медпункту и увидала на крылечке Монкуша.

— Что, Монкуш, желудок, что ли, заболел? — спросила она и засмеялась.

— Нет, — принял парень шутку, как мячик, — мой желудок терпит даже тормозную жидкость.

— Ха-ха-ха...

— А я по делу, хохотунья, — вид его стал серьезным.— Дедушка Аба крепко заболел, не ест ничего.

Поднявшись по лесенке, Кымыс оглянулась:

— Иди. Я скоро буду.

Когда Кымыс переступила порог их аила, Аба, лежавший на самодельной деревянной кровати, устремив глаза все в тот же очаг, повел головой, блеснул глазами и отвернулся к стене, словно капризный ребенок.

«Зачем змееподобная явилась, — ругался он про себя,— кто звал ее? Работа Монкуша...»

Старая Тари поздоровалась и придирчиво осмотрела стройные ноги Кымыс из-под не длинного, но и не короткого платья, ее шапку из лисьих лапок и промолвила:

— Глаза никудышние стали, никак не узнаю, кто будешь-то?

— Как же так, вы не узнаете меня? — удивилась Кымыс. — Внучка Эштен я.

— Ох и забывчива стала моя старая мама! — засмеялся Монкуш. — То сама заступалась за Кымыс перед дедом, а то... вдруг — чья будешь?

— Кто тебе сказал, что забыла! — раздражилась Тари и, оперевшись руками о колена, тяжело поднялась, застонав: — Ох, ноженьки мои, ноженьки... Посмотреть бы на тебя, когда столько годов будет, как мне, думаешь, за версту всех узнавать будешь... — Старуха, шаркая мягкими кисами по земле, добрела до шкафа, достала чашку, вернулась к кадке с чегенем, взболтала, подала гостье, уронив тихонько: — Не заходившая к нам Кымыс, по каким делам пришла?

— Говорят, заболел дедушка Аба, — понизила голос и Кымыс, — посмотреть пришла.

Услыхав свое имя, Аба передернулся, будто ему в пятки иголкой ткнули: «Теперь я должен тебе свои старые кости показывать. Скорее уходила бы...»

— Жалуется, что ничего проглотить не может, — опять шепнула Тари и, взяв чашку у Кымыс, ополоснула ее, поинтересовалась: — Кто тебе шапку-то сшил, Кымыс?

Кымыс улыбнулась, вынимая халат из сумки:

— А что, хорошо сшита?

— Дай-ка сюда, посмотрю.

Кымыс подала шапку.

Тари надела ее на кулак и стала медленно вертеть и

рассматривать, приговаривая: «Все лапки одинаковые, все передние». Она перевела взгляд на Кымыс:

— Эх, нынешние девушки не берут в руки иголки-нитки. Красивая шапка, видать, бабка шила. На, возьми, береги.

— Почему же, я сама сшила. — Кымыс взяла шапку из старых морщинистых рук, надела на голову.

— Правду говоришь или шутишь? — удивился и Монкуш.

— Если сомневаешься, принеси лисьи лапки, я сошью тебе шапку, — не без лукавства улыбнулась она.

— Если умеешь так шить, то ты хорошая девушка, — сказала Тари, присматриваясь к рукам Кымыс, к каждому ее движению. — У меня у молодой тоже руки были проворные да сильные. А теперь согнулись пальцы, мучаюсь, единственную корову доить невмочь. А сколько этими руками овечьих шкур выделала, сколько шуб и шапок сшила...

Видно было, что пронеслась в ней ее молодость и, как эхо, зазвенев, исчезла. Она отметила про себя, что Кымыс не подстригла волосы как попало, а носит косу, по-девичьи.

На теперешних девушек Тари и смотреть-то стыдно: не разберешь, парень ли, девка ли. А то напялят срамную короткую юбку, словно тело показать норовят. Это чтобы прежде при свекоре выставить голую ногу?.. Да никогда! А теперь не считаются со старшими рода. Лучше не думать. Нет, если бы такую вот молодицу Монкушу... Единственную корову и то доить трудно.

— О, дяйло! — наконец вздохнула она, а Кымыс подумала, что Тари беспокоится за своего старика.

Кымыс между тем надела халат, стряхнула термометр, взяла фонендоскоп, чтобы послушать дедушку. И тут Тари опять неожиданно для себя подумала: «Если люди правду говорят, что она будет нашей невесткой, не положено ей смотреть на тело Монкушева деда. Ишь, не боится...»

— Аба, вы не спите? Как чувствуете себя? — Кымыс наклонилась над стариком.

Он не шевельнулся. Кымыс постояла, подождала. Взявшись за одеяло, тихонько попросила:

— Поставьте термометр, давайте температуру измерим.

Старик не откликнулся, она подала знак Монкушу.

Зашаркав тяжелыми сапогами, Монкуш подошел к деду.

— Вы же слышите, Аба. Неужели уснули? Кымыс только хочет...

Аба словно того и ждал. Он повернулся, взгляд его окинул халат Кымыс, перескочил на фонендоскоп, метнулся из-под насупленных бровей к Монкушу. Плечи затряслись, словно от холода, и голосом, полным издевки, он произнес:

— Я думал, ты привел в аил вестника бога, а это всего-навсего внучка Эштен!

Кымыс вспыхнула.

— А я не заикался о вестнике бога, я привел к вам доктора, — невозмутимо сказал Монкуш.

— А если не вестник, так можешь показываться ей сам! — Аба подтянул одеяло, спадавшее с плеч, и снова повернулся спиной.

Старая Тари не вытерпела, поднялась, Монкуш и Кымыс уступили ей место.

— Эй, может, ты разрешишь ей послушать и посмотреть тебя? — тихо вступилась она, как все старые алтайки, избегая при посторонних называть мужа по имени. — Кто знает, может, она и поможет тебе, эй!

— А-а, — закричал и закашлялся старик, — и ты заодно с ними? Нет уж, пусть никто не подходит и не трогает меня! Если тебе не терпится, покажись ей сама, старая ворона.

Ничего больше не сказала Тари, махнула рукой и села к очагу на своей половине.

Растерянная Кымыс беспомощно оглядывалась и вдруг сорвала с себя фонендоскоп и объявила сердито:

— В таком случае я вызову врача из райцентра! — И прямо в халате выбежала из аила.

Аба тут же вскочил, словно под ним загорелась постель. Ходуном заходил кадык, задрожали худые руки.

— Внучка Эштен еще не доросла, чтобы узнавать, что со мной! — хрипло закричал он и примолк, ошеломленный какой-то мыслью.

— Все равно надо было показаться, может, она что-то и узнала бы, — возразил Монкуш.

— Нет, — упирался Аба. — Если хочешь знать, у моей болезни есть причина, но не та, что думают! Правда, мой старший внук молод, ему надо жить и продолжать род. Но он...

— Не хочу и слушать! — крикнул Монкуш, побежал, в дверях обернулся, чуть не плача: — Вы хотите сказать, что это брат виноват?..

— Послушай, — остановил его старик, но Монкуш, хлопнув дверью, исчез.

— Вот видишь, — Аба кивнул Тари, тяжело дыша. — Я хотел предупредить его, как надо хоронить меня... А он... Вы вот что, гроба не делайте, заверните меня в войлок... Да не забудьте положить узду и седло.

— Ладно, перестань, старик... Я все передам, ложись.

— И чашку мою не забудьте, и ложку...

— Ладно, старик мой, молчи, говорю, все передам. Ты только на детей не сердись, им надо род наш продолжать... Правнуки Бачиматова Кара должны долго жить...

— Ты думаешь, я не хочу им добра? Ошибаешься, старая. — Аба силился улыбнуться. Сутулясь, опустился на постель.

Он был совсем серый и сильно дрожал.

— Хорошо быть молодым, — хрипел он... — Ты видела Кымыс? Как бы дать знать ей, что Аба на нее не сердится. — Какое-то подобие улыбки тронуло лицо старика. — Придет Монкуш, непременно дам знать... Как ты думаешь, моя Тари? Старость и молодость одинаково плачут...

— Ты всегда был у меня мудрым, — говорила Тари, укладывая Аба.

Он попросил пить, она подала чегень. Аба отпил всего два глотка.

— Надо сказать Монкушу, чтобы положил со мной огниво. Огонь и на том свете нужен человеку.

— Ладно, старик, не думай об этом, — просила жена. — Они все сделают, ты только не торопись туда.

— Не утешай меня, — уже ровно дыша, произнес Аба. — У щербатого камня нет кожи, у человека нет вечности. Все идет, как хочется богу. — Он поднял голову и долго смотрел в дымовое отверстие на знакомый клочок синего неба, шевелил губами. Затем взгляд его снова обратился к двери. — Значит, приведет большого токтыра?.. А не знает того, что конь не золотой, когда-нибудь да падает, человек не серебряный, когда-нибудь да умирает. Эх, Эрден, Эрден, внук мой...

11

Поздняя осень трепетала над Куулгы. Листья на деревьях давно облетели. Откуда-то сверху, со снежных вершин, ветер гнал над пустыми желтыми полями редкие пушистые, как гусиные перья, снежинки.

Аба почти не поднимался. Всяк, кто бывал по делам в Онгудае, заходил к нему в больницу, привозил гостинцы от себя и от Тари.

— Вот и все, — говорил Аба каждому, кто навещал его. — Пора, видимо, дети, собираться на тот свет... Вы, кто останетесь в живых, не трогайте больше священных маралов... По велению небесных богов, Алтай-кудая и Ак-Бурхана, я должен был еще немножко пожить, но...

Он задумывался и плакал. А потом начинал ругать врачей:

— Уж коли прогневались на меня горные духи, что могут сделать эти безбожники в белых халатах?.. Только зря, как пчелы, вьются вокруг.

Эрден присылал письмо за письмом, и Монкуш частенько наезжал в Онгудай, подолгу сидел у постели деда.

В последний раз старику сильно недужилось. Он лежал в маленькой белой палате на двоих головой к окну, и на изможденное пергаментное лицо и на седую ушастую голову падал серый свет от стен и сумрачного дня. Старик еле поднимал тяжелые морщинистые веки, тускло смотрел на внука. Все внутри у Монкуша переворачивалось, сжималось, на ум не приходили подходящие слова. Что бы он ни говорил про дом, про Тари, про Эрдена, Аба только шевелил скрюченными холодными пальцами. Было видно, что все ему стало неинтересно, жизнь на глазах утекала куда-то из этого сухого тела, так странно ужавшегося под байковым одеялом. «Вот ты каков, потомок великих иркитов», — думал Монкуш неуместно, и все в голове его мешалось.

— Ну что вы, дедушка, подождите, врачи здесь хорошие, я узнавал, они вас обязательно поставят на ноги, вы только слушайтесь их. Надо верить, а вы...

Глаза у Аба вроде ожили, лицо задрожало, мелко-мелко задергалось.

— Врачи? — захрипел он. — Вылечат?.. Кто сказал тебе это? Сам Ак-Бурхан с заоблачных высей? Вылечат! А я скажу тебе что-то: меня мой внук Эрден уже давно променял на марала. Понял? А ты — вылечат... Променял он меня, променял...

Старик опрокинулся, а слова вырывались со свистом и хрипом, грудь ходуном ходила, выпроставшись из-под одеяла, глаза закатились, а пальцы, кривые, тонкие, хватали то рубаху, то простыню.

Монкуш испуганно озирался.

— Сестра, сестрица... — звал он, пятясь из палаты...

Вечером он долго ходил по холодным нелюдным улицам и все думал про деда, представлял его лицо с закатившимися глазами, слышал его хрипы и страшные слова

про Эрдена. Сестра сказала, что ничего, это пройдет, побежала ставить уколы, но Монкуш не мог успокоиться.

«А может, наши маралы и правда священные? — приходило ему на ум. — Зря я злил старика, смеялся, подкалывал?.. Ну как это в самом-то деле, стоило Эрдену убить марала, как дедушка заболел?.. Ну, был он старый, конечно, но все же на своих ногах таскался, а летом даже лечил Яманай... Кому бы сказать об этом?»

Он подумал, что хорошо бы сказать Кымыс, но она его только высмеет. «Меднчка, интеллигентная, собирается поступать в институт на заочное, книжки разные выкапывает умные. А я? Что ей я?» — ревниво думал Монкуш. И вспомнил, как болтали о ней куулгинцы, когда приехала и начала работать. Кто ей тогда доверял? Кто считался-то с нею?

— Кымыс? Да что она знает-то...

— Ее больше интересуют песни.

— Видать, вертихвосткой стала там, в городе.

— Это уж точно. Разве не видно ее? Мыльный пузырь, хохотушка, так, пустышка какая-то.

И приболевшие люди шли к деду Аба. А теперь, словно перевернули долгоиграющую пластинку, все больше говорят: Кымыс да Кымыс. Недаром существует у алтайцев загадка про человеческий язык: «Тридцать белых коней, а посередке неуловимый конь огненной масти». С тех пор как Кымыс стала впервые в селе кин-эне, пошла из аила в аил слава об искусных руках новой «токторши»...

Он шагал под высокими звездами меж домами и знакомыми конусами аилов в глубокой тишине. Изредка глухо стонали горы.

Шел он и мучился, что родился таким неудачником. Ничего никогда не боялся, ничего не страшился, всегда готов был встретить врага в открытую, не боялся хохотать и поддевать Кымыс при народе, но один на один с ней терялся, будто был Монкуш не Монкуш, а смешной, застенчивый мальчик.

Он думал о том, как раньше все было просто. У девчонки согласия на брак и не спрашивали. Поймают, привезут в свой аил — и свадьба, той. Насилие, конечно, но все же жили, привыкали... Пожалуй, Монкушу это подошло бы... А то еще так: родители новорожденных договариваются поженить детей, когда станут взрослыми. Отец мальчика даст родителям девочки калым — и все, пьют сваты араку и ждут, когда подрастут ребята. Впрочем, у Монкуша нету отца...

Среди множества звезд на небе
Ярче горит звезда одна.
В мире безбрежном девушка одна —
Не моя ли она судьба?..

Да, но вообще-то Кымыс уже совсем не так на него смотрит, как смотрела прежде. Ему часто теперь удивительно тепло становилось под ее взглядом...

Когда он поравнялся с калиткой во двор тетушки Эштен, завертелся вьюгой. В доме горел свет, Кымыс откуда-то поздно вернулась, за занавеской шевелились тени. Добежав по дорожке до двери, он повернул назад. Но на улице не было никого, ни один глаз за ним не следил. И Монкуш решился, снова вернулся, быстро стукнул, еще оглянулся и, распахнув двери, ввалился в дом.

Кымыс и ее бабушка удивленно глядели — они, видно, собирались ужинать. Тетушка Эштен первая пришла в себя, понимающе усмехнулась:

— Не собака ли за тобой гналась, Монкуш? — и перевела хитроватый взгляд на Кымыс. — Кажется, у нас нет злой собаки.

Монкуш, стоявший у порога, ляпнул:

— Как, разве у вас нет собаки?

Его глаза приклеились к Кымыс: черные блестящие волосы ее были распущены, свешивались за спинкою стула чуть ли не до полу, милые черные глаза словно ждали от него чего-то — так распахнулись, и вся Кымыс была не Кымыс, а картинка, виденная где-то Монкушем.

И вдруг она припала головой на стол, и девичьи, чуть округлые плечи, затряслись от смеха.

— Ты что же не садишься, Монкуш, уж не надел ли деревянные брюки? — Тетушка Эштен зашаркала кисами к шкафу.

А Кымыс так же неожиданно перестала смеяться и просто сказала, вздохнув:

— Что это ты, Монкуш, будто никогда не бывал у нас, о какой собаке ты говоришь? Давай с нами ужинать.

— А мне сказали, что вы купили злую собаку, — подмигнул ей Монкуш и сел на придвинутый стул.

Ставя перед ним суп, Эштен спросила:

— Где это слыхано, чтобы собаками торговали?

— Не только собаками! Я видел в городе, как одна полную корзину котят принесла и стала продавать, словно в корзине не котята, а яблоки.

Кымыс так и прыснула, а тетушка Эштен подняла брови:

— Впрочем, чему удивляться, в городских лавках все, кроме глаз, купить можно.

— Ну что вы, бабушка, будто не знаете Монкуша? Он же смеется. — Кымыс повела на него глазами с ласковой усмешкой, и он улыбнулся ей, чувствуя, что ему хорошо. Может быть, и ей хорошо было сидеть вот так рядом с ним, есть суп и случайно задевать его локтем.

И ему хотелось долго-долго сидеть так, слушать ее звонкий искренний смех, видеть чуть припухлые губы, готовые сказать что-нибудь смешное или дерзкое, смотреть в ее быстрые, смешливые и ласковые глаза. «А что, если написать ей? — пришла ему сумасшедшая мысль. — Взять и отправить письмо из Онгудая. Как ни говори, письмо будет с печатью, она не сразу поймет, от кого»...

— Ты что замолк? — Ему вдруг показалось, что глаза у нее печальные.

— Да так.

— Хочешь послушать новые песни?

— Прямо сейчас будешь петь?

— Да нет. — Она закрутила волосы, сколола их на затылке. Когда нежные, загорелые тонкие руки поднимались к затылку, у Монкуша падало сердце. — У меня есть пластинка, недавно выпустили.

Кымыс включила проигрыватель.

— О, Воинков! — угадал Монкуш. — Вот поет, а?

Кружилась пластинка, менялись певцы и песни. В песнях — высокие звезды, горы, топот коней и звон родников. Кымыс, чуть наклонив голову, скрестив руки, слушала молча.

— А ее узнаешь? — спросила она про певицу.

— Как фамилия-то? Она приезжала с концертной бригадой.

— Ее родители рядом живут, в Шибее. Ты разве не знаешь чабана Чанкыша Ялбакова?

Тетушка Эштен, гремевшая посудой, услыхала:

— О каком Чанкыше ты говоришь, балам, из рода тодош, что ли? Как же, я знаю его, но как его дочка залезла в ящик?

Кымыс рассмеялась, сказав, что бабушка у нее известная притворщица — вечно всех разыгрывает.

Пластинка крутилась. Певец пел о любви. О любви Монкуша к девушке, которая была рядом, но не догадывалась, как мучается парень.

— Девушка не моей судьбы, — повторил вслед за певцом Монкуш, вздохнул и затаился.

А пластинка вертелась, вертелась... «Девушка не моей судьбы, а может — моей судьбы».

— Ну как, Монкуш? — спросила тихо Кымыс.

Он не поднял глаз.

— Так себе, старые песни, их каждый день по радио Горно-Алтайск передает.

— То радио... А это пластинка, алтайская, наша...

— Монкуш! — загремела из кухни Эштен. — А что же я не спрошу: как там Аба, ты был в Онгудае?

И сразу перед Монкушем встала больница, дрожащие, дергающиеся руки деда, колючие злые глаза, изможденное, ребяческое тело. Вот он кашлянул, безнадежно махнул слабой кистью: «Эрден меня давно променял на марала!»

— Монкуш, ты что же молчишь?

— Ничего, спасибо, все хорошо. Кымыс, мне очень нужно было видеть тебя.

— Я слушаю.

— Нет, в другой раз. Да, в другой раз лучше будет.

Он встал, крикнул «До свиданья» тетушке Эштен, у дверей задержался, обернулся: посередине комнаты стояла Кымыс со странным, тревожным и требовательным вопросом в глазах.

— Кымыс!.. Я знаю, ты скоро получишь письмо.

— Какое? Откуда?

— Из Онгудая...

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, так что ты жди...

— Постой! Я давно хотела тебе сказать: у тебя голос похож на голос Эрдена...

— Разве? Наверное, было бы лучше, если бы я был совсем похож на него...

— Нет, нет, Монкуш... Каждый должен быть похож на себя... Тогда хорошо...

— Будем... — И он толкнул дверь в ночь...

...Прощаясь с последними солнечными деньками, горят грани великого Уч-Сюмера. Скоро земля погрузится в глубокую белизну, на гордых вершинах поселятся снега и туманы. А пока Уч-Сюмер наблюдает, как дымится аил Аба — уже который раз за последнее время. Было это и в месяцы малой жары, и в середине лета. Последний раз куулгинцы собирались в этом аиле совсем недавно, неделю назад, когда умер его хозяин. Сегодня они отмечали седьмой день после смерти Аба.

Сегодня Аба уже на том свете и впервые узнает, что навсегда покинул мир, где долго жил и слыл почтенным человеком. Ясновидцы, если только они существуют, сегодня смогут увидеть деда. Дух старика взлетит из-под земли на вершинки сухих стеблей, поймет, что Бачиматов Кара умер, и горько заплачет, прощаясь с солнцем и луною, с землей и небом.

Ушел Аба в ясный осенний день. Тихо дымились отроги гор, тихо качались голые лиственницы и березы, задумчиво голубели мудрые кедры и ели. Аба опустили в могилу без гроба. «Мне не нужен этот красивый ящичек, из него не выбраться духу», — еще давно говорил старик.

На него надели лучшую шубу, праздничную шапку из рысьих лап, ичиги красной кожи; под голову (будто уснул в горах у костра) подсунули седло и узду с красивой отделкой, не забыли и старые арчимаки — переметные кожаные сумы. В арчимаки уложили посуду и те самые палочки, которыми врачевал он вывихи и переломы.

Эрден опоздал хоронить: сутки просидел в аэропорту. Непогода не допустила, чтобы руки его несли дедово тело.

Хотел он на могиле Аба поставить ограду, но Тари взбунтовалась: дух старика не поднимется на горный хребет, навсегда останется за железным забором. Тогда Эрден решил посадить на могиле живой памятник — кедр. Пусть люди скажут: «Дерево посадил старший внук деда Аба».

— Это он одобрит, — согласилась и Тари. — Дерево на могиле хорошего человека не сохнет, а у плохого — и года не минет, зачахнет. Твое дерево с весною распустится, заголубеет...

Кедр сажали вдвоем с Монкушем. Никто не стеснял их, и потому ничего не скрывали они друг от друга.

— Скажи, Монкуш, только честно, — начал Эрден, — он перед смертью не упрекал меня?

Долго молчал Монкуш и не смел посмотреть на брата. Тот не торопил, курил и тоже молчал.

— Дед наказал, — наконец промолвил Монкуш, — чтобы мы дружными жили — теперь вы мне и брат и отец...

— А про марала?

— Нет, про него ничего, кажется, не говорил. — Монкуш поднял глаза, они были налиты слезами.

— Ясно, — сказал Эрден. И, взглянув на могилу, вздохнул: — Прости меня, глупого, дедушка мой...

Крепкой большой рукой отер он глаза, поставил лопату:

— Я был еще маленький, когда он рассказал мне, как

застрелил кукушку, чтобы узнать, сколько лет проживет. Нанизал он ее на шомпол ружья, на костре зажарил, съел и уснул под деревом, где убил ее. И ему приснилось, что жить будет до девяноста лет... Как видишь, целых пять лет не дожил...

Монкуш тоже слышал об этом.

— Не надо так думать, ака. Ведь дед сказал, что прожил свое.

И вдруг он спросил, помнит ли брат насчет самого высокого места на земле.

Эрден тут же преобразился. Широкие скулы стянуло доброй улыбкой.

— А ведь началось с ваших звездочек на погонах, ака, вы тогда были еще капитаном, и дед сосчитал звездочки: «Не много ли?»

Да, да, Эрден вспомнил, как он пошутил, что после академии звезд будет меньше — дадут майора, а там будет видно...

— Тогда Аба почему-то сказал: «Звезды высокие. А что выше их? Человек!.. Он не должен быть ниже звезд!»

— Да, а на земле, говорит, где место высокое самое? И ответил: «Великая гора Уч-Сюмер!» Я тогда засмеялся: «Самое высокое место — Красная площадь, оттуда все можно увидать и услышать...»

— А дед повел головой вот так и сказал осторожно: «Может быть, может быть, я там не был...»

...Опять в аиле Аба над очагом варилась баранина. Из рук в руки передавалась пиала с горьким напитком. Люди всю ночь просидят в аиле, съедят всю баранину, а наутро то, что останется, отнесут на могилу и подпалят.

Эрден и Монкуш держались все время рядом, такие разные лица их были покрыты одною печалью, и старой Тари казалось, что сейчас они оба похожи на мать, на милую ее Мекечи...

Она тихонько наблюдала за внуками и сказала тихонько:

— Хорошо, Эрден, что летом ты успел показать жену деду, он был очень доволен — умная у тебя жена... — Она судорожно вздохнула. — Теперь будем ждать лета, надо женить Монкуша... — И задержала взгляд на Кымыс, которая сидела возле Тарынчак, приехавшей со своей стоянки Кара-Суу.

Кымыс покраснела, а Тарынчак обхватила ее рукою за плечи:

— Монкуш хороший парень, тетушка Тари. Когда мой

Анчи родился, Монкуш подарил ему пульку от своего ружья. Много чего он перенял от деда! Не печальтесь, тетушка Тари, Монкуша мы поможем женить. И никуда из Куулгы его не отпустим!..

Эрден слушал и думал о жизни и смерти, о смерти и жизни. Зачем живет человек? Придет ли бессмертие?.. Там и тут по горам Алтая молча и одиноко стоят каменные бабы — зачем, для чего? Наверное, предки Эрдена, лихие кочевники, тоже о бессмертии мечтали, и было им небезразлично, останутся или нет после них следы на земле.

Совсем близко от Куулгы каменный человек подставил ветру скуластое лицо. Задумчив косой разрез его немигающих глаз, упрям отшлифованный временем прямой нос. На голове у него венец с зубцами и птицей, похожею на орла. Он думает...

Может быть, в нем до сих пор живет вопрос: счастливы ли алтайцы, его потомки?..

1968—1970 гг.

ДО СМЕРТИ ЕЩЕ ДАЛЕКО

Майну летел над облаками.

Он не слышал ни рева, ни гула мощных двигателей самолета. Перед ним словно распахнулись другие миры, и Майну ощущал лишь, как неровно и часто, где-то глубоко-глубоко, бьется его сердце... Он будто и не жил сейчас. Лишь сознание его, неясно и зыбко, улавливало отдаленный трепет жизни — ее размеренную поступь, ее неумолимо крутые дни, неожиданные удары и повороты в пути, а за теми поворотами, снова и снова, одинаково скоро проходящие радости и печали.

Высоко над облаками, в беспредельной синей бездне, не самолет мчал его — сама жизнь влекла вперед и вперед. Жизнь, как самый первый и самый могучий прорыв зелени по весне, одинокая всюду — и на земле, и здесь, в заоблачной выси. Ее не окинешь взглядом, жизнь, она бескрайняя. Но среди многоликой, нескончаемой пестроты, кажется Майну, тянется, тянется тоненькая нить — тоньше конского волоса. Ниточка эта то петляет, то туго натягивается — вот-вот порвется! — то убегает, совсем истончаясь, вдаль, а по ней, балансируя и вихляясь, так же неровно и нескончаемо тянется участь Майну, его судьба.

Майну убежден: в этой круговерти есть его собственные пределы, его «максимумы», которые он должен крепко держать в руках.

На земле — все проще. А сейчас, в полете, он вдруг как бы очутился над жизнью... Нет, она тут, она продолжается, она цепко держит его. И Майну ни за что не допустит, чтобы оборвалась эта нить...

Стоило ему отвлечься от путаных, рваных и невнятных раздумий, как в уши ворвался басовитый рев реактивных двигателей, и мысли стали наматывать совсем другой клубок — больших и малых житейских дел, которые ему предстояло решить в ближайшее время, в которых он, Майну, должен был непременно разобраться.

Так же неровно и часто билось сердце. Словно в улье гудели, роясь, мысли-пчелы.

Самолет стремительно нес Майну на запад.

1

...Соседом и лучшим другом Майну был Багыр. Ровесники, они играли вместе, на охоту за сусликами — вместе, телят пасти — тоже вдвоем. Водой не разольешь! До того самого дня...

Это было летом сорок третьего, в пору сенокоса. Майну и Багыр играли на вытоптанной людьми и скотом тропинке между аилами в бабки. Ставили поочередно на кон кости и кидали по ним гладкими каменными плитками-битками, стараясь с маху расшибить всю шеренгу бабок. Счастье улыбалось то одному, то другому, и драгоценные бабки — самое большое богатство мальчишек — переходили из рук в руки. Друзья бегали сломя голову, кричали, ссорились, хохотали, дразнились, вывозились с головы до ног в пыли. Потные, чумазые.

Увлеченные игрой, они не видели, когда к ним подошел солдат, а заметив его, побросали бабки и уставились на незнакомца.

На выцветшей и темной от пота гимнастерке солдата тускло поблескивала медаль — большая, на серой ленточке с синими полосками по краям.

Склонив голову к левому плечу, солдат молча, сверху вниз, смотрел на мальчишек единственным глазом. Второй глаз у него вообще-то был, но в том месте, где ему полагалось находиться, пугающе зияла глубокая прорезь, от которой до самого уха резко ломался след красновато-лилового шрама. В этой вмятине лишь угадывался неповрежденный зрачок.

Он был высокий, солдат. Не только потому, что так казалось мальчишкам, — на самом деле. И голенища его сапог были длинные-предлинные, так что широко расставленные ноги солдата походили на сажень, которой меряли у них в деревне поля и покосы. Небольшая, коротко стриженная голова чернела где-то там, почти в поднебесье. Во

всем остальном солдат был человек как человек. Руки, правда, прямые, как палки. А лицо — мягкое, доброе, вот-вот улыбнется...

Солдат все так же молча наблюдал за смущенными ребятишками. Медленно, как ранняя заря, на его лице всходила улыбка.

— Кто из вас Багыр? Кого звать Багыром?

— Вот этого, — Майну острым подбородком кивнул на своего дружка.

— Балам! Багыр! — вдруг закричал солдат и, сделав два или три прыжка длинными своими ногами, подхватил Багыра, легко подбросил его высоко над головой, поймал, прижал к груди — грязного, сопливого, мокрого от пота. Снова и снова кидал он Багыра вверх, ловил вытянутыми палками-руками и крепко прижимал к себе.

Майну стоял в сторонке и терпеливо ждал, когда, наконец, солдат отпустит Багыра и точно так же схватит его и станет так же высоко кидать над собой, ловить и ласкать, прижимая к груди. Напрасно ждал... Этого не случилось. Он был отцом Багыра, этот солдат, и ничьим больше.

Отца Багыра звали Сулатаем. А как звали отца Майну, он не знал и никогда над этим не задумывался. Этот вопрос еще не колол острием иглы его сердца, не высекал из его глаз слезы до того дня. Не было до того же дня у Майну ни к Багыру, ни к кому угодно вообще ни зависти, ни ревности. Ведь пока этот солдат откуда-то не появился, у Багыра тоже не было отца. И не только у Багыра, — у многих ребятишек из Кайру. Кого ни возьми — нет отца! Зачем тогда и Майну отец? Разве у него нет матери?

Мать Майну — Дыламаш Кыпчакова — конечно же, лучше всех.

Рано-рано поднимается она каждый день. И первым делом доит Белую Корову — это такая кличка у их единственной коровы, и на самом деле совершенно белой, без единого пятнышка. Потом мать дает Майну парного молока, а сама делает сыр-быштак. Большой и круглый, он дышит, исходя теплым душистым паром. Мать обрезает кромки у сыра и, поглядывая на Майну, спрашивает:

— Тебе какой быштак? Двумя руками держать или одной?

Майну знает эту хитрость и ни за что не скажет «двумя». Если он попросит быштак в обе руки, мать отрежет длинный тонюсенький кусочек, похожий на собачий язык.

Его и не ухватишь — он тут же переломится и шлепнется на земляной пол аила. Майну не жадный. Он протянет одну руку, спрятав другую за спину. Тогда мать отхватит кусок потолще и потяжелей. Если съесть его с чаем, до самого обеда будешь сыт. А в обед Майну съедает другой кусок, который мать оставляет ему, уходя на сенокос. А вообще-то мать только шутит. Ну даст она ему узенькую ленточку сыра в обе руки, а после все равно накормит досыта. Так что это просто игра, но оба они — и Дьиламаш, и Майну — делают вид, будто все это всерьез.

Вечером, когда мать возвращается с поля, она снова доит Белую Корову — Ак-Уй.

Майну всем доволен. Вот только теленка караулить, чтобы не высосал молоко у коровы, — занятие не из самых приятных. За этим теленком не углядишь. А если проморгаешь, — такое случается, и нередко! — тогда не жди ни парного молочка, ни сладкого сыра-быштака. Но не в этом беда. Беда, когда мать схватит тонкие таловые прутья и пройдется хлестким пучком по мягкому месту Майну. Сечет мать от души, больно, однако ожидание неминуемого наказания больней порки. Впрочем, прутики «играют» не по одному Майну. Если Багыр подпустит телка к своей Пеструхе, в их аиле будет то же самое, и прутья будут плясать по заду друга, и тот станет орать что есть мочи, словно его убивают. Майну не раз слышал рев Багыра. Сам-то он не орет, когда его лупит мать. Разве совсем немножко...

Короче говоря, до этого дня Майну и Багыр ничем друг от друга не отличались. И стоило только появиться солдату, как все на свете перевернулось.

— А ты чей будешь? — опустив на землю Багыра, Сулатай весело подмигнул Майну здоровым глазом.

Майну, сам не понимая отчего, застеснялся, потупился и промолчал. Он шевелил грязными пальцами босых ног, шмыгал носом и молчал.

Есть у нас, у алтайцев, загадка: «Что растет быстрее травы?» Говорят — листочки. Поэтому всех языкатых и болтливых так и дразнят: «Листочек быстрее травы». На этот раз «быстрее травы» оказался Багыр. Он ответил отцу вместо Майну:

— У Кылдедо нет папы. Он... он... Кылдедо — мой друг.

— Э-э! — засмеялся Сулатай. — Интересное, однако, имя у твоего друга. А кто же будет мать Кылдедо?

Майну-Кылдедо круто повернулся на пятках и, не оглядываясь, припустил к своему аилу. Лишь отбежав на порядочное расстояние, он обернулся и крикнул:

— Ваш Багыр обманщик! Он обманывает!

— Как? — удивился солдат. — Разве ты обманул меня, балам?

Сулатай переводил взгляд с Майну на Багыра и продолжал смеяться.

— Меня зовут не Кылдедо! — крикнул мальчик, добежав до аила. — Меня зовут Майну. Только Майну!

— Вот как... — Солдат больше не смеялся.

Мальчик озирался, словно что-то искал, и порывисто дышал.

— Я никогда больше не буду играть с вашим Багыром!

Тонко зазвенел его голосок, и за дверью аила мелькнули босые пятки.

...Волосы у Майну торчат щетинками в разные стороны. Жесткие, как на гриве или хвосте коня. Сколько ни приглаживай их, все равно, непокорные, стоят торчком, топырятся. А сам он щупленький, худенький. Косточки у него хрупкие, тонкие. Потому-то и прозвали его Кылдедо — Волосяные Ножки.

Пока к Багыру не вернулся отец, Майну и внимания не обращал на свое прозвище, ни на кого не сердился, когда его звали так — по-уличному.

— Кылдедо! — звали друзья. — Идем играть в бабки.

Майну мчался играть.

— Кылдедо, не видел нашего теленка?

— Кылдедо, в горы за ревенем пойдешь?

Майну не считал, что прозвище унижает или оскорбляет его, не думал, что ребятишки, да и взрослые, посмеиваются над ним. Он привык к своему второму имени, привычно отзывался на него и не находил в нем ничего обидного.

Если бы в тот самый день, когда они с Багыром играли между аилами в бабки, не появился Сулатай, Майну долгие годы еще, а может, и всю жизнь оставался бы Кылдедо — Волосяные Ножки.

Этот день все перевернул. Летний день сорок третьего года.

Над Кайру плавилось от зноя солнце. Мать Майну, как и мать Багыра Карагыс, как все женщины Кайру, была на покосе. Все они воротились из бригады поздним вечером.

Не успела Дьиламаш переступить порог, едва только отворила дверь, перед нею у потухшего очага возник, словно тень, Майну и тихо спросил:

— Мама, где мой отец? Скажи...

Словно кто специально подкараулил и ударил Дьиламаш. Она выронила из рук седло и не смогла шагу шагнуть. Так и стояла у порога, пока не собралась с мыслями, не пришла в себя. Буркнула только в сердцах:

— Что ты говоришь, сынок!..

И снова зазвенел голосок Майну:

— Скажи, кто мой отец?

— Не дури, балам! — рассердилась Дьиламаш. — Давай разжигай огонь в очаге.

Она хотела было поднять упавшее седло и прибрать его на место. Как бы не так!

— Отец Багыра с войны приехал...

Майну подбежал к матери, ткнулся лицом в ее живот и, мотаясь из стороны в сторону, залился слезами.

— Я думал, он и меня на руки возьмет... Подбросит... высоко, как Багыра... А он... он... Мама, ну скажи... Чего ты молчишь? Мой отец тоже солдат, да?

За весь долгий день Дьиламаш не присела. Только и знала косой махать. Работала, работала, работала... Людей в колхозе мало. А сена сколько надо? Норма большая — семьдесят-восемьдесят соток. Попробуй, скоси! Учетчица знать ничего не знает: отмерит делянку, и — хоть стой, хоть падай, умри, а норму дай. Руками ее рви, зубами дергай, проклятую траву!.. Маши косой, шагай прокосом, пока не доберешься на последнем рядке до вбитого учетчицей колышка на конце луговины. Не выполнишь норму, значит ты — «помощник Гитлера». Никто не хочет верить, что у тебя просто-напросто сил не хватило, — ты «нарочно»...

Надо бы выйти из аила. Надо подоить кормилицу свою, Белую Корову. Надо сварить чай, поужинать вместе с сыном, а потом... Потом свалиться, ткнуться головой в подушку и забыться сном. Ничегошеньки больше не надо — ни думать, ни разговаривать. Только упасть и проспать до рассвета. Он так рано наступает, летний рассвет...

— Какой тебе еще отец? — похолодел ее голос.

Рано или поздно Майну должен был задать этот вопрос. Но сейчас? Что она могла ответить малышу? Что бы он понял?

Не сдержалась. Заплакала. Глухо простонала: «Что за жизнь, что за горе мне!..» Слова ее были пронзительны и остры. Несколько раз шлепнула ладонью пониже спины Майну, приговаривая: «Вот тебе отец! Вот тебе отец! Ты еще будешь мне сердце рвать!»

Не взглянув на сына, упавшего возле все еще холодного очага, громко хлопнув дверью, гремя железным ведром, Дьиламаш вышла из темного аила доить корову.

2

Тот день, когда вернулся с фронта отец Багыра, а мать сгоряча задала Майну неведомо за что порку, не выветрился у него из памяти. Да и как бы забыл он его, если с того дня и поныне остался без ответа такой странный и такой естественный вопрос: чей же он все-таки, Майну?

С того самого дня родное и дорогое слово «отец» стало враждебным, ненавистным Майну.

Мальчишка стал сторониться людей, особенно приезжих — гостей. Гости народ любопытный. Им зачем-то надо, поприветствовав человека — хоть взрослого, хоть маленького, — узнав о его здоровье, о благополучии в хозяйстве, о приумножении скота, начать выспрашивать, кто он да чей. Вот пустятся выяснять, кто какого рода-сеока, кто чья родня. Будто и говорить больше людям не о чем! Род-сеок, понятное дело, идет от отца. Какого рода отец, того же сеока и дети... Против обычаев не попрешь, всем рот ладонью не закроешь. Вот почему Майну увиливал от встреч-разговоров с людьми, вот почему и слово «сеок» стало ему ненавистным.

Прежде всего крепко-накрепко запомнил Майну, что Сулатай — вернувшийся с фронта солдат — отец Багыра и ничей больше, что никого, кроме Багыра, не назовет он нежно и ласково: «Балам, дитя мое!» Только Багыра будет подбрасывать высоко в синее небо. Только для Багыра есть у него самое гордое слово «сын».

И еще понял Майну, что красивую Сулатаеву фуражку никто, кроме Багыра, не смеет даже немножко поносить, даже примерить. А какая фуражка! На самом видном месте, как раз на лбу — красная пятиконечная звездочка! В ветреную погоду Багыр зацеплял за подбородок черный блестящий ремешок, который двумя пуговицами был прикреплен над козырьком, и фуражка не сваливалась с его головы, хотя была ему велика. Не то что ветер, даже другие мальчишки не смогли бы сорвать ее, если Багыр опускал ремешок под подбородок.

К Багыру, после того как вернулся отец, и не подступись. Он — не Майну. У него отец — фронтовик, его все люди уважают. А у Майну только мать. Она похожа на всех кайрунских матерей и никогда не была на фронте.

Никогда не носила фуражки со звездой. Нет у нее широкого ремня с медной пряжкой. И медали на серой ленточке с синей каемочкой тоже нет. От других женщин Кайру Дьиламаш отличается разве тем, что редко, очень редко можно увидеть улыбку на ее лице, и глаза ее всегда полны грусти. Если какая-нибудь из кайрунских женщин запечалится, ей обязательно скажут:

— Откуда это у тебя под глазами тень грусти, как у Кыпчаковой Дьиламаш?

Можно подумать, будто на всей земле и есть один только печальный человек — мать Майну.

В остальном Дьиламаш, как все. Работает в поле, ходит за Белой Коровой, растит сына. Иной раз в лесу, когда никого рядом нет, поет Дьиламаш. Поет каким-то сиротливым, за душу берущим голосом. Такого голоса, вот это уже верно, ни у кого нет. Майну ее голос сразу отличает.

...Где-то жалобно плачет-кукует кукушка.
Как печально и горько в мире...
Словно голос ушедших милых
Болью схватывает наши души.
Сиротливо пронзителен голос кукушки.
Как печально и горько в мире...
Многих нет на земле милых.
Вечна память о них в наших душах...

...Да, Багыра, как только отец его приехал, совсем не узнать. Оказалось, ему не только с Майну, а и с другими мальчишками нелегко. Не потому, что на голове Багыра фуражка со звездочкой — ни у кого такой нет. Не потому, что раз или два нацеплял на рубашку медаль Сулатая, тайком от него, конечно, — и все завидовали ему. Багыр во всем хотел походить на отца. А это было трудно, очень трудно.

Вскоре же случилось такое — мимо не пройдешь. Как раз после этого и перестали звать Майну ненавистной теперь для него кличкой Кылдедо, вернулось к нему — и навсегда — его настоящее имя. Единственное. Это совсем не просто — вернуть свое имя. Лучше, чем сам Майну, никто во всем Кайру этого не знает.

Приезд Сулатая прошел в деревне, как ни странно, тихо и незаметно. Во всяком случае, Майну не видел, чтобы отец Багыра ходил по гостям. И сам Сулатай гостей не принимал. В ту трудную пору людям было не до шумных гулянок, но случались в деревне и веселые праздники даже в те военные года. А уж не праздник ли — возвращение

фронтовика? Должно быть, сам Сулатай не очень охоч был до застолий и пьяных компаний. Больше всего времени проводил он в кузнице, где и до войны работал. Майну, правда, туда не заглядывал, но слышал, как там допоздна раздавался стук да звон, знал, что отец Багыра хорошо помогает колхозу: много об этом говорили в Кайру. Он бы, конечно, мог вместе с Багыром бегать в кузню — как там должно быть интересно! Но не-ет, Майну теперь не проведешь! Пусть Багыр туда других мальчишек водит или один идет. Лучше не видеть, как он там с отцом нежкается. Да и вообще Майну редко теперь бывает с прежним своим дружком...

Ну, а деревня — она и есть деревня. Все на виду, все на глазах. И случается порой в деревне такое, о чем не думаешь не гадаешь. Как ни старался Майну не встречаться с отцом Багыра, а столкнулся с ним нос к носу.

Кайрунцы, как, однако, и всюду, после вечерней дойки пускают коров с телятами на волю, до самых поздних сумерек. Тянутся со всей деревни коровы со своим потомством на излюбленное место — в зеленый лужок за кузницей. Трава, что ли, там какая-то особенно вкусная? Никуда не идут, только в этот ложок. Многие сами после возвращаются к домам, а за иными обязательно сходить надо. Если не пойдешь, они всю ночь пастись будут и убредут в самый конец ложка — сладкая зелень да еще прохлада после жаркого дня тянут коров.

Ну, а что значит оставить корову на всю ночь с теленком? Считай, что утром не съешь лакомого мягкого сырабыштака. А еще это значит, что снова будет больно зудеть от хлестких прутьев где-то пониже спины... Так что рисковать не стоит. Тем более, что у Ак-Уй, у Белой Коровы Дьиламаш, есть тайная надежда, что хотя бы однажды Майну не придет за ней в зеленый ложок и останется она на всю ночь со своим милым и ласковым детенышем — таким же беленьким теленком.

Коровьим мечтам не суждено было сбыться и на этот раз. Майну гнал корову из ложка домой, но сколько ни торопил он ее, Ак-Уй шла медленно, нехотя, словно понимала, что именно от нее зависит нечто совершенно необычное. Корову Майну любил и никогда, ни разу не ударил ее. А вот теленку от него доставалось. И частенько. А что он, непутевый, словно нарочно, наступает своими раздвоенными и уже крепкими копытцами на босые, вечно покрытые пылью и цыпками ноги Майну! А то дорвется до вымени матери и сосет, сосет, жадно причмокивая, а Майну тянет

его изо всех силенок за моиче-ошейник. Вот когда начиналась схватка между ними! Теленок ухитрялся то копытом на ногу наступить — ох и больно, аж подпрыгнешь или, наоборот, присядешь! — то, оторвавшись на мгновение от тугих сосков, боднуть безрогой головенкой. За это Майну хлестал его, жадюгу, ремешком, подвернувшимся под руку прутом или обрывком кнута. Теленок прятал башку между ногами, остерегаясь мстительных ударов, задирал жиденький хвостик, забавно мыкал. А Белая Корова молча наблюдала за их поединком.

...Вечерело, Майну подгонял корову, забавы ради небольно подхлестывал прутиком теленка.

Вдруг перед ним во весь свой огромный рост предстал неизвестно откуда взявшийся отец Багыра — Сулатай. Понятно, что он как раз в это время вышел из своей кузницы, мимо которой проходил Майну, но мальчишка-то сразу и не сообразил.

— Э! — весело сказал Сулатай. — Я давно гляжу на тебя, Майну.

Мальчик растерялся. Он словно прирос к земле и молчал. Кузнец между тем так же весело продолжал:

— А ты прав, Майну. Знаешь в чем?

Не отвечая отцу Багыра, Майну хотел было шмыгнуть мимо, но Сулатай успел ловко схватить его за руку.

— Нет, ты все же послушай меня, дружок. Знаешь, ты был тогда прав... Никакой ты не Кылдедо, а настоящий эр-мужчина! Хорошее у тебя имя, Майну!.. Знаешь, я еще тогда не поверил, что такого мальчика, как ты, могут звать Кылдедо!

Хотя Майну уже немного успокоился, и ему были приятны слова Сулатая, и даже не хотелось больше вырывать свою руку, которая совсем утонула в огромной и черной от железа и сажи ручище кузнеца, и так хорошо было стоять рядом с высоченным мужчиной и вести с ним взрослый, мужской разговор, что-то сдерживало его, заставляло по-прежнему молча переминаться с ноги на ногу.

— Приходи, Майну, ко мне в кузницу, — не умолкал Сулатай. — Я тебе покажу, как подковы куют.

Мальчик не поднимал глаз.

Кузнец вздохнул.

— Ну, иди, балам. Мать небось заждалась... — Он уже выпустил его ручонку, но, что-то вспомнив, начал шарить по карманам. — Держи, Майну. Возьми, дружок. Пусть у тебя будут настоящие солдатские пуговки со звездочками...

Этого Майну никак не ожидал. В его грязной, сухой ладошке тускло поблескивали в закатном свете две желтые пуговицы — маленькая, как глаз щенка, и большая — словно ночная луна. Крепко зажав в кулачок эту радость, не поблагодарив солдата, так и не сказав ему ни слова, Майну припустил за ушедшей уже на порядочное расстояние Белой Коровой и теленком.

А еще через день или через два его, как ни в чем не бывало, позвал Багыр:

— Кылдедо! Пойдем играть в бабки!

В аиле, кроме Майну, никого не было. Мать, как всегда, в поле. И соседки на работе. Сулатай в тот день тоже куда-то уехал — то ли в Онгудай, в военкомат (он, говорили, часто стал зачем-то туда ездить), то ли еще куда по своим делам. Мало ли какие у взрослых надобности.

Майну, во всяком случае, не было до этого никакого дела. Чужой отец — пусть ездит, если хочет, куда угодно, пусть уезжает, приезжает, дома сидит, в кузне работает... Майну-то какая забота?

Но вот: «Кылдедо! Пойдем играть в бабки!» — явился Багыр.

— Как ты сказал? Кто я? — вдруг разозлился Майну и, перехватив обеими руками Багыра поперек туловища, повалил его на землю.

Дальше дело пошло быстрее.

— На тебе — Кылдедо! На тебе еще! На тебе — фуражку! На тебе — медаль! — костлявые кулачки Майну сыпали на Багыра град ударов. — А-а, у тебя отец, да? У тебя медаль, да? Чего тебе еще надо? Получай! На... на... Бери! На — ешь! На, на!..

Багыр и ростом повыше, и телом крепче, и силенок у него больше, чем у Майну. Раньше, когда, бывало, схватятся они из-за бабок, а то просто борются, Багыр всегда брал верх. Но сегодня... Сегодня что-то стряслось с Майну. Он и сам не понимал, откуда у него силы взялись. Он сидел верхом на Багыре, как на бревне, и колотил, колотил его... Должно быть, он стал сильным оттого, что у него нет отца. Мальчику, у которого нет отца, нельзя быть слабым. Кто за него заступится? Этой мысли никто не внушал Майну. Она сама пришла к нему, сама нашла его, сына Дьиламаш Кыпчаковой.

Побив Багыра, он до позднего вечера прятался в хлеву, не шел в аил. Как ему было вернуться домой и отворить дверь? Только покажись матери — она с прутьями ждет. Это же ясно! Тут же раскричится и давай стегать...

Убежать бы куда-нибудь, далеко-далеко. В Онгудай, например. Все взрослые в Онгудай ездят, в аймак. А где он — этот Онгудай? Заблудишься еще... А тут и спрятаться негде. Мать все равно найдет.

И точно: послышалось знакомое шарканье тяжелых обуток. В груди Майну запрыгало, заколотилось сердце, дыхание перехватило. Он услышал непривычно ласковый, участливый голос матери:

— Майну, балам, где ты? Тут прячешься, а?

Никогда не звала его так тепло и приветливо мать. Майну не отозвался. Слишком подозрительна была эта участливая доброта. Тут было что-то не так.

— Майну, балам! Мальчик мой, не бойся, иди сюда,— продолжала так же ласково звать его Дьиламаш. — Ты, балам, с Багыром подрался, да? Я знаю. Ничего-о, между друзьями всякое бывает. Иди, сынок, иди сюда, балам... Да не бойся ты! Не буду я тебя бить... Тьфу! Зачем мне бить своего сыночка. Иди, балам. Не трону я тебя. Слышишь? Кому говорю!

Майну думал, что мать хитрит, но ошибся. Дьиламаш говорила правду. Она пальцем его не тронула и была добра и нежна с ним как никогда.

Мать уложила его в постель и долго гладила жесткой и грубой ладонью, шептала невнятные, какие-то хорошие слова.

Неожиданно она спросила:

— Ты зачем Багыра бил? За что?

Не мог не ответить ей Майну:

— Он своим отцом хвастает, мама...

Мать промолчала. Она уткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала. Теперь Майну худенькими пальчиками потихоньку гладил волосы матери. Он никак не мог заснуть. Ему было жаль мать. Он смутно чувствовал какую-то свою вину перед ней.

— Мама, я больше не буду бить Багыра... Слышишь? Ни-когда.

Мать обняла его.

— Не бей, балам, не бей.

— Он самый лучший друг, да, мама?

— Не надо обижать Багыра. У него... снова ушел на войну отец.

Вот это новость! Майну обрадовался: «Как хорошо! Теперь мы снова будем вместе играть. Теперь у нас обоих нет отцов!» Все же спросил:

— А зачем он уехал? Тут есть нечего, да?

— Не-ет, балам... — мать грустно рассмеялась. — Он на фронт уехал врагов бить. Инвалид... а уехал...

Этого Майну не понял.

— Он привык воевать?

— К этому не привыкают, сынок...

3

Теперь Майну тридцать семь.

Гудит над облаками самолет. Через несколько часов он приземлится в аэропорту Домодедово. Майну ни разу не бывал в Москве. Как только он прилетит, сразу же отправится разыскивать подполковника Карасева. Ивана Петровича Карасева. Адрес его Майну взял вчера в редакции областной газеты «Алтайдын Чолмоны» и за день повторил его, наверное, раз сто: «Новослободская улица, дом номер шестьдесят семь, квартира сто девяносто девять». Даже если он потеряет бумажку, на которой записан адрес, все равно не забудет. Хорошо было бы знать телефон Карасева — позвонил бы ему прямо из аэропорта.

Майну стал мужчиной.

«Когда человек достигает зрелого возраста, когда он станет мужчиной, он должен сам распоряжаться своей судьбой, — не раз говорил Майну. — Есть такая странная штука — судьба. Так вот, парни, или она тебя победит, или ты над нею возьмешь верх... Я лично поддаваться не собираюсь».

Судьба...

До сегодняшнего дня Майну был вправе считать, что у него счастливая судьба. Он не просто размышлял о ней, он сам планировал ее, сам, можно сказать, ее определял. Направлял и строил по своим замыслам. А что? Разве нельзя?

В пятьдесят девятом году, отслужив в армии, Майну демобилизовался и вернулся в Кайру с шоферскими правами. На грузовой машине проработал он, однако, недолго. Поехал как-то в районный центр, в Онгудай, а оттуда вернулся без прав.

— Что случилось? — спросил его Багыр, тоже недавно пришедший с действительной.

— Добровольно сдал свои права поросенку, — рассмеялся в ответ Майну. — Оказывается, поросята дорого ценятся!

— Хрюшку, что ли, зацепил?

— Бы-ыло дело! Хозяйка этой самой хрюшки, как ты

говоришь, оказалась доброй бабусей. Я ей пятьдесят рубчиков давал — не взяла! Не веришь? Так и сказала: «Нет, говорит, не возьму я с тебя столько!»

— Шутишь, Майну! Кто и когда отказывался от денег?

— Не вру! Именно так и сказала: «Ты — солдат, говорит, я с тебя пятьдесят не возьму. Я, говорит, тридцатку возьму. А к осени ты мне, сынок, машину дров привезешь».

— Ой, какая добрая! Даже сынком назвала? Может, и поцеловала?

— Не веришь, значит? Твое дело, — Майну махнул рукой. — А вот автоинспектор... Нет, нет, права я ему сам подарил. Не нужны они мне больше...

— Как не нужны? — удивился Багыр. — Чем же ты будешь заниматься?

— Прежде всего начну строить дом. Это раз. А потом... Дальнейшие мои планы — сплошные максимумы. Большие планы! Каким образом собираюсь их выполнять? Сам пока не представляю.

Ошарашенный Батыр ни о чем больше не расспрашивал. Впервые заговорил Майну о своих «максимумах».

Их жизненные пути — Багыра и Майну — так и шли все время рядом, как на скачках, когда два наездника мчатся бок о бок и стараются не дать сопернику опередить себя.

Оба родились в один год. Оба, окончив шесть классов, не стали больше учиться, пошли работать в колхоз — помогать матерям. Оба, друг за другом, отправились в армию. И снова — вместе в Кайру.

Пока они служили в армии, жизнь не стояла на месте. Их деревня отошла к совхозу, стала одной из его ферм. Были и другие перемены, большие и малые. Одна из них коснулась только Багыра. Переменой, вообще-то, ее и назвать неловко. Это было большое горе для Багыра. Самое большое после гибели отца на фронте в сорок четвертом году. Когда случилось несчастье, Багыра даже отпустили на несколько дней из армии. Приезжал Багыр хоронить мать, после неожиданной смерти которой остался одинодинешенек, как колышек, глубоко вбитый в землю посреди поля.

...Приметной была среди своих сверстниц мать Багыра Карагыс. Смолоду еще. Высокая, стройная, красивая. Было, правда, у нее одно отличие — на кончике большого пальца правой руки, с самого рождения, черная бородавка, похожая на птичий глаз. Суеверные люди отговаривали Сулатая, когда он надумал жениться на Карагыс:

— Смотри, беды не оберешься! Разве не видишь: на ее пальце тавро горьких слез. Эта метка — для всех предостережение.

Сулатай не послушался, женился.

Карагыс была мало похожа на алтайку. Рождаются же такие люди! Чего только природа не выдумает!

У Карагыс не только приметная бородавка на пальце была. Прямо посредине лба нашлось местечко для аккуратной круглой родинки — с полкопейки. Кайрунские старушки и на этот счет имели свое мнение, говорили, что Карагыс напоминает женщин «из жарких стран». Кто знает, может, и в самом деле давние ее предки жили не в наших горах, а может, много лет назад лежал через Кайру путь какого-то иноземца...

— Будь разумным, Сулатай, — убеждали парня, — не женись на ней!

Да разве в таких случаях кого-нибудь слушаются? Ни о чем не жалел Сулатай, и ничего худого с ним не случилось. Если бы не война... А в войне Карагыс не была виновата.

Вот так. Ушла из жизни и Карагыс. И не «тавро горьких слез» повлияло на судьбу ее близких. При чем здесь приметы?..

Демобилизовавшись, поселился Багыр у сестры своего отца Сырги. Ей перевалило за шестьдесят. Могла бы уехать Сырга из деревни к дочери, та не раз звала ее к себе, да не захотела расставаться с Кайру, где прожила всю свою жизнь, со старой своей избушкой.

— Мне покой нужен, — ответила она дочери. — Стара я стала. Нянчить детей не могу. С большим хозяйством не управлюсь. Хватит с меня...

А Багыру, когда он решил с нею жить, обрадовалась:

— Единственного сына единственного брата дождалась!

Как часто повторял Майну, мужчина, став настоящим мужчиной, должен сам управлять своей судьбой. Он еще добавлял откуда-то вычитанное: «Человек должен быть кузнецом своего счастья!» Багыр так и поступил. Буквально! Стал деревенским кузнецом. В той самой кузнице, в которой работал Сулатай Чечогоев, его отец.

Главный учитель человека — жизнь. Именно она потихоньку, по щепотке добавляет с годами опыта и смысла твоему земному существованию. Все приходит с возрастом. С этой точки зрения любопытно взглянуть на того же Майну, сочинившего для себя целую теорию управления собственной судьбой.

Его затея — прежде всего построить для себя дом — лопнула, не осуществилась. Точнее — сместилась, отодвинулась на более поздний срок. Почему? Да потому, что Майну ничего не забыл. Помните, как в шутку спрашивала у него, маленького, мать, обрезая кромки свежего сырабыштака: «Тебе какой сыр надо, балам, — в обе руки или в одну?» Для Майну это — урок на всю жизнь. Он точно знает, когда надо обе руки подставлять, а когда и в одну больше достанется. Любой вопрос — какой ни возьми! — очень схож с той бесхитростной шуткой матери.

Твоя забота, забота мужчины — выбрать себе одну, нужную, необходимую дорогу. Дело это не простое. Взять тот же дом. С тонкой ленточкой горячего сыра, похожей на собачий язык, которая обжигает руки и рвется на части, не скоро поставишь дом. Майну не стал скрывать свои мысли от матери. Дьиламаш женщина с головой. Она только улыбнулась словам сына и одобрила его планы.

— Поезжай, сынок, поезжай. Учись... Конечно, лучше быть трактористом, чем шопером. Трактор в деревне водить — большое дело. Сам, поди, соображаешь. Глянь на того же Багыра, своего дружка. Стал кузнецом. Прямо скажу, хороший выбор сделал. Полезное дело.

Майну и сам не слепой. Он все видит, все понимает, что к чему. Каждый хочет жить просторно, в достатке. Если у тебя, к примеру, пятистенный дом, тебе уже хочется построить крестовый. А возле этого дома чтобы штабелями дрова — сухие колотые чурки. Надо тебе — бери, жги сколько хочешь! Не просто это — ладный дом поставить и дров на всю зиму наготовить. Особенно без трактора. Можно, конечно, и без трактора — не у каждого же он есть. Но с трактором куда как лучше. Такое дело...

Прошло немного времени. Где Майну? В Ине. Уехал на курсы трактористов. Когда? Почему так скоро? Как это ему удалось? А что? Кто станет на пути парня, отслужившего в армии? И совхоз должен считаться с его желанием. Совхозу даже выгодно, чтобы Майну стал трактористом. Для совхоза каждый механизатор не лишний. А Майну теперь не ребенок, не Кылдедо. Мужчина-эр, удалец! На плечах голова, во рту — язык. И палец ему в рот не клади.

4

Багыр Чечогоев, друг Майну, никуда из деревни не уезжал. Он так и возился со своими железяками. От темна до темна гремел, стучал, звенел в старой прокопченной

кузне, находившейся примерно посредине Кайру, чуточку в сторону, ближе к склону горы.

Какое только железо, если верить кайрунцам, не покорял и не обминал своим «всемогущим» и даже «живым» молотом Багыр! В какую только сторону он это самое железо не гнул, что только из него не делал!

Когда бы ни зашел в его мастерскую — дым столбом, пыль туманом. Человека не видать! Где-то в густых сумерках мелькнут, блеснут глаза кузнеца. Будто по наследству перешел к Багыру талант Сулатая. Его руки чувствуют, понимают металл.

В одном ли Кайру так живут, или в других местах люди тоже такие — неизвестно. А жители здешних мест народ дотошный. Когда, скажем, заготавливают они корма для собственного скота — развелось его после войны! — стожки где попало, как прежде бывало, не ставят. Им это теперь не с руки.

С переходом Кайру в совхоз пришли в деревню, как говорится в газетах, новые формы ведения личного хозяйства. Прогресс, так сказать. Теперешние люди быстро улавливают самую суть прогресса и научились глядеть далеко вперед, не забывая при случае и назад оглянуться, для сравнения. Зачем делать для себя хуже, если можно лучше? Корень того, что кайрунцы быстро и ловко приспосабливаются ко всему новому, наверно, связано с известной поговоркой, которую в Кайру очень любят: «Вприглядку можно научиться и чугунки делать», что, должно быть, вполне соответствует не менее известному выражению — «Не боги горшки обжигают».

Да, кайрунцы теперь и стожки где попало не ставят, и зароды в чистом поле не мечут. Они ладят стога сразу на тракторных санках, которые мастерят из толстых бревен, из целых лиственничных стволов. Подъезжай зимой к таким санкам, цепляй трос к железному крюку и волоки трактором домой. Р-раз! — и стог в твоей ограде. Сразу целая гора сена к тебе пожаловала. Корми свой скот досыта — и никаких забот.

Но... чтобы изладить для себя такие громадные санки под будущие стога, нужны очень крепкие и длинные гвозди, нужны кованые скобы и крючья. Вот тут-то мы и подходим к самому существу. Вот тут-то и есть самая сердцевина! Таких гвоздей, крючьев и скоб, что скрепляют и держат все части огромных санок, как известно, ни в каких магазинах не продают, не только в Кайру, а даже и в городе. Их мастерят такие парни, как Багыр, которые умеют

гнуть железо в любую сторону и разговаривают с ним на «ты». Потому-то, когда начинают поспевать травы и настает пора сенокоса, даже чуть загодя, у Багыра каждый день — праздник. Вот, глядишь, он уже под «ой-ей-ей». Вот, глядишь, его туда-сюда качает. Поет, навеселе. За гвозди, за скобы, за крючья кайрунцы готовы не то что бутылку Багыру поставить — от себя кусок мяса отрежут. А Багыру что? Не отказываться же.

Майну не такой. О нем по Кайру другие разговоры.

После курсов механизаторов он прибыл из Ини в Кайру в самую пору весенних полевых работ. Прямо, как говорят, поспел к кёчё, пока не остыл. Дня не потерял — сразу в бригаду, сразу на трактор.

По весне ломает лед, соединяющий в течение долгой зимы, как поется в русской песне, «два берега у одной реки». В это время произошла еще одна встреча Майну с Багыром. Будь это встреча как встреча, о ней можно было бы и промолчать. Но именно она приоткрыла ту трещину, что долго, невидимая, таилась в отношениях между ними.

Майну на своем тракторе подъехал к кузнице, чтобы Багыр сделал ему какую-то ерундовую гаечку. Кликнул друга-кузнеца, а у того язык заплетается.

— Гаечка сей же час будет в твоих руках, друг Майну! — веселей, чем следовало бы, закричал Багыр, сверкнув глазами из темноты закопченной и дымной избушки, называемой кузницей. — Только вот... гаечку эту, по нашим законам, полагается смазать. Хорошо бы подошла для смазочки поллитровочка... Слышишь, Майну, а?

Может, он эти слова сказал шутки ради, но Майну они не понравились. Они, эти слова, что называется, прожгли его печень.

— Неужели тебе еще мало? — сдерживая себя, но довольно сердито спросил Майну. — Никак не наешься!.. Смотреть противно, Багыр!

— Каждому по труду! — так же весело отозвался кузнец. — Ты ведь о своих максимумах не забываешь...

На этот раз Майну зацепило больнее.

— Ты на все смотришь через донышко бутылки, вот что я тебе скажу. — Острые лезвия узких глаз Майну полоснули Багыра от широкого улыбчивого рта до кончиков пыльных сапог. — Если будешь так жить, далеко не уедешь. Запомни мои слова.

Багыр швырнул в угол какую-то железяку, вытер руки ветошкой, раза два-три глухо кашлянул и, будто нарочно,

сплюнул. Словно щекоча Майну своей ехидной ухмылкой, он шагнул к нему, обдавая смесью запахов горелого железа и водочного перегара, и чуть не ткнулся — грудь в грудь. Теперь, когда они стояли вплотную, совсем близко, заметно было, какие это высокие и крепкие парни. Схватись они, и бревна старой кузницы раскатились бы во все стороны, как щепочки малые. Но парни так и стояли — лицом к лицу, нос к носу, молча, тяжело и порывисто дыша.

— Какая сорока-ворона принесла тебе на хвосте, что я на дальнюю дорогу нацелился? — с той же пьяной ехидцей произнес Багыр. — Не бойся, вперед тебя не проскочу, Майну. Мне и кайрунские кручи подходят. Ты ведь знаешь: в этой кузнице мой отец работал... А потом... Потом, я пью и ем на свои, на собственные. Понял?

— Ты прав, Багыр. — Майну тоже за словом в карман не полез. — Ты прав, — повторил он. — Ты сам себя грызешь.

Он смерил друга презрительным взглядом и, забыв про нужную ему гаечку, круто повернулся спиной к Багыру. Уже дойдя до трактора, оглянулся.

— Я помню, что тут работал твой отец... Только он работал не за водку.

Его широкие натруженные ладони словно припекло. Почему-то Майну отчетливо припомнилась встреча с отцом Багыра возле этой самой кузницы. В тот вечер он гнал из ложка Белую Корову с теленком, и Сулатай остановил его, по-взрослому говорил с ним и подарил две солдатские пуговицы со звездочками. Не было никогда у Майну дороже подарка! Наверное, хотел тогда Сулатай, чтобы Майну не так уж сильно завидовал Багыру, который носил отцовский ремень и фуражку, а иногда даже нацеплял медаль...

Громыхая тяжелыми кирзовыми сапогами, Майну взобрался на трактор.

Багыр молча смотрел вслед ему. Он навалился руками на дверной косяк и, не выходя из мрака кузницы, выпятил грудь. Переступил было порог, словно хотел пуститься вдогонку, но сдержался и махнул рукой:

— А-а, пусть!..

После того и пошли их пути-дороги, как «два берега у одной реки» — и рядом, да напротив... А сверх того — горячие дни полевых работ. Майну почти не появлялся в деревне, даже ночевал на бригадном стане. О молодом трактористе заговорили. Да еще как! Молва о нем летела, как пламя по сухой траве.

— Кто это в верховьях Кайру так быстро вспахал поляну, широкую, словно подол моей шубы? — спрашивал у кого-нибудь дедушка Чакылдай и тут же сам отвечал: — Конечно, Майну! Кто еще?

— Ба-таа! — обращался он уже к другому. — Только позавчера поле в траве было, а уже вся земля черная! Вот как работает Майну. Прямо с корнями переворачивает! И не останавливается. Разгонит свой трактор и прет... Не-ет, я вам скажу, Майну свое возьмет!

— Тут дело не только в Майну, — доказывал Чакылдай третьему. — Теперь и наша Кайру совсем не та деревня. Это вам не затерянный среди гор одинокий колхозишко... И трактор, я вам скажу, — тоже не худая кобыленка послевоенной поры. Что такое наша совхозная ферма? Это, я вам скажу, организация государственной важности! Тракторов много — хорошо-якши. Такие парни, как Майну, выросли — тоже хорошо-якши! Еще лучше заживем...

Дед Чакылдай, конечно, говорун из говорунов, но и другие люди точно так же о Майну отзывались.

...Если вы сегодня приедете в Кайру, мимо не пройдете: в верхнем краю деревни, на небольшом пригорке, высится крестовый дом. С резными наличниками на больших окнах, со всякими узорами по карнизам и коньку крыши. Сколько лет прошло, как он выстроен, а все как новый.

— Чей это дом? — спросите вы.

— Как чей? — удивятся люди. — Конечно, Майну.

— Вот каким должен быть настоящий эр-мужчина, — подхватит тут же еще кто-нибудь. — Все парни должны быть такими, как сын Дьиламаш...

— Майну все в дом тащит, — неодобрительно отзывается о бывшем друге Багыр. — Сломанную иголку на дороге увидит и ту подберет.

Это на Майну не действует. Как бы и что про него ни говорил Багыр, до Майну его слова не доходят. Он их пропускает мимо ушей. Он, Майну, только-только начал выходить на прямую дорогу.,

Поглядим, что будет дальше.

Все пахотные земли кайрунской фермы, разбросанные между горами, если бы потребовалось, Майну один перепахал бы на своем тракторе. Запросто. Что-что, а работать он умеет. Его от работы, когда он за что возьмется, силой не оторвешь. Как гвоздь в дело войдет, смолой к работе прилипнет. И любое дело его рук добротно, крепко, красиво — хоть на выставку! По словам самого Майну,

его «максимумы» пока еще лишь начинают «входить в руки».

Да что мы все вокруг да около!

Взять хотя бы, когда Майну тешет бревно или просто-напросто колет дрова.

Весь он ходит ходуном, как заведенный. Жилы на руках и на ногах как у доброго быка. Смешно вспомнить, что когда-то была у Майну кличка Кылдедо — Волосяные Ножки! Крепкое, сильное, гибкое тело у него. А какие широченные плечи! А руки? Длинные, цепкие, ухватистые. Когда Майну втянется в работу, войдет в ритм, когда высочатся из мускулистого его тела крупинки пота — спина, плечи, бугристые мышцы блестят под солнцем. Любо смотреть на него. Будто и не работает он вовсе, а затеял какую-то увлекательную игру.

И на ноги Майну стоит посмотреть, когда он кантует бревно или разваливает колуном суковатые чурки на поленья. Не ноги — ворота. Между ними свободно проскочит торбок — годовалый бычок. Как тут не вспомнить, что в древних легендах-сказаниях про богатырей говорили: «Головою движет тучи небесные!»

Единственное несоответствие всей его могучей складной фигуре — глаза. Они у Майну маленькие, узкие, словно всегда ищут чего-то, к чему-то приценяются, примериваются, что-то высматривают, что-то с чем-то сравнивают. Глаза у Майну словно прилепились к высокому лбу. И ни на кого из кайрунских мужчин он не походит...

Дом Майну, о котором мы уже говорили, — самый высокий в Кайру был, когда он его поставил, и долго еще самым высоким оставался. Это уже через сколько лет стали строить капитальнее, просторнее, по-городскому. И сборно-щитовые, и шлакобетонные, и всякие другие. Но всем другим крестовым домам и даже самым-самым новым дом Майну все равно не уступает: построено так построено! А как он мог по-другому? Сам без малого двух метров ростом. Разве смог бы он жить в избушке-курятнике на восемь-девять бревешек высотой?

Когда Майну начинал ставить сруб, то говорил:

— До потолка еще метра полтора надо от кончиков пальцев, если я руку над собой подниму. Вот так. Я такие дома видел, когда в армии служил. И у наших онгудайских — у русских — тоже высокие дома.

Этот самый крестовый дом с большими, в голубых резных наличниках, светлыми окнами на все четыре стороны подлунного мира, с крытой белым шифером крышей Май-

ну построил ровно через год после того, как приехал с курсов трактористов.

А за ним... За ним начали строиться и другие. Его сверстники прежде всего.

Вообще-то никого теперь домами в Кайру не удивишь. Подумаешь — дом! Многие молодые забывать стали, что такое аил, хотя их еще в деревне хватает — привычных, исконных алтайских жилищ. Только стоят они во дворах, по соседству с добротными избами, и стали чем-то вроде летних кухонь... И мебелью городской никого не удивишь, гарнитурами всякими. Кое-кто, правда, и сейчас обивает пороги аймакисполкома, выпрашивает себе мотоцикл. Не «Ковровец», конечно, слабосильный, на котором только девчонок катать, а добротный мощный «ИЖ-Юпитер» с коляской — это вещь. Но больше сейчас желающих обзавестись машиной. Старики поговаривают, что недалеко то время, когда кайрунцам не понадобится больше хороший конь под хорошим седлом. Вот до чего дожили, вот какая жизнь пошла — и не жизнь, а малина, или, точнее сказать, сам мед золотистый.

5

Осень...

Давно закончился сенокос. Запасена зеленка для скота, заложен силос. Конечно же, кайрунцы успешно завершили продажу хлеба государству.

В один из таких осенних дней по Кайру прошуршала-прошелестела любопытная весть о том, что Майну собирается играть свадьбу.

Кого такая весть оставит равнодушным?

— Которая же из наших девок сыну Дьиламаш приглянулась?

— Говорят, метит на одну из семерых дочерей дедушки Монулдая.

— Ба-таа!! Что же это такое? На младшую? Да ведь Торкош давно Багыр сватает.

— И такой ходит слух.

— А мать ее, тетушка Тана, наотрез Багыру отказала. Имя его слышать не желает.

— Так и должно быть. Багыр, конечно, работящий, даже очень хороший парень. И руки у него золотые. Только вот увлекся этой самой бедой... Водка — вот что губит человека...

Не зря русские люди говорят, что шила в мешке не утаишь. Слушки да шепотки обязательно где-нибудь на-

ружу прорвутся. Особенно в сельской местности. Здесь ни одно слово не затеряется, за что-нибудь да зацепится, обо что-нибудь да ударится, и, если даже не разобьется на куски, хоть маленький осколочек от него, да отлетит и заденет. Народ зря ничего не скажет. Он все знает, народ. В самом деле, Майну и Багыр полюбили одну и ту же девушку, дочь старого Монулдая — Торкош-Шелковинку, девушку с соболиными бровями.

И случилось то, что не могло не случиться: как-то оба парня-соперника, словно две глыбы, сорвавшиеся с одной горной кручи, столкнулись прямо у порога дома дедушки Монулдая.

Со всех сторон на Қайру надвигались плотные осенние сумерки. В окнах уже позажигались огни. И вот, говоря по-нашему, повстречались два страха...

— Наверно, про тебя сказано, — с неприязнью и невпопад процедил сквозь зубы Багыр. — Собака даже из-за дерьма рычит.

— С чего ты взял, что это меня касается? — не остался в долгу Майну. — Думать надо, что говоришь! И неизвестно еще, кто кому поперек пути становится — ты или я... Надо сперва разобраться, парень...

— А как мы будем разбираться? Силой кулака или мерой нажитого добра?

— Что ты меня моим добром попрекаешь? — взвился Майну. — Я что, у тебя что-нибудь отобрал? То болтаешь, будто я и сломанную иголку на дороге подберу. Теперь вот опять... В чем...

Багыр не дал ему договорить.

— Я тебя, Майну, насквозь вижу!

— И я не слепой. Если ты эр-мужчина — я тоже. Если ты обломок стали — и я такой. Ты не думай...

— Говори, говори... Я послушаю. Давно мы с тобой по-нашему, по-алтайски, за подолы не схватывались. Помнишь, как ты меня лупил? Отцу моему завидовал. Мне завидовал. Много времени прошло... Теперь и я не прочь сетью дождь поймать.

Майну, конечно, не забыл тот летний день сорок третьего года. И теперь, когда Багыр напомнил о нем, что-то снова шевельнулось в глубине его сердца. Он и не собирался оправдываться. «Да, — думал Майну, — действительно, все началось с зависти». Но тут же раздумья его отодвинулись куда-то, уступая место сегодняшнему спору, которого они еще не успели решить. Трудному спору. С ядовитыми клыками.

— Я не собираюсь хвататься с тобой за грудки, Багыр, — с горечью произнес Майну. — Мы не малые дети. Из этой нашей беды надо искать другой выход...

— Выход, говоришь? А где он? Подскажи, сделай милость. Я послушаю.

Язвительный, но в то же время грустно-задумчивый голос Багыра словно электрическим током ударил Майну. Однако он, с трудом сдерживая себя, ничем не выказал волнения.

— Вот что, — предложил он. — Пусть будет так, как скажет Торкош. Согласен?

— А что? Согласен! — Багыр улыбнулся, хотя видно было, что и ему не просто оставаться спокойным. — Ты мне только скажи, когда и где мы услышим это ее решение?

Бесконечно далекая луна сыпала на Кайру свое жидкое серебро, и от него и от неяркого света из окон домов над деревней растеклась мутновато-белая тишь. Из-за угла Монулдаева дома мелькнула тень, и через минуту к парням быстрыми шажками подошла Торкош.

— Я все слышала...

Парням стало не по себе. Они пыхтели и молчали.

— Я все слышала! — голосок Торкош зазвенел громче и строже. — Я вам что? Я, по-вашему, не живой человек, да? Нет уж!

В сгустившихся до темноты сумерках они застыли, как три ноги одного тагана. Не было лишь между ними огня. Два высоченных парня, молча и тяжело дыша, стояли перед маленькой, хрупкой девушкой, словно провинившиеся мальчишки.

Это рядом с такими верзилами, похожими на Хозяина тайги, Торкош выглядела маленькой. На самом-то деле была она и не с вершок и не с палец ростом. Девушка как девушка, хоть и не очень крупная, но стройная, вся в мать, тетушку Тана, которая в молодости считалась первой красавицей Кайру. И разговорчивая, между прочим, острая на язык тоже, как тетушка Тана. Ее слова — как колючие иголки карганы-акации. К тому же Торкош четыре года проучилась в Барнауле, в культпросветучилище, много читала, так что ей хорошо известно, о чем в какой книге написано и кто по какому поводу сказал подходящие слова.

— Судьба современных женщин, — еще строже продолжала Торкош, — судьба современных девушек не зависит ни от бога, ни от отца с матерью, ни от коня...

— При чем тут конь? — обиделся Багыр. Он пошарил

в кармане, вытянул пачку «Беломора», размял папиросу, чиркнул спичкой. — Ты что же, нас за жеребцов считаешь?

Торкош улыбнулась.

— Это твоя собственная фантазия, Багыр. Я не о каких-то там жеребцах вообще говорю, и не о вас тем более, а о настоящих конях-бегунцах. — Голос ее теперь стал ровным и звучал поучающе и чуть покровительственно, будто она читала лекцию:

— Я видела много казахских фильмов. Об этом и говорю. Что любопытно: почти в каждой картине девушка скачет на коне, а за ней гонится целая толпа парней-всадников. Кто из них, то есть чей конь догонит девушку, тому она и достанется в жены. Разве это любовь?! Нет! Это злая игра судьбы, нелепый, отживший обычай...

— Но тогда... — опять вмешался Багыр. — Тогда мы хотели бы услышать твое слово, Торкош.

Майну почему-то чувствовал себя виноватым.

— Неудобно получилось, — пробормотал он. — Извини, пожалуйста, Торкош... Мы не хотели...

— Почему неудобно? — девушка удивленно пожала плечами. — Идет честный, откровенный разговор. Я так думаю...

— Но тогда... — чуть смелее начал было Майну и тут же запнулся. Лицо у него горело, в висках стучало.

Торкош заговорила опять:

— Я ведь тебе, Багыр, ясно сказала, что между нами ничего быть не может... А ты, Майну... — девушка неожиданно всхлипнула, прикрыла ладошками лицо и убежала в дом.

Парни потоптались еще.

Майну спросил:

— Что ты теперь скажешь?

Багыр никак не проявил своих чувств и даже как будто воспринял слова Торкош совсем равнодушно. Может, он смирился с тем, что Торкош в открытую, в присутствии Майну, отказала ему. Может, как раз присутствие Майну заставило его внутренне собраться. Во всяком случае, внешне спокойный, он пошел от дома Монулдая, сказав напоследок почти весело:

— По-моему, Майну, наши земляки-кайрунцы совершенно справедливо поют: «Высоко в небе горит звезда. Только глазами ее достанешь. Одна на свете — любовь моя. О ней одной мечтаю...» Помнишь, дружище? — Он подчеркнуто произнес последнее слово, вложив в него и

крик души, и тень зависти, и боль стыда. Тяжело вздохнул, швырнул на землю окурок давно потухшей папиросы, ссутулился и зашагал, насвистывая какой-то мотив, стуча по мерзлой земле большими кирзовыми сапогами.

Теперь о близкой свадьбе Майну и Торкош стали говорить открыто. Искры этих веселых вестей легко перелетали через большие и малые реки, через горные перевалы, достигая окрестных сел.

— Что ты нашел в этой Торкош? — спросила сына Дьиламаш. — Неужели на всем белом свете, кроме нее, девушек нет? Слушать стыдно, что только про тебя люди болтают?

— А вы не слушайте, — Майну торопливо, большими глотками допил чай. — Торкош дала согласие. Пусть что хотят болтают, кому делать нечего.

— А Багыр? — мать посмотрела прямо в глаза сыну.

Майну вышел из-за стола.

— Хватит, мама! Хватит, болор. Жалостью любовь не спасешь.

Что могла поделать Дьиламаш? Парень твердит «хочу», девушка говорит «согласна». Значит, такова судьба... Опять вот только эта судьба сталкивает ее сына с Багыром...

Кайрунцы не поскупились, помогли тетушке Дьиламаш, чтобы свадьба у ее сына была хорошей и славной, хотя Майну был этим недоволен и не без оснований считал, что не хуже справился бы и сам. Как бы то ни было, той справили богатый. Всей деревней.

Так Майну и Торкош стали мужем и женой.

Много новых домов прибавилось в Кайру после их веселой свадьбы. Деревня разбросалась между гор, подпирающих снизу полоску голубого неба. Узкой долиной шагают рядами, то вверх, то вниз, дома и аилы, а по обе стороны единственной дороги, пересекающей Кайру, продолжают возникать новые строения, будто перегоняют друг друга, будто хотят убежать далеко-далеко и увидеть конец бескрайнего пути. Вчера еще, помнится, на обочине торчала трава да топорщился колючками караганник, а уже на этом месте дымит новенький аил и рядом с ним вырастает аккуратненький домик...

Много звезд погасло над Кайру с тех пор, как отшумела свадьба Майну и Торкош. Еще больше зажглось их в небе над горами, и светят они ярче тех, что канули в вечность.

Когда у нас умирает человек, говорят — «ушел за солью...» Многие кайрунцы, отбыв на земле положенные

им дни и годы, «ушли за солью» после памятного тоя Майну и Торкош. Другие заняли их место на земле.

Нет больше в деревне дедушки Монулдая. Железноглазого. Отца Торкош и ее шести сестер-красавиц...

6

Что ни говорите, а жизнь и сложна и интересна! Живет человек — и пусть живет как ему вздумается. Не надо мешать ему! Он и так много терпит.

Зачем, например, находят для него разные клички-прозвища? Будто мало ему имени, данного отцом и матерью. Майну еще повезло — никто не зовет его больше Кылдедо — Волосяные Ножки. Да и смешно было бы так звать мужчину-богатыря. А вот Монулдай до самой смерти своей проходил Железноглазым — Темир-Кес.

Были в Кайру и Собачий Хвост, и Надо, и Почему... Удивительно, что многие из этих уличных имен накрепко прилипали к людям и очень метко характеризовали их владельцев. Отделаться от кличек было совсем не просто. Если уж пристанет — с концом.

Раньше всем подряд плохие имена давали — чтобы злых духов обмануть. Так назовут — сказать стыдно! Да еще кличку навесят. Вот и живи...

Монулдай был человек немногословный. Нескладный, черный, с каким-то суровым и отчужденным взглядом. За взгляд этот и прозвали его Железноглазым. Так, во всяком случае, молодые считали, таким деда всегда знали. И всем кайрунцам на удивление самым веселым и разговорчивым на свадьбе Торкош и Майну был... дедушка Монулдай.

— На большой палец выпало счастье моей младшей дочке, — радовался старик. — Майну — парень, знающий жизнь. Отца у него нет? Не беда! Я ему буду отцом. Сам в его анле из своего кресала искры высеку, в его очаге огонь разожгу!..

— Совсем, старый, спятил! — одернула его тетушка Тана. — Люди подумают, что ты сам Майну нашу дочку навязываешь.

Монулдай ручищей своей, как медвежьей лапой, отмахнулся.

— А-а, что ты понимаешь! Меня сколько лет Железноглазым звали? Ну и что из того? Разве мои глаза от этого железными стали? Не-ет, мать моих детей. Я должен своими руками, своим кресалом зажечь первый огонь в анле, где у моей дочери постель будет и радость всей ее

жизни. Скажи мне, кому я должен свой огонь передать, если ты мне ни одного сына не родила? Семь дочерей!.. Пусть мой огонь у Торкош горит. Пусть дочь моя и зять мой — сын мой! — будут счастливы!

Так ведь и сделал: своими руками высек искры из старого огнива, разжег огонь-первенец в аиле молодых. И напутственные слова при этом сказал:

— Гори, гори, мой огонь. Коричневого марала печень пусть на нем жарится. Ярче гори, мой огонь. Черного барана грудинка пусть на нем жарится...

В самом деле, совсем другим человеком стал в тот день Монулдай. Будто не выдавал старших своих дочерей замуж, будто не было у него зятьев, кроме Майну. Кайрунцы головы ломали, понять не могли: что с ним стряслось, что случилось? Будто подменили Монулдая! Да будь он хоть немного таким, как на свадьбе Торкош, разве бы кто посмел звать его Железноглазым?

И это еще не все. В аиле Монулдая топшур, конечно, водился. Но вряд ли кто хоть раз видел, чтобы он брал его в руки, касался его струн. Монулдай — кайчи? Да того, кто бы такое сказал, вся деревня бы обсмеяла. А на свадьбе дедушка Монулдай запел. И как запел!

Много лет провел Монулдай на дальних пастбищах с табунами коней. Привык к одиночеству. Может, там, в горах, под кедрами, и пел с тоски для себя самого. Но чтоб на людях?! Голос у него оказался густой и чистый, как снега горных вершин, как сама земля и непреклонные горы.

— Ээ-э-э, эй-эй-эй! — начинал он протяжно и глухо. Голос его рокотал, будто издали приближался гул урагана или едва еще слышался топот тысяч и тысяч коней.

— Ээ-э-э, эй-эй-эй! — набирал силу, крепчал голос певца.

Кедры вечнозеленые, качая ветвями,
Зимою и летом растут.
Голосистые кукушки
Петь и радоваться не перестают.
Вечным летом объят мой Алтай, —
Эй-ей, аа-ай...
В белоснежные одежды Ак-Аяса —
Доброго и старого Ульгена —
Ты укутал свои горные вершины,
Весь из камня и железа,
Мой любимый, вечно юный Алтай, —
Эй-эй, аа-ай...

Не очень складной была его песня, но кто замечал это?

Он пел увлеченно, взволнованно, и волнение Монулдая передалось всем.

...Свадьба Майну стала большой свадьбой, большим праздником. Играли ее не только в его большом доме. Весь день и всю ночь пылали очаги этого веселья в аилах всех старших сестер Торкош. Такой обычай — гулять у всех родственников невесты, что старше ее годами. А у Торкош, как известно, еще шесть сестер, и все старшие... А сколько двоюродных да троюродных по отцу и матери? А дяди да тети? Одни в гости приехали, другие сами гостей принимают.

В аиле отца Торкош собралась самая близкая родня и друзья хозяев, жениха и невесты.

Дьиламаш знала, как смягчить сурового Монулдая. Никуда не денешься — тот, кто отдает свою дочь в чужую семью, в день свадьбы — бог и царь на всю округу. Потому-то сватами со стороны жениха и оказались дед Чакылдай — первый друг-приятель Монулдая, перед которым Железноглазый не станет строжиться, и управляющий фермой Саналов Санаа — этот хоть и молод годами, но, что ни говори, глава, «президент государства Кайру», как любит именовать его остроязыкий Чакылдай.

Свадебное веселье шло полным ходом. Круговая чара — золотой чочой — переходила из рук в руки. Гости понемногу хмелели, языки у них развязывались, в аиле становилось шумно. Когда Монулдай прервал свой кай, чтобы перевести дух, дед Чакылдай, как это не однажды с ним случалось, затеял спор.

— Монулдай, друг! — закричал он. — Подожди. Тише, товарищи, я хочу слово сказать, а то забуду. Слушай, друг, Монулдай, — тянул он за рукав отца Торкош, хватал за крутые, бугристые плечи, подмигивал ему. — Знаешь, что я тебе скажу? Хотя рядом с нами сидит управ, но именно он, однако наш враг, а?.. Хотя он наш кайрунский президент и управ, понимаешь?

Санаа хорошо знал старого говоруна, да и каждого, кто находился тут и кого здесь не было. Говорили, если на дороге будет валяться отрубленный палец, Санаа точно скажет, чей он, — лишь бы кайрунцу принадлежал. По этой причине управляющий и не думал обижаться на Чакылдая и на кого угодно другого и пользоваться своими «президентскими» правами — свадьба есть свадьба, и тут любому можно угадать на язык.

— Знаешь, почему он наш враг? — продолжал Чакылдай. — Не знаешь? Тогда слушай меня. Однако из-за та-

ких молодых «президентов» молодежь начинает высоко носы задирать и забывает добрейшие обычаи твоих и моих предков. Вот что я скажу, мой друг Монулдай.

— О чем ты? — Монулдай недоумевающе поглядел на него. — Я тебя что-то перестаю понимать.

Санаа тоже косился на Чакылдая, не соображая, куда тот клонит.

— Сейчас поймешь, дай сказать, — вертелся веретеном Чакылдай. — Вот ты только что пел... Пел под звуки старого топшура, сделанного из священного дерева — кедра. А он, управ и президент, почему так не умеет петь?

Тут вместе со всеми захохотал и весело закричал Санаа:

— Дайте, дайте мне семиструнный топшур, дедушка Чакылдай, дайте семиструнную гитару, и я докажу...

— Нет-нет, обожди, паря-президент, — замахал руками Чакылдай. — Тогда и я скажу, чтобы принесли мне, как это, тьфу!..

Он распростер свои короткие и быстрые руки, словно крылья, и обвел всех сияющим и в то же время кого-то ищущим и зовущим на помощь взглядом. — Ну, как его?.. В клубе-то стоит, черный такой...

— Пианино, что ли? — подсказал Санаа. — И вы хотите на нем...

— А что? — почти серьезно спросил Чакылдай. — Думаешь, не смогу пробежать своими десятью скрюченными пальцами по его гремящим шпалам? Я ведь во время войны... Чего я только не видел во время войны, управ-президент! Хоть у Монулдая спроси.

— Да уж он подтвердит все, что вы скажете.

— Ай-ай-ай! Послушай меня, молокосос, президент и управ, — размахивал в возбуждении руками старик. — Когда мы с моим другом Монулдаем, сидящим здесь, освобождали Прагу и другие мировые города, ты думаешь, не видели таких черных штучек, что в нашем кайрунском клубе дремлет и совсем редко под чьими-нибудь пальцами пляшет? Видели, да еще...

— И играли! — подхватил Санаа.

— Играли, — уверенно сказал Чакылдай.

Оба они выпили по пиале подогретой арачки, и управляющий спросил Чакылдая:

— Вы так и не досказали, каким же образом мы приостанавливаем бег времени? Мы с вами споткнулись на пианине.

— Вот только что мой друг Монулдай под звуки топшура спел нам прекрасную песню о нашем Алтае, — тихо

Он пел увлеченно, взволнованно, и волнение Монулдая передалось всем.

...Свадьба Майну стала большой свадьбой, большим праздником. Играли ее не только в его большом доме. Весь день и всю ночь пылали очаги этого веселья в аилах всех старших сестер Торкош. Такой обычай — гулять у всех родственников невесты, что старше ее годами. А у Торкош, как известно, еще шесть сестер, и все старшие... А сколько двоюродных да троюродных по отцу и матери? А дяди да тети? Одни в гости приехали, другие сами гостей принимают.

В аиле отца Торкош собралась самая близкая родня и друзья хозяев, жениха и невесты.

Дьиламаш знала, как смягчить сурового Монулдая. Никуда не денешься — тот, кто отдает свою дочь в чужую семью, в день свадьбы — бог и царь на всю округу. Потому-то сватами со стороны жениха и оказались дед Чакылдай — первый друг-приятель Монулдая, перед которым Железноглазый не станет строжиться, и управляющий фермой Саналов Санаа — этот хоть и молод годами, но, что ни говори, глава, «президент государства Кайру», как любит именовать его остроязыкий Чакылдай.

Свадебное веселье шло полным ходом. Круговая чара — золотой чочой — переходила из рук в руки. Гости понемногу хмелели, языки у них развязывались, в аиле становилось шумно. Когда Монулдай прервал свой кай, чтобы перевести дух, дед Чакылдай, как это не однажды с ним случалось, затеял спор.

— Монулдай, друг! — закричал он. — Подожди. Тише, товарищи, я хочу слово сказать, а то забуду. Слушай, друг, Монулдай, — тянул он за рукав отца Торкош, хватал за крутые, бугристые плечи, подмигивал ему. — Знаешь, что я тебе скажу? Хотя рядом с нами сидит управ, но именно он, однако наш враг, а?.. Хотя он наш кайрунский президент и управ, понимаешь?

Санаа хорошо знал старого говоруна, да и каждого, кто находился тут и кого здесь не было. Говорили, если на дороге будет валяться отрубленный палец, Санаа точно скажет, чей он, — лишь бы кайрунцу принадлежал. По этой причине управляющий и не думал обижаться на Чакылдая и на кого угодно другого и пользоваться своими «президентскими» правами — свадьба есть свадьба, и тут любому можно угадать на язык.

— Знаешь, почему он наш враг? — продолжал Чакылдай. — Не знаешь? Тогда слушай меня. Однако из-за та-

ких молодых «президентов» молодежь начинает высоко носы задирать и забывает добрейшие обычаи твоих и моих предков. Вот что я скажу, мой друг Монулдай.

— О чем ты? — Монулдай недоумевающе поглядел на него. — Я тебя что-то перестаю понимать.

Санаа тоже косился на Чакылдая, не соображая, куда тот клонит.

— Сейчас поймешь, дай сказать, — вертелся веретеном Чакылдай. — Вот ты только что пел... Пел под звуки старого топшура, сделанного из священного дерева — кедра. А он, управ и президент, почему так не умеет петь?

Тут вместе со всеми захохотал и весело закричал Санаа:

— Дайте, дайте мне семиструнный топшур, дедушка Чакылдай, дайте семиструнную гитару, и я докажу...

— Нет-нет, обожди, паря-президент, — замахал руками Чакылдай. — Тогда и я скажу, чтобы принесли мне, как это, тьфу!..

Он распростер свои короткие и быстрые руки, словно крылья, и обвел всех сияющим и в то же время кого-то ищущим и зовущим на помощь взглядом. — Ну, как его?.. В клубе-то стоит, черный такой...

— Пианино, что ли? — подсказал Санаа. — И вы хотите на нем...

— А что? — почти серьезно спросил Чакылдай. — Думаешь, не смогу пробежать своими десятью скрюченными пальцами по его гремящим шпалам? Я ведь во время войны... Чего я только не видел во время войны, управ-президент! Хоть у Монулдая спроси.

— Да уж он подтвердит все, что вы скажете.

— Ай-ай-ай! Послушай меня, молокосос, президент и управ, — размахивал в возбуждении руками старик. — Когда мы с моим другом Монулдаем, сидящим здесь, освобождали Прагу и другие мировые города, ты думаешь, не видели таких черных штучек, что в нашем кайрунском клубе дремлет и совсем редко под чьими-нибудь пальцами пляшет? Видели, да еще...

— И играли! — подхватил Санаа.

— Играли, — уверенно сказал Чакылдай.

Оба они выпили по пиале подогретой арачки, и управляющий спросил Чакылдая:

— Вы так и не досказали, каким же образом мы приостанавливаем бег времени? Мы с вами споткнулись на пианине.

— Вот только что мой друг Монулдай под звуки топшура спел нам прекрасную песню о нашем Алтае, — тихо

заговорил старик. — Кто сказал вам, сегодняшней молодежи, что голос топшура и комуса не годится для коммунизма?

— Я так не говорил, что звуки топшура мешают совхозной работе, общему делу и социалистическому соревнованию, — в тон ему шутливо возразил Санаа. — А вот вы должны учить молодежь, подсказывать нам. Разве не так?

— Вот хитрец! — восхитился Чакылдай. — Я ведь, друг мой Монулдай, не зря прозвал его президентом. Вывернулся!

— Вопче-то... — заговорил, наконец, и Монулдай. — Вопче-то, Советская власть дала нам не только много машин, тракторов и сытую жизнь...

— Так, так, давай, друг, давай! — подбодрил его Чакылдай. — Ты, мне кажется, где-то за зубами прячешь красивую мысль, подобную солнцу или сегодняшнему веселому огню очага.

— Я хочу сказать, что самый большой подарок Советской власти — это душа человека. Светлая душа...

— Вы хотите сказать... — вмешался Санаа.

— Обожди-подожди, управ! — закричал Чакылдай. — Пусть мой друг докончит свою мысль. Не надо скакать впереди всех да еще на чужом коне.

— Сегодня человек видит далеко и мыслит глубоко, — закончил Монулдай. — А мы с тобой, — обратился он к Чакылдаю, — хотя войну прошли, разные земли, разных людей видели, но все же...

Санаа опять не дал ему досказать.

— Вот именно, я с вами согласен! Это называется духовный рост.

— Обожди и подожди, Санаа, — вмешался Чакылдай. — Я скажу.

— Пусть лучше отец Торкош еще споет под топшур.

— Ты нас не уводи! — стоял на своем Чакылдай. — Я все же частично хочу не согласиться с тобой, управ. Ты слышишь меня? Если хорошие наши обычаи — примерно, почитать седоголовых стариков, как я или мой друг Монулдай, — не могут догнать быстробегающих машин, то нельзя ли это железо остановить или придержать хотя, чтобы на конях едущие или пешком идущие обычаи не отставали от молодежи, а?

— Это сложный вопрос, — посерьезнел Санаа. — Я думаю, лучшие добрые наши традиции ни от чего не отстанут и догонят не только машины, но и быстрые самолеты.

— Нет, — отрезал Чакылдай. — Все-таки сегодняшняя молодежь шальная и бесшабашная... Прежде всего, Саналов Санаа, знаешь, где ютится главная змея? Вот в этом самом чочое. Вот как!

— А кто в этом виноват, если не вы, старики? — рассердился все-таки Санаа. — Вы сами...

— А-а, вот ты как заговорил, дорогой президент! Значит, мы виноваты? Слышишь, Монулдай, о чем говорит сидящий рядом с тобой щенок? А тебе известно, Саналов Санаа, что мы до армии не знали вкуса кабак-араки?

— Да, — согласился Монулдай. — Раньше парни до двадцати пяти лет, или пока не отслужат, не баловались водкой. Чакылдай прав... Спорить, конечно, можно долго и совсем позабыть про свадьбу моей дочери Торкош.

— Именно, — поддержал Санаа.

— Так-то, конечно, так... — Чакылдай тоже поостыл. Спор завершил сам хозяин.

— В этом вопросе все мы не правы. Виновата в этом деле война...

— Как? — в один голос вскинулись Чакылдай и Санаа.

— Я так мыслю: лучшие люди, лучшие мужчины ушли на проклятую войну. Сами знаете, опустело село. Оставшихся учить некому было... Вернулось-то нас мало. А новое поколение — от наших полусирот да полная безотцовщина...

— В этом что-то есть, — задумчиво произнес Санаа, — Но ведь школа, лекции, кино — разве этого мало?

— Нет, не мало, — согласился Монулдай. — Вот ты видишь, перед нами горит огонь. В очаге пылают красные угольки. Ребенку, который только ползать начал, эти угольки красивой игрушкой кажутся. Вот он и пытается схватить. А ему говорят: «Поп, балам, поп! Осторожно, маленький! Нельзя!» Не послушает он, сунет руку в огонь — поймет, что больно. Другой раз забудет, опять полезет, мать ему снова: «Поп, поп, балам!» Тут он, может, и вспомнит, что это действительно «поп!», действительно опасно. Родители изо дня в день твердят младенцу, что угли в жарком очаге — не игрушка... И за молодежью, друзья мои, нужен постоянный присмотр.

— Слушай, друг Монулдай, — опять свернул на шутку Чакылдай. — После сегодняшнего разговора я, однако, совсем пить брошу.

Все засмеялись и тут же поднесли чочой Чакылдаю. Тот отказывался и с притворным ужасом говорил: «Это

ведь поп!» Все же он взял в руки фарфоровую пиалу, отстранил ее и, прокричав нараспев: «Поп-поп, Чакылдай! Поп-поп, Чакылдай!» — опорожнил одним глотком и закружился на кривоватой ноге, припевая одно и то же: «Поп-поп, Чакылдай! Не пей больше, Чакылдай!..»

На мужской и женской половинах аила не смолкал хохот, пока старик отплясывал и пел.

Просмеялись, утихомирились. Санаа подал Монулдаю топшур. Снова зазвенели струны, зазвучал кай:

Перевалы твои, —
Тайнами и безмолвием укрытые, —
Миновать мне всегда помогал.
Благопожелание мое — тебе, мой Алтай!
Скоту твоему белому,
Людям твоим с чистой душой,
Аа-ай, оо-ой...
На выгнутых позвонках
Твоих горных вершин,
В глубоко проброздивших тебя падях
Медведи и волки твои живут,
Маралы и элики-козлы живут.
Ты — их дом и защита, мой Алтай,
Ими богат ты и славен, мой Алтай,
Ээ-эй, аа-ай...
С твоих гор устремились в долины
Целебные реки,
Брызжут белыми волнами...
Пусть всегда будут полны
Твои голубые леса,
Шелковисты — озера,
Высоки и зелены травы,
Мой Алтай, мой Алтай, мой Алтай,
Ай-ай, аа-ай, аа-ай...

Говорят, чует человек, когда близится его смертный час, когда предрешена его судьба. И дедушка Монулдай, наверно, когда пел, понимал, что в последний раз глядит на синее небо, что прощается с горными перевалами, которые он бессчетно одолевал со своими табунами, с бродами больших и малых рек, с кедрами и лиственницами тайги, песком и камнями пройденных дорог, следами коней на них... Нет, не только прощался — встречался! Встречался с самым высоким своим полетом, со своей молодостью и ее удалью, возвращался к годам своей зрелости и все-таки снова и снова прощался с Алтаем...

— Если смерть придет, — говорили после старики, — надо так помирать, как Монулдай. Детей своих не мучил, сам не мучился.

— Эйе, погулял на свадьбе младшей дочки, лег отдох-

нуть и ушел за солью... — не без зависти вздыхали старики.

Да, старик знал свое дело. Не кричал никогда, не бил себя в грудь, мол я столько делаю, мол не цените, хотя работал куда больше других — с себя самого строго спрашивал. С Майну его, во всяком случае, никак не сравнить. Майну одно твердит: «Мужчина, став мужчиной, должен сам управлять своей судьбой». А Монулдай по-другому жил. Он считал, что жизнь человека зависит от других людей, от тех, с кем он рядом работает.

Взгляды у старика и у последнего его зятя на жизнь были разные, характеры совсем не схожие, а любил его Монулдай больше всех. Должно быть, что-то роднило их, какая-то жилка в их сердцах билась одинаково, — кто знает. Жизнь — тайна. Оттого, наверно, интересно жить на земле. Не ушел бы за солью Монулдай сразу после свадьбы Торкош, открылось бы всем, чем привязал его к себе Майну, почему был он ему как сын.

Умер дедушка Монулдай — родился у Торкош первенец. В честь деда, в память о нем назвали его кайрунские старики Монулдаем. Добрые слова сказали ему:

— Пусть будет таким же хорошим охотником, как его дед!

— Пусть станет таким же кайчи-сказителем, как его дед!

Что со стариков возьмешь! Послушать их, так дед Монулдай только тем и занимался, что охотой. Будто он и коней не пас, и другими делами не занимался. А уж какой он был кайчи, если один раз, на свадьбе младшей дочери, запел вдруг ни с того ни с сего!

Поднимаются, тянутся к высокому небу голубые дымы из труб новых домов и аилов Кайру. Значит, жизнь продолжается! По обочинам дорог буйно зеленеет трава, всякий раз возглашая своим появлением о приходе новой весны, новой жизни. Топчут эту траву новые поколения людей, идут навстречу своим мечтам, своим целям, своим радостям и горестям. Жизнь продолжается!

7

— Дочку мою, Торкош с соболиными бровями, увел сын Дьиламаш, у которого богатырские кости, — говаривала при любом удобном случае тетушка Тана.

Лет, однако, десять прошло, как она впервые это сказала. Если не больше. Время-то как быстро летит!

В жизни молодых за эти годы не было ни горя, ни печали. Славно, дружно, хорошо живут Торкош и Майну.

— Торкош родит мне девять детей. И всех на ноги поставит. Больше мне от нее ничего не надо! — твердил на свадьбе Майну. — Не двух, не трех — девять! Максимум! Я сам один рос. Хуже нет, когда у тебя ни братьев, ни сестер. — И добавлял: — Наш народ малочисленный. Кто умножит его, если не такие парни, как я? Это тоже — мой максимум!

Пока что «максимум» они не выполнили, но дети у них есть, растут: два мальчика, три девочки. Старший, Монулдай, в Еловской школе-интернате, двое в Кайру начальное образование приобретают, двух младших тетушка Дьиламаш пасет.

Торкош работает библиотекарем. Аккуратная такая, ладная, прибранная всегда, с людьми обходительная, вежливая. С мужем рядом идет — девчонка девчонкой! Тонкая, стройная. Ну, а если без Майну ее увидишь — другое впечатление: видная келин. Не та, что в девичьи годы, не та... Полнеть начала. А глаза прежние — угольками пылающими обжигают. И брови — соболиные, это уж точно. Умна, сообразительна. Кайрунцы народ приметливый. Быстро углядели, что Торкош ни в чем матери Майну — Дьиламаш не уступит, и свое заключение сделали: «К голове — голова, к рукам — руки».

Можно с полной уверенностью сказать: нет сейчас в Кайру человека авторитетнее Майну.

Когда мы ведем речь об авторитете, то понимаем, что он, авторитет этот самый, зря не возникает, на пустом месте не появляется. Авторитет подкрепляется авторитетом. Он схож со священными горами Алтая. Ну, например, в незапамятные времена еще древние предки объявили священной гору Уч-Сюмер, окропив предварительно ее молоком белой кобылицы и окурив благовонным дымом зеленого можжевельника. Так и возвышается она, самая знаменитая в округе, до наших дней. А пригорки и холмики по соседству с нею тоже вроде бы не простые, и на них распространяется высокий авторитет почитаемой людьми горной вершины.

Майну, работая дни и ночи на своем тракторе, удивил и покорил кайрунцев своей прытью и удалью, трудолюбием и старательностью, открыл людям глаза на себя, заслужил авторитет. Что же тут удивительного, если имена его матери Дьиламаш, его жены Торкош — сельского библиотекаря — тоже произносят уважительно, с почтением?

И они в свою очередь добрыми делами, доброй славой своей подкрепляют авторитет главы семьи, Майну.

Что теперь тетушке Дьиламаш? Хоть и перепрыгнула она через порог шестидесятилетия, хоть и сморщилась, скрючилась — годы свое берут! — а носит тем не менее шубу из лучших овчин, какую и в молодые годы не нашивала, в теплых сапогах с мехом внутри ходит. Хоть и состарилась тетушка Дьиламаш, но сидеть любит высоко — не на земле, как прежде, ноги под себя поджав, а на стуле со спинкой.

О своей снохе Дьиламаш слова худого не скажет. Было дело, сомневалась поначалу, сопротивлялась в душе выбору сына, кривила душой, наговаривала на Торкош. Нет, против девушки она ничего не имела, и не могла ей не нравиться красавица Шелковинка. За Багыра болело сердце Дьиламаш. Не хотелось, чтобы страдал из-за Майну сын Сулатая.

Потом все это прошло, сгладилось. Между снохой и свекровью швов не видать и вода не просочится. Да что говорить: сноха что надо!

Всем довольна Дьиламаш, не только снохой и сыном. Дом — четыре комнаты. Каждая, как поле, просторная, светлая. В каждой по большому окошку. В какой из четырех жить? Сама хозяйка, сама выбирай. Не жизнь — удовольствие. Хочешь радио послушать? Вот оно, радио, только руку протяни и включай. И все новости узнаешь, обо всем тебе расскажут из Горного, из Барнаула и даже из самой Москвы! Плохо, конечно, что Дьиламаш не очень ладит с русским языком, но радио и по-алтайски говорит, а музыка — всюду музыка, и газета «Алтайдын Чолмоны» каждый день, кроме понедельника, приходит. Надевай очки и читай сколько хочешь, пока глаза не устанут. На маленьком столике разные газеты лежат. И журналы тоже. Это Торкош придумала — такой маленький столик для газет и журналов поставить, как в библиотеке, где она работает. Газеты Дьиламаш всегда читает. В них иной раз очень приятные и интересные вещи прочитать можно. Например, о передовом совхозном трактористе Майну Кыпчакове. А один раз в газете — в краевой, в барнаульской!— даже фотография сына была..

Прежде, когда Дьиламаш еще в колхозе работала, умела она, как никто, из сотни литовок самую лучшую для себя выбрать. Возьмет в одну руку литовку острием вниз, а другой потихонечку так прищелкнет по лезвию или чем-нибудь твердым слегка заденет и прислушается к звону.

Переберет, сколько их есть, и выберет наверняка, не ошибется — легкую, звонкую, прочную, острую. Хорошей литовки только коснись умеючи — она тут же отзовется тонко, красиво, будто на своем языке поет: «Это я, это я! Ты меня нашла, ты и бери!» Как струна топшура, поет-звенит.

И в жизни Дьиламаш все, что ей надо, будто косу, выбирает. Всегда она знает, что надо делать и чего нельзя, о чем можно громко сказать, а когда лучше и промолчать. В жизни-то совсем так же: прищелкни кончиками пальцев и прислушайся, приглядись повнимательней. Если все ладно — чистым звоном отзовется, а если хоть маленькая трещинка есть или еще что-то не так прочно, или не так лежит — тоже сразу поймешь.

Майну мужчиной. стал В советах и помощи матери не нуждается больше. Дьиламаш не в обиде: так и должно быть. А краешками своих узковатых глаз незаметно, но и пристально приглядывает за жизнью и работой единственного своего сына. Пока ей не приходилось тревожиться за него, огорчаться им, стыдиться его. Всем довольна Дьиламаш. Жизнью своей, сыном своим, женой его, внуками.

Авторитет авторитетом, а жизнь не так уж проста.

Когда кончаются полевые работы в совхозе, поздней осенью особенно, кайрунцы то и дело к Майну наведываются. Думаете, зря? Не-ет, зря нынче ничего не бывает!

— Я за речкой пару лесин свалил, Майну, — скажет будто между прочим кто-нибудь из гостей, и все ясно, даже для Дьиламаш. Это значит, человек решил запасти к зиме побольше дровец.

Нынче люди не то что раньше. Они не станут запрягать коня, чтобы приволочь из лесу какое-нибудь бревешко. И топором, как дятел, всякий раз тюкать не будут, если в очаг пару поленьев подбросить надо — обед ли сготовить или просто погреться у огня. Людям надо теперь, чтобы возле их домов красовались поленницы под крышу. А для добрых поленниц надо не одну лесину повалить. Коня загоняешь. Вот трактором срубленные деревья в Кайру привезти — плевое дело. Если, конечно, Майну не откажет. А он и не отказывает. Он всегда людям помочь готов. Трудно ему, что ли, попутно зацепить пару-другую хлыстов? Ну, а уж если сосновые или лиственничные кряжи у самой ограды лежат, опять к Майну идут, опять без него никак не обойдутся. Чтобы штабеля бревен превратились в желтые квадраты поленниц, нужна бензопила «Дружба», а такая пила появилась в Кайру, само собой,

прежде всего у Майну. Такие вещи просто липнут к его рукам.

Как репей колючий, пристает к парням кайрунским поговорка: «Вприглядку можно научиться и чугунки делать». Не хотят кайрунские парни отставать от Майну. Чем они его хуже? У кого дом-пятистенок был — недоволен. Старо. Надо крестовый ставить. Вот это житуха! Как-никак люди грамотные стали, считать научились, разбираются, что четыре больше двух. А дом, тем более крестовый, без леса не поставишь. Лес где? В горах. Как его с гор спустить, в Кайру доставить? На тракторе — козе ясно. Значит, опять все от того же Майну, единственного сына Дьиламаш Кыпчаковой, зависит. А он пусть одно только слово скажет — «ладно». Считай, дело уже сделано.

Став зрелым мужчиной, Майну вершок за вершком, шаг за шагом подбирается к своим «максимумам». Если всего этого не будет понимать Дьиламаш, если она ему не поможет, не скажет вовремя, кто за нее поможет и подскажет сыну?

Жизнь — не литовка. Как ты по ней ни прищелкивай пальцами, как ни прислушивайся к ответному звону, жизнь, идет своими путями-дорогами. Вечной радости и бескрайнего простора вокруг тебя на все времена может и не быть. Голову любого мужчины жизнь может в любое время склонить к земле.

Месяца два или три назад в дом Майну ни с того ни с сего заявился Багыр. Никого, кроме Дьиламаш, которая возилась по хозяйству и попутно приглядывала за младшими внучатами, он не застал.

Тетушка Дьиламаш даже растерялась, увидев его, — не могла припомнить, бывал ли он хоть раз у них после того, как Майну женился. Выглядел он неважно. Несмотря на замешательство, Дьиламаш обрадовалась гостю, однако не знала, как себя вести с ним, о чем говорить, с чего начать, как не знала и о том, в каких отношениях находится сейчас с Багыром сын. Редко попадала впросак Дьиламаш, а вот угораздило.

— Но... Как работаешь? — нерешительно начала она.— Проходи, Багыр. Почему так похудал? Что с тобой случилось?

— Плохи мои дела, эдебис, — признался Багыр и, прикрыв ладонью рот, несколько раз подряд глухо кашлянул. — Налейте мне, пожалуйста, чашечку холодного молока.

— Заболел, что ли? Беда какая...

— А вы разве не слыхали? — Багыр снова закашлялся. И без того большой нос его стал, казалось, еще больше на исхудалом лице. Глаза глубоко запали и печально поблескивали из-под нависших бровей. — Онгудай в область отправляет. В больницу...

Дьиламаш сновала по горнице, не соображая, как вести себя с Багыром, что сказать ему, что предложить. У нее засвербило в носу.

— Ну, пройди, Багыр, присядь, — пригласила еще раз. — Чаю горяченького попей. Совсем у нас не бываешь...

Она тяжело вздохнула. Не могла Дьиламаш спокойно смотреть на такого болезненного, так переменившегося Багыра. И молчать не могла, и говорить не было сил.

— Бог ты мой, высокий Ульген! Что мне с вами обоими делать — со своим Майну и с тобой? Кого из вас винить, кого оправдывать? Один бог только и знает...

— Ничего, эдебис! — стал успокаивать ее Багыр. — Во всем я один виноват, никто больше. Никто черную пыль кузницы силой в мою грудь пригоршнями не сыпал. Сам, только сам виноват... Пил много... Зачем? Часто вспоминаю, как однажды ваш Майну мне сказал: «Грызешь, парень, сам себя». Верно сказал.

Нелегко было слышать такое тетушке Дьиламаш. Сильней всего резануло — «ваш Майну». Это о лучшем друге...

— Ну, пройди же, Багыр, — снова попросила она. — Зачем стоишь у порога?

Без толку суетилась, взволнованная и растерянная. На миг засветились ее глаза, прояснилось лицо.

— Тебе надо есть мясо и жир когтистых зверей. Барсука искать надо, сурков-тарбаганов ловить. Этих еще — подземных тварей — кротов, сусликов. Тоже, говорят, помогает...

Найдя, наконец, спасительную нить разговора, Дьиламаш говорила теперь не умолкая. Искренне, участливо говорила, а в глазах — глубокая тоска-печаль. Багыр не мог не вспомнить давнишнее присловье, кочевавшее среди кайрунцев, когда еще он сам и Майну были мальчишками. Какая бы из женщин деревни ни загрустила, ей тут же говорили: «Что это у тебя в глазах печаль Кыпчак Дьиламаш поселилась?»

— А ты все у порога стоишь! — спохватилась и всплеснула руками Дьиламаш. — Пройди же к столу, поешь хоть немного.

— Ничего мне не надо. Спасибо. Я хотел Майну повидать... — Багыр зашелся в кашле. — Уезжаю я сегодня.

— Дело, может, какое к нему? Ты скажи, я передам, если не секрет. А то подожди, он скоро придет.

— Нет... Пусть тогда так останется. Некогда мне. — Багыр повернулся, чтобы идти, но Дьиламаш заступила ему дорогу.

— И чего вы с Майну сердитесь друг на друга? Почему не помиритесь? Бог ты мой, Ульген добрый! — И запричитала, прищелкивая языком: — Калак-калак! О кудай! О кайрака-ан!..

Багыр нетерпеливо подался вперед. Должно быть, причитания матери Майну раздражали его, но он не хотел выказать своего неудовольствия, проявить непочтительность к старой женщине.

— На Верх-Кайру я несколько лесин срезал, — замявшись, сказал он. — Хотел попросить Майну, чтобы привез. У тетки Сырги дрова кончаются, а я, наверно, не скоро вернусь...

— Скажу, милый! — обрадовалась Дьиламаш. — Обязательно передам, балам! Даже не беспокойся. Майну завтра же приволокет. И распилит сам, и наколет. Не печалься, Багыр...

8

Проходят годы, не пересекаясь один с другим. У каждого года свой путь. В жизни иначе. Вроде бы шли разными берегами Кайру судьбы Майну и Багыра, но жизнь опять навела меж ними зыбкий мостик.

Можно и так еще сказать: жизнь каждого отдельного человека — островок. Но с какой стороны к этому островку подобраться, как его объехать, чтобы ненароком не врезаться, — темное дело. А жизнь — неумолима. Все при ней — и горе и радость.

Майну, конечно же, выполнил просьбу Багыра и матери. На другой день вывез с горы заготовленные Багыром сушины. Еще через день разделал их на чурбаки своей «Дружбой» — дотемна тарахтела пила у аила Сырги. И еще полный день работал Майну — раскалывал чурки и складывал дрова в поленницу.

Тетушка Сырга, понятно, и топорища не тронула, но от Майну не отходила. Сидела рядышком, смолила трубочку и не с ним, а с собой будто бы разговаривала — печалилась о Багыре, его болезни, вслух размышляла о том, как ему там, в больнице, когда поправится, когда вернется в Кайру...

— Большие дохтора взялись за здоровье Багыра. Должны вылечить...

Майну, не отрываясь от работы, молча кивал ей, поддакивал, соглашался, разделяя ее надежду и радость. А радоваться было чему — на всю зиму старухе дров наготовил.

Он взмахивал топором. Острие колуна сверкало над его головой обломком молнии и с силой, с хрястом, со свистом впивалось в толстый сучкастый чурбак, разваливая его на части. Все меньше оставалось чурок, все выше поднималась поленница, все так же негромко и неумолчно жужжал голос тетки Багыра:

— Мой единственный брат Сулатай — что с ним было поделать! — сам ушел за своей смертью. Никто его насильно не отправлял.

Сколько раз слышал об этом Майну — и от Багыра, и от других людей.

— Мой отец добровольно на фронт вернулся, — рассказывал Багыр. — В Онгудай к военкому до тех пор ездил, пока не отправили. Ему отказывали: тяжелое ранение, инвалид, с учета снят. А он своего добился!

Так все и было. Багыр ничего не прибавлял.

Старики помнят, как Сулатай в первый раз уходил на фронт, вместе с другими кайрунцами, летом сорок первого. Гордо уходил. Так уходил, будто он один мог обеспечить победу на фронте, будто от него одного зависела судьба страны. Такое не забывается.

Война...

Далеко шла она от алтайских гор, а каждый из долгих дней ее грозным эхом и тяжкой болью отзывался здесь, в маленькой алтайской деревне. Кайру стоит среди тихих гор, в стороне от больших дорог, от больших тревог. Тогда, в сорок первом, здесь еще колхоз был — «Дьаны Дьол». «Новый путь», значит.

Июнь — месяц малой жары. Ко второй половине июня травы вымахивают по грудь коню, щекочут щемящим зеленым ароматом. И хлеба уже радуют урожаем, хотя им еще зреть да зреть.

В июне сорок первого все было как обычно, как всегда. Так же, от берега до берега, швыряла бурная Кайру свои пенистые волны. Со всех сторон атакованная скалистыми кручами, кружила и ярилась река, как барс в капкане. Вознесенные к небесам, строго и надменно серебрились под летним солнцем заснеженные вершины гор.

В те тихие дни многие молодые кайрунцы пооставляли

своих коней, уехали навсегда. Седел снять не успели, сбрую прибрать... Покинули родные места, чтобы не вернуться.

По древнему календарю шел тогда по земле год Змеи.

Когда два года спустя Сулатай приезжал в Кайру, он рассказывал, что его военная дорога началась под Новгородом. Мало кто слышал про этот Новгород, честно признаться, мало кто толком знал, где он находится. Может, учили про это в школе. Даже наверняка учили. Может, и в кино видели. Только кайрунцы тогда и совсем близкими городами не интересовались. По пальцам можно было пересчитать тех, кто хоть по разу бывал в Бийске или Барнауле. В Горный — его тогда Ойрот-Турой называли — и то не многие ездили. В аймачном центре, в Онгудае, побывать — для любого событие было. Так что само по себе название — Новгород — ничего землякам не говорило и не объясняло.

И если бы Сулатай тем только и ограничился, что назвал город, под которым началась его фронтовая судьба, да реку — Волхов она называлась, — которую пришлось ему форсировать в октябре сорок первого, кайрунцы, возможно, так и не узнали бы, где же все это происходило. Но Сулатай рассказал еще, что от Новгорода — древнего русского города — фашисты упорно стремились прорваться к Ленинграду. А Ленинград, как и Москву, конечно же, знали в Кайру и стар и мал. Знали о блокаде Ленинграда, о стойкости тех, кто его оборонял, кто жил в нем в голоде и холоде в страшные блокадные дни.

Новгород близко от Ленинграда, и Сулатай со своими боевыми товарищами не только не пустил фашистов на север, но заставил их отказаться от своих планов.

Сражался Сулатай храбро, стрелял метко. Стал отличным разведчиком. После первых же боев получил награду — медаль «За отвагу». Не многих тогда награждали, в самом начале войны.

Там же, под Новгородом, в самом конце сорок первого его тяжело ранило. Осколок снаряда угадал в висок. Живым Сулатай остался чудом. Еще бы несколько миллиметров, и никакие врачи не смогли бы его спасти. Они бы просто не понадобились, врачи. Шрам обезобразил его лицо.

— Черные кускуны-вороны, проклятые враги, — не умолкала Сырга, — выклюнули брату глаз...

Сидя на толстой чурке, она об эту же чурку выколачивала из трубки остатки табаку, снова набивала трубочку

и, выпуская изо рта на холодный осенний воздух клубы белого дыма, проклинала далекие дни года Змеи, не зря получившего такое зловещее название.

Майну в такт ударам колуна громко выдыхал — ыих, ыих, ыих! Поленья со звоном разлетались в стороны. Он, как всегда, работал сосредоточенно, с наслаждением, не пропуская, однако, ни единого слова тетушки Сырги.

Стоило старухе хоть на миг умолкнуть, охваченный воспоминаниями, Майну отчетливо слышал голос Багыра, Сулатая, матери, других кайрунцев... Об отце Багыра, сельском кузнеце Сулатае Чечогоеве, часто и много говорили в деревне.

...Когда рана на левом виске Сулатая затянулась и стало ясно, что глаз спасен, но в строю солдату больше не быть, выписали разведчика из госпиталя, продержали, сколько положено, в батальоне для выздоравливающих и направили в тыловую часть на Урал, под Свердловск.

Рана через короткое время открылась. Болел поврежденный глаз. Снова госпиталь — один, потом другой... Так переступил порог сорок третий год, и в месяц малой жары демобилизовали Сулатая как инвалида войны, приехал он в Кайру и на другой же день взял в руки свой молот, молот кузнеца.

Как он нужен был колхозу в те дни! Как много сделал за то недолгое время, что гремел своим молотом. Как много мог еще сделать. Но жила в его сердце боль. Не в силах был мириться Сулатай с тем, что другие мужчины на фронте, а многие из его друзей и сверстников-кайрунцев никогда уже не увидят родных гор, не вдохнут настоянного на хвое кедров и лиственниц, на ароматах тысячи трав воздуха Алтая. Не мог Сулатай смотреть на усталые лица солдатских вдов, на убитых горем и военной нуждой стариков, на чумазых и вечно голодных ребятишек.

Вот и зачастил Сулатай в аймачный центр — в Онгудай, к военкому.

— Направьте меня на фронт!

Ему отказывали.

Через несколько дней он снова стоял перед военкомом:

— Не могу больше! Пошлите на фронт!

Он упорно добивался и сумел добиться своего. Уехал. Уехал и не вернулся...

Долго пустовала кузница, что стоит у подножья горы, чуть в стороне от домов и аилов. Не слышно было в ней веселого звона молота, будто и не было никогда на белом свете человека по имени Сулатай из рода-племени Чечо-

гоевых. До тех пор пустовала кузница, пока не взял в свои руки молот отца Багыр. Взял, да не удержал...

— Разве я ему не говорила: не езди, оставайся дома. Плакала, просила... Карагыс как его уговаривала. Нет, не послушался, — вздыхала Сырга. — Сам, по своей охоте отправился смерть искать! Разве смерть в нем нуждалась? Ей и без него хватало. А теперь что? Нету — ек... И Сулатая нет, и Карагыс померла. Теперь вот у Багыра какая еще судьба будет...

9

Снег выпал.

Все обновилось вокруг, задышало свежестью и чистотой.

Прихватило морозом речку, соединило сплошным ледяным поясом ее берега. А той трещине, что образовалась между Майну и Багыром, не суждено было затянуться...

Так вот и бывает: пока ты откладываешь от случая до случая, ждешь подходящего момента, успокаиваешь себя — успеется, мол, завтра сделаю, глядишь — прошло время, не заметил, как опоздал, упустил, проморгал. Теперь больше откладывать некуда — ни на завтра, ни на послезавтра, ни на следующий год.

— Багыр умер, — холодным шепотом прошуршало по зимней Кайру.

Ранним утром — Саналов Санаа еще не ушел на работу — в сенях его дома послышался какой-то шум. Должно быть, в потемках кто-то не мог нашарить дверную ручку.

Санаа пошел отворять. За дверью стояла Сырга в распахнутой овчинной шубе, полы которой, едва не касаясь земли, разметались на ветру. Втаскивая за собой белые облака холода, старуха медленно вошла в дом. Яркий электрический свет ослепил ее, и она заслонила глаза костлявыми пальцами и стала искать, где бы присесть. Разглядела длинную скамейку возле русской печи, проковыляла к ней, шаркая ногами, неловко села, кряхтя. Утренний морозный ветер высек из ее тусклых глаз слезы, и они дрожали капельками на редких ресницах, в глубоких морщинах на щеках, в складках над впалым ртом.

Кайрунцы звали ее Кара-Уйкижи — Черная женщина — за необычайную смуглость кожи. С крючковатым носом, широкостная, сильная в молодости, она обладала тогда мужской хваткой.

Догадаться, зачем в такую рань явилась Сырга, было нетрудно. Санаа еще вечером узнал о смерти Багыра. Тем не менее он ничем не обнаружил своей осведомленности, поздоровался со старухой и после уже спросил:

— Что рано так?

— Разве рано? — удивилась Сырга и, нагнувшись, вытерла подолом шубы слезы, застилавшие глаза. — Я всю ночь не спала... Бог ты мой!.. Слышал, какое горе?

— Ээ-э... Слышал, слышал, — поспешно отозвался Санаа, боясь своей участливостью вконец расстроить старуху. Все же сказал он со вздохом: — Какой парень был...

— Лучше бы я померла... — всхлипнула Сырга и опять наклонилась смахнуть подолом шубы горе с глаз. — Не бросайте его тело на чужой стороне... Пошли людей, Санаа, чтобы сюда привезли... Если ты не поможешь — больше некому.

— Что ж... — Санаа поднялся. — Вы пока чайку попейте, отдохните, а я в контору пойду. Посмотрю, кто сегодня свободен.

— Были бы живы-здоровы братья и сестры, я бы не мучилась так... — Слезы текли по щекам Сырги, и она уже не вытирала их. — Если бы не война, не обеднел бы так мой род... Привезите Багыра! Не оставляйте там. Хватит, что отец его неизвестно где похоронен...

Не знал Санаа, что еще вечером старуха, охваченная горем, ходила к Майну. Не знал, как еще больше умножилось ее горе.

Майну так помог ей с дровами, когда Багыр уехал в больницу, так она была ему благодарна. Уверена была: Майну не откажет. И ошиблась. Ушла от него потрясенная.

— Чуть что — Майну! Что за народ! У меня не четыре руки, не четыре ноги, — разворчался Майну. — Если нет никого поехать в город, значит, там и похоронят. А мне не разорваться.

Как вырвались у него такие слова? Как у него при этом язык не отсох?!

— Я думала, ты парень с головой на плечах. — Сырга поглядела на Майну с удивлением и опаской и, шепча что-то про себя сухими дрожащими губами, пошла в распахнутой долгополой овчинной шубе к дверям.

Почти сразу после ее ухода в дом не вошла — ворвалась Анна Монулдаевна, сестра Торкош и заведующая начальной школой. В глазах молнии.

— Майну! — пронзила она насквозь гневным взглядом мужа своей сестры. — У тебя нет ни сердца, ни совести!

Что ты ответил старому, почтенному человеку, скажи?.. А ты? — накинулась Анна Монулдаевна на Торкош. — Ты чего смотришь, если твой Майну взбесился?!

Она бросилась к выходу, но задержалась в дверях, зло глянула на примолкших супругов и выпалила такие ядовитые слова, которые ни за что не решилась бы произнести в любом другом случае:

— Не бойся, Майну. Багыр не сможет теперь отбить у тебя жену. Умер Багыр...

От растерянности и стыда, охватившего его, Майну не нашелся что и сказать. Лицо его стало багровым. Неожиданно вскипела Торкош:

— Что вам Майну плохого сделал? Он разве Багыра убил? Отравил? Интересно!

Старшей сестры уже давно и след простыл, а Торкош не умолкала:

— Сегодня как раз в газете пишут: алкоголизм губит людей. От самых опасных болезней, от того же туберкулеза легче спасти человека, чем от водки. Беречь себя надо, вот что...

Такой вот у нее характер, у Торкош. То из-за какой-нибудь чепухи корит и точит мужа, то вдруг вступилась за него, хотя он кругом не прав.

Майну все еще находился в шоке. Его будто ударили по голове чем-то тупым и тяжелым. Не замечая этого, Торкош принялась за него:

— А тебя кто за язык тянул — такое ляпнуть?! Болтаешь что попало. Думать сперва надо, а потом рот раскрывать. Да любому доведись — рассердится. Такое услышать...

«Багыр не сможет теперь отбить у тебя жену. Умер Багыр», — толклись в мозгу Майну жестокие слова Анны Монулдаевны.

...В конторе Санаа оказался много раньше обычного. Там была только техничка — растапливала печи, вытирала пыль со стола, убирала вчерашние окурки.

— Сходите-ка к кому-нибудь из шоферов, — попросил ее Санаа. — Пусть придет сюда... Корондой, что ли.

Пока техничка поспешно собиралась, пока ходила, пока в одиночестве Санаа прикинул, кого, куда и на какую работу направить сегодня, из-за гор нехотя выползло холодное зимнее солнце, а время подобралось к десяти часам.

— Но, управ, если некого в Горный послать, меня отправляй, свободного пенсионера, — вломился в контору кайрунский весельчак и забулдыга Чакылдай, выглядевший

на этот раз строгим и деловитым. — Человек свят не только когда появляется на свет, но и когда уходит в последний путь... Говори, управ. Командуй, как тебе полагается...

Из-за его спины возник громоздкий и смущенный Майну.

— Какой разговор! — выпалил он, будто отвечал на вопрос. — Раз надо поехать, я поеду.

Чакылдай покосился на него, но смолчал, хотя чувствовалось, что ему известно, как вел себя накануне Майну.

— Вот и ладно, — вздохнул с облегчением Санаа. — Выходит, с шофером три человека. Отправляйтесь. Пусть хоть Багыр в родной земле останется, если отец его неизвестно где лежит...

— Молодес, управ! — встрепенулся Чакылдай. От его деловитой сосредоточенности, которая так не шла ему, не осталось и следа. Суетливый, болтливый, он привычно сыпал словами: — Умеешь ты, управ, насквозь посмотреть. Я только что то же самое думал. Молодес какой! Умные слова всегда зацепляются в памяти.

Нахлобучив на седую голову старенькую ушанку, Чакылдай взглянул снизу вверх на Майну и кивнул заросшим серой щетиной подбородком в сторону Санаа:

— Слышал, Майну, что управ сказал? В его словах — великая правда, парень! Вот как.

Санаа и не ожидал, что его слова, а вернее — слова тетушки Сырги, вызовут такие бурные чувства у Чакылдая. Ему даже не по себе стало. Он торопливо поднялся из-за стола.

— Можете ехать хоть сейчас. Корондой только машину заправит. До вечера обернетесь.

10

В кабине рядом с шофером только одно место. Двоим не поместиться. Чакылдай с Майну попеременке ехали то в кабине, то в кузове грузовика, под брезентом, не спасавшим ни от колючего стылого ветра, ни от обжигающей снежной пыли.

До города добрались к обеду. Пока оформили документы, ездили в похоронное бюро за гробом, потом в морг, уже свечерело. Решили не оставаться ночевать и отправились в обратный путь.

— Садитесь в кабину, — предложил Майну Чакылдаю. — Вам холодно будет наверху. Устали...

Чакылдай наотрез отказался.

— Вместе поедем. Втроем, — кивнул он на заколоченный гроб.

Запахнувшись поплотнее в теплые шубы, привалились к переднему борту, прижались друг к другу. Тронулись.

Соседство с покойником не смущало Чакылдая. Он без умолку тараторил, отвлекая Майну от мрачных мыслей.

— Ба-таа! — восхищался старик. — Переменился наш Горный! Не Маскба, конечно... Все равно — ба-альшой город! Какие дома понастроили. Фонари какие яркие горят! У нас дома темнее, чем тут на улице. Зачем на улице такой свет?..

Их обгоняли, неслись навстречу, тянулись за ними груженые и порожние машины. Чуйский тракт гудел автомобильными моторами, ревел и бесился серой крутой пургой, сквозь которую слепяще прорывались пучки света фар. Дорога, словно живая, двигалась вместе с ними, мчалась быстроногим табуном, распластав по ветру шелковистые гривы скакунов, высекая удар за ударом искры из-под копыт.

— После войны я в городе всего один раз был, — не умолкал Чакылдай. — Ты мои послевоенные годы знаешь, Майну. Все они в тайге прошли, в урочище Тюгюрюк. Вместе с отцом твоей жены, с моим лучшим другом Монулдаем...

Откуда-то из недр туго запахнутого тулупа старик извлек поллитровку и граненый стакан. Горлышко бутылки билось о край стакана, дробно позвякивая, водка выплескивалась. Покачиваясь на быстром ходу машины, Чакылдай выпил с полстакана, жестом предложил Майну. Тот не отказался. Снова зазвякала бутылка.

Водка сначала обожгла холодом, но тут же уняла противную дрожь и разлилась по жилам сонливым теплом. Чакылдай, выпив, стал еще разговорчивей, а Майну, не раскрывший рта за всю дорогу, вовсе помрачнел. Он не слушал, о чем болтает старик, но механически поддакивал ему, чаще всего невпопад.

— Майну! А Майну! — до его сознания с трудом дошло, что Чакылдай настойчиво обращается к нему.

— А? Что?

Старик дернул подбородком, на котором клочьями топорщилась щетина. Мысли, собравшиеся в голове Чакылдая, не давали ему покоя. Словно клубок змей сидел внутри Чакылдая. Будто огнем припекало его. Он должен был сказать Майну очень важное. Сказать именно сейчас. Для этого был самый подходящий момент. Если сейчас не вы-

плеснуть то, что камнем лежит на душе, когда еще представится случай? Майну — парень с головой. Он должен понять, должен послушать старика, сделать для себя правильный вывод. Молодость часто ошибается. А кто любит признаваться в своих ошибках? Чем позорить человека на людях, лучше высказать ему одному.

Не зная, как ловчее начать, Чакылдай кряхтел.

— Ты, Майну, неправду старой Сырге сказал...

Майну напрягся. Чего ему надо?

— Неправду сказал! — повторил старик. — Насчет того... что у тебя только две руки и две ноги... Всего у тебя по четыре, Майну. Правых рук у тебя две. Одна — вот она, с тобой, а другая дома осталась. Это — твоя мать, Дыламаш. И левых две. Одна при тебе, а другая — жена твоя, Торкош...

Если ударить плетью лежащую поперек дороги змею, она вмиг сожмется в пружину, готовая к отчаянному прыжку. Так и Майну напрягли до предела слова Чакылдая. Кто и когда всерьез принимал старика? Мало ли чего болтает! Но это было не пустое Чакылдаево балагурство. Это было всерьез.

Несмотря на кромешную тьму, Чакылдай почувствовал, что его удар попал в цель, что Майну весь подобрался. Он решил еще раз хлестнуть его, пока тот не пришел в себя, не способен защищаться. Рукоятка плетки была в руке Чакылдая, и он занес плеть высоко над головой. Иначе поступить он не мог: змею надо обязательно добивать, чтобы не шипела, не поднимала головы, не жалила.

— Ты на меня не дуйся, парень, а думай. Хорошо думай. У Багыра таких помощников, как у тебя, не было. Ни матери, ни жены... Не забывай про это. Эх!.. У меня вот тоже нету никого. И детей, как говорят, бог не дал... Один на всем свете, как головка дикой луковицы...

Дать бы волю Майну, он своими большими и сильными руками придушил бы этого болтливого старика. Кто его просит лезть в душу? Какое ему дело до Майну? Выпрыгнуть бы сейчас из мчащейся сквозь пургу машины и бежать, бежать куда глаза глядят.

А старик не унимался.

— Мой друг Монулдай тогда был прав. Помнишь, что он на твоей свадьбе сказал? Некому было учить вас и предупреждать: «Поп, Багыр, поп! Это опасно. Сгореть можешь».

Шофер, должно быть, вспомнив о сидящих в кузове, включил маленькую тусклую лампочку — не ярче свеч-

ки — под самой брезентовой крышей. Желтый мутный свет ударил по глазам Майну и даже ослепил на мгновение. Он покосился на Чакылдая. Старик положил короткий и толстый указательный палец на крышку гроба.

— Сильный был парень, Багыр. Мастер! Все умел делать, ни в чем тебе не уступал. Только не нашлось среди нас человека, который бы ему вовремя подсказал, помог... Все мы виноваты, что он так рано ушел... И ты виноват... Вот что еще я бы тебе сказал, Майну, — добавил Чакылдай после короткого раздумья. — Каким бы богатым ты ни родился, каким бы ни стал мужчиной, все равно судьба человека от самого себя не зависит... Человек среди людей живет... Вот так... А дальше сам мозгуй. Не буду я тебе больше мешать.

— Ваша взяла! — нехотя согласился Майну. В чем-то старик был, конечно, прав, но не привык Майну, чтобы его поучали, и каждое слово Чакылдая было ему против шерсти. Одна же фраза кольнула больней других: «Человек среди людей живет...» Так Монулдай любил говорить.

Вдруг ему вспомнилось, как накануне Торкош заступилась за него.

— А вы, дедушка Чакылдай, — произнес он миролюбиво, — согласитесь со мной, что самая опасная болезнь современности — алкоголизм. Разве не так? Говорят, от него больше людей умирает, чем от рака...

Чакылдай рассердился, приняв слова Майну на свой счет. Какая-то жилка в нем начала накаляться, словно сунутая в огонь проволока. Ему хотелось ответить как можно злее, но он тут же остыл и, опершись о плечо Майну, приподнялся. Кузов мотало из стороны в сторону, и старика тоже бросало так, что ему пришлось навалиться на Майну, чтобы не упасть. Отклонившись к самому его уху, Чакылдай прокричал хрипловато:

— Может, ты прав... Если бы мы, старики, сами не пили... — Он сел, но тут же опять поднялся и, держась уже обеими руками за плечи молодого, сильного парня, ясно и трезво произнес: — Теперь не мы «кайрунские цари»... Теперь ваше время... Молодых... Понимаешь... Наша жизнь отшумела и унеслась, как та машина, которая только что ехала нам навстречу... Видишь, далеко уже красный огонек...

— Вот-вот, все вы «отшумели», — с ехидцей сказал Майну. — А обвиняете нас, молодых отцов, да еще отыскиваете всякие оправдания в свою пользу. Кто вам мешает сидеть у дверей кайрунского клуба и кричать: «Поп, поп,

Косике! Поп, поп, Садак!» Или еще кому из молодых, которые уже начали показывать зубы. А то и так еще можно: «Поп, поп, Морейчи, поп, вдовушка, у тебя ведь дети растут!» Так что и «поп» надо кричать хором, а не упрекать тех, кто правильно живет, — он, мол, даже сломанную иголку с дороги подберет...

— Да, надо кричать хором... А ты все же думай, думай, друг мой молодой. Не только подол у твоей шубы длинный, жизнь у тебя впереди должна быть большая и красивая. Своим детям, маленькому Монулдаю говори эти «поп-поп!», а не мне, старику, прошедшему огонь и воду от Кайру до мирового города Праги... Жизнь — не мои шутливые слова, друг мой молодой. Она, как весенний или осенний день, то смеется, то плачет, то слякоть, а то рыжее солнце над головой...

Гудел от машин и ветра Чуйский тракт. Завывала пурга. Мчался сквозь тьму грузовик, в кузове которого стоял гроб с телом Багыра.

Неспокойно стонало сердце в груди Майну.

...И эта зима прошла, и еще несколько. Выпадали над Кайру разные дни, полные и счастья и печали, приходили им на смену другие дни. Жизнь шла своей невозвратной дорогой, но иногда, словно для того, чтобы напомнить о прожитом и пережитом, оглядывалась назад и вновь проходила почти тем же путем.

Если бы Багыр остался живым и по-прежнему работал в своей кузнице, ему тоже было бы тридцать семь. Но кто теперь станет считать его годы? Кому это нужно? Смерть не спрашивает: «Когда мне за тобой приходить? Завтра или лет так через десять?»

Вскоре после того, как умер Багыр, похоронили и тетушку Сыргу. Двор ее зарос травой. Домик почти развалился. Не осталось в Кайру ни одного человека из рода Чечогоевых...

— Высох корень этого рода, — сказал Чакылдай, когда рядом с могилой Багыра вырос свежий холмик.

И вправду — высох. Не было причин вспоминать Багыра и Сыргу, а Сулатая и Карагыс и тем более. Останься хоть маленький росточек их семьи, жила бы и память об ушедших. Человек тогда человек, когда он жив. Тогда и имя его слышится то тут, то там, кого-то радуя, кого-то огорчая. А после смерти остается одна печаль... Как в песне поется: «Полынь-травою моя могила зарастет...»

Если твой род многолюден, корни твои глубоки — долго не забывают твое имя и после смерти, хоть порой и не очень много успел ты сделать на земле.

А поверить все-таки трудно. Неужели так и суждено прекращаться роду человека? Может, не стоит терять надежды? Может, хоть где-нибудь да осталась живая клеточка, крохотное семя, росточек зелененький?

Все может быть. Каких чудес на свете не бывает. Только в Кайру у Чечогоевых родни нет. Никого не осталось. А о других селах мы и знать ничего не знаем.

Годы между тем идут. В очагах аилов новобрачных молодые отцы зажигают огонь своего семейного счастья... Удивительная все-таки штука — жизнь!

11

С начала зимы Майну возил лес для новой кошары. Вся работа на кайрунской ферме крутится вокруг скота — овец да коров. Скот на селе — что твой магнит, всех к себе притягивает. Земля остается та же — ни вширь, ни вглубь не увеличивается, а скот растет и множится.

Как вокруг Солнца вместе с Землею безостановочно вращаются от века планеты, так и жизнь деревенская ходит по одной орбите — вокруг дальних и близких, летних и зимних стоянок, вокруг выпасов и пастбищ, лугов и полян, вокруг заготовки кормов, стрижки овец, дойки коров, окота, отела, ухода за молодняком...

Два дня назад, как и накануне, как и на прошлой неделе, Майну возил лес для новой кошары. Поздним вечером, притащив за собой хрусткую свежесть зимних просторов и легкого морозца, он переступил порог своего дома.

Как всегда, дома было тепло и просторно, знакомо и мило: ласковая улыбка Торкош, сидящей по-алтайски, с поджатой под себя правой ногой, у жарко натопленной русской печи, неторопливые хлопоты матери, веселый гомон детей — все радовало его сердце и успокаивало душу.

Майну снял теплый солдатский бушлат и поддетую под него меховую безрукавку, умылся теплой водой, которую поливала из большого ковша жена, и сел за стол ужинать. Хлебнув для пробы две или три ложки обжигающе горячего кёчё и вполне удовлетворенный вкусом густой похлебки, отрезал добрый кус мяса и дал работу крепким, острым зубам. Не оставил без внимания и свежий хлеб, отваливая от булки ломоть за ломтем.

Мать знает, что после работы у Майну всегда хороший

аппетит, и готовит с запасом. Кёчё Майну не меньше трех чашек опрастывает. А чашка у него вместительная, эмалированная, литра на полтора.

И в этот раз ужинал он основательно — уложился в свою обычную норму: три миски супа, полбулки хлеба, с килограмм мяса. После этого принялся за чай — вкусный и крепкий алтайский чай с молоком и солью.

— В соленом чае, — любил говорить Майну, — особая сила. Во-первых, долго пить не хочется, не так сильно потеешь. А во-вторых, мускулы от него крепче. Для мужчины соленый чай особенно полезный...

После ужина, как правило, укладывается на диван, чтобы хоть для порядка подержать в руках газету. Читать Майну вообще-то любит, но после рабочего дня да сытной еды глаза не слишком долго задерживаются на газетных строчках. Иногда, правда, Торкош тормошит его, зовет в кино, и Майну не отказывается, идет с нею. Теперь ведь не лето — чего еще делать? Зимние дни, а особенно вечера в деревне похожи один на другой.

Сегодня тетушке Дьиламаш очень хочется, чтобы сын никуда не уходил, остался дома. Сегодня Дьиламаш с особой тревогой и надеждой ждет, когда Майну выйдет из-за стола и направится к дивану.

Только бы Торкош не вздумала тащить его в клуб! Только бы успеть подсунуть ему свежую газету!

Днем невестка принесла с почты «Алтайдын Чолмоны» и, протянув Дьиламаш, сказала:

— Тут про нашего земляка напечатано. Про отца Багыра — Сулатая Чечогоева.

— Дай, посмотрю...

Громко застучало сердце тетушки Дьиламаш. Стараясь скрыть охватившее ее волнение, она скрылась с газетой в своей комнате.

Торкош ничего не заметила. Не обратила внимания и на то, что свекровь до самого вечера ходила по дому словно потерянная, с покрасневшими глазами. У нее, у Торкош, и своих забот полон рот, чтобы еще за настроениями Дьиламаш следить!

Но вот Майну допил чай, поднялся из-за стола. Дьиламаш заторопилась, чтоб не дать ему заняться другим делом, подала принесенную Торкош газету.

— На, — сказала она. — Читай, Майну. Я сегодня над этой газетой весь день глаза мучила. Ой, кудай... бог мой милостивый... Старость не радость...

Тут же Дьиламаш поспешно убралась в свою комнату.

— Не надо, папа! — подбежала к Майну четырехлетняя Медея, с такими же бровями, как у матери, с большими белыми бантиками в коротеньких смешных косичках. — Не читай!

— Почему? — Майну подхватил дочь и усадил к себе на колени. — Хочешь, чтобы я тебя поласкал, балам? А, доченька?

— Ты тоже будешь плакать, как старая мама...

— Не шабарчи языком, воробышка, — подала из своей комнаты голос Дьиламаш. — Иди-ка лучше ко мне.

— Пусть папа отдыхает. Не мешай, Медея! — Торкош взяла за руку дочку и отвела ее к свекрови, а сама принялась убирать со стола.

Медея... Кайрунцы немало удивлялись, когда девочке дали такое имя. Теперь-то привыкли, хотя и не знают, откуда его выкопала Торкош. Многие в толк не возьмут, что это за Медея такая.

Надо сказать, с именами у наших людей не так-то просто. Тут даже посложнее, чем с деревенскими кличками-прозвищами. Что только с именами не связано! И движение времени, и перемены в общественных взглядах. До революции в том же Кайру, были в обиходе только традиционные алтайские имена, чаще всего худые, неблагозвучные. Никого не удивляли ни Бокту — Пачкун, ни Ит-Баш — Собачья голова, ни Куйрук — Хвост или Тенек — Глупый, ни Ленивая — Дьалку или Вонючая — Дьыту, Куцая — Тонкур или Лысоголовая — Таспаш...

И ходили по земле всю свою жизнь Лягушонки и Голые, Щенки да Пупы, Негодные и Неопрятные... Были имена и того хуже. Что в сравнении с ними уличные клички!

После имена стали меняться, словно осенняя или весенняя погода. Одно время развелись в Кайру Коммунары и Совхозы, Журналы да Бригады, Агитаторы и Перевыборы — да, да, были такие мальчишки и девчонки! Дед Чакылдай, сам тогда еще не старый, но такой же брехливый, высказывался по этому поводу, что и сам черт не поймет, кого на тот свет уводить...

А сколько путаницы получалось с обычными русскими именами. Яснее, кажется, ясного: Василий, Вася или там Васек — одно и то же. А в одной семье можно было повстречать всех троих — и Василия, и Васю, и Васька. Никто не путал братьев Кольку, Николая и Николашу. Никто же не объяснял, что Марию можно звать и Машей, и Мусей, и Маней, и еще как-нибудь.

Годы идут... Меняются и имена. Теперь все меньше и

меньше Пионеров, Майоров, Тракторов, почти не встретишь сестричек Ана, Анак и Аначак — Анну, Анку и Анюту, братцев Ивана и Ваню...

Говорят, колесо истории вспять не повернуть. Это смотря какой истории! Разве не доказывают обратное новые имена новых кайрунцев? Вдруг в моду вошли имена древних алтайских богатырей — Козын-Эркеш, Ай-Солотой, Алтайчи... И опять не без греха! Некоторые регистраторы сельсоветов до того набили руку на Николаях да Константинах, что наотрез отказываются записывать младенца Амыром, Багыром, Ырысту или Майну, хотя это добрые, звучные и подлинно алтайские имена. Тут уж все зависит от настойчивости отца с матерью. Торкош, конечно, никто не посмел перечить, оттого-то и растет у них с Майну маленькая Медея. Так что совсем не просто приходит к человеку имя...

Майну не придал значения тому, что сказала дочурка, и развернул газету.

Ну, ладно. Какой-то подполковник пишет о каком-то солдате. Что ему, Майну, до этого? Пусть пишет.

И все-таки передалось, должно быть, ему волнение матери, потому что Майну, вскочил с дивана.

— Мама! Эй, мама!..

Дьиламаш не отозвалась.

— Куда-ай! Не про отца ли Багыра тут написано, мама? Я же этого Сулатая видел, когда был маленьким. Помните, мама, когда он приезжал с фронта?

Дьиламаш и тут ничего не ответила. А Майну, охваченный воспоминаниями, продолжал рассуждать вслух:

— Он был высокого роста. И над левым глазом — большой шрам. Мама, помните?

— Помню, Майну, — донеслось из соседней комнаты. — Я все помню... Это было летом сорок третьего...

Пощипывая травку в тайге, набредают порою косули на солонцы или на специально оставленную для них человеком соль. Доберутся до лизунца, и за уши их не оттянешь. Часто будут наведываться к этому месту в надежде полакомиться еще. Так и Майну не мог теперь оторваться от газетного листа. Каждое слово, написанное незнакомым ему подполковником о земляке, кайрунце Сулатае Чечогоеве, отце Багыра, наполнялось особенным смыслом, каждую фразу хотелось перечитывать по нескольку раз.

— Отец Багыра был настоящий герой! Какой человек! Был бы жив Багыр — обрадовался...

«...Мой боевой друг Сулатай Чечогоев был отважным разведчиком. В трудных местах воевали мы — в непроходимых болотах, которые и зверь обходил стороной, на берегах суровой и холодной Свири, а после в Заполярье. Сулатай не однажды находил тропы через топкие места, по нескольку раз на день случалось ему одолевать студеные волны реки.

Забыть не могу зиму сорок четвертого в Заполярье. По многим причинам. Связано это и с моим фронтовым товарищем — Сулатаем. Там, где мы воевали раньше, значительно южнее, — сплошь равнина, а тут согры да сопочки, невысокие ели да пихты. И белые ночи. Красота! Любоваться ими, конечно, большое удовольствие, а вот бои вести или тем более линию фронта переходить — совсем другое дело.

Нам позарез нужно было добыть «языка». Надо — значит, надо! Разобрались на местности, как скрытно пробраться к фашистским траншеям. Рассчитали как будто все верно. Учли и то, что прямо на нашем пути — вражеский пулемет. Одной группе задачу поставили подавить эту огневую точку. Другая в обход пошла.

Перед рассветом — это по времени: так и так светло!— на счастье густой туман пал. Это нам здорово помогло. С пулеметом справились без шума. Добрались до немецкой линии обороны. И вдруг у нас за спиной пальба — автоматы трещат, гранаты рвутся. Там, сзади и чуть правее, должна была находиться группа Сулатая. Что-то с ними случилось, а что — выяснять некогда, у нас своя работа. Воспользовались неразберихой, уволокли одного фрица и давай скорее назад.

После уже стало известно, что Сулатай с товарищами напоролся на встречную группу: немцы проходы к нам разминировали для своих разведчиков. Тут у них и пошло, кто кого... Когда у Сулатая патроны кончились, он за гранаты схватился. Одну кинул, со второй приподнялся. Тут его и полоснуло очередью.

Вынесли Сулатая. Он был тяжело ранен — три пули пробили грудь, две попали в голову. Почти сутки он еще жил, а помочь ему ничем было нельзя.

Нашего боевого друга Сулатая Чечогоева, разведчика, мы похоронили со всеми воинскими почестями неподалеку от небольшого озерца Верхний Верман, на высоте 384,0...»

Дьиламаш, навалившись плечом на дверной косяк, стояла у порога своей комнаты и не решалась переступить его. Майну между тем не отрывался от газеты, глотая бук-

ву за буквой. Слова неведомого ему подполковника, обычные, порою даже трафаретные фразы все больше и больше захватывали его. В них, в этих словах, была правда, и она согревала их, наполняла жизнью. Майну ничего не слышал. Он был далеко от Кайру — там, в Заполярье.

«...Незадолго перед последним боем и своей гибелью Сулатай рассказывал нам свой сон. Он запомнился мне своей необычностью, хотя все сны — необыкновенные. Тут, видимо, дело было в другом. Сон Сулатая — что сказка. Самая настоящая алтайская сказка, которую я услышал впервые. Потому, возможно, и засела она у меня в памяти. Больше того, я не раз и при различных обстоятельствах припоминал этот сон, как только передо мной возникал образ Сулатая. Ведь сказка сказке рознь. Допускаю, что я мог что-нибудь перепутать, но за общий смысл ручаюсь.

Приснился нашему солдату страшный дракон, питающийся человеческой кровью. Сулатай говорил, что этот дракон — семиголовый Дьелбеген — чуть ли не во всех древних алтайских легендах и преданиях, что он — враг всех добрых сказочных богатырей. Вот с этим самым Дьелбегеном и заспорил во сне Сулатай.

— Весь род людской исчезнет с лица Земли!

Сулатай отвечает:

— Не выйдет! Хотя бы один-единственный мальчик из нашего рода останется.

— Нет. Все погибнут.

— Хоть одна-единственная девочка из рода человеческого останется в живых!

— Всех погублю! Я буду единственным хозяином Земли! — твердит Дьелбеген.

— Не может прекратиться род человеческий! — не уступает Сулатай.

— Нет! Нет! Нет! — гремит дракон. — Не быть на белом свете людям. Я, только я один буду на Земле!..

Сколько лет прошло, а я отчетливо слышу чуть хрипловатый, простуженный голос солдата, вижу его пристальный, пронзительный взгляд.

Скажут: подумаешь, ерунда какая — сон... Да, вроде бы ничего особенного. А вот врезалось в память!

— Закричал Дьелбеген, — рассказывал Чечогоев, — и стал меня живьем заглатывать. Чувствую, уже погибаю. И вдруг услышал: «Па-паа! Па-паа!» Понимаете? Голос сына услышал. Зов моего рода услышал!..»

Майну оторвался от газеты, посмотрел поверх нее невидящим взглядом.

— Он и там о своем Багыре думал...

Навалившись плечом на дверной косяк, стояла на пороге комнаты Дьиламаш и плакала. Майну удивленно уставился на нее: давно не приходилось ему видеть на глазах матери слезы, не помнил он, чтоб ходила она простоволосой, без будто приросшей к голове шапки из лисьих лапок.

— Опять старая мама плачет, — послышался звонкий голосок Медеи. Девочка подбежала к Майну. — Я же говорила тебе, не читалй! Теперь ты тоже будешь плакать. Не надо, папа!

Торкош наконец-то заметила, что свекровь не в себе, кинулась к ней.

— Что с вами, мама? Отчего вы так расстроились?

И тут случилось такое, чего Майну и Торкош даже представить не могли.

Дьиламаш рухнула на колени, опустив низко, чуть не до самого пола, голову. Седые волосы ее, серые, как зола, растрепались.

— Можешь убить меня, сын! Тут же на месте....

— Что случилось? — Майну отшвырнул газету.

— Сулатай не только Багыра отец. Он и твой отец...

Почему не развалился дом, не рухнуло небо, не расступилась земля?

— Как?!

Дьиламаш обхватила голову руками.

— Убей меня, сынок! Убей проклятую! Что бы я сама с собой сделала, что бы сделала... — причитала она.

Майну растерялся. Перепуганная Медея убежала. Торкош силилась поднять свекровь с пола, уговаривала, успокаивала ее, а та продолжала проклинать и корить себя.

— Хватит, хватит, мама. Нельзя же так! — словно маленькую, убеждала ее Торкош.

Дьиламаш не унималась. Не просто было ей не то что объяснить — даже вспомнить то далекое. А уж выплеснуть наружу, выговориться до конца — и того трудней. И перед собственным сыном, которого носила под сердцем, и перед чужим, в сущности, человеком — перед участливой и славной Торкош.

Другое то было время, другие нравы... Теперь — что! Разговаривают парень с девушкой, «дружат», на виду у всех могут ходить по селу, да еще под ручку, а то и в обнимку... Такого в молодые годы Дьиламаш быть не могло. Что же, значит, и любви не было тогда? Была и любовь,

даже большая любовь. Только была она строгой и тайной. А были... были встречи без любви, нежданные, необдуманные, случайные. Они, эти встречи, происходили по прихоти неразборчивых в своих желаниях нахальных парней. Так водилось. И такая «любовь» не оставляла девушке даже права пожаловаться, вызвать чье-либо сочувствие. Ее грех, ее вина, ее позор... Свидетелями ее унижения и бесчестья были только темные ночи да далекие звезды, чьи-нибудь задворки или слепые углы хлевов... Один бог простит такую вину! И суразенка — незаконного — тоже бог простит...

Дьиламаш смолоду была не как все. Девка — огонь! Такую голой рукой не возьмешь. Ее не обидишь. И Сулатай был не из последних. Парень видный, словно его не толканом и мясом кормили, а чем-то особенным, чтоб он был выше ростом и крепче телом всех своих сверстников, чтоб характер становился у него мягкий и ясный. Он умел быстро и непринужденно сходиться с людьми — старыми и малыми, мужчинами и женщинами. Всех привлекали его душевность, участливость, желание помочь каждому. Именно эти его качества стали бедой и радостью Дьиламаш, подруги будущей жены Сулатая Карагыс.

Для Дьиламаш Сулатай был и солнцем в ясном небе, и яркой звездой среди бессчетных звезд, и негаснущим угольком в глубине ее сердца. Она завидовала Карагыс. И та, как нарочно, все говорила и говорила про свою любовь, про своего Сулатая.

— Сулатаю нравится во мне то, чего другие боятся, — захлебывалась Карагыс. — Он без ума от моей родинки между бровями. Говорит, я его утренняя звездочка! А я его дразню, что никакая я не Тан-Чолмон, что я его боль и печаль.

— А он... Он что говорит? — не выдерживала Дьиламаш.

— Он-то? Он хохочет. Болтовня, говорит. И опять свое: Звездочка моя — Тан-Чолмон, Звездочка моя, Карагыс... Для него во всем мире только одна звезда и светит — Тан-Чолмон. Это значит, я, Карагыс, — трещит, не умолкая, подружка, каждым словом своим жаля Дьиламаш.

А у самой Дьиламаш тем временем зрела другая мысль. Она, эта мысль, все настойчивее одолевала ее, все чаще стучала в сердце. «Где же твоя гордость, Дьиламаш? — твердила она сама себе. — Чем хуже твои глаза какой-то родинки над бровями Карагыс? Посмотри на себя, Дьиламаш: разве ты уступаешь красотой своей по-

друге? Ведь Сулатай может стать и твоим счастьем. Карагыс много на себя берет. Не уступай ей, не уступай. Не упускай эту птицу поднебесную, счастье твое!..»

И Дьиламаш покорилась этому тайному голосу.

Мужчина есть мужчина, какой бы он ни был. Трудно устоять ему, остаться равнодушным к стерегущей его в пути красоте. Ночь кричит: «Луна хорошо!», а день свое твердит: «Солнце лучше!» Так и тут. Да еще болтовня суеверных старух насчет «тавра горьких слез» — бородавки на пальце Карагыс...

Большая любовь требует больших жертв. Она как лучи весеннего солнца, слепящие глаза. Ушел от Дьиламаш Сулатай, ушел к своей Карагыс, оставив о себе сладкую и тайную память.

Разве Дьиламаш после того, когда уже родила Майну, не сватали? Сватали, и не раз. Но у нее свой характер, своя гордость. Как решила, так и сделала. На всю жизнь. И осталась верной своей любви и своей беде, прекрасно сознавая, что нет печальнее печали и позорнее позора, чем бесчестье.

Никто, даже Карагыс, почти тогда же ставшая женой Сулатая, не узнал ее тайны.

А сколько разговоров было в Кайру, когда Майну появился на свет, будто родила Дьиламаш не самого обыкновенного мальчика, с руками, ногами, глазами и ушами, а диво какое-то.

Вот и чесали языки, вот и чесали...

— Однако сын Дьиламаш на Айдына похож.

— Уж не из рода ли майман этот мальчишка? Что-то уши у него торчат, как у Шуру.

— Что вы! Шуру человек смиренный. Он не то что к девушке, к овце подойти боится. А Дьиламаш — коса острая, враз срежет!

— А может...

— Да вы что? Карагыс с Дьиламаш водой не разольешь. Не-ет. Сулатай свою жену крепко любит.

Сколько ни судачили, сколько ни перемывали косточки Дьиламаш, а ни к чему не пришли кайрунцы. Сама Дьиламаш будто в рот воды набрала. Из нее и клещами бы слова не вытянули — характер и тогда у нее крепкий, крутой был. Примирилась в конце концов деревня на старой пословице: «Лучшая земля — сас, лучший мужчина — сураз», что означает, будто нет на свете ничего лучше болота и незаконнорожденного ребенка. Хоть и слабое, но утешение...

...Тридцать лет спустя вопрос, не признающий никаких недомолвок в ответе, снова всплыл перед Майну, убивая его, мстя ему. И в трех снах не привиделось бы ему, что опять все перевернется в памяти и сердце. Мгновенно живым колосом прорастет из давно брошенного в землю зерна. Нестерпимым пламенем полыхнет из, казалось бы, навсегда потухших углей.

Вспомнил!

Вспомнил тот день, когда он, мальчишкой, подрался с Багыром. Вспомнил голос матери... Сквозь годы зазвучал ее молодой и печальный голос:

— Ты зачем Багыра бил? За что?

Не мог не ответить ей Майну:

— Он своим отцом хвастает, мама...

Дьиламаш тогда плакала. Так же, как сейчас. Тихо, беззвучно. С той поры, однако, и не видел ее больше Майну никогда в слезах. А тогда — плакала. И сказала еще:

— Не надо обижать Багыра. У него... снова ушел на войну отец...

Майну не мог вымолвить ни слова. Ему надо было самому во многом разобраться, переворошить в себе, пересмотреть все, с самого начала.

Он сидел как пришибленный. С трудом, медленно поднял голову и устремил взгляд в пустоту, будто силился разглядеть нечто сквозь толстую и глухую стену дома. Во рту пересохло. Едва ворочая языком, с трудом выдавил из себя:

— Как же теперь быть?

Дьиламаш все еще сидела на полу, но уже не плакала. Торкош, поддерживая ее одной рукой за плечо, другой гладила растрепавшиеся седые пряди свекрови.

— Я же не у стен, я у вас двоих спрашиваю! Как быть теперь! — нетерпеливо и требовательно прозвучал громкий голос Майну.

Женщины, очнувшись от забытья, переглянулись.

— Как быть, спрашиваешь? — не сразу произнесла Дьиламаш. Веки ее покраснели и опухли. Задумчивые и потухшие глаза еще плотнее заволокло тенью печали и скорби. За какие-то минуты она постарела лет на пятнадцать. Слова, которые хотелось ей произнести, вспугнутыми птицами беззвучно слетели с дрожащих губ, но она все же успела поймать их вместе с эхом сыновнего вопроса. — Как быть? Как теперь быть?..

Лицо Дьиламаш посветлело. Тени сбежали с него, словно предрассветные сумерки.

— Как быть, говоришь, сынок? — уже успокоенно повторила она. Голова ее медленно, но выше и выше, уверенно и гордо поднялась. — Я тебе дала жизнь. Я — твоя мать! Как теперь быть? Надо жить... Вот что делать, сынок...

— Эх, мама, мама! — Майну раскачивался из стороны в сторону. — Зачем вы скрывали от меня?..

Он так и не дождался ответа. Взял газету и долго вчитывался в строки статьи о Сулатае Чечогоеве, о своем отце.

— Три-ста во-семь-де-сят че-ты-ре... Три-ста во-семь-де-сят че-ты-ре... Три-ста... — громко шептал он. На этой далекой высоте, где-то возле озера Верхний Верман, в Заполярье, могила солдата, героя войны. Могила отца.

До сих пор молчавшая Торкош, будто все и за всех решив, сказала:

— По-моему, тебе надо ехать, Майну.

— Куда? — непонимающе вскинул брови. — К кому?

— Как это «куда»? — удивилась Торкош и убежденно произнесла: — Конечно же, в Москву. Надо найти этого человека, который знал... твоего отца. Если ты не поедешь, люди о тебе плохо скажут, никогда тебе этого не простят. Скажут, денег пожалел, не захотел с другом отца встретиться.

— Кто скажет? Кто знает? — голос Майну дрогнул. — А он хоть раз обо мне вспомнил? Он хоть раз назвал меня сыном?

— У него ведь была семья... — не вытерпела Дьиламаш. — И я велела ему забыть, и тебе не говорила. Пойми меня правильно, сынок.

— Всем известно, что у него один сын — Багыр. — Майну кружил по комнате. — А я? Кто я?

— Мертвым не мстят, сынок... А Багыр тоже ни в чем не виноват.

Торкош поддержала ее:

— Опомнись, Майну! При чем же, действительно, Багыр?

— А кто винит Багыра? Зачем зря болтать...

— Тогда кого же ты упрекаешь? — не отступала Торкош. — Может, своего отца? У него тоже нет вины перед тобой. Он погиб и за тебя, и за всех нас.

Дьиламаш с помощью невестки добралась до табурета и сидела, силясь представить, как, по какому руслу потечет теперь их жизнь, как сложится, но спору между детьми, казалось, не будет конца, и она опять вмешалась:

— Перестаньте! Хватит. Ехать — не ехать... Зачем шуметь впустую...

Торкош однако не собиралась сдаваться. Внимательно вглядывалась она в мужа, будто хотела отыскать в нем что-то доселе ей неизвестное, непонятное.

— Эх, Майну! То ли мысли твои птицы расклевали? — Она чуть насмешливо улыбнулась. — Я думала, ты не такой. «Что я его — отцом должен называть?» А разве он тебе не отец? Как это ты можешь признавать или не признавать! От этого ничего не меняется. Если ты не поедешь к другу отца, не побываешь на могиле отца, кто это сделает? Думаешь, тот подполковник в газету написал от нечего делать?

Когда Майну что-нибудь втемяшится в голову, трудно его переубедить. Упрямый он, ни за что не свернет с пути, куда бы этот путь его ни завел. Вот такой человек... Тут же Торкош как будто проняла его. Размяк, задумался, примолк. Снова рука нашарила номер «Алтайдын Чолмоны». Снова глаза уткнулись в строчки. Теперь и до его слуха донесся отчаянный крик: «Па-паа! Па-паа!» Чей голос звучал в ушах Сулатая, когда видел он свой страшный сон? Майну вздрогнул.

Самолет летел высоко над облаками, с каждой секундой приближаясь к Москве. Скоро Майну Кыпчаков доберется до дома подполковника Ивана Петровича Карасева, друга его отца...

О годы и жизнь! Как много тайн скрывают они от человека в своей безостановочной круговерти! И жизнь и любовь — великая тайна. Но Майну не будет теперь страшиться этой тайны. Впрочем, не боялся он и прежде, только многого не понимал, во многом не умел разобраться. Это и немудрено. Когда же перед человеком потихонечку открывается вся сложность его существования, когда спадает с глаз туманная пелена, просторнее становятся земля и небо, все вокруг для него открыто, все ново и ясно, и видятся ему самые дальние дали.

Весна... Зеленеют нагорья и поляны. Слышно, как блеют овцы, мычат коровы и заливисто ржут кони. Прямо перед глазами — голубые долины Тюгюрюка, хребты Ак-Саса и Толубая, темные пади Монкулака и снежные вершины Маргалу... Э-э! Какой простор! Красотища какая!

Он слышит гул своего трактора и видит черные, клубящиеся паром обширные пашни среди гор.

Тайны жизни... Какими страшными они иногда бывают!

Слух Майну уловил звяканье железных лопат, глухие удары кайлы о мерзлую землю и камни кайрунского кладбища. Оно находится в южном краю деревни, в тихом логу. Простое, невзрачное сельское кладбище. Ни над одной могилой нет там не то что гранитного памятника, даже щербатого камня. Нет и оградок. Высятся холмики земли, сравнивает их время... Умрет человек, и похоронят его со слезами и печалью. Тем дело и кончено... В том же тихом логу зарастают травой могилы брата Майну Багыра, родной сестры его отца — старой Сырги. А отец, Сулатай Чечогоев, лежит далеко от них, в северных краях, в Заполярье, на высоте 384,0... Какой все-таки злой и несправедливой бывает жизнь! Оказывается, иногда люди роднятся не тогда, когда живы, а лишь после смерти...

До сих пор Майну жил сам по себе, своими интересами, своими «максимумами». Теперь все переменилось, да так круто. Теперь ему жить и за своего отца, и за единственного брата, за троих сразу! А до смерти еще далеко...

Осенью над Кайру часто вспыхивают в ночном небе над хлебными полями сухие молнии. Люди говорят, что от них пуще зреют хлеба. Прочерки таких же точно молний словно озаряли Майну изнутри.

Ему тридцать семь, но сколько же было совсем еще недавно неясного и тайного для него! Он не знал даже имени собственного отца! Сулатай Чечогоев — его отец... Внезапно в мозгу Майну раскрылась еще одна клеточка и выплеснула интересную мысль. «Э-ээ! — воскликнул он про себя. — Когда тетушку Сыргу хоронили, люди зря говорили, что кончился род Чечогоевых. А я-то кто такой? Разве не Чечогоев?..»

Адрес подполковника Ивана Петровича Карасева Майну узнал в редакции областной газеты «Алтайдын Чолмоны» и крепко запомнил его: «Москва, Новослободская улица, дом номер шестьдесят семь, квартира сто девяносто девять». Жаль, не знает он номера телефона — позвонил бы ему прямо из аэропорта...

Гудит и гудит самолет над белыми облаками. Мм-а! На табло зажглись красные буквы: «Не курить. Застегнуть привязные ремни». Под крылом Домодедово, Москва...

Февраль, март, апрель 1974 г.

УБИТЬ БЫ МНЕ ГОЛОД

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
где я вспоминаю избушку семерых доярок в урочище Кайру-Бажи

Борбок-Кара вошел в палату совсем неожиданно, и я, увидев его, от удивления закричал:

— Ба!.. Ты ли это?

О, алтайский кудай-бог! Как он здорово изменился. Раньше, в те давно забытые дни, разве он был таким?! Прежними остались только глаза: спокойные и холодные. И со дна этих глаз на меня тихо и тайно глядит еще один человек.

И я тут же, воочию, увидел избушку в урочище Кайру-Бажи, где жили семеро доярок и их многочисленные дети. Алтайцы бы, конечно, не сказали «многочисленные», а опоясывающие очаг дети.

У избушки не было крыши. Вместо окна была дыра, закрытая не то телячьей, не то овечьей шкурой, иначе бы от зимних ветров и морозов нам не спастись. Домик был похож на одноглазого печального человека. Глубоко придавленный к земле, он будто стеснялся своей слепоты и бедности.

В маленькой и единственной во всем урочище избушке жили семеро женщин-доярок со своими детьми. Да, семеро одиноких доярок жили на стойбище дойных коров. Их мужья ушли, как тогда говорили, на кровавую войну и еще в какую-то тайную страну, назвать которую почему-то все боялись.

Об отцах, ушедших на войну, говорили постоянно. Изредка от чьего-нибудь отца приходило, бывало, письмо-треугольник. Тогда вечером открывали двери дырявой железной печки и, подбрасывая туда тонкие сухие щепки, приближали к свету дорогой листок и какая-то из матерей, чуть ли не обжигая лицо пламенем, начинала читать вслух, а все остальные сидели, боясь даже кашлянуть. Но кто-то, не выдержав до конца, вздохнет тяжело или тихо заплачет: «Есть, оказывается, бог — живой наш отец!»

Вечером, когда наши матери возвращались с работы, становилось очень тесно в маленькой и одноглазой избушке. Особенно во время еды — негде сесть. Поэтому какой бы мороз ни скрежетал во дворе своими клыкастыми зубами, некоторые из нас не входили в избу, оставаясь в островерхой юрте-аиле, покрытой корой лиственниц. Почему-то чаще всего в зимней холодной юрте оставалась Кару со своими четырьмя детьми. Малайт был совсем маленьким. Я дружил с Метиреем, средним сыном тетушки Кару.

И вот со своими четырьмя детьми тетушка Кару чаюет посреди зимы в холодной юрте. Да, чаюет. Ведь кроме чая ничего густого и сытного нет. Если бы в руках детей каждый раз оказывалось по маленькому кусочку алтайского сырчика-курута или мучной лепешки, испеченной в жаркой золе очага, тогда, конечно, слез, криков и драк могло бы не быть. Голодные дети что собачонки, дерущиеся из-за где-то найденной косточки.

Вчера в колхозе раздали немного ячменного зерна. Каждому работающему досталось не много и не мало — всего по килограмму. Из этого зерна Кару приготовила полкилограмма талкана — жареной муки. Как она теперь разделит ее между своими голодными детьми и на сколько дней этого талкана им хватит?

Наши места суровые. Богатого хлеба не вырастишь, да и кому заниматься хлебопашеством? Нет людей. За скотом некому присмотреть. Нет ни трактора, ни одной машины.

В наших местах даже картошка не растет. Изредка, правда, привозили в зимнюю пору мерзлые, как лошадиный помет, картошины. На сколько дней хватит тетушке Кару ведра картошки? Ох, как прожорливы дети...

— Дай, мама, еще талкана, — Метирей, протягивая руки, подает матери свою деревянную чашку.

— На́ тебе талкан! — Кару большой и черной, потрескавшейся от постоянной работы и мороза ладонью шле-

пает сына по рту, а сама молча глотает светлую кипячёную воду.

В хорошие времена алтайцы пьют чай с солью и молоком. Соли теперь тоже нет. Вместо чая заваривали корни трав и растений или томон — отходы от жареного зерна, то есть ячменную шелуху.

— Дай мне еще картап-картошку! — Малайт глядит на мать своими острыми, как иголка, зрачками. — Есть хочу, я не наелся...

— На́ тебе картап! — Черная ладонь тетушки Кару закроет рот маленького Малайта.

Метирей, Паша, я и братишка Борбок-Кары горбатый Аткыр — все мы одногодки. А Борбок-Кара старше нас лет на пять или на шесть. Ростом он невысок, но крепок. Глаза круглые, черные и холодные...

Вот он стоит. Только что перешагнул порог моей больничной палаты. Бородатый. Каким-то странным он теперь стал. С трудом его узнаешь. Прежними остались лишь глаза...

«Ба-та!» — восклицаю про себя. Мне кажется, давая новорожденному имя, алтайцы предугадывают, каким будет его внешний облик. И потому многие имена похожи на их владельцев. А что значат «Борбок-Кара»? «Борбок» — наполненный, полный, даже круглый, а «кара» — черный. Так и есть — мой Борбок-Кара крепкий, полненький, и если добавить к этому его пышно-окладистую и черную как смоль бороду, то и получится Борбок-Кара — Черный Колобок. Удивительно, не правда ли? Только что на свет божий появился человечек, а тот, кто дает ему имя, предугадывает, каким он будет.

Ко мне пришел предводитель моего детства. Нет, как он все-таки схож со своим именем! Посмотрите на щеки его. Будто он постоянно держит воду во рту. Руки и ноги короткие, движения медленные, уверенно-крепкие.

Тихо наблюдаю за Борбок-Карой, и на память приходит давнее и очень многое: исчезают прожитые годы, живыми голосами говорят давно ушедшие люди, мычат на летних и зимних стойбищах коровы. Четко вижу масти коней и коров, родные горы и долины. В моих ушах шумят давно спиленные деревья. Вижу скалы, дороги и тропинки, реки и ручьи родных нам Кайру-Бажи и летней стоянки Актел...

Борбок-Кара сел на табуретку рядом с моей койкой. Улыбается. Смотрит на меня. Радостно объявляет:

— Я тоже тут, в этой же больнице отдыхаю! Курорт-

ничаю, Барыс! Вот какова по-литика. — Он с детских пор любил при каждом слове вставлять в разговор слово «по-литика», и причем это у него получалось не слитно, а раздельно: «по-литика». — Но как дела, что случилось, парень, с тобой?.. Тяжелой работы ты давно не делаешь. Обманывая людей, мажешь чернилом по бумаге — даром получаешь много денег. При такой жизни разве можно болеть так тяжело?.. Ой-ой-о-ой, как ты постарел!

Борбок-Кара сильно удивляется, как я постарел, а на себя-то не посмотрит. Годы и его не пощадили. Глубокими бороздами легли морщины на его узенький лоб. Под глазами бугрятся мешки. Больные почки, наверное.

Алтайцы об умершем говорили раньше, что он уехал в страну Кара-Тонош, за солью. Вот и я чуть не отправился за этой горькой солью. Но спасибо врачам!

Услышав голос Борбок-Кары, я чудом воображения оказался в Кайру-Бажи. Тело мое на больничной койке, а душа летит, бежит по косогорам и полям страны моего детства. Босоногим и полуголым мальчишкой шагаю, бегу, плачу и смеюсь, мчусь на коне, отчаянно дерусь со своими сверстниками.

Борбок-Кара, Борбок-Кара, однако ты странный человек. Оказывается, ты и болеть умеешь. Никогда я не думал, что ты можешь попасть в больницу. Может быть, я зря предполагал, что твой организм из камня или железа?.. Ай Борбок-Кара, ай Борбок-Кара... Обожди, последний раз мы когда же встречались?..

А-а, вспомнил! И это дело было связано со стоянкой, с твоей работой. Верно ведь, это случилось не так-то давно. С того времени самое большее прошло лет десять.

Тогда мне пришлось написать о Борбок-Каре фельетон и опубликовать в нашей областной газете. После этого его чуть ли не судили... Таскали туда-сюда, но все же под конец отпустили. А дело было так: в урочище Кайру-Бажи, возле того самого единственного домика, в последние годы стала зимовать отара овец. За ней ухаживал Борбок-Кара.

Зима. Как в давние годы, трещал сильный сибирский мороз. Борбок-Кара, видать, не заметил, как несколько сот овец гурьбой зашли в загон, где хранился стог сена. А овцы — они не лошади и не коровы, ибо они могут из-за клочка сена затоптать друг друга. Упадет одна овечка, другая, и, наступая на них, полезут к сладостному и желанному корму остальные. Так погибли сразу более сорока овец.

пает сына по рту, а сама молча глотает светлую кипяченую воду.

В хорошие времена алтайцы пьют чай с солью и молоком. Соли теперь тоже нет. Вместо чая заваривали корни трав и растений или томон — отходы от жареного зерна, то есть ячменную шелуху.

— Дай мне еще картап-картошку! — Малайт глядит на мать своими острыми, как иголка, зрачками. — Есть хочу, я не наелся...

— На́ тебе картап! — Черная ладонь тетушки Кару закроет рот маленького Малайта.

Метирей, Паша, я и братишка Борбок-Кары горбатый Аткыр — все мы одногодки. А Борбок-Кара старше нас лет на пять или на шесть. Ростом он невысок, но крепок. Глаза круглые, черные и холодные...

Вот он стоит. Только что перешагнул порог моей больничной палаты. Бородатый. Каким-то странным он теперь стал. С трудом его узнаешь. Прежними остались лишь глаза...

«Ба-та!» — восклицаю про себя. Мне кажется, давая новорожденному имя, алтайцы предугадывают, каким будет его внешний облик. И потому многие имена похожи на их владельцев. А что значат «Борбок-Кара»? «Борбок» — наполненный, полный, даже круглый, а «кара» — черный. Так и есть — мой Борбок-Кара крепкий, полненький, и если добавить к этому его пышно-окладистую и черную как смоль бороду, то и получится Борбок-Кара — Черный Колобок. Удивительно, не правда ли? Только что на свет божий появился человечек, а тот, кто дает ему имя, предугадывает, каким он будет.

Ко мне пришел предводитель моего детства. Нет, как он все-таки схож со своим именем! Посмотрите на щеки его. Будто он постоянно держит воду во рту. Руки и ноги короткие, движения медленные, уверенно-крепкие.

Тихо наблюдаю за Борбок-Карой, и на память приходит давнее и очень многое: исчезают прожитые годы, живыми голосами говорят давно ушедшие люди, мычат на летних и зимних стойбищах коровы. Четко вижу масти коней и коров, родные горы и долины. В моих ушах шумят давно спиленные деревья. Вижу скалы, дороги и тропинки, реки и ручьи родных нам Кайру-Бажи и летней стоянки Актел...

Борбок-Кара сел на табуретку рядом с моей койкой. Улыбается. Смотрит на меня. Радостно объявляет:

— Я тоже тут, в этой же больнице отдыхаю! Курорт-

ничаю, Барыс! Вот какова по-литика. — Он с детских пор любил при каждом слове вставлять в разговор слово «политика», и причем это у него получалось не слитно, а раздельно: «по-литика». — Но как дела, что случилось, парень, с тобой?.. Тяжелой работы ты давно не делаешь. Обманывая людей, мажешь чернилом по бумаге — даром получаешь много денег. При такой жизни разве можно болеть так тяжело?.. Ой-ой-о-ой, как ты постарел!

Борбок-Кара сильно удивляется, как я постарел, а на себя-то не посмотрит. Годы и его не пощадили. Глубокими бороздами легли морщины на его узенький лоб. Под глазами бугрятся мешки. Больные почки, наверное.

Алтайцы об умершем говорили раньше, что он уехал в страну Кара-Тонош, за солью. Вот и я чуть не отправился за этой горькой солью. Но спасибо врачам!

Услышав голос Борбок-Кары, я чудом воображения оказался в Кайру-Бажи. Тело мое на больничной койке, а душа летит, бежит по косогорам и полям страны моего детства. Босоногим и полуголым мальчишкой шагаю, бегу, плачу и смеюсь, мчусь на коне, отчаянно дерусь со своими сверстниками.

Борбок-Кара, Борбок-Кара, однако ты странный человек. Оказывается, ты и болеть умеешь. Никогда я не думал, что ты можешь попасть в больницу. Может быть, я зря предполагал, что твой организм из камня или железа?.. Ай Борбок-Кара, ай Борбок-Кара... Обожди, последний раз мы когда же встречались?..

А-а, вспомнил! И это дело было связано со стоянкой, с твоей работой. Верно ведь, это случилось не так-то давно. С того времени самое большее прошло лет десять.

Тогда мне пришлось написать о Борбок-Каре фельетон и опубликовать в нашей областной газете. После этого его чуть ли не судили... Таскали туда-сюда, но все же под конец отпустили. А дело было так: в урочище Кайру-Бажи, возле того самого единственного домика, в последние годы стала зимовать отара овец. За ней ухаживал Борбок-Кара.

Зима. Как в давние годы, трещал сильный сибирский мороз. Борбок-Кара, видать, не заметил, как несколько сот овец гурьбой зашли в загон, где хранился стог сена. А овцы — они не лошади и не коровы, ибо они могут из-за клочка сена затоптать друг друга. Упадет одна овечка, другая, и, наступая на них, полезут к сладостному и желанному корму остальные. Так погибли сразу более сорока овец.

Как быть, что теперь делать, как оправдаться?.. Очевидно, Борбок-Кара об этом много думал и страдал. И потому, не найдя другого выхода, он... запел. Запел?! Что за чушь, скажете вы. А он на самом деле сидел среди погибших овец и пел протяжную алтайскую песню.

В тот день случайно приехал в Кайру-Бажи совхозный ветеринарный врач Диман. И вот он с ужасом видит, как чабан с ножом в руках сдирает шкуры с мертвых овец и при этом, словно ничего не случилось, поет песни. В руке чабана острый, сверкающий на зимнем солнце нож, а кругом красный снег. Ужас! — других слов не найдешь.

— Что это такое?! — крикнул Диман.

Чабан, перестав петь, замахнулся ножом. Молодой ветеринар, конечно, едва ли не потерял сознание от испуга.

— Руки вверх! — закричал Борбок-Кара. — Тебе ездить по стоянкам на хорошем коне, а мне вечно одному страдать... Ишь, начальник нашелся! Я тебе покажу, что это такое!

Ветеринар больше ничего не смог сказать человеку, у которого в руках обагренный нож. Даже показалось — с лица Борбок-Кары брызгала кровь. Некуда деваться — пришлось ему бежать назад, к своему коню. А Борбок-Кара, как разъяренный барс, с рычанием бросился за ним. Хорошо, что Диману удалось вскочить в седло и ускакать в Кайру на совхозную ферму. Представьте себе, если ветеринар попался бы в руки чабана, что бы случилось, а?..

— Преступление! — закричал Диман, войдя в контору. — Почему вы доверили пасти совхозных, да еще племенных, овец сумасшедшему человеку?! Ножом режет одну за другой и поет песни. Скажите мне, пожалуйста, что это такое, товарищ управляющий?

— Кто, где поет и каких овец режет?! — удивился управляющий. — О чем вы говорите, мой молодой друг?..

— Отправляйтесь немедленно! Сейчас же привезите его сюда! — Ветеринар Диман продолжал кричать, удивляя всех присутствующих в конторе. — Говорю же я вам, он там сидит и поет, и режет овец одну за другой... Отправляйтесь, иначе всю отару зарежет.

В это время я в качестве корреспондента областной газеты приехал в родной Кайру и как раз сидел в конторе.

Прежде всего все, слушая истерические крики, глядя в глаза молодого ветеринара, которые, казалось, вот-вот, как две испуганные птицы, вылетят из своих гнезд, подумали, что парень заболел. Что случилось с молодым человеком, что с ним?.. Потом кое-как разобрались. Оказывает-

ся, он правду говорил. Вот именно тогда я и написал о халатности, даже о лентяйстве Борбок-Кары свой ужасный фельетон.

О, высокий кудай-бог! Какой я тогда был наивный и торопливый! Очевидно, думал, что нашел для газеты острый материал. Молод был. Теперь ни за что бы не написал, скажу прямо, такую дрянь. Это же было горе чабана. Ведь он запел-то от большой боли и потрясения.

Борбок-Кара и сейчас чабанит. В том же урочище Кайру-Бажи зимует. Почему-то совхоз до сих пор на этой стоянке не построил нового дома. Но домик тот, где в годы войны жили семеро доярок и их дети, сейчас выглядит чуть лучше. Единственное окно не шкурками затянуто — застеклено. Приподнята и покрыта шифером крыша. Ничего, стал похож на дом. Старый, конечно, но на мир смотрит бодро, приподняв плечи. И еще — внутри домика не железная печь, а сложили кирпичную, русскую. В ней теперь можно печь сколько угодно душистого русского, отличного хлеба. О, это великое слово «хлеб»...

За тех погибших овец Борбок-Кара кое-как, говорят, расквитался, но как именно, я лично не знаю. Помогли, конечно же, родственники Борбок-Кары...

Мой гость вдруг улыбнулся хитровато:

— Да, скажи ты мне, Барыс, за фельетон сколько ты тогда получил денег? Наверное, много, а?

Слыхали, каков мой друг Борбок-Кара? Не так уж просто он заявился ко мне. Издеваться он уме-ет.

— Ну-ну... не сердись, друг мой. Я так, от нечего делать просто говорю. Тфук! Забудь всю эту по-литику, — засмеялся Борбок-Кара.

Хорошее слово «друг». Вот и Борбок-Кара считает меня своим другом. Все-таки странно, когда так сильно я заболел, никто из городских друзей до сих пор не перешагнул порог этой горестной палаты. Никто из них не спросил и не позвонил: мол, улучшается ли твое здоровье, как идет лечение?.. Поскольку я до этого никогда не болел и в больницу не попадал, в серьезность моей болезни, наверное, они не верят. Может быть, я нужен им, когда здоров и трудоспособен? А вот Борбок-Кара, какой бы он ни был, пришел же ко мне. Он не только сам пришел, но с собою принес свежесть ветров и снегов родного нам Кайру-Бажи, хотя и трудную, но красоту нашего детства.

Борбок-Кара, Борбок-Кара — настоящий ты батыр и добрый ты человек!

А где теперь твой братишка Аткыр? У него тоже нелег-

кая судьба. В детстве он сильно болел и почти не поднимался с постели. Мне вспоминаются его уши. Они у него торчали, как у новорожденного теленка. Нет, скорее всего, как у горной косули. А как он страдал от первой любви! Ты этого не знаешь, тогда ты был в армии, Борбок-Кара. А какой сильный удар нанесла по твоему юному сердцу твоя первая любовь, помнишь, друг мой, Борбок-Кара?..

Сидит передо мной совсем другой человек — тихий, добрый и глубоко задумчивый. Может быть, это не Борбок-Кара?.. Вместо него передо мной сидит какой-нибудь таинственный кудесник?

— Твоя мама была очень хорошим человеком, — вдруг сказал он. — Да, добрая была тетушка! И нету ее сейчас. Жалко! Сколько нас она жалела, помогала каждому, кормила.

Я ничего не мог ответить Борбок-Каре. Лишь посмотрел на него. А он, не глядя на меня, уткнувшись взглядом под ноги, продолжал:

— На похоронах твоей матери, прости, не смог быть. Занят был, в тайге находился. С этими овцами, сам знаешь, некогда взглянуть на солнце над головой, Барыс. А мать твоя хороший человек. Ничего плохого не могу сказать о ней. Когда она работала старшей дояркой в Кайру-Бажи, нас, детей остальных доярок, старалась выручить, не дать в руки голода. Настанет зима, она подоит свою белую корову и кобылицу своего старого отца, накопит молока и из него сварит эдегей-творог или сыр-быштак, сама не поест толком, раздаст всем поровну. Бата! — восклицает Борбок-Кара. — Какой вкусный был эдегей-творог и сыр-быштак! Их вкус и запах мне до сих пор помнятся.

Захотелось заплакать, но кое-как удержал себя.

— С тех пор я не ел такой вкусной еды! Запах той еды доныне живет в моем теле. Вот и сейчас все это я чувствую, хотя прошло много лет. — Он, рассказывая о доброте моей матери, дальше еще больше удивил меня и тронул.— Ба-та, друг, когда мне прочитали, как ты пишешь о своей матери, поверь мне, я чуть не заплакал. И вспомнил свое детство, свою маму. Жизни наших матерей были нанизаны на одну ниточку.

Да, Борбок-Кара прав — все они жили одним страданием, одной душой и желанием. Как и мы, их дети, постепенно лишившиеся матерей:

Зимую первую зиму без матери —
Очень холодно...
Где бы ни сидел,

Каждый смех чужой,
Каждая шутка чужая
Кажутся мне издевательством,
И от них мне больно.
Без матери сердце мое —
Не сердце, а кровавого мяса кусок.

Нет уюта вокруг меня,
Войду в дом, выйду во двор —
Под этим белым светом
Будто я один остался совсем.
Зимою, под холодною луной,
Словно без шапки иду...

Ах, мамы, мамы... Какое трудное время и доля вам достались и как вы нас, безотцовщину — голодных мальчишек и девчонок, — подняли, сделали людьми под высоким сводом белого света?! Матери наши, дорогие, ласковые и добрые матери!..

Нет, я не зря говорил о том, что Борбок-Кара человек странный. Вдруг его печаль исчезла. Он стал веселым, посмотрел на меня и громко начал хохотать:

— Эй ты, парень, Барыс, помнишь ли старика Папая или ты его совсем забыл?

Как же мне не помнить дедушки Папая!

— А помнишь, как он утром открыл дверь и закричал: «Эй, Борбок-Кара, выйди сюда! Выйди ко мне, Борбок-Кара, я сообщу тебе большую радость!..»

Тут в палату вошла Ольга Петровна — мой врач:

— Что это за шум и смех, что тут происходит?!

Борбок-Кара тихо зашептал мне:

— Ты таким врачам особенно-то не верь, Барыс. — При этом украдкой взглянул на золотистые волосы и на большие голубые глаза Ольги Петровны, шутливо подмигнул мне краем своего небольшого правого глаза, несколько раз чирикнул звонко: «Чинг-чинг-чинг» и тихо шепнул по-алтайски: — Ай, какая бабенка, а?! По-литика!..

— А вы, товарищ больной, отправляйтесь-ка немедленно в свою палату! — скомандовала Ольга Петровна, покрасневшая от смущения.

— Ай, какая бабенка тебя лечит!.. Но все равно не верь ей, Барыс, — повторил Борбок-Кара, медленно приподнимаясь с табуретки. — Надо тебе ехать в тайгу, в Кайру-Бажи. Надо пить целебные воды родных гор, настой знаменитого теперь золотого корня. Вот тогда, возможно, станет тебе лучше. — Наказав так, кивнул. — Пока. Завтра приду. Опять будем вместе вспоминать родной наш Кайру-Бажи, — и ушел...

ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой я рассказываю об Ольге Петровне — моем лечащем враче

Я хотел было рассказать о некоторых смешных историях, случившихся с дедом Папаем и Борбок-Карой.

Почему решил дед Папай ранним зимним утром заехать к нам на стоянку, зачем ему нужен был Борбок-Кара, что за большая радость ожидала моего друга... Тут, как отрубленный острым топором аркан, прервалась моя мысль — вошла Ольга Петровна.

Впервые, когда я ложился в эту палату, состояние мое было очень плохое. Врачи долго гадали — что болит у меня, желудок или печень? Несколько дней подряд, кроме какой-нибудь жидкости, ничего я не мог есть. Теперь чувствую себя намного лучше. Можно сказать, что стал почти здоровым.

После тяжелых и долгих мук, встав на ноги, как я не буду верить врачам, в особенности такой доброй и ласковой Ольге Петровне?! Что бы там ни случилось, но своему доктору буду всегда благодарен.

Я встречаю Ольгу Петровну строчками мною любимого Назыма Хикмета:

— Здравствуйте, «Солома волос, ресниц синева»!

— Спасибо, — отвечает доктор, — но героиня этих строк — любовь великого поэта. Куда мне до нее, — лучась добрыми глазами, она обязательно улыбается.

Мне кажется теперь, что я выздоравливаю не только при помощи хороших лекарств, но и от этой улыбки. Лежа так, ежедневно глядя на нее, невольно я написал такое вот стихотворение:

Как красиво улыбается
Эта русская женщина:
Улыбка ее белоснежных зубов,
Улыбка глаз небесного цвета
Наполнена добротой и красотой!
Чье же счастье бережет она?..
О боже мой, подумать только! —
Вдруг с лица прекрасной России
Исчезнет куда-то улыбка такая,
Нигде никогда не покажется,
Лаской этой никто не одарится.
Вместе с потерей улыбки этой
Российские просторы бесконечные,
Небо голубое над землею
Станут вечно сиротливыми,
Пустынными, одинокими.

Если исчезнет такой смех —
Красота человека
И красота нашей земли
Тут же погаснут,
Бурьяном и пылью покроются!
И умрет душа живая и добрая,
Если исчезнет такая улыбка!

Доктор что только не предпринимала: ставила капельницы, около литра крови живой и свежей перелила — в общем, делала многое. А теперь — «ты ей не верь...». Как это так, почему я не должен ей верить?

Разбросав поверх белоснежного халата золотисто-пышные волосы, она легкой и нежной рукой держит мою ослабшую руку. Иногда мне кажется, что она может вылечить человека всего лишь прикосновением, лучами глаз небесного цвета и звуками своего голоса.

— Кто это был? Мне кажется, обо мне он что-то сказал недоброе.

Почему-то я пошутил:

— Это был Борбок-Кара... Тибетский врач.

— Борбок-Кара? И чем он хотел вас лечить? — заинтересовалась Ольга Петровна и, подозрительно улыбнувшись, сказала: — Может быть, ваш «тибетский» врач хотел лечить сорокаградусной, а? Вам этого никак нельзя, иначе...

— Не-е, не сорокаградусной, — начал я тут же оправдываться. — Поедем, говорит, в тайгу. Буду, говорит, лечить разными травами, ничуть не хуже Ольги Петровны, говорит, буду лечить...

— Так, значит, к вам приходил тибетский врач, — засмеялась Ольга Петровна, — я и не догадалась, прогнала... а ваш новый врач не сулил ли лечить вас мускусом кабарги?

Тут я, конечно, вспомнил о том, как мы с Борбок-Карой и другими ровесниками из Кайру-Бажи когда-то ставили ловушки и петли на различных зверей, и в том числе на кабаргу.

— О-о, на петли этого тибетского врача много раз попадались эти мускусные зверьки. Он умеет с ними общаться.

Ольга Петровна совсем недавно прочла книгу «Очерки китайской медицины» и говорила, что там много любопытного.

— Какой бы интересной и ценной книгой она ни была, но я уверен, что мой Борбок-Кара ее не читал.

— Зря, — ответила Ольга Петровна. — Ведь интересно же знать, какими средствами и методами пользовались древние китайские врачи. В качестве лекарства применяли и золото и жемчуг. Больным давали «озолоченную» воду, то есть либо такую, которая стояла в золотом сосуде, либо ту, в которой лежало золото. А если золотую пыль употребить, смешав с маральей кровью или с медвежьим салом, то, говорят, хорошо помогает легочникам. Еще взять, например, так называемую «лунную воду», кто-то мне сказал, ею раньше пользовались и алтайцы. В лунную ночь на улице оставляли зеркало, а утром собирали с него всю воду и промывали глаза. Лечили трахому.

— Это сам я видел, — отвечаю Ольге Петровне, — как алтайцы утренней росой промывали глаза. Вот у меня был еще один друг, звали его Метиреем. Его больные глаза наши «врачи», как древние китайцы или тибетцы, промывали росой и дождевой водой. А еще в наших местах жил старик по имени Папай. Охотник знаменитый. Он всегда медвежьим салом растирал суставы рук и ног. И при этом утверждал, что организм, пропитанный медвежьим жиром, не боится никакого мороза и любой простуды. Пример этот впоследствии перенял и мой друг Борбок-Кара.

— Значит, ваш друг — тибетский лекарь? — Ольга Петровна засмеялась. — В таком случае зачем бы ему лечиться у нас?

— Коль вы, Ольга Петровна, подвергаете сомнению древние методы лечения, то ради чего ими интересуетесь?

— Современная медицина всем интересуется, — серьезно ответил мой доктор. — Прежде надо изучить и лишь потом перенимать или отвергать. Для примера возьмите ту же тибетскую медицину. Ей около трех тысяч лет. В ней опыт древней Индии, Китая, Цейлона, Бирмы.

Далее Ольга Петровна увлеченно начала рассказывать, что тибетская медицина отрицает общие лекарства, пригодные для всех. Каждый организм — это особый мир. На земле не то что людей, нет абсолютно похожих двух цветков. Муравьи и те разные. К каждому организму надо относиться по-особому. Для того чтобы прикоснуться иглой к больному человеку, тот же тибетский медик, например, учится около двадцати лет. И потому, наверное, такой врач знает свыше трех тысяч точек на человеческом теле, куда можно вводить иглу без повреждения тканей и без особой боли тому, кто страдает недугом. Иглоукалывание — это есть одна из тайн, и этому мы должны учиться...

Глядя на Ольгу Петровну, почему-то вспомнил одну из

семерых женщин, работавших доярками там, на вершине Кайру. Ее звали Кыйгас. Ее бархатисто-черные волосы были такими же длинными, пышными, как у Ольги Петровны, так же густо и красиво сверкали, переливаясь, на плечах и стройной спине. Женская красота не только во внешности, она прячется еще и во внутренней доброте. Но Кыйгас, молодая доярка, работавшая вместе с моей матерью, никогда так счастливо не смеялась, как Ольга Петровна. Судьба ее, жизнь и труд, конечно, совсем другие. О той прекрасной и молодой женщине, работавшей в годы войны в Кайру-Бажи, никто, конечно, не сочинял стихи. О ее волосах, например, никто не говорил: «Женщина расчесывала ночь». Потому что не только в маленьком Кайру-Бажи, но и во всей деревне Кайру почти не было мужчин. Некому было любить ее и восхищаться. Мужчины были на фронтах. Если бы вдруг среди тех семерых доярок появилась бы такая счастливая, с золотыми волосами женщина, я не знаю, что бы там случилось в то время.

— Лечебная сила есть и в серебре, — еще больше вдохновляясь, продолжала Ольга Петровна. — В индийском походе Александра Македонского один за другим стали умирать от какой-то болезни солдаты. Но почему-то военачальники не страдали от этой страшной болезни. Оказалось, их спасли серебряные фляжки, они питьевую воду хранили в них. — Мой доктор вдруг осеклась: — Болтаю и болтаю, а вы, вижу, меня давно не слушаете! Что такое, о чем вы так усердно думаете?

Не ответив на ее вопрос, уклончиво улыбнулся я:

— Наверное, космонавты в свои полеты берут «серебряную» воду, а?

— Да, да, вы не смейтесь, пожалуйста, об этом я тоже читала.

Хотя я гляжу на Ольгу Петровну, но в это же время четко вижу ту избушку в урочище Кайру-Бажи. Предо мной лицо Ольги Петровны, ее ослепительно белый халат. А где-то там, за этим лицом и халатом, мерещатся густые черные, как ночь, волосы Кыйгас. А из-за них друг за другом появляются лица остальных женщин-доярок, их вечно печальные глаза. Какие костлявые и беспомощные их плечи! Именно вот на этих плечах невидимым грузом лежат судьбы родного колхоза и даже страны, будущее их маленьких и голодных детей. Как я такое забуду и когда смогу забыть, Ольга Петровна, «Солома волос, ресниц синева»?..

Ольга Петровна, какие красивые и белые у вас пальцы.

В те годы я таких пальцев никогда не видел, поверьте. Ольга Петровна, ваши ногти покрыты красным лаком. В мочках ваших ушей, как две луны, ослепляя меня, горят золотые серьги. И что делать, опять я вижу худые, потресканные руки наших матерей, живших в немыслимом для вас урочище Кайру-Бажи. Вечерами и утрами, зимою и летом пальцы тех женщин доили коров, крепко держали вилы, которыми до войны мужчины метали большие и высокие стога. Руки их умели делать все: схватив за хвосты и головы, поднимать на ноги от худобы и бессилия упавших коров, тяжелыми лопатами вычищать навоз. Снова мне видятся сквозь годы их рваные овчинные шубейки. А какая была грязь, особенно после больших ливней, на летних пастбищах. Утопая в ней во время дойки, в холодные осенние дни наши матери ходили без обуви. Я вижу их грязные, облепленные черной глиняной жижей ноги, покрасневшие от холода, вымытые росными травами...

Ольга Петровна, Ольга Петровна... Поймите меня, простите меня, мой доктор, добрая, красивая, «Солома волос, ресниц синева». Я закрыл глаза. Я в самом деле хочу спать, я столько ночей в своей жизни не спал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
где я решил рассказать о дедушке Папае, его русском хлебе и о страшной судьбе Текемея, моего ровесника

Эх, Борбок-Кара, Борбок-Кара. Дверь моей палаты не один ты открыл, через ее порог перешагнул не один. Ты с собою принес легкий гул ветров над нашими полями, отзвуки громов и отблески молний, что прошли грохоча над нашими черными головами. Прохладу темно-голубых кедров и остроконечных елей, запах парного молока услышал я, и голова закружилась. Ты принес цветение многих весен, шорохи и скрипы белогривых зим забытого мною Кайру-Бажи. Слышу я знакомый с детства запах алтайского арчисыра, чую горьковатый дым над юртой. Тонким, чуть заметным туманом он тянется на фоне летнего голубого неба. Я слышу ржание коней и мычание коров.

Борбок-Кара, разве не видишь мальчишку, у которого рубашка почти истлела, разве не видишь его немытое, грязное лицо? Так-то он белокожий мальчик. Но изо дня в день копает он норы кротов и сусликов, чтобы ставить на них свои капканы. Это — я, мое детство возвратилось ко мне.

Ты его привел, Борбок-Кара. Рядом с тобой стоят еще двое. Одного из них, у которого совсем нет рубашки, спина и ребра испачканы землею, зовут Метирей, он один из четырех детей вдовы Кару. А рядом с Метиреем стоит Паша, сын другой вдовы, Тообос. Все руки у него, как чешуя рыбы, в твердой коросте. Это тоже оттого, что каждый день ему приходится копать норы тех же зверьков. У всех такие руки — в трещинах, как зимняя земля, расколотая морозом.

Паша надел какую-то очень грубую рубашку. Видать, сшита из материала, из которого делают лишь мешки. Поверх рубашки тонюсенький кожаный ремень. За него он ловко ряд за рядом умудрился прицепить убитых им сегодня кротов и сусликов.

Ранняя весна. Середина месяца возрождения — апрель. Снег на склонах гор растаял. А в лесу и на полях земля пестрая. В некоторых местах снег сошел, а в некоторых — еще держится. Вот в такую пору Паша, Метирей и я во главе с Борбок-Карой выходим на охоту. Из Кайру-Бажи спускаемся ниже. Тут солнце ярче, теплее. Склоны гор освободились от снега. Стало быть, уже просыпаются от зимней спячки суслики, начинают бегать по старым норам-коридорам, искать себе сладкие корни. Роют новые ходы, выбрасывая наверх земляные стожки. А кроты и суслики в то время были наравне или даже дороже золота. Прежде всего мы ловили их ради мяса, чтобы от голода не умереть. А потом, когда сдашь шкурки в госторг — вот тебе и праздник! В нашем колхозе «Яны-Дъол» — «Новый путь» — в то время не то что муки и сахара, даже чашки ячменного зерна не было. А мы, ребятня, сдавали в госторг шкурки кротов и сусликов, за это получали муку, сахар и помогали семье. Подумать только! Не то что мы, мальчишки-полусироты, даже взрослые, например, как дедушки Папай и Ярын, каждому более чем по семидесяти лет, и те охотились за этими ничтожными зверьками. Если человеку трудно, если он во что бы то ни стало хочет выжить, видеть над головой солнце, дышать воздухом родной земли, дождаться возвращения своих отцов, сыновей и братьев, поверьте, он перешагнет невозможное. Одна из самых страшных бед на земле — это голод.

Из семи доярок, работавших в Кайру-Бажи, самой пожилой была тетушка Тудар. В связи с нашей охотой на кротов и сусликов мне придется вспомнить о ее сыне Текемее.

Текемей промышлял с нами вместе. Но ему, надо ска-

зать, было значительно трудней и горестней. Потому что у Текемея было особое задание, попробуй не выполнить. Он каждый день должен был ловить не менее десяти сусликов и кротов. Таков наказ матери. Если Текемей приносил, например, семь сусликов, мать не то что его кормить, а в дом не пускала.

— Ночуй где хочешь! Не показывайся мне! — серовато-стые глаза тетушки Тудар сверкнут холодным льдом. У нашего друга и ровесника Текемея были такие же, стального цвета, глаза, как у матери.

Если Текемей приносил домой восемь сусликов и кротов, то мать его пускала ночевать, но не кормила. Друг наш это знал заранее. И потому, войдя в избушку или в юрту, тут же, закрыв голову старой овчинной шубой, ложился спать. В тот день, когда Текемею удавалось наловить девять сусликов, домой он возвращался с легким сердцем. Мать сегодня его пустит в дом и покормит, хотя все же останется еще одно наказание — разговаривать с сыном не станет.

Тяжело и горестно бывало Текемею, когда он убивал меньше восьми кротов и сусликов. Солнце, возвращаясь домой, своими лучами коснется хребтов западных гор, суслики, перестав бегать, спрячутся в своих теплых норах, плохо станет на душе Текемея — ему некуда деться. Как теперь идти домой, какими глазами смотреть на мать?.. Часто, чуть не плача, он просил:

— Если завтра я перевыполню свою норму, то возвращу обратно. Дайте мне сегодня по суслику или кроту...

Сперва мы жалели его и просьбу выполняли. Даже наш предводитель Борбок-Кара установил между нами очередность: сегодня, скажем, я, завтра — Метирей, послезавтра — Паша, затем сам Борбок-Кара давали Текемею сусликов и кротов. Но каждый раз выручать его было накладно. Мы хорошо знали, что шкурки, отданные Текемею, завтра станут сахаром и мукой.

Не могу сказать, что тетушка Тудар была жадной. Она так безжалостно относилась только к своему сыну. К чужим детям была ласковой и доброй. Ничего для них не жалела, была щедрой, даже чрезмерно. Например, если мать моя уедет куда-нибудь, то за нашей маленькой сестренкой следила тетушка Тудар. Она не только молоко и сметану давала ей, даже кормила испеченной в жаркой золе мягкой мучной лепешкой. Много раз она спасала от голодной смерти младшего братишку Метирея — маленького чумазого Малайта...

Однажды, как Текемей ни унижался и ни плакал перед нами, мы ему не дали своих сусликов и кротов. Он был самым хорошим ловцом и охотником. Занимал после Борбок-Кары второе место. У него и капканов было больше, чем у нас.

После нашего отказа он перестал ходить на охоту с нами. Промышлял отдельно, но недалеко от нас. Сперва мы как-то не заметили, что он хитрит. Но позднее все выяснилось. Оказывается, он решил одновременно заниматься двумя делами: следить за нами и за своими капканами.

Однажды Борбок-Кара сказал:

— Давайте сегодня будем следить за Текемеем.

— А что случилось? Пусть сам себе ходит, зачем следить за ним?

— Пока не спрашивайте.

Мы специально с шумом и гамом прошли недалеко от Текемея, будто идем купаться. А спустя некоторое время, крадучись, укрываясь за холмиками и бугорками, тихо поднялись по глубокому логу к своим капканам. Ждать долго не пришлось. Вдруг смотрим, низко нагнувшись к земле, бежит от норы к норе, от капкана к капкану Текемей. Ба! Он берет одного из сусликов, попавших в наши капканы. Послышался вдруг грозный голос нашего предводителя:

— Коршун, таскающий сусликов, попавших в наши капканы, оказывается, это ты? — При этом так же, как дед Папай, мягко засмеялся Борбок-Кара: — Ке-ке-ке, Текемей, а Текемей...

Текемей проглотил язык. Стоял и трясся, глядя под ноги, держа в руке мертвого суслика. А когда Борбок-Кара схватил его за руку, от испуга он заорал:

— Ма-ма, ма-ма!

— Тут нет твоей матери, — спокойно сказал Борбок-Кара. — Что скажешь, а, Текемей? Ке-ке-ке...

— Я боялся матери. Сегодня она опять не пустит в дом, опять не будет говорить со мной.

Мы знаем, что наказание тетушки Тудар отличается от всех других наказаний. Но она никогда сына своего не била. Только не будет пускать в дом, кормить и разговаривать не станет, пока он не выполнит свою «норму». Словно ее тонкие губы прилипли друг к другу. Иногда кажется, что она своими крепкими зубами их прикусила, чтобы молчать как можно дольше. Не от ветров и мороза Кайру-Бажи потрескались ее губы, а оттого что зубами их стискивает, чтобы не говорить со своим родным сыном.

— Каждый дайте по тумаку Текемею, — приказал Борбок-Кара.

Мы ведь тогда были дурачками. Ни о чем не думая, подошли к вору и начали колотить, а Текемей присел, начал хныкать, просить прощения:

— Бейте меня, еще раз бейте. Заберите сегодняшних моих сусликов и кротов, но только не говорите матери...

— Нет, нам не нужны твои суслики! — от имени всех сказал Борбок-Кара. — Плюньте по одному разу в лицо этого коршуна, попавшего наконец в наш капкан! Свою бесстыжую морду подставь моим орлам, Текемей!

Мы знали, что от плевка лицо не опухнет, синяков никаких не будет. Тем не менее никто не решался плевать. Каким-то смутным и далеким чувством каждый из нас понимал, что нет горше позора и унижения, чем плевать на человека.

— Барыс, плюнь на него первым!

Когда я отказался, Борбок-Кара, отпустив Текемея, дал мне своим мощным кулаком подзатыльник:

— На́ тебе, коль жалеешь жадного коршуна! Подойди сюда и плюнь, Метирей!

Когда отказался и тот, улыбнулся Борбок-Кара и круглым подбородком кивнул на Пашу:

— А ты что там стоишь?

Кажется, он заранее догадался, что и Паша не станет слушать его. Борбок-Кара сказал Метирею:

— Иди и бей этого упрямца!

Метирей даже с места не стронулся.

— А-а, значит, вы такие, да?! — Наш предводитель посмотрел зловеще. — Этих вонючих сусликов бей всех, Текемей, топчи ногами, плюнь на них.

Но Текемей, виновато нагнув голову, стоял на прежнем месте. Ничего не добившись, Борбок-Кара подходил к каждому из нас и бил кулаком. Завершив свой суд, он опять приблизился к Текемею.

— Если поймаю тебя еще раз, — сказал он, вытаскивая из ножен свой сверкающий на солнце белый и острый, как бритва, нож, — если еще раз будешь воровать, отрежем твою руку! — Он сказал «не отрежу», а «отрежем». Значит, он выражал и наше мнение. — А теперь дуй отсюда!.. Дуй, говорю, что ты мозолишь глаза?

Текемей неожиданно заплакал и опустился на землю. Сквозь слезы умолял и просил нас:

— Только не говорите матери. Не говорите, пожалуйста, матери. Не говорите... я... я...

— Мы не будем говорить! — от имени всех нас сказал Паша. А Борбок-Кара ничего не сказал.

— Возьмите меня опять, — просил Текемей, — я хочу быть всегда с вами. Больше никогда у вас просить сусликов и кротов не буду. Я... я...

Хотя мы тогда ничего ему не ответили, но со следующего дня стали, как прежде, ходить и охотиться вместе.

Наверное, есть особая, какая-то тайная жалость у судьбы к человеку. Текемей иногда даже стал опережать самого Борбок-Кару. В удачливые дни он убивал по пятнадцать и даже шестнадцать голов. Но Текемей — не мы, он не будет хвастаться своей добычей. Привык быть хитрым. Лишних он оставлял при себе, прятал. Как знать, удачен ли будет завтрашний день? Если Текемей не выполнит свою норму, то излишки вчерашнего дня спасут его сегодня. Будет идти с нами легким шагом.

Долгое время я не понимал и не мог открыть секрет — почему сын тетушки Тудар обязательно должен ловить не менее десяти сусликов и кротов. Если бы у нее было очень много детей, то ясно. Но при ней, кроме Текемея, — никого, остальные два сына на войне. Почему она так поступает? Что это за странный, по меньшей мере, характер? Наверное, горе проклятой войны, страшный голод нарушили что-то в мозгу старой женщины. А может быть, как говорят алтайцы, внутренний дух ее тронулся? Кто знает...

Однажды Текемея постигла неудача — он убил пять или шесть сусликов! Эх! Каким жестоким бывает иногда сердце человека!.. Текемей робко попросил зверьков взаймы, но мы помнили еще его воровство, а Борбок-Кара вытащил из ножен и показал ему отточенный нож. Не сердца тогда были у нас, а холодные камни.

Бывало и до этого, что Текемей не возвращался с нами домой, а оставался один на стане, где мы охотились, и ночевал в брошенной, пустой старой избушке. В то время на это мы не обращали внимания. Это было в порядке вещей.

Назавтра, ни о чем не думая, будто ничего особенного не случилось, мы вернулись на место своей охоты и, открыв дверь старой избушки... Нет, такого я после, клянусь, никогда не видел и видеть не хочу! Когда мы открыли дверь — темно-синий, припухший большой язык Текемея вылез как-то страшно изо рта и висел где-то возле нижней челюсти, а ноги его едва касались земляного пола избы — друг наш повесился на ремне от своих штанов.

О бог ты мой, его язык был похож на суслика, который намеревался войти в свою нору...

— Каждый дайте по тумаку Текемею, — приказал Борбок-Кара.

Мы ведь тогда были дурачками. Ни о чем не думая, подошли к вору и начали колотить, а Текемей присел, начал хныкать, просить прощения:

— Бейте меня, еще раз бейте. Заберите сегодняшних моих сусликов и кротов, но только не говорите матери...

— Нет, нам не нужны твои суслики! — от имени всех сказал Борбок-Кара. — Плюньте по одному разу в лицо этого коршуна, попавшего наконец в наш капкан! Свою бесстыжую морду подставь моим орлам, Текемей!

Мы знали, что от плевка лицо не опухнет, синяков никаких не будет. Тем не менее никто не решался плевать. Каким-то смутным и далеким чувством каждый из нас понимал, что нет горше позора и унижения, чем плевать на человека.

— Барыс, плюнь на него первым!

Когда я отказался, Борбок-Кара, отпустив Текемея, дал мне своим мощным кулаком подзатыльник:

— На́ тебе, коль жалеешь жадного коршуна! Подойди сюда и плюнь, Метирей!

Когда отказался и тот, улыбнулся Борбок-Кара и круглым подбородком кивнул на Пашу:

— А ты что там стоишь?

Кажется, он заранее догадался, что и Паша не станет слушать его. Борбок-Кара сказал Метирею:

— Иди и бей этого упрямца!

Метирей даже с места не стронулся.

— А-а, значит, вы такие, да?! — Наш предводитель посмотрел зловеще. — Этих вонючих сусликов бей всех, Текемей, топчи ногами, плюнь на них.

Но Текемей, виновато нагнув голову, стоял на прежнем месте. Ничего не добившись, Борбок-Кара подходил к каждому из нас и бил кулаком. Завершив свой суд, он опять приблизился к Текемею.

— Если поймаю тебя еще раз, — сказал он, вытаскивая из ножен свой сверкающий на солнце белый и острый, как бритва, нож, — если еще раз будешь воровать, отрежем твою руку! — Он сказал «не отрежу», а «отрежем». Значит, он выражал и наше мнение. — А теперь дуй отсюда!.. Дуй, говорю, что ты мозолишь глаза?

Текемей неожиданно заплакал и опустился на землю. Сквозь слезы умолял и просил нас:

— Только не говорите матери. Не говорите, пожалуйста, матери. Не говорите... я... я...

— Мы не будем говорить! — от имени всех нас сказал Паша. А Борбок-Кара ничего не сказал.

— Возьмите меня опять, — просил Текемей, — я хочу быть всегда с вами. Больше никогда у вас просить сусликов и кротов не буду. Я... я...

Хотя мы тогда ничего ему не ответили, но со следующего дня стали, как прежде, ходить и охотиться вместе.

Наверное, есть особая, какая-то тайная жалость у судьбы к человеку. Текемей иногда даже стал опережать самого Борбок-Кару. В удачливые дни он убивал по пятнадцать и даже шестнадцать голов. Но Текемей — не мы, он не будет хвастаться своей добычей. Привык быть хитрым. Лишних он оставлял при себе, прятал. Как знать, удачен ли будет завтрашний день? Если Текемей не выполнит свою норму, то излишки вчерашнего дня спасут его сегодня. Будет идти с нами легким шагом.

Долгое время я не понимал и не мог открыть секрет — почему сын тетушки Тудар обязательно должен ловить не менее десяти сусликов и кротов. Если бы у нее было очень много детей, то ясно. Но при ней, кроме Текемея, — никого, остальные два сына на войне. Почему она так поступает? Что это за странный, по меньшей мере, характер? Наверное, горе проклятой войны, страшный голод нарушили что-то в мозгу старой женщины. А может быть, как говорят алтайцы, внутренний дух ее тронулся? Кто знает...

Однажды Текемея постигла неудача — он убил пять или шесть сусликов! Эх! Каким жестоким бывает иногда сердце человека!.. Текемей робко попросил зверьков взаймы, но мы помнили еще его воровство, а Борбок-Кара вытащил из ножен и показал ему отточенный нож. Не сердца тогда были у нас, а холодные камни.

Бывало и до этого, что Текемей не возвращался с нами домой, а оставался один на стане, где мы охотились, и ночевал в брошенной, пустой старой избушке. В то время на это мы не обращали внимания. Это было в порядке вещей.

Назавтра, ни о чем не думая, будто ничего особенного не случилось, мы вернулись на место своей охоты и, открыв дверь старой избушки... Нет, такого я после, клянусь, никогда не видел и видеть не хочу! Когда мы открыли дверь — темно-синий, припухший большой язык Текемея вылез как-то страшно изо рта и висел где-то возле нижней челюсти, а ноги его едва касались земляного пола избы — друг наш повесился на ремне от своих штанов.

О бог ты мой, его язык был похож на суслика, который намеревался войти в свою нору...

...А кто таков дедушка Папай?

Во-первых, он знаменитый охотник. И его друг старый Ярын тоже охотник. Если речь зашла о Папае, то возле него обязательно возникнет и оживет дед Ярын. Жизнь и судьба людей Қайру похожи на подземные корни деревьев, которые переплелись, перекрестились древними и долгими нитями.

Папай и Ярын, конечно, охотились не только за кротами и сусликами. Они сваливали и больших зверей. Под их пули чаще всего попадались горные косули и кабарга. Вдвоем они изредка, но даже медведя убивали. В те трудные годы в наших местах целыми стаями рыскали волки. Они хозяйничали как хотели — в страхе держали людей и скот.

Волки... Они приносили людям беду за бедой, но в то же время — от кого и зачем теперь скрывать? — даже помогали людям.

Не боясь и не слушая яростных криков пастухов, не страшась множества костров, которые ярким пламенем горели там и тут возле отар овец или табуна лошадей, они, эти жадюги, нападали и с ходу перерезали глотки животных. А за скот надо держать ответ и платить за него колхозу. Чем и как платить каждый раз? Если стая волков нападет на скот, то на одном месте перережет не одну корову или овцу, а едва ли не десятки. Платить за скот, сражаться день и ночь с хищниками — в тылу одна из самых главных бед и забот женщин и даже детей. Легко ли выслушивать ругань колхозного начальства? Иногда приезжали милиционеры, допрашивали пастухов — почему и как допустили халатность, вредительство?..

Так в чем польза волков для людей?

Волк никогда не трогает худой, больной скот. Мимо промчится, чтобы догнать и свалить самых сытых. Всю тушу, конечно, волки не съедят. А оставшееся от них мясо достанется пастухам. Что тут скажешь, это горе и радость голодных скотоводов и их детей. Разве это мало для человека?

Уничтожать волков было одной из основных проблем того времени. И потому решением колхозного собрания за каждого убитого волка давали по одному барану, только шкуру надо было обратно вернуть хозяйству. Убивший волка считал себя счастливцем. Кроме барана, он ведь сдаст госторгу волчью шкуру и получит за это деньги или что-нибудь из съестного.

А если охотник выследит и найдет гнездо волчицы,

убьет сразу нескольких волчат, то он сразу, можно сказать, станет богатым человеком. Умный охотник не сразу убьет волчьих щенят. Он будет ждать волчицу: хоть она и страшный зверь, но в груди ее все же материнское сердце. Когда волчица прибежит, услышав плач своих детей, тут-то встретит ее пуля охотника. Умей стрелять, охотник, иначе станешь сам жертвой матери-волчицы!.. Но Папай и Ярын умели стрелять, их пули не падали на пустую землю. Потому-то искры счастья чаще всего в те годы зажигали их очаги.

«Ке-ке-ке, Борбок-Кара, эй, Борбок-Кара, — сквозь долгие годы и пространства доходят до меня мягкий, хрипловатый голос и смех дедушки Папая. — Ке-ке-ке, Борбок Кара, открой-ка, покажи-ка мне свою торбочку, я посмотрю, что там лежит, а?.. Ке-ке, Борбок-Кара...»

Наш предводитель и друг был весьма и весьма хитрым. Его быстрые руки доходили не только до капкана дедушки Папая, ставленных на сусликов, но и до его арчимаков — переметных кожаных сум, где охотник хранил свои припасы. А что, наш Борбок-Кара знает, где и откуда достать то, что надо. По сравнению с нами у Папая все есть, богат он. Быстрые руки Борбок-Кары, коль не поинтересуются его арчимаками, коль туда не полезут, то чем же займутся еще?!

Однажды мы сидели под деревом, на костре жарили мясо сусликов и кротов. Вдруг внезапно возник, подъехал на своем темно-сером коне Папай. Конь его был крупным и сытым. Сидит Папай, с улыбкой смотрит на нас, как с вершины большой горы.

Заметив его, Борбок-Кара быстро поднялся и хотел было убежать, но голос деда тут же остановил нашего батыра.

— Ке-ке-ке, Борбок-Кара, эй, Борбок-Кара, не убегай, милый, — сказал неторопливо Папай. — Ке-ке-ке, Борбок-Кара, ведь пуля моего ружья бегает быстрее тебя.

Что делать тут бедному Борбок-Каре? Он замер. Можно сказать, умер стоя. Мы тоже встали и молча следили то за мягко улыбающимся дедом Папаем, то за холодными глазами нашего друга и предводителя. «Что же ожидает нашего вождя?.. Как бы дед Папай его пулей из своего ружья...»

Папай, не прекращая улыбаться, медленно свалился со своего огромного коня, так же медленно подошел к Борбок-Каре и длинными, крепкими пальцами схватил его за уши.

...А кто таков дедушка Папай?

Во-первых, он знаменитый охотник. И его друг старый Ярын тоже охотник. Если речь зашла о Папае, то возле него обязательно возникнет и оживет дед Ярын. Жизнь и судьба людей Кайру похожи на подземные корни деревьев, которые переплелись, перекрестились древними и долгими нитями.

Папай и Ярын, конечно, охотились не только за кротами и сусликами. Они сваливали и больших зверей. Под их пули чаще всего попадались горные косули и кабарга. Вдвоем они изредка, но даже медведя убивали. В те трудные годы в наших местах целыми стаями рыскали волки. Они хозяйничали как хотели — в страхе держали людей и скот.

Волки... Они приносили людям беду за бедой, но в то же время — от кого и зачем теперь скрывать? — даже помогали людям.

Не боясь и не слушая яростных криков пастухов, не страшась множества костров, которые ярким пламенем горели там и тут возле отар овец или табуна лошадей, они, эти жадюги, нападали и с ходу перерезали глотки животных. А за скот надо держать ответ и платить за него колхозу. Чем и как платить каждый раз? Если стая волков нападет на скот, то на одном месте перережет не одну корову или овцу, а едва ли не десятки. Платить за скот, сражаться день и ночь с хищниками — в тылу одна из самых главных бед и забот женщин и даже детей. Легко ли выслушивать ругань колхозного начальства? Иногда приезжали милиционеры, допрашивали пастухов — почему и как допустили халатность, вредительство?..

Так в чем польза волков для людей?

Волк никогда не трогает худой, больной скот. Мимо промчится, чтобы догнать и свалить самых сытых. Всю тушу, конечно, волки не съедят. А оставшееся от них мясо достанется пастухам. Что тут скажешь, это горе и радость голодных скотоводов и их детей. Разве это мало для человека?

Уничтожать волков было одной из основных проблем того времени. И потому решением колхозного собрания за каждого убитого волка давали по одному барану, только шкуру надо было обратно вернуть хозяйству. Убивший волка считал себя счастливцем. Кроме барана, он ведь сдаст госторгу волчью шкуру и получит за это деньги или что-нибудь из съестного.

А если охотник выследит и найдет гнездо волчицы,

...А кто таков дедушка Папай?

Во-первых, он знаменитый охотник. И его друг старый Ярын тоже охотник. Если речь зашла о Папае, то возле него обязательно возникнет и оживет дед Ярын. Жизнь и судьба людей Кайру похожи на подземные корни деревьев, которые переплелись, перекрестились древними и долгими нитями.

Папай и Ярын, конечно, охотились не только за кротами и сусликами. Они сваливали и больших зверей. Под их пули чаще всего попадались горные косули и кабарга. Вдвоем они изредка, но даже медведя убивали. В те трудные годы в наших местах целыми стаями рыскали волки. Они хозяйничали как хотели — в страхе держали людей и скот.

Волки... Они приносили людям беду за бедой, но в то же время — от кого и зачем теперь скрывать? — даже помогали людям.

Не боясь и не слушая яростных криков пастухов, не страшась множества костров, которые ярким пламенем горели там и тут возле отар овец или табуна лошадей, они, эти жадюги, нападали и с ходу перерезали глотки животных. А за скот надо держать ответ и платить за него колхозу. Чем и как платить каждый раз? Если стая волков нападет на скот, то на одном месте перережет не одну корову или овцу, а едва ли не десятки. Платить за скот, сражаться день и ночь с хищниками — в тылу одна из самых главных бед и забот женщин и даже детей. Легко ли выслушивать ругань колхозного начальства? Иногда приезжали милиционеры, допрашивали пастухов — почему и как допустили халатность, вредительство?..

Так в чем польза волков для людей?

Волк никогда не трогает худой, больной скот. Мимо промчится, чтобы догнать и свалить самых сытых. Всю тушу, конечно, волки не съедят. А оставшееся от них мясо достанется пастухам. Что тут скажешь, это горе и радость голодных скотоводов и их детей. Разве это мало для человека?

Уничтожать волков было одной из основных проблем того времени. И потому решением колхозного собрания за каждого убитого волка давали по одному барану, только шкуру надо было обратно вернуть хозяйству. Убивший волка считал себя счастливцем. Кроме барана, он ведь сдаст госторгу волчью шкуру и получит за это деньги или что-нибудь из съестного.

А если охотник выследит и найдет гнездо волчицы,

убьет сразу нескольких волчат, то он сразу, можно сказать, станет богатым человеком. Умный охотник не сразу убьет волчьих щенят. Он будет ждать волчицу: хоть она и страшный зверь, но в груди ее все же материнское сердце. Когда волчица прибежит, услышав плач своих детей, тут-то встретит ее пуля охотника. Умей стрелять, охотник, иначе станешь сам жертвой матери-волчицы!.. Но Папай и Ярын умели стрелять, их пули не падали на пустую землю. Потому-то искры счастья чаще всего в те годы зажигали их очаги.

«Ке-ке-ке, Борбок-Кара, эй, Борбок-Кара, — сквозь долгие годы и пространства доходят до меня мягкий, хрипловатый голос и смех дедушки Папая. — Ке-ке-ке, Борбок Кара, открой-ка, покажи-ка мне свою торбочку, я посмотрю, что там лежит, а?.. Ке-ке, Борбок-Кара...»

Наш предводитель и друг был весьма и весьма хитрым. Его быстрые руки доходили не только до капкана дедушки Папая, ставленных на сусликов, но и до его арчимаков — переметных кожаных сум, где охотник хранил свои припасы. А что, наш Борбок-Кара знает, где и откуда достать то, что надо. По сравнению с нами у Папая все есть, богат он. Быстрые руки Борбок-Кары, коль не поинтересуются его арчимаками, коль туда не полезут, то чем же займутся еще?!

Однажды мы сидели под деревом, на костре жарили мясо сусликов и кротов. Вдруг внезапно возник, подъехал на своем темно-сером коне Папай. Конь его был крупным и сытым. Сидит Папай, с улыбкой смотрит на нас, как с вершины большой горы.

Заметив его, Борбок-Кара быстро поднялся и хотел было убежать, но голос деда тут же остановил нашего батыра.

— Ке-ке-ке, Борбок-Кара, эй, Борбок-Кара, не убегай, милый, — сказал неторопливо Папай. — Ке-ке-ке, Борбок-Кара, ведь пуля моего ружья бегает быстрее тебя.

Что делать тут бедному Борбок-Каре? Он замер. Можно сказать, умер стоя. Мы тоже встали и молча следили то за мягко улыбающимся дедом Папаем, то за холодными глазами нашего друга и предводителя. «Что же ожидает нашего вождя?.. Как бы дед Папай его пулей из своего ружья...»

Папай, не прекращая улыбаться, медленно свалился со своего огромного коня, так же медленно подошел к Борбок-Каре и длинными, крепкими пальцами схватил его за уши.

Борбок-Кара скрючился, приоткрылись его толстые губы, показывая желтые, как у полевых грызунов, зубы. Конечно, он не нарочно сделал так. Когда Папай крутил его уши, от жгучей боли рот его сам по себе открылся. Пальцы Папая, как железные щипцы.

— Открой, Борбок-Кара, свою торбочку. Открой, говорю, я посмотрю, Борбок-Кара, что ты там прячешь, а? — И в это же время он не отпускал уши нашего предводителя, продолжал крутить их и мять. — Давай-давай, Борбок-Кара, открой-ка торбочку, мне очень хочется взглянуть туда, ке-ке-ке...

Делать нечего. Не то что Борбок-Кара, даже матерые волки не могут уйти, попавшись в капкан деда Папая.

И когда Борбок-Кара развязал узлы своего мешка, то все мы увидели, помимо убитых сусликов, русский хлеб со следами зубов нашего предводителя.

— Я ведь знал, ке-ке-ке, — Папай засмеялся еще теплее, еще мягче. — Ты, Борбок-Кара, вонючий щенок, с каких пор привык кушать русский хлеб?.. Скажи мне, объясни, щеночек?

Старик еще пуще начал крутить уши нашего вождя и друга.

Мы глядели на это, и наши собственные уши начали больно гореть, а колени наши, как прутики, тряслись. Может, тогда мы вспоминали Текемея, тот день, когда за воровство его бил сам Борбок-Кара.

— Плачь, Борбок-Кара! — хрипел Папай, не отпуская его уши. — А ты, оказывается, плакать не умеешь? Плачь, говорю, плачь! — Но Борбок-Кара молчал по-прежнему.— Скажи мне, Борбок-Кара, с каких пор ты научился есть русский хлеб?! Может быть, русским хлебом тебя кормит мать, Кажакай, а? Если еще раз ты протянешь руку в мой арчимак, то знай, останешься без ушей. Будешь ходить как комолая корова, Борбок-Кара!..

Но наш предводитель ему слова своего не дал. Из небольших круглых и черных глаз не выдавил ни капельки, ни зернышка слезинки.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара — наш вождь и батыр!

Теперь хотелось бы мне спросить у нынешнего поколения людей: если бы такой же старый дед, как дед Папай, сегодня бы крутил ваши уши, как бы вы отнеслись к нему? Живо ли сегодня то почтение, чтобы старика уважать и бояться?..

Но между Папаем и Борбок-Карой, кроме той встречи, были и другие. Они, правда в редких случаях, жалели друг

друга и помогали один другому. Даже, бывало, хвалили и славили самих себя.

Доброжелательство проявил Папай и в тот самый день, когда он ранним зимним утром приехал к нам на стоянку.

Старый охотник добывал косуль и волков не только при помощи ружья. Постоянно ездил он по горам, находил следы диких зверей или предвидел, какими путями они будут ходить, и на тех местах умело ставил капканы, петли из крепкого провода, а иногда даже и самострел.

Перед тем как приехать в нашу избушку, он по пути проверял петли и капканы. В один из них попал волк и замерз, как лед. Какие-то звери, может сами же волки, съели его заднюю часть. Остались голова да грудь. Уезжающий в дальнюю дорогу Папай, видать, поленился возиться с мерзлым волком и решил отдать его Борбок-Каре. А в это время наш старший друг сам начал ходить по следам зверей и ставить на них, как Папай, петли и капканы. Так что доверить ему можно было...

Итак, Папай крикнул:

— Борбок-Кара, выйди сюда, хочу тебе сообщить радость. Дарю счастье тебе!

Наш вождь, услышав знакомый голос, испугался. Может быть, еще что-нибудь случилось, как знать? Но все же выскочил из избушки.

Во дворе трещал и скрипел зубами лютый мороз. У Папая шуба большая, мохнатая, а на ногах теплые новые кисы из лап горных косуль. Жидковатые усы охвачены снежной пылью. А Борбок-Кара перед ним стоял в одной рубашке, скорчившись от мороза. Глянув на него с высоты, Папай привычно засмеялся:

— Ке-ке-ке, Борбок-Кара, ты, оказывается, настоящий батыр! — подхватил он и дальше сказал: — Ты ведь хорошо знаешь местечко Кызыл-Шин. Вот там в капкан попал волк. Ты сам становишься большим охотником. Притащи его, нагрей хорошенько возле печки и сними шкуру. Скажи, что сам убил. Колхоз тебе даст овечку. Целый баран, думаю, это получше куска хлеба. — Сказав так, Папай отправился дальше на охоту.

У семерых доярок, живших в урочище Кайру-Бажи, были две лошади — кобылица рыжей масти, очень пугливая, если случайно отпустишь, то почти невозможно поймать; и серый конь — меж четырех ног у него пройди, не пошевельнется. Смирный очень. Ой, но что же был за характер у рыжухи! Чем иметь такую лошадь, лучше ничего не иметь.

— Дьявол, эдакий дьявол! Иметь бы сейчас ружье, на месте застрелила бы! — отпустив рыжуху, каждая из наших матерей не раз проклинала ее.

Рыжуха была очень осторожна, пуглива. Идет и всегда настороже, будто на обочине дороги ее ждет сам страх. Вынюхивает, прислушивается, стрижет ножницами-ушами и вдруг ни с того ни с сего прыгнет, бросится в сторону! Кто только с нее не падал. Так что надо быть начеку.

Борбок-Кара, услышав приятное сообщение деда Папая, забыв плохой норов рыжухи, быстро сел на нее и по снежным полям помчался в Кызыл-Шин, по следу старого охотника.

Мы ждем его возвращения...

Глядим — мчится рыжуха, оглядывается и фыркает, выбрасывая из широченных ноздрей белые облака пара. Борбок-Кара на ней, покрасневший от испуга и холода. Он левой рукой держится за переднюю луку седла, а правой старается управлять уздой ошалелой лошади. Голова рыжухи высоко крутится, грива и хвост вьются по разным сторонам, слившись с вольной пургой. А глаза вот-вот выскочат из глазниц. Летит рыжуха, фыркает, храпит, оглядывается и еще сильнее прежнего мчится. Невозможно ее остановить! А за ней, на конце длинного черного аркана, тащится волк, туда-сюда по кочкам мечется, подпрыгивает. Оглянется рыжуха на волка и опять летит неудержимо...

Позже выяснилось, что еще издалека рыжуха почуяла запах волка и не то что дать навьючить его на себя, но даже приблизиться к нему не захотела. Тут наш находчивый Борбок-Кара решил перехитрить рыжуху.

Слез с нее, отвязал с тороков аркан, одним его концом прочно привязал мертвого волка, а другой конец особым способом алтайцев прижал к седлу и двинулся вперед. Тут рыжуха, заметив, что за ней гонится волк, — пустилась, спасаясь, во весь дух к родному дому. Не глядя, что перед ней деревья, задевая за них, перепрыгивая через бревна и кустарники, летела стрелой. А наш бесстрашный предводитель и друг решил лучше умереть, чем отпустить другой конец аркана, оставив на горной круче замерзшего волка.

Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара, мужественный маленький кормилец наш!

Вскоре Борбок-Кара кормил всех нас бараниной, которую получил за волка. Мы были рады и благодарны ему. Но вслед за счастьем и радостью, как известно, всегда подкрадывается горе и беда.

Мстительнее и злее волков, я впервые понял тогда, нет других хищников. Жестокие и безжалостные они. Волк похож на человека, потерявшего совесть. Им командует лишь черная и страшная мысль. Дьявол и сам злой дух в нем живут!

После того как Борбок-Кара приволок волка, который попал в капкан дедушки Папая, случилась страшная месть. Думая об этой мести, вспомнил я рассказ знакомого кинооператора. И опять же о жестокости и коварстве волка.

В его новом фильме должна была быть сцена о единоборстве матерого волка и человека. Потому-то киноработники ежедневно ходили в зоопарк, приучая волчонка-артиста к его роли. И артист-охотник знакомился со своим партнером-волком, чтобы зверь знал его и к нему привык.

Волчонок трудно поддавался дрессировке. Но постепенно дружба между ним и актером крепла. Прошел почти год, и настал наконец день съемки опасного эпизода схватки. Волк яростно должен был кинуться на человека. Актер для безопасности надел специальную одежду, и у него были подстраховщики.

— Мотор! — дал команду режиссер.

Выпустили волка. А волк промчался мимо артиста, с которым должен был сражаться, и неожиданно почему-то напал на режиссера. Его кое-как удалось спасти от разъяренного и злого зверя.

Что вдруг случилось с волком? Ведь его целый год готовили, дрессировали на роль, чтоб он дрался с актером?!

Позднее все выяснилось. Оказывается, в первые недели работы, когда волк был совсем маленьким, режиссер его сильно обидел. Во время тренировки волчонок то ли устал, то ли была другая причина, но он даже глаза открыть не захотел. Режиссер нервничал, курил, сердито ходил туда-сюда. Вдруг он ни с того ни с сего горячим концом своей папиросы ткнул в нос волчонка. И хотя прошло около года, звереныш этого не забыл. Запомнил своего врага. Он жаждал мести. Волк не собака.

Он даже умеет издеваться. И если захочет отомстить, то предпримет любое коварство.

...Прошло немного времени, как Борбок-Кара приволок того волка, что попал в хитрую ловушку деда Папая. В один из дней (такой зловещей беды никто не ожидал!) недалеко от нашей избушки, возле коровьего загона, истекая кровью, лежала наша рыжуха. Смотреть страшно!

Волки ночью разодрали ее.

— Если бы ты не ездил за этим проклятым волком Папая! — Люди нашей печальной стоянки, в том числе родная мать его, тетушка Кажакай, дружно стали обвинять Борбок-Кару. — Подумай и скажи, кто, кроме Папая и тебя, Борбок-Кара, кто тут еще виноват?..

Коль так поступили волки, значит, ожесточились они... Озлились! Добра и пощады от них теперь не жди! О боже, что делать, что делать-то? Гром и молния вот-вот упадут опять на непокрытые головы наших бедных матерей.

Что ты наделал, Борбок-Кара, почему об этом не думал раньше, Борбок-Кара?! Как теперь быть, что случится с нами?..

Эй, покоряемся, благослови нас, великий Алтай! От имени своих несчастных и беспомощных детей обращаемся к тебе, низко преклоняем колени, просим смиренно, Алтай, останови своих хищников! Освободи нас от приближающейся беды, от зла и жадюги побереги нас?!

Эй, восседающий на дне неба великий кудай-бог, если видишь нашу беду, горе наше, страдания и горькие слезы наши, то хоть один раз помоги?! Все мы, смиренно сняв свои шапки, молимся тебе, только от тебя, великий и мудрый, ждем помощи, надеемся, просим, пощади бедных и голодных женщин?!

Алтай молчал, и горы его молчали...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — о моем старшем сыне

Дни проходят за днями. И вот в палате новый, очень дорогой мне посетитель — мой старший сын.

Теперь все дети рослые и стройные, и мой сын, кажется, скоро достигнет неба. Наши дети босиком по снегу не ходили, рваную одежду не носили. И, конечно же, тяжелой работы не видели. По-другому растут, чем мы, их родители.

С рождением первенца мук мы натерпелись предостаточно. Возвратившись со службы с Дальнего Востока, остался я в городе и работал первый год. Не было квартиры. А жена уже находилась в роддоме. Родится завтра ребенок, куда его везти, где жить?.. И до этого я множество раз ходил и бегал в горисполком.

— Вы не одни, даже более заслуженных и солидных людей не можем обеспечить квартирами. Не надейтесь, не

просите и не ждите, — твердо отвечали мне. — Мы мало строим. К тому же работа эта идет очень плохо.

Это действительно было так. В то время наш город — столица автономной области — был сплошь деревянным и новые дома почти не строились.

И вот у нас родился сын, первенец. А я жену не выписываю из роддома. Действительно, когда нет крыши над головой, куда мне деть новорожденного?.. Думал, гадал, страдал я и под конец решился — впервые в жизни перешагнул порог кабинета первого секретаря обкома партии. Сказать честно, я не перешагнул, а без разрешения и без предварительного доклада вбежал, ворвался в его кабинет, иначе кто бы меня пустил туда? Порог этот высокий хотят перешагнуть многие, и у них, наверное, другие, более важные и серьезные проблемы, чем несчастная квартира и рождение первого сына. Но у меня не было другого выхода. На улице мороз, поздняя осень. Теперь у нас маленький ребенок, поэтому, как раньше, мы никак не можем жить в чужом сарае.

Тогдашний первый секретарь обкома неплохо относился к работникам литературы и искусства. И меня, только что делавшего в литературе первые шаги, он принял хорошо, даже, можно сказать, ласково. Когда я вошел в его кабинет, то увидел крупного человека с густыми и седыми волосами.

— Что с вами, молодой человек?.. Не волнуйтесь, садитесь вот сюда, — приподнялся он и указал на стул, не отводя от меня внимательных глаз.

Я сел, вздохнул глубоко, чтобы прийти в себя. Погодя с большим трудом и волнением рассказал, зачем явился. Он спокойно выслушал и тут же пригласил в кабинет каких-то незнакомых мне людей. Нет, впрочем, одну женщину я знал — заместитель председателя горисполкома по жилищно-бытовым вопросам.

— Вот, товарищи, познакомьтесь, — представил меня первый секретарь, — перед вами наш молодой, начинающий писатель. У него родился сын, а жить негде...

Честно признаться, до этого я никак не думал, что зампредседателя горисполкома, вот эта женщина, умеет так ласково и нежно улыбаться, так легко и плавно ходить может. Конечно, она не мне так улыбалась. Оттаяла она и преобразилась перед первым секретарем обкома. Ведь совсем недавно я был в кабинете у этой же женщины. Она только на миг приподняла свою голову, венчанную тяжелой прической, и тут же, нагнувшись, стала перебирать ка-

кие-то бумаги. Я стоял, ожидая. Наконец-то она вздохнула тяжело, посмотрела без тени улыбки и участия холодными серыми глазами на меня и сказала решительно:

— Что вы бегаете сюда? Я вам, кажется, ясно ответила, что нет у нас квартиры! Даже нужных нам специалистов не можем обеспечить, понятно вам?..

Кто же они, эти непохожие на меня, очень нужные для нашей области люди?.. Как знать, возможно, на них держится земля Горного Алтая? Но неужели и я не нужен ему? Неужели мне ехать в другое место? Но здесь моя родина, я хочу помогать ей своей работой...

— Роман Александрович, — заговорила она сейчас ласково, — если этот молодой человек — писатель, то как же он будет писать романы, коль нет квартиры?! Мы постараемся ему помочь, Роман Александрович... Роман Александрович, мы ему...

— Помогите ему, — перебил ее первый секретарь спокойным, но твердым голосом. — Что-то мне помнится, когда летом мы распределяли квартиры, в списке значилась фамилия этого молодого человека?.. В течение десяти дней найдите этому молодому отцу жилище и доложите мне лично, понятно?..

— Разумеется, Роман Александрович... Доложим, Роман Александрович!..

Куда там десять дней — назавтра же мне зампредседателя горисполкома, на этот раз вежливо улыбаясь, сама вручила ордер на новую и первую мою городскую квартиру. Получив в деревянном доме однокомнатную квартиру, как мы тогда радовались, суетились и бегали, не чувствуя под ногами земли. С тех пор прошло около двадцати лет. Мой старший сын первые шаги сделал в том нашем доме и, можно сказать, вырос там.

Теперь он учится в одном из высших учебных заведений Москвы.

Словно я никогда не был в Москве или он учится не в той Москве, где когда-то учился я сам, каждый раз, придя ко мне, увлеченно рассказывает о какой-то особой, неизвестной мне — о своей Москве. В каком театре какой спектакль посмотрел, какие из последних фильмов талантливые, нравятся ему, на какие можно не ходить — они, мол, бездарные. В разговорах и рассказах сына всегда я слышу имена певцов, актеров, режиссеров, поэтов. Послушаешь его и невольно придешь к заключению, будто эти известные люди с моим сыном пьют за одним столом чай.

Что поделаешь с ним, я понимаю его. У сына есть своя мечта. Потому-то он интересуется многим, требует, просит. Любопытен ему окружающий мир, знать его хочет.

А в моей голове другие мысли. Кайру-Бажи. Зима. Мороз. Конусообразная юрта наша и возле нее подслеповатая, с единственным окном избушка. Наша, опять-таки единственная, белая корова. Случай с ее белым теленком... Э-э-х, сынок, откуда тебе знать и испытать все это. Хорошо, что не видел, не знаешь такую жизнь.

Смотрю на сына. Волосы его чуть ли не длиннее волос моего доктора, Ольги Петровны, или доярки Кыйгас, которая работала в Кайру-Бажи с моей матерью, его бабушкой. Длинные его волосы закрыли уши, почти рассыпались по плечам.

— Укоротить бы тебе немного волосы, а?

— Нельзя. Мода, — отвечает сын. — Молодые в Москве все так ходят.

В разговоре с сыном я вспомнил одну из деталей былой своей жизни. Когда мы охотились за кротами и сусликами в нашем летнем стойбище-джайлау, в местечке Актел, то в особенно жаркие солнечные дни ходили, как говорится, в чем мать родила. И это было одним из уроков нашего предводителя Борбок-Кары. Мы снимали свою одежду, бросали ее на муравьиные кучи, и муравьи съедали насекомых с наших штанов и рубашек.

Слушая меня, сын брезгливо качал головой, передергивал плечами, стыдливо морщил покрасневшее лицо.

— И-та-та-й!.. — сказал он. — Не говори об этом, пожалуйста!

— Наша мода была такой, — пошутил я печально.

На сыне брюки из черного бархата. Раньше алтайцы из бархата шили верх шапок, им же окаймляли свои шубы из бараньих шкур. А нынешняя молодежь шьет себе из него брюки, юбки, костюмы...

Глядя на сына, я опять улыбнулся. Вдруг подумалось: если бы перед дедом Папаем, когда он крутил уши нашему другу и вождю, вдруг бы я перед ним возник вот в таких бархатных брюках, с длинными волосами, со сверкающими на руке электронными часами, — как бы он на меня посмотрел?..

Видимо, от удивления не сказал бы ни слова.

Как бежит время! Мне кажется, что оно через каждые пять или десять лет меняет свой цвет и характер. Изменяется дух времени, меняются и характеры людей, живущих в нем, особенно меняется молодежь. А может быть,

кие-то бумаги. Я стоял, ожидая. Наконец-то она вздохнула тяжело, посмотрела без тени улыбки и участия холодными серыми глазами на меня и сказала решительно:

— Что вы бегаете сюда? Я вам, кажется, ясно ответила, что нет у нас квартиры! Даже нужных нам специалистов не можем обеспечить, понятно вам?..

Кто же они, эти непохожие на меня, очень нужные для нашей области люди?.. Как знать, возможно, на них держится земля Горного Алтая? Но неужели и я не нужен ему? Неужели мне ехать в другое место? Но здесь моя родина, я хочу помогать ей своей работой...

— Роман Александрович, — заговорила она сейчас ласково, — если этот молодой человек — писатель, то как же он будет писать романы, коль нет квартиры?! Мы постараемся ему помочь, Роман Александрович... Роман Александрович, мы ему...

— Помогите ему, — перебил ее первый секретарь спокойным, но твердым голосом. — Что-то мне помнится, когда летом мы распределяли квартиры, в списке значилась фамилия этого молодого человека?.. В течение десяти дней найдите этому молодому отцу жилище и доложите мне лично, понятно?..

— Разумеется, Роман Александрович... Доложим, Роман Александрович!..

Куда там десять дней — назавтра же мне зампредседателя горисполкома, на этот раз вежливо улыбаясь, сама вручила ордер на новую и первую мою городскую квартиру. Получив в деревянном доме однокомнатную квартиру, как мы тогда радовались, суетились и бегали, не чувствуя под ногами земли. С тех пор прошло около двадцати лет. Мой старший сын первые шаги сделал в том нашем доме и, можно сказать, вырос там.

Теперь он учится в одном из высших учебных заведений Москвы.

Словно я никогда не был в Москве или он учится не в той Москве, где когда-то учился я сам, каждый раз, придя ко мне, увлеченно рассказывает о какой-то особой, неизвестной мне — о своей Москве. В каком театре какой спектакль посмотрел, какие из последних фильмов талантливые, нравятся ему, на какие можно не ходить — они, мол, бездарные. В разговорах и рассказах сына всегда я слышу имена певцов, актеров, режиссеров, поэтов. Послушаешь его и невольно придешь к заключению, будто эти известные люди с моим сыном пьют за одним столом чай.

Что поделаешь с ним, я понимаю его. У сына есть своя мечта. Потому-то он интересуется многим, требует, просит. Любопытен ему окружающий мир, знать его хочет.

А в моей голове другие мысли. Кайру-Бажи. Зима. Мороз. Конусообразная юрта наша и возле нее подслеповатая, с единственным окном избушка. Наша, опять-таки единственная, белая корова. Случай с ее белым теленком... Э-э-х, сынок, откуда тебе знать и испытать все это. Хорошо, что не видел, не знаешь такую жизнь.

Смотрю на сына. Волосы его чуть ли не длиннее волос моего доктора, Ольги Петровны, или доярки Кыйгас, которая работала в Кайру-Бажи с моей матерью, его бабушкой. Длинные его волосы закрыли уши, почти рассыпались по плечам.

— Укоротить бы тебе немного волосы, а?

— Нельзя. Мода, — отвечает сын. — Молодые в Москве все так ходят.

В разговоре с сыном я вспомнил одну из деталей былой своей жизни. Когда мы охотились за кротами и сусликами в нашем летнем стойбище-джайлау, в местечке Актел, то в особенно жаркие солнечные дни ходили, как говорится, в чем мать родила. И это было одним из уроков нашего предводителя Борбок-Кары. Мы снимали свою одежду, бросали ее на муравьиные кучи, и муравьи съедали насекомых с наших штанов и рубашек.

Слушая меня, сын брезгливо качал головой, передергивал плечами, стыдливо морщил покрасневшее лицо.

— И-та-та-й!.. — сказал он. — Не говори об этом, пожалуйста!

— Наша мода была такой, — пошутил я печально.

На сыне брюки из черного бархата. Раньше алтайцы из бархата шили верх шапок, им же окаймляли свои шубы из бараньих шкур. А нынешняя молодежь шьет себе из него брюки, юбки, костюмы...

Глядя на сына, я опять улыбнулся. Вдруг подумалось: если бы перед дедом Папаем, когда он крутил уши нашему другу и вождю, вдруг бы я перед ним возник вот в таких бархатных брюках, с длинными волосами, со сверкающими на руке электронными часами, — как бы он на меня посмотрел?..

Видимо, от удивления не сказал бы ни слова.

Как бежит время! Мне кажется, что оно через каждые пять или десять лет меняет свой цвет и характер. Изменяется дух времени, меняются и характеры людей, живущих в нем, особенно меняется молодежь. А может быть,

и наоборот — дух и ход времени зависят от потребностей и характеров людей?

И мои сыновья, и сам я — люди одного века. Но все же между нами течет, разделяя нас, большая река — река времени. И на себя и на жизнь вокруг мы смотрим разными глазами. Мои сыновья — другие люди, хотя течет в их жилах кровь моя и моих предков. Они дети другого времени.

Мой второй сын родился в очень счастливый для меня год. Я тогда учился на последнем курсе Литинститута. И вот здесь, в Москве, впервые на русском языке, вышел мой сборник стихов. С чем можно сравнить счастье молодого стихотворца, когда в его жизни случается такое событие?! И еще — второй сын! Счастье мое было беспредельно.

А не великим ли событием в моей жизни был прием в члены Союза писателей... Ведь я сын вдовы, простой колхозной доярки...

С рождением детей, конечно, множатся заботы. Но дети и как-то меняют наши взгляды на жизнь, и поднимают нас на новую ступень.

— Отец, — говорит мне старший сын, — в последнее время я никак не могу разобраться, на каком языке думаю. Иногда думаю на русском, иногда — на алтайском. С тобой такое бывает? Ты замечал, на каком языке думаешь?

— На алтайском. И сны вижу на родном языке... Я не раз просыпался, крича по-алтайски: «Э-не-е-ма-ма-а!..» Во сне я часто оказываюсь в наших стойбищах — Кайру-Бажи или Актеле — и вижу друзей детства: Борбок-Кару, Пашу, Метирея, Малайта, Аткыра. Ведь мы тогда не знали ни одного русского слова, разговаривали только по-алтайски.

— А я ведь с рождения учил и русский и алтайский... Сейчас все перемешалось: я даже сны на русском языке вижу. Во-о как!

Заметив, что я разволновался, сын переменил тему:

— Пап, тебе нравится моя рубашка?

Я улыбнулся:

— Как девичья кофта. Если бы я пришел в школу в такой пестрой рубашке, меня бы ровесники засмеяли. Мы считали себя мужчинами, и матери никогда бы таких рубашек нам не сшили.

— Отстаешь от жизни, отец, — упрекает меня сын. — Это же дефи-цит! Ты бы себе тоже что-нибудь модное при-

обрел: дубленку или кожаное пальто... И меня не забудь. Мы ведь люди искусства, не должны отставать.

Вот как!.. Вещи жгучими углями беспокоят воображение сына.

— У тебя как будто есть главная цель, дорогой человек искусства? — спросил я у сына.

— А как же!

— Какая?

— Служить искусству.

— Очень хорошо. Тебе, наверное, кажется, что без тебя искусство не будет двигаться вперед?

Сын почувствовал подвох.

— Кто знает, — засмеялся он. — О мировом искусстве не скажу, но наше, алтайское, без моего участия, может, и начнет хромать, а? — И неожиданно спросил: — Отец, почему студентов, успевающих в учебе, привыкли считать хорошими людьми? Ведь не всегда это так...

Мы говорили в тот день долго. Сын печалил меня и радовал. У него все впереди. Он в пути. Но за ним, как за молодым саженцем, надо умело ухаживать.

— Ну, отец, я пойду, — поднялся сын. — Мама, наверное, уже беспокоится.

— Да, да, иди. Ты маму сейчас особенно береги, помогай ей, сынок, — прошу я.

— Отец, — сын посмотрел на меня, чуть смущаясь. — Ты ждешь дочку, да?

Я улыбнулся.

— А если опять сын родится?

— Ну что ж! Будет у меня три сына, три богатыря. А тебе тоже сестренку хочется?

— Ну, пока, — заторопился сын. — Поправляйся...

Пока, мой сын, «человек искусства»! Вот тебе мое напутствие: балам, ребенок мой, будь Человеком!

ГЛАВА ПЯТАЯ — воспоминание о белом бычке нашей белой коровы и о матери Борбок-Кары

Однажды зимой был очень нехороший случай. О, великий кудай-бог, хотя с тех пор прошло много лет, но как мне об этом умолчать? Правда — она всегда остается правдой.

В те годы каждый колхозник обязан был сдавать государству определенное количество мяса, молока, яиц и дру-

гие налоги. Случалось, неплативших судили. Но все же чаще, как бы ни жили бедно, как бы ни было трудно, выручал колхоз, родные люди, сельчане.

Мать с государством расплачивалась нашим единственным белым теленком. У нас была очень хорошая корова: она давала до пятнадцати литров молока в день, и молоко у нее было жирным. К тому же белянка была хитрой: всегда умудрялась оставить молоко и для своего теленка. Поэтому к осени, когда подходил срок сдавать налоги, он был большим и жирным.

Однажды на зимней стоянке во время страшных морозов случилось такое, о чем мы, как говорится, и в трех снах не думали не гадали.

Мы, дети, как-то заметили, что наши матери несколько дней тайно шепчутся, спорят, решая какую-то трудную задачу. Шушукались они в юрте, а нас прогоняли в избушку.

Суть этой тайны, их многодневного собрания мы узнали много позже.

— Твой белый бычок, что сдала колхозу, потянет все восемьдесят килограмм, — первой начала разговор с моей матерью тетушка Кажакай.

— Не меньше, — поддержала ее черноволосая Кыйгас. — И каждый год сдаешь так. А ведь положено шестьдесят... — Молодая женщина испытующе посмотрела на мою маму большими черными глазами, полными печали.

— Чего вы от меня хотите? — заволновалась мать.

— Посмотри на детей, — подала голос не очень-то разговорчивая тетушка Кару. — Скоро с голоду умрут. Ты ведь старшая доярка, пожалей ребят...

— О чем вы? — не понимала подруг мама.

— Твои дети ведь тоже голодают, подумай, — уговаривала Кыйгас.

— На что вы меня толкаете?

— Одного-то бычка можно списать. Сколько коров падет весной! — наконец решительно сказала тетушка Кару.

Во время войны и в трудные послевоенные годы трудились в колхозе в основном женщины да малые дети. Сил и рук не хватало, чтобы до лета заготовить корм скоту. Весной от недоедания и болезней гибло немало колхозных коров. С них нельзя было спускать глаз. Ляжет какая-нибудь корова в ямистое место, а подняться сама, худая, голодная, не может. Если не заметишь да не поможешь — там и умрет. Бывало, споткнется корова о какую-нибудь кочку или оступится — и тоже упадет. И не поднимется

без пастуха. А вороны того и ждут: тут же прилетят, сядут на спину, начнут проклевывать шкуру животного. Случалась и такая беда: проглядит пастух — вороны выклюют глаза у живой коровы. А как быть со слепой коровой? И что сказать, как оправдаться?..

— На что вы меня толкаете?! — уже шепотом, с ужасом переспросила мама. — Лучше мне не слушать вас, — она зажала уши, — молчите, милые, — поочередно посмотрела на сидящих вокруг очага подруг. — Молчите, иначе я завтра же поеду в контору и...

— А-а, — закричали дружно доярки, — ты нас опозорить, продать хочешь. Ты и детей наших и нас погубишь...

— Нет, — опомнилась мама, — наоборот, это вы толкаете меня на преступление.

Тут кто-то, видимо, испугавшись или одумавшись, сказал торопливо:

— Да что ты, успокойся. Мы пошутили, испытать тебя хотели...

Даже лето для наших матерей, как понимаю сейчас, легким не было. Оно только нам, детям, казалось щедрым и вольным. Лето для нас было богатым и сытым: радовало молоком, сметаной, сладкими кореньями. А матери наши летом по три раза доили коров, поочередно возили молоко на завод, который находился тут же, в тайге, меж двух молочных ферм. Обучали быков и на них возили. Кони, как и мужчины, находились на фронте. Мы, мальчишки, были уверены, что они тоже сражались, — яростно нападали на врагов, топтали, кусали их, — наши кони из далекого Кайру.

Живуч человек! Иногда сама всесильная смерть боится его и отступает. Однажды тетушка Кару везла молоко на завод. День был жарким. В такие дни особенно злобствуют оводы и мухи. И вот когда Кару ехала, какой-то овод ужалил быка, и тот помчался куда глаза глядят. Остановить его было невозможно. Фляги с брички попадали, и все молоко поглотила черная земля. Кару тоже упала, сильно ушиблась и долго ходила на костылях. Сейчас бы мы сказали, бог с ним, с молоком, даже если его и несколько сот литров, главное — человек живым остался. А тогда!.. Сколько из-за молока было шума, ругани. Говорили, что это вредительство... Всякому рот не заткнешь.

В те дни, когда Кару кое-как передвигалась при помощи костылей, к нам на летнюю стоянку заехал дед Ярын, который всегда охотился с дедом Папаем. Он пил чай, наблюдал за Кару и наконец сказал:

— Я принесу тебе, Кару, целебную воду. — Где старик нашел «живую воду», я до сих пор не знаю, он это тщательно скрывал. Тогда же о своей тайной воде он поведал нам историю, подобную волшебной сказке. — Вода эта из горячего источника. Она вечно бурлит и кипит, дышит теплым и густым туманом. И земля вокруг источника не замерзает. Даже белой зимой, вы только подумайте, растут на ней голубые цветы. — Дед Ярын, уронив на грудь лысеющую голову, долго молчал, потом продолжил: — Наш Алтай — земля священная. Она много хранит в себе тайн и богатств. А особые ее богатства — серебро и медь. Они настоящие волшебники, поверьте. Так залечивают переломы костей и трещины, что диву даешься!

— Откуда вам это известно? — поинтересовался Борбок-Кара.

— Ведь я не ты, Борбок-Кара, зря не буду болтать, если чего сам не знаю. — Дед Ярын потухшими глазами уставился на нашего друга. — Был такой случай: поранил я как-то марала. Ушел зверь. Прошло года два или три. Однажды решил я заехать к своей воде. Вечерело. Подъезжаю, и вот тебе на — неожиданно из воды выскочил и не успел далеко удрать огромный марал: пристрелил я его. Снял шкуру и в кости на правой ноге нашел пулю. А пулю своего ружья хороший охотник узнает! Спроси охотников, они это подтвердят. Папая спроси и других, коль не веришь... Тот самый, мною раненный марал опять попал под мою пулю. Да, бывают такие случаи. Но чудо не в этом. Раненый марал не зря приходил и пил живую воду, лежал в ней. Вода его лечила: моя давняя пуля была замурована в кости красноватой медью и серебром. Опять повторяю, не простая это вода. Благословленная самой природой вода. В ней, кроме меди, упавшей с луны, есть и серебро. Жди меня, Кару, я принесу тебе живую воду.

Вскоре дед Ярын выполнил свое обещание. Тетушка Кару утром, в обед и вечером понемногу наливала в деревянную чашку живую воду и пила. Это я видел не раз...

...Через несколько дней разговор о белом бычке опять ожил. Он должен был возникнуть. Ибо все оказались на грани голодной смерти. В колхозном амбаре даже запаха хлебного зерна не осталось. Последний раз колхозницы поделили меж детьми предназначенный коровам жмых. Он был твердым и зеленым. Мы подогревали его у костра и, как мыши, грызли. Теперь и его не стало. Чай — не чай,

а пустой кипяток. Что делать, как выжить?.. Не дети только, но и старшие стали опухать — лица у всех бледные, глаза острые, ждущие и ищущие. Кажется, дунешь на маленького Малайта — он упадет. Тогда говорили: «От голода человек последний раз жиреет, а потом приходит смерть и забирает его».

— Разве ты не видишь, вот-вот умрут дети! — упрекали мою мать женщины Кайру-Бажи. — Ты не мать, а подземный злой дух Эрлик!

— Говорите как угодно, но дать согласия не могу. Милые, не могу я пойти на такой шаг! — плакала мама.

— Учти, говорим последний раз, упрашивать тебя больше не будем!

Когда вспоминаю морозы тех лет, содрогаюсь и сейчас. Зубы о зубы стучат. Кажется, навеки в моем теле осталась далекая та зима.

В любой мороз наши матери ездили за сеном. Если плохо вершили летом стог или сено было сыроватым, то стожок замерзал до основания. И такими зимой оказывались почти все стога. Целыми днями стучали топорами женщины, разрубая смерзшееся сено, и только под вечер, смертельно уставшие и голодные, возвращались домой. А в их санях оказывались лишь небольшие квадратики черного мерзлого сена, и дома их не ждали ни кусок хлеба, ни теплая мягкая постель... Откуда они брали силы?

Женщины, которые оставались на стоянке, чистили хлев, ухаживали за коровами. Чистить было очень трудно — всюду в эти морозные дни в хлеву лед от мочи животных. Коровы худели, простуживались и болели. Чтобы их спасти, наши матери запрягали быков и опять отправлялись в лесную чащу. Там они искали под снегами сухие муравьиные кучи, чтобы прикрыть ими ледяные лежанки коров. На них животным было мягко и тепло. Но только через несколько дней опять все замерзало...

Мы в то время думали, что жизнь должна быть всегда такой — мало смеха, радостей и счастья. Чтобы не умереть, чтобы выжить, мы крепко держались за подолы своих голодных и злых от горя матерей. Мы привыкли, что жизнь сурова и черна, и потому не проклинали ее.

Нашему Борбок-Каре тогда было примерно пятнадцать-шестнадцать лет. Он уже пас колхозных коров. Самостоятельный человек, пастух. Считался взрослым мужчиной. За все отвечал, как остальные колхозники.

Много воды утекло с тех пор, но не могу я забыть историю с нашим белым бычком.

Навсегда запомните, люди, ничто не заслонит правду! Правда всегда останется правдой. Когда на душе тяжело, как не освободиться от тяжести, которая угнетает, мучит?.. Сам от себя никогда и никуда не спрячешься. И если выскажешь эту тяжелую правду — светом озарится твое лицо, облегчится сердце твое...

Ночь.

Нас, более пятнадцати мальчиков и девочек, матери разбудили и привели из избушки в юрту, посреди которой чернел над костром очага большой котел-казан. Густой дым и пар заполнили юрту. Щекочет нутро вкусный, душистый мясной запах. Все сели вокруг очага. Лица голодных людей насторожены. Вот кто-то помешал в казане черпаком, вытащил первые большие куски мяса...

В моем желудке будто сидел кто-то. Почуяв запах вареного мяса, он шевельнулся всем своим существом и даже словно крикнул громко. Я едва в обморок не упал. Какой запах, как вкусно!..

Как ел мясо, плохо теперь помнится. Но поступок нашего Борбок-Кары в эту ночь мне никогда не забыть.

Когда перед ним поставили чашку с мясом, Борбок-Кара взглянул и вдруг тыльной стороной руки отодвинул ее от себя и заявил:

— Не буду есть!

Все замерли, испугались. Некоторое время в юрте стояла мертвая тишина.

— Мало мне дали! — громко и угрожающе сказал он и отодвинулся от очага в темноту. — Я пастух. Выдам вас всех!

— Борбок-Кара, Борбок-Кара, мой балам, — раньше и проворнее всех к нему приползла мать его, тетушка Кажакай. — Пододвинься, сынок, Борбок-Кара мой, нежный, ласковый мой ребеночек! Кушай мясо.

— Милый Борбок-Кара, — тут же вслед за его матерью к нему подошла Кыйгас. Ее длинные черные волосы струились по старой, изношенной шубе с множеством заплат. — Хороший мой, — шептала она. — Борбок-Кара работящий парень... Не знает ни лени, ни страха. Хороший, красивый он!.. Эй, люди, побольше кладите мяса Борбок-Каре! — Кыйгас оглядывалась назад, к дояркам, что-то молча показывала им рукой, подмигивала испуганными глазами. — Наш Борбок-Кара — единственный мужчина! Он давно хочет, я догадываюсь, погладить мою голову и волосы. Хочешь, погладь сейчас, при всех погладь мои черные волосы, Борбок-Кара...

— Наш Борбок-Кара, дорогой Борбок-Кара, — снова раздался умоляющий голос матери его.

Тут запричитали мать Паши, тетушка Тообос, молчаливая тетушка Кару.

— Говорила ведь я вам! — громче всех закричала вдруг моя мама. — Говорила, говорила я вам всем! — Неожиданно мать отобрала у меня чашку с мясом и, расплескивая бульон, почти бросив, а не поставив чашку к очагу, брезгливо приказала мне: — Не ешь! И ты тоже! — повернулась она к моей маленькой сестренке. — Идите немедленно спать!

Мама стала выгонять нас из юрты, но тут неожиданно Борбок-Кара придвинулся к очагу, и мать забыла о нас. Все занялись теперь Борбок-Карой.

Перед ним теперь стояло полное корыто вареного мяса. Его холодные глаза сверкали. Он, вытащив из ножен острый нож, умело и тонко отрезáл мясо, отправлял кусок за куском в рот, зачерпывал ложкой наваристый бульон, противно чмокал толстыми губами.

— Борбок-Кара, подлить тебе еще? Кладите Борбок-Каре еще мяса, добавьте горячего и жирного бульона. Он у нас молодец! Наравне со взрослыми, может быть, даже лучше работает!.. — заискивали наши матери.

Толстыми короткими пальцами Борбок-Кара снова и снова брал куски. Вот он заметно потеплевшими глазами поглядел на следящих за ним людей...

Зазвякали чашки и ложки. В юрте постепенно оживлялось. Мама добавила в мою чашку бульона. Стали тихо разговаривать. А Борбок-Кара по-прежнему молчал, но всем было хорошо от того, что он ест мясо белого бычка.

Кончилась кровавая война. Прошло несколько трудных лет. К этому времени я оставил наши летнюю и зимнюю стоянки в урочищах Кайру-Бажи и Актеле. Теперь я учился в школе в областном центре и жил в интернате.

Однажды, во время весенних каникул, когда гостил дома, поехал я с матерью Борбок-Кары, тетушкой Кажакай, за хворостом в лес.

Поскольку давным-давно не было нашей рыжухи, мы запрягли в таратайку серка, очень уставшего и постаревшего за последние годы. Он, лениво махая хвостом, трусцой бежал по лесной тропинке. Весна была в разгаре. День теплый и погожий. Где-то куковала кукушка.

Мать Борбок-Кары любила петь. Особенно, казалось,

ее вдохновляли тишина и красота гор — она начинала петь сперва тихим голосом, как бы пробуя себя, потом чуть громче, протяжнее и тоскливее. Словно соперничая с кукушкой, оглашавшей просторы неба и лесную чащу, пела она задумчиво и вдохновенно:

Когда жеребенок аргамака был маленьким,
Большая и глубокая река была ему преградой.
Когда сын отца был еще в колыбели,
Война кровавая и горестная мешала ему расти.

Болью в сердце отозвалась эта песня о трудной судьбе моего поколения, наших матерей. О горькой своей доле пела Кажакай. А кукушка, будто жалея вдову, вторила ей.

Над лесами и горами в тот день небо было голубое и высокое. Зелень новой весны на глазах сгущалась, поднимаясь над прошлогодними бесцветными травами.

Кажакай вдруг перестала петь и посмотрела на меня.

— Как хорошо и как вольно! — словно выдохнула она какую-то тяжесть из груди. — Войне бы черной больше не быть на земле, да смотрели бы так же чисто и тихо глаза неба на нас. — Задумалась на какой-то миг и начала негромко выводить новую мелодию, но вдруг снова обратилась ко мне: — Теперь ты учишься далеко, в большом городе. А мои сыновья продолжить учебу не смогли. Борбок-Кара стал переростком, а Аткыру, знаешь сам, болезнь помешала. Да черт с ней, с учебой. Мне бы их поженить, посмотреть на их свадьбы, подержать на коленях внуков, погладить их по спинкам, понянчить — и больше ничего не надо, можно спокойно умирать...

Каким я был еще мальчишкой и дурачком! Горько мне и стыдно сейчас за то, что совсем не к месту вспомнил я тогда ту далекую и забытую зиму, белого бычка нашей коровы и неожиданно для себя мстительно спросил:

— Тетушка Кажакай, вы помните, как мы однажды ночью ели мясо?

Кажакай вздрогнула, посмотрела испуганно. А я, увидев, что напугал ее, рассмеялся и продолжал:

— Борбок-Кара тогда всех нас взял в тиски. Как вы перед ним трепетали и унижались. О-о, мясо белого бычка было очень вкусным!

Мать Борбок-Кары, словно ее подкосили, как траву, неожиданно упала ничком на землю. Не поднимая головы, закрыв ладонями уши, она еле слышно прошептала:

— Ради бога, балам, Барыс мой, перестань, перестань, умоляю, не говори об этом. — Казалось, будь это возмож-

но, тетушка Қажакай, пробив толщу земную, ушла бы туда, только бы меня не слышать. — Не говори, Барыс, молчи, не говори! Эхо человеческого голоса летает по вершинам деревьев и доходит до чужих ушей. Бог ты мой, молчи, молчи, перестань, пожалуйста!..

Она затихла. Через какое-то время стала подниматься, тяжело опираясь руками о землю. Я молча смотрел в ее посеревшее, как зола, лицо, а когда она встала, — тьфу на меня! — опять напугал ее:

— Эхо ведь не птица, как оно может летать по вершинам деревьев? — Я опять не мог остановиться. — Оказывается, вы очень трусливы, до сих пор дрожите! — злорадствовал я. — Откуда же тогда взялась смелость зарезать нашего белого бычка?

Қажакай снова зажала ладонями уши.

— Ради Кудая, мой Барыс, — почти молилась она, — молчи, молчи. И эти деревья, и солнце имеют уши, балам. Все они понимают и слышат твой голос. У них у всех есть глаза, уши, даже язык. Перестань, балам, замолчи, сынок...

После этого Қажакай не промолвила ни слова. И больше уже не пела.

Замолчал и я. Внезапно высказав затаенную с детства обиду, о которой, казалось, и сам не подозревал, обидев несчастную мать, я вдруг почувствовал себя опустошенным. Қаким жестоким может быть человек!..

Мы молча нагрузили таратайку сухим хворостом, надежно привязав его к ней длинным арканом, чтоб не свалился, и молча вернулись домой. А весна цвела, зеленела кругом. Славя красоту земли и предстоящие человеку радости, по-прежнему оглашала просторы кукушка.

ГЛАВА ШЕСТАЯ — о том, как я впервые ходил на охоту

Уж который раз на склоны крутоверхих гор и на просторные поляны Қайру-Бажи выпадал первый снег, предвестник большой и долгой зимы. Утром на холодном и ясном небе медленно поднималось огромное солнце. Оно удивленно сверкало, словно впервые видело белые молчаливые долины. По их белизне бежали, отражаясь множеством звезд, лучи солнца.

С нынешней зимы мать разрешила мне пользоваться старым ружьем отца и самостоятельно ходить на охоту. Потому, увидев первый снег, обрадовался я, учащенно за-

билось сердце, торопя и беспокоя меня. Но откуда мог я знать, что первая охота принесет мне печаль и большую тревогу. Что поделаешь, говорят, беда всегда прячется под рукавом.

В те годы любой имел право носить ружье и пользоваться им. Запрета, как теперь, не было. В горах каждый имел собственное ружье. Но тем не менее в наших местах никто никогда не слыхивал, чтобы человек ружьем угрожал и даже убивал человека.

Снял я старое кырлу-ружье отца и выбежал из юрты со своим ровесником Пашей. А в это время никого из взрослых не было в юрте. Правда, в избушке сидела тетушка Тудар. Остальные еще ранним утром ушли и уехали по разным делам. Кто-то из оставшихся чистил коровий хлев, кто-то раздавал телятам сено. Борбок-Кара тоже был на своем участке — пас коров. Присматривая за животными, он успевал и поохотиться, и расставить ловушки на звериных тропах. Бывало, иногда приносил он белку или зайца.

Мы с Пашей ушли недалеко в лес. Там с радостью заметили, что по первому чистому снегу зимы пробежали сотни лап. Кайру-Бажи тогда был не таким, как в нынешние годы. Полно было и белок, и лисиц, и быстроногих зайцев. Косули и кабарги тоже бродили по горам и лесам. А сегодня пойди в те же горы и леса, не найдешь ни одного следа — лишь нетронутый чистый снег встретит тебя. Зря говорю я «лес», «леса»... В Кайру-Бажи сейчас нет лесов, кругом голо и неузнаваемо тоскливо.

Воспоминания о прошлых годах обостряют проблемы нынешних дней. Потом опять уводят к далеким временам детства.

— Поезжай сегодня в Кайру-Бажи, ты и не узнаешь его, — не раз, приходя в палату, говорил мне Борбок-Кара. — Даже я, работая всю жизнь там, иногда не узнаю родных мест, Барыс. Чем писать какие-то стишки, лучше написал бы об этом. Ведь это серьезно... Кому нужны твои стишки, кто их будет читать? Например, я — не то что стишков каких-то, даже толстых книг не открываю.

— О чем ты просишь писать, Борбок-Кара? — понимая его, я спросил нарочно.

— Как о чем?! — Борбок-Кара удивленно раскрыл свои холодные глаза. — Ведь ты только что говорил о лесах Кайру-Бажи. Сейчас нет там лесов, говорю. Тех мощных и толстых лиственниц, кедров и елей. Их давно уничтожили электропилами. Иди, иди теперь в Кайру-Бажи...

Попробуй найди там, как было раньше, белок и других зверей с богатыми мехами. Не на кого направить ружье. Вот что встретится тебе! — Он показал кукиш.

«Пиши...» Откуда знать Борбок-Каре, когда он не читает, что я уже немало написал и о богатстве природы и об охране ее.

Как тут не вспомнить о Леониде Леонове? Сколько сказано им горячих и правдивых слов о родном лесе и природе?

Мой Борбок-Кара, видимо, даже не знает, что живет в одно время с такой большой личностью. А он, Леонов, обвиняя, например, Министерство просвещения, без всяких, как говорится, оговорок, открыто сказал: «Думаете, хоть разок отозвалось оно на многократные мои призывы и попреки? Нет, это люди занятые, чиновные! А ведь прямое дело школы — постепенно готовя из детей будущих агрономов, инженеров, развивать ребячий интеллект, воспитывать характеры под углом именно практической, с малых лет, преданности родной земле».

— Земля не резина, ее не растянешь пошире, парень,— сидит и почему-то весело смеется мой друг Борбок-Кара.— Как когда-то богом сотворено Кайру-Бажи — никому никогда его не сделать больше и шире, чем есть! Раскромсали наш Кайру-Бажи. А сколько валяется там бревен, валежника, повсюду торчат пни. Испоганили мы свою землю: нет мест для заготовки кормов, негде пасти коров. Ты — писатель, пиши обо всем этом. Кайрунцы тебе объявят благодарность, подарят по барану. Пора ведь спохватиться...

Смотрю я на Борбок-Кару, а в голове опять звучат слова того же Леонида Леонова.

«Я не лесовод, не облечен никакими специальными полномочиями по охране леса, я только один из обожателей живой природы, хотя и с пером в руке, а ведомство писательское, при всем нашем желании, несмотря на его мнимую значительность, далеко не всесильно... И впрямь, много ли наделаешь пером против стальной армады быстродействующих пил? Куда там, неравный бой!..»

— Знай и пойми, друг, земля — не резина, — Борбок-Кара повторил еще раз, встал и ушел в свою палату.

...Мы шли по белому снегу среди бесчисленных следов зверей. Вдруг Паша закричал:

— Смотри, белка... белка!

На небольшой круглой поляне стояли всего лишь три деревца и там с сучка на сучок проворно, словно пушистый мяч, прыгала белочка. Услышав наши голоса, она замерла, лишь смотрела на нас черными и хитрыми глазами, ожидая, когда мы удалимся.

Стрелять с руки, поднимать отцовское ружье было тяжело для меня. Поэтому я предложил Паше:

— Иди сюда и встань передо мной, а я ружье положу на твое плечо и буду целиться.

А что Паше — он послушался и смирно встал. Я положил на его плечо длинное ружье и стал целиться в белку. Волнуюсь и тороплюсь. До первого грома моего кырлу прошел, кажется, целый год. И вдруг возле самых ушей Паши грянул выстрел. От испуга он так присел, что я уронил ружье. Не обращая внимания на Пашу и ружье, я смотрел на белку. Она, ударяясь и цепляясь за сучки, падала вниз. И вдруг перед самой землей ловко зацепилась за нижний сук и тяжело, ползком ушла вверх.

О кудай-бог, не знаю, что тут со мной случилось — сердце сильно забилось от волнения! Я даже не подумал, что ранил белку. Мне почудилось, что она, как крылатая птица, сейчас же улетит куда-то. Я торопливо поднял ружье, лихорадочно стал его заряжать.

А ружье заряжалось пулей, не дробью. Кроме того, у него не было затвора. Пулю надо было толкать прямо в ствол. Но прежде в ствол насыпался порох, потом вставлялась пуля, ставился капсюль, и только тогда можно было стрелять.

Пашу я снова поставил перед собой, положил на его плечо ружье, прицелился и нажал курок. Но, к удивлению, выстрела не было. Лишь разбился от удара бойка капсюль и раздался негромкий звук. Но белка и его испугалась, поднялась еще выше.

Я совсем расстроился. Что случилось?

— А-а! — невольно закричал я, вспомнив и догадавшись, в чем причина. — Я забыл насыпать порох в ствол. Затолкал только пулю. Что теперь делать, как быть?

Думали, думали и наконец решили: потихонечку насыпать в отверстие от капсюля порох, после поставить капсюль и выстрелить. Так и сделали. Я опять поставил Пашу перед собой, прицелился, нажал на спусковой крючок. Раздался звук чуть сильнее прежнего, но пуля осталась в стволе. А белка поднялась на самую макушку лиственницы.

Но мы почему-то решили, что пуля вылетела, просто мы

промазали. Хорошо хоть в стволе нет теперь пули. Теперь не надо торопиться. Сперва насыпать в ствол порох, потом вставить пулю. Нет, никак нельзя торопиться и забывать: вот смотри, Паша, сыплю в ствол порох. Насыпал, да?.. Видел, Паша, что я насыпал порох? А сейчас, вслед за порохом, смотри, толкаю пулю. Вот, затолкал. Ничего на этот раз мы не забыли. Сделали все правильно, как настоящие охотники. Теперь только хорошенько прицелиться и попасть в белку. Нельзя оставлять в лесу такое добро. Подумать только — она стоит три рубля шестьдесят копеек! Нельзя бросать на ветер столько денег, друг! Как мы их здесь оставим, с какой совестью вернемся домой? Ведь три рубля шестьдесят копеек!..

Вдруг Паша сказал:

— Давай теперь ты встань, а я буду стрелять.

Хотя ружье мое, я не мог отказать ему. Может, Паша точнее целится? Кто знает. Встал я на место Паши. Пока он не выстрелил, я обернулся к нему:

— Паша, если ты попадешь в белку...

— Значит, скажем, что белку убил я, — гордо сказал он. — Придем домой, так и объявим. А деньги за шкурку разделим пополам...

— Идет, — согласился я и подставил плечо.

Насторожился, дышать перестал, жду, когда долгое эхо выстрела раскатится по горам. Всем существом ощущаю, что Паша сильно волнуется. Наконец он нажал на спусковой крючок, и так же, как и давеча, раздался слабый звук одного лишь капсюля.

Бог ты мой! Что, что такое?.. Может быть, силой какого-то колдовства с нашим ружьем случилась беда? Вдруг в его стволе сидит сам черный алтайский черт?..

Судили-рядили, судили-рядили и выяснили: сперва, забыв, что надо вперед насыпать порох, я в ствол поместил пулю, потом порох, а затем опять пулю. Таким образом, между двумя пулями образовалась прослойка пороха. Сунули шомпол в ствол ружья — он на два пальца не дошел до положенной черты. Теперь ничего не сделаешь. Об этом надо украдкой сообщить только Борбок-Каре. Пусть он нам поможет выбить из ствола пули и порох. Он хитер, придумает что-нибудь...

Словно ничего не было, я принес ружье, повесил на прежнее место. Два дня молчал, поджидая удобный момент. Но сердце не давало покоя. Оно, будто запертый щенок, выло и царапало меня изнутри.

Мать уехала за сеном. Другие доярки тоже ушли по

делам. Борбок-Кара сегодня дома, у него день отдыха. Их двое, пастухов, работают поочередно. В свои выходные дни Борбок-Кара обычно или охотится, или спит в избушке весь день, завернув пеструю от лишая голову старой шубой. Сегодня он остался спать.

— Борбок-Кара, — шепчем мы с Пашей, — ты сможешь нам помочь? В стволе нашего ружья застряла пуля.

Борбок-Кара встрепенулся, посмотрел на нас и горделиво ответил:

— Есть ли то, что я не мог бы сделать, а?! Как же я буду считать себя вашим командиром, если не сумею выбить пульку из ствола? Где ружье?

— В юрте.

— Пошли.

Посмотреть, как Борбок-Кара будет выбивать из ствола ружья пулю, с нами увязалась и моя сестренка Клара, она была в избушке и слышала наш разговор с Борбок-Карой.

В юрте Борбок-Кара взял в руки кырлу, повертел в своих крепких толстых пальцах, изучающим взглядом осмотрел его и начал развязывать веревки, чтобы отделить ствол от ложа. Потом легкими и ловкими движениями пальцев с конца ствола отвинтил шуруп, на который ставится капсюль. Теперь в его руках остался голый ствол. Туда он засунул длинный шомпол и сильно стал толкать его двумя руками. Аж лицо покраснело! Но из этой затеи ничего не получилось.

— А ну-ка, молоток! — наконец приказал он. — Сейчас посмотрите, как вылетят эти проклятые пульки.

Борбок-Кара стал бить молотком по шомполу. Опять никаких результатов. Когда я вспоминаю об этом, и теперь страшно. Сердце чуть не подпрыгивает до горла. Может быть, человек на самом деле живет под богом? Подумайте сами, когда Борбок-Кара молотком бил по шомполу, ведь мог бы разогреться порох, находящийся между пулями, и тогда... На этом белом свете давным-давно не жил бы Борбок-Кара. Нет, лучше об этом не думать.

Наш командир, не выбив из ствола пули, рассердился.

— Ы! — огрызнулся он. — Ы!.. В таком случае найдем другой выход. Я ведь самый близкий друг великого охотника Папая! Разве я не Борбок-Кара?! Не может быть никакой преграды перед Борбок-Карой, понятно вам?! — сердился и хвастался он. — Скажите, кто из вас хитрее, кто догадается первым, как я достану пули?..

Моя сестренка сидела возле самого очага, грелась и

смотрела молча, как мы стараемся освободить ствол. А Паша и я вертелись около Борбок-Кары. Откуда нам было знать, что вот-вот грянет беда!

Значит, в юрте Борбок-Кара, Паша, я и моя любопытная сестренка. Нет, я ошибся. Живых существ нас, оказывается, не четверо в юрте. В углу лежит больной теленок, укутанный старой овчиной. У нас всегда так: даже корова заболеет — ее держат рядом с людьми. Ухаживают за ней, лечат ее и лелеют, кормят — лучше нас, детей.

Стало быть, в юрте нас пятеро — Борбок-Кара, Паша, я, маленькая моя сестренка и красной масти теленок. Но опять я считаю неправильно. Кроме нас, пятерых, в юрте находится еще одно живое существо. Это — огонь, горящий посреди юрты. Наш народ считает огонь живым существом. Садятся есть — прежде всего задабривают огонь. Он старше всех. Хоть и бедную, плохую еду, все равно он варит и жарит, сам угощается ею. Огонь — наше божество и хозяин наш.

Вдруг глаза Борбок-Кары стали хитрыми от осенившей его мысли. Он взял конец ствола, где грозно и тихо лежали пули и порох, сунул его в красные угольки, а другой конец прислонил к таганку.

— Ну, сейчас свинец расплавится на жару и вытечет! — радостно и гордо объявил он.

Не прошло и минуты, как раздался страшный взрыв, полетели головешки, красные угли и зола.

Очнувшись, я прежде всего заметил, что возле очага, закрыв ладошками лицо, навзничь лежит моя сестренка. Что тут случилось со мною! Я кинулся к ней, ничего не видя и не слыша вокруг. Рядом кричали Борбок-Кара и Паша, что-то делали, но я не мог прийти в себя. Поднял сестренку — живая!

В следующий миг смотрю — в юрте полно народу. Первой заметил перепуганную до смерти тетушку Тудар. Возле нее стоят Метирей, Малайт. Оказывается, прибежал даже больной Аткыр. Глаза у всех — как у коров и коней, на которых напала стая волков: испуганные, сверкающие — глаза беды.

Вдруг тетушка Тудар рванулась с места и кинулась ко мне. Она что-то кричала, ругала меня, наверное, — я не слышал. Лишь видел: шевелятся ее синеватые, искривленные губы.

Сколько времени прошло после выстрела — не знаю. Тетушка Тудар склонилась над моей сестренкой, а та вдруг схватила ее за шею и громко заплакала. Этот плач вывел

меня из оцепенения. Тетушка Тудар крепко прижала девочку к своей груди, молча гладила и гладила ее черной и грубой ладонью по голове. Потом, как собака, обнюхала ее голову, щеки, тонкие ручонки и начала приговаривать:

— Ничего, ничего, балам, успокойся. Вот приедет твоя мама, мы покажем им, как баловаться ружьем...

Через некоторое время, опомнившись и успокоившись, мы начали собирать и складывать на место разбросанные головешки и угольки и лишь теперь заметили, что красный наш теленок, вытаращив глаза, лежит, растянувшись на земле, а из-под него ручейком течет кровь.

Слава богу, живой осталась сестренка. Моя самая нежная и маленькая сестричка, которая до сих пор уважительно обращается ко мне: «Акам — старший мой брат».

Э-гей, моя сестренка, помнишь, как ты в тот день, когда мама вечером пришла с работы, жаловалась и плакала? Тогда, помнится мне, ты не произносила буквы «р» и «л», вместо них говорила «й». На алтайском языке рука — «кол», а овечка — «кой». И если ты хотела сказать, что вымоешь руки, то выходило — вымою овечек своих. В общем, сестренка, ты в детстве говорила очень забавно...

— Мама! — крикнула ты, как только мать перешагнула порог избушки, и побежала ей навстречу. — Бойбок-Кайа в меня стеийяй йужьем! Но не убий меня, а убий кйясного тейенка. Тепей нет у нас тейенка, мама...

Случилось, конечно, вот что. Порох, бывший среди двух пуль, нагрелся и выбил их. Одна из пуль попала в очаг и вошла в землю. А могла бы попасть в кого-то из сидящих возле очага. Другая угодила в теленка. Колхозный этот теленок тяжелым грузом повис на шее и без того бедных наших матерей.

Вот чем кончилась моя первая охота.

Кто тут виноват, скажи, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ — рассказ о нашем летнем стойбище и о том, как я однажды отомстил Борбок-Каре

Летнее наше стойбище — зеленые горы и буйно цветущие долины местечка Актел.

Пока мы охотимся за сусликами и кротами на зимнем стойбище Кайру-Бажи, приближается весна, тают снега высоких и далеких гор, жарче и жарче становится солнце,

высыхает земля. Созревают коренья кандыка — съедобного растения. Каждый год в это время мы перекочевываем охотиться в Актел, где больше кротов и сусликов, поскольку «своих» мы успели переловить. Чтобы добраться туда, необходимо перейти реку Кайру. Стоит время таяния снегов и льдов горных вершин, воды Кайру с каждым днем прибывают, бурля и кипя грозными волнами, высоко заливая крутые берега.

У каждого из нас свой котелок. За спиной еле тащим капканы. Напрасно туда идти, если у тебя их меньше десяти. Больше всех капканов, конечно, у Борбок-Кары. Наверное, не меньше двадцати. Среди его ловушек непременно найдутся и украденные у деда Папая.

В нашем «великом кочевье» река — главная преграда. Нет моста. Кайру мы переходим в местечке Чанак-Кечу, что означает «санный переход». Река там узкая, и кто-то перебросил с берега на берег дерево. Белые и пенистые волны перекатываются через него. Намокшее дерево скользко, опасно. Чтобы пройти по нему, надо быть шустрым и ловким, как белка.

Как нужна была нам помощь, когда переходили реку, но Борбок-Кара, наш предводитель, не вел нас за руку и не переносил нас на своей спине. Нет, такой ласки и добра мы не знали и не ждали от него. Не было нам такого праздника. Его дело — стоять в стороне и наблюдать, как мы, дрожа и замирая, переходим по опасному дереву. Мы были благодарны ему и за то, что хоть следил за нами в эти минуты.

Переходили реку по жребию: наломает Борбок-Кара прутиков и предложит:

— Давайте, орлы, тяните. Кто вытянет самый длинный — первым пойдет, кто короткий — последним.

Каждый раз мы с замиранием сердца молча смотрели друг на друга: кто же из нас пойдет первым? А Борбок-Кара, понимая наше состояние, улыбнется хитровато и поторопит:

— Ну, тяните!

Самая длинная палочка каждый раз почему-то доставалась Метирею.

— Такова твоя участь, — скажет Борбок-Кара весело. — Шагай вперед, Метирей! Если ты плохо думаешь обо мне, волны Кайру схватят тебя и унесут. Если чисты и белы твои помыслы, то спокойно перейдешь на ту сторону.

Что оставалось Метирею? Трясясь, как от холода, пер-

вым ступал он на мокрое дерево. Затем шел я, а вслед за мной Паша. Сам Борбок-Кара не торопится. Он всегда последний. Показывая всем свою храбрость, с песней пошагает он по ненадежной переправе. Борбок-Кара сравнивает себя с батыром Шуны из алтайской легенды и потому всегда поет одну и ту же песню:

Батыр Шуны никогда не ударит
Своего геройского коня.
Не страшась течения Катуни и Бии,
Его верный конь их с легкой пляской перейдет.

Когда рядом с нами такой батыр, как наш Борбок-Кара, скажите, кого и чего нам бояться? Он следит за нами, он поможет, если случится беда.

Перешли. Начинаем охотиться. Но тут поджидает другое мучение. Никто из нас не осмелится обратно переходить реку по дереву. А так хочется домой! Мы тосковали по матерям, оставшимся в Кайру-Бажи, и не могли к ним вернуться — Борбок-Кара ни за что не согласился бы никого из нас сопровождать. Мы нужны были ему тут. Он не хотел здесь оставаться один. А ему хоть бы что — он давно забыл эти лучшие в мире слова: «дом» и «мама». На актелской стороне он мог жить сколько угодно, промышлять сусликов и кротов хоть до старости. Таков его характер. Он не знает боли и тоски.

Поэтому мы ставили капканы и с нетерпением ждали середины месяца кукушки — мая, когда с криком, мычанием коров и телят, ржанием коней перекочуют сюда, на летнюю стоянку, наши матери — семеро доярок.

В Актеле земля густо удобрена навозом, поэтому на ней рано цвел кандык и быстро созревали его съедобные сладкие корни, которыми мы питались, считая их одним из лучших даров родной природы. Но о кандыке — потом. Сначала — о нашей охоте на кротов и сусликов.

Стоило нам перебраться по злосчастному дереву на актелскую сторону, Борбок-Кара начинал хвастать:

— Я умею разговаривать даже с самой землей! — Скажет так и ложится на землю, прижимая то одно, то другое ухо к ней, прислушиваясь, что-то таинственно шепча. Потом поднимется и скажет: — Теперь мне все ясно. Земля обо всем нашептала мне. Посмотрите во-он на тот солнечный склон горы. Только что земля сказала, что там норка крота. На него не ставьте свои капканы.

Затем он указывал еще и еще места, где «сам будет ставить».

Заранее занятая нашим предводителем земля всегда была близкой к стану или юрте, где мы временно жили. И там действительно всегда оказывались норы кротов и сусликов. Борбок-Кара хорошо знал актелскую землю. Да и зачем ему, предводителю, далеко ходить в поисках зверюшек? Сперва он переловит тех, что поближе. А далеко пусть другие ходят, тратя время и силы. Он — вождь! Эта земля, кроты и суслики — все ему принадлежит!

Но однажды...

Мы, как всегда, внимательно выслушали Борбок-Кару, запомнили, где будет охотиться он, и разошлись ставить свои капканы. А Паша поставил свой капкан на заранее занятое нашим командиром место. И поймал крота.

— Почему ты опередил меня?! — грозно спросил наш предводитель. — Ты убил единственного белого крота, самой землею предназначенного мне!.. Отдай моего священного крота!..

Среди охотников существует поверье: кто убьет редкого в алтайских горах белого, подобно снегу, зверя или зверька, будет удачливым и счастливым — ему попался священный зверь. Не так просто убить его. Значит, это дар самого всевышнего...

— Отдай сюда моего белого крота! — потребовал Борбок-Кара.

Паша не отдал.

— Кто придет вперед, тот получит огонь, — ответил он. — Так учит пословица. Я, Борбок-Кара, не только белого, даже серого крота тебе не отдам!

После этих слов Борбок-Кара, наверное, вспомнил уроки деда Папая: схватил за уши упрямца Пашу и свалил его на землю. Он был сильнее Паши.

— Э-ке-ке, Паша, с каких пор ты повадился убивать священного белоснежного крота?

Хотя уши нашего друга горели, а худое и бледное лицо его еще сильнее побелело, он крепился, чтобы не заплакать. А наш предводитель продолжал мучить его, приговаривая, как дед Папай:

— Еще будешь убивать, скажи, моих кротов?

Вдруг он вытащил из ножен свой нож. Мы с Метиреем, испугавшись, подбежали к нему и кое-как оттащили его от Паши.

Наш предводитель такого не ожидал. Вскочил на ноги и удивленно и страшно посмотрел на нас, покачал большой головой.

— А-а, вот вы какие стали, а?! — Борбок-Кара пожи-

рал нас своими холодновато-злыми глазами. — Держитесь, паршивые псы, каждому из вас я сейчас покажу! Я вас прогоню отсюда и больше не буду брать с собой, щенки!

Мы испугались, отступили на несколько шагов. А он опять ударил Пашу и, свалив, сел на него.

— На́ тебе, белый крот! — Ручкой ножа он несколько раз ударил по голове упрямца. — Хоть один еще раз пойдешь поперек меня, тут же поплывешь вниз по яростным волнам Кайру. Понятно тебе, дружок?

Паша молчал. Он лишь прикрывал худыми руками голову от ударов, пыхтел и беспомощно дрыгал ногами. Тогда сидящий на нем Борбок-Кара начал бить его деревянной ручкой ножа по рукам. Тут Паша не выдержал и заплакал.

— А-а, не умеющий плакать показал слезы! — мстительно обрадовался Борбок-Кара. — Вон на том бугорке есть еще один крот, мною давно замеченный. Если на него осмелишься... знаешь, что я сделаю с тобой?.. Привяжу тебя к дереву арканом и оставлю одного. Тогда поймешь, что это такое!

— А что будет? — неожиданно спросил я.

— Ты видел того синего волка, которого я приволок в Кайру-Бажи? — спросил он меня, затем посмотрел на Пашу. — Все видели? Так вот. Жена того синего волка живет в лесах Актела. Ищет того, кто убил ее мужа, чтобы отомстить. Злая, жадная волчица. Помните, что сделали ее подруги с нашей рыжухой? — Борбок-Кара посмотрел на нас таинственно и со страхом. — Вот когда привяжу Пашу к дереву, ночью придет волчица со своими подругами и они отгрызут ему уши и язык, как нашей рыжухе, понятно теперь?

— Не я же убил мужа волчицы, — вдруг возмутился Паша. — Синего волка убили ты и дед Папай. Если кого-то и ищет волчица, то тебя самого, Борбок-Кара!

Метирей и я были поражены смелостью нашего друга. Помнили мы ясно тот страшный случай с рыжухой. И, не найдя других слов, почти враз спросили у Паши:

— Если волчица съест Борбок-Кару, что мы будем делать без него?

Паша не верил, что волчица, мстящая за мужа, живет теперь в актелских лесах и постоянно крадется за кем-то из нас. На следующий же день он снова показал свое упрямство: поставил капкан на крота, о котором предупреждал Борбок-Кара, и поймал его.

Пытка нашего предводителя на этот раз была изощренней. Вечером Борбок-Кара спокойно, будто ничего особенного не произошло, спросил Пашу:

— Ты опять не послушался и убил моего крота, так ведь, Паша?

— А ты не видишь?! — усмехнулся Паша. — Сегодня я убил не белого, а серого крота. Не священного. Сегодняшний крот толстый, как и ты.

— Говоришь, на меня похож, да? — улыбнулся Борбок-Кара. — Хочешь, в таком случае, я покажу тебе урок культурных, оч-чень культурных парней?

Метирей и я, даже сам Паша — все мы удивились: какой это урок? Что-то теперь он покажет?..

— А не хочешь ли посмотреть Москву, Паша? — Наш вождь, хитро улыбаясь, уверенно поводя мясистыми плечами, неторопливо подошел к Паше. Наш друг не сдвинулся с места, стоял и ждал. — Ке-ке-ке, Паша, сейчас я покажу тебе Москву! Слыхал, что есть такая, а?

— Покажи! — Паша, конечно, чуял недоброе, но сдаваться не хотел, ответил тверже: — Хочу посмотреть!

Борбок-Кара кинулся на Пашу, схватил его за уши.

— Вот тебе Москва, посмотри! — он приподнял с земли хилого, но цепкого мальчика.

Тот закрыл от боли глаза, мотал головой и хотел вырваться из рук предводителя. Болтая ногами, он случайно ударил меж ног нашего вождя. Борбок-Кара сразу же вскрикнул от боли, отпустил его уши, весь скорчившись, долго катался по земле и стонал. Слезы текли из глаз. Мы стояли рядом — и Паша тоже — и молча смотрели на него.

Я не помню, чтоб после этого между Борбок-Карой и Пашей случались столкновения.

Непонятно нам было одно: где Борбок-Кара научился, сказав: «Хочешь ли посмотреть Москву?» — хватать за уши и поднимать за них человека? Мы долго мучились догадками и наконец спросили самого Борбок-Кару об этом, но он толком ничего не ответил, а вместо объяснения обронил загадочное слово, которое удивило нас еще больше и которое осталось в языке нашего Борбок-Кары на всю жизнь:

— Это по-литика!

С этого момента он всегда — подходило, нет ли — любил вставить: «По-литика».

Что это значило? — мы озадаченно смотрели друг на друга. А через какое-то время нам стало известно...

Однажды Борбок-Кара, чтобы сдать шкурки кротов и

сусликов госторгу, спустился с гор в Ело. Это село находится в десяти километрах от нашего Кайру. Дети, живущие в таких больших селах, как Ело, знают многое. Куда нам до них!

Сдав шкурки и получив за них немного сахара и муки, Борбок-Кара возвращался в Кайру-Бажи. Когда он шел между двух деревень, ему встретились мальчишки из Ело. В те годы был обычай: случайно встретившись, ребятишки двух разных сел должны были помериться силами. Когда Борбок-Кара отказался от состязания, то еловские хитрецы ему предложили:

— Если ты не хочешь драться с нами и бороться, давай мы тебе покажем Москву. Хочешь ли посмотреть, парень из Кайру, Москву?

— Что это значит? — поинтересовался наш вождь.

— Это по-ли-тика, — хором ответили ему шустрые мальчишки из Ело. — Нельзя, друг, вперед объяснять. Вот согласись и скажи нам: «Хочу посмотреть Москву», тогда все поймешь. И эту новую политику покажешь кайрунским ребятам...

Очень интересно стало Борбок-Каре. Перед его глазами встали удивленные лица Паши, Метирея и мое, наверное. Решил он узнать тайну политики.

— Где она, ваша Москва, хочу посмотреть! — заявил Борбок-Кара...

Вот какая она была, политика. А для нас было открытием, что в том самом Ело живут парни умнее и сильнее даже нашего Борбок-Кары. Нет, в далекую страну, называемую Ело, лучше нам не ехать, не показываться перед такими умными мальчишками...

Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара...

Я до сих пор не могу забыть твой железный кол. А сам ты помнишь, какой это был кол?..

Он был четырехгранный, тяжелый и с приплюснутым острием. Ни у кого из нас не было такого железного кола. Мы пользовались деревянными. Копать ими норы кротов и сусликов было мучительно, особенно ранней весной, пока земля была еще мерзлой. Подолы наших рубашек вечно были порванными. Помнишь ли, Борбок-Кара, наши рубашки?.. Мы животами налегали на кол и крутились, чтобы вырыть нору или выкопать корень кандыка. Очень больно было животам. Даже теперь вспоминать об этом горько. Неужели мы тогда не могли найти нужного железа, чтобы сделать для себя хороший, острый кол, как у Борбок-Кары?!

Особенно долго и тяжело было выкапывать деревянным колом корни кандыка. Когда отпадут лепестки цветов кандыка, останется круглая головка — серая, словно отлитая из свинца пуля. Это значит созрел кандык. Съедобный корень его не больше пальца маленького ребенка. Вывернешь землю, оттуда выкатится белый корень. Изредка попадется большой корень. Но все равно не наешься, коль копаешь деревянным колом.

Всюду нужна хитрость. Мы старались точно налечь на колышек ремнем своих штанов. И живот не так болит, и рубашка не рвется. Но если соскользнет колышек с пряжки, то может проткнуть живот. Еще один подходящий способ — подкладывать свои шапки. Так тоже лучше, мягче. Правда, жалко шапку, она портится, рвется. А где взять новую?..

Борбок-Каре хорошо. Он железным колом быстро действует и при копании нор, и при добыче кандыка. Не устает, как мы. Все ему достается куда легче.

— Ох, надоело есть кандык. Хватит! — скажет он громко, чтобы мы завидовали ему. Ляжет на зеленую траву, подставит под жаркое солнце загорелый живот и, тихо отбивая мелодию, будет шлепать по нему ладонями.

— Разреши, Борбок-Кара, я покопаю твоим железным колом? — так мне приходилось много раз обращаться к нему.

А Борбок-Кара медленно повернет голову и, как всегда, скажет:

— Брать — бери, Барыс. Но за это накопаешь мне пригоршню отборных кандыков...

Он мучил нас, как хотел, но и жить тоже учил. Сколько бы он нас ни обманывал, сколько бы ни издевался и ни смеялся над нами, мы все равно от него не отказывались. Верили ему и слушались. Словно нас привязали к нему невидимой веревкой.

Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара... Помнишь, как ты заставил меня драться с Метиреем?

Как это началось?

— Ты хорошо знаешь, Барыс, те две лиственницы, которые в прошлом году вырвал из земли и свалил большой осенний буран? — однажды сказал мне Борбок-Кара.

— Которые? А-а, чуть ниже нашей стоянки? — вспомнил я.

— Да. Точно говоришь. Молодец, помнишь. — Откуда мне было догадаться, какая коварная мыслишка прячется в голове Борбок-Кары. А он продолжал: — Под теми упав-

шими деревьями проторили себе дорогу черные кроты. Сейчас время их гона, они там беспрерывно снуют. Ты не говори ни Метирею, ни Паше, поставь свой капкан. Сам знаешь, черный крот дорого стоит: одна шкурка — рубль двадцать. За это выкопаешь мне всего пригоршню кандыка. Возьми мой железный кол.

Ясно, я обрадовался доброте Борбок-Кары. Пока он лежал под жарким солнцем и грел живот, я быстро накопал ему кандыков и побежал к тем деревцам. И думал по пути: все же какой хороший друг у меня!

Только ведь Борбок-Кара никому не даст зазря ни одной копейки. Оказалось, что он о тропе черных кротов «совершенно секретно» сказал и Метирею. А черный блестящий крот попал в мой капкан.

Метирей летом никогда не носил рубашку. Оттого тело его, особенно спина, было коричнево-черным. Иной раз, мне казалось, он очень походил на быка, копытами рывшего землю: лицо чумазое, на спине и груди полосками и мелкими ручейками грязь и пот. Глаза у Метирея большие. Когда он на что-то сердится, на белках глаз проступают тонкие красноватые прожилки.

— Почему ты поставил свой капкан на то место, где давно стоит мой?! — Метирей шел навстречу мне.

— Нет, это ты поставил на мое место! — не менее грозно наступаю и я. — Тропу черных кротов мне указал Борбок-Кара...

— Он мне сказал! — не уступает Метирей.

— Барыс врет, Метирей, — вдруг громко засмеялся появившийся Борбок-Кара. — Ты, оказывается, великий врун! — обратился он ко мне, потрясенному его коварством. — Я никогда не думал, что ты такой. Тропу кротов я показал только одному Метирею. Барыс тебя обманывает, Метирей.

Почувствовав, что Борбок-Кара его поддерживает, Метирей яростно напал на меня. А почему я должен отступать?.. Тут же дал ему сдачу. Началась ожесточенная драка...

А Барбок-Кара сидел на одной из упавших лиственниц и, подражая алтайскому кайчи — сказителю горлового речитативного пения — и как бы играя на топшуре — музыкальном инструменте, — грязными ладонями хлопал себя по животу и хриплым голосом пел:

— О-о-о-ох, бууй, бууй, буй... Бодаются мой черный и белый быки, о-о-о-ох... Копытят они черную землю, бууй-бууй-буй. О-о-о-ох, из их ноздрей летят брызги красной

крови... О-о-о-ох, что делать, бодаются, бодаются быки... Бууй-бууй, буй, черный бык и белый бык, страшные они, сильные они... Ай-уй, ай-уй, оч-оч, быки сильные мои, хорошие мои... О-о-о-ох!..

Мы дрались под пение Борбок-Кары, злые на него. Но, скажу честно, откуда нам было быть похожими на могучих быков?!.. Просто были мы похожими на двух беспомощных петушков.

Умывая разбитое лицо, я думал: «Неужели ты, Борбок-Кара, не ощущаешь, как проходит время? Не только ты, и мы растем, умнеем и силу набираем. А если мы отомстим тебе, а, Борбок-Кара? Хоть однажды... Пусть пройдет время, немного подожди, дружок. И над твоей лишайной головой грянет однажды возмездие. Тогда поймешь, что такое: «О-о-о-ох, бууй-бууй, буй...» Мы припомним тебе, как смеяться над чужой бедой!»

Летом на актелское стойбище приезжало много людей. В это время весь колхозный скот на альпийских лугах. Через стойбище проходили все пути-дороги пастухов и чабанов, живущих дальше, в других горах и лугах. Когда они двигались к своему джайлау, то нередко даже ночевали у нас. В этом была своя прелесть.

Как бы там ни было, работа доярок связана с молоком. А молоко — это различные молочные продукты. Лето — самое веселое и праздничное время.

В годы моего детства алтайцы могли выпить и немного повеселиться лишь в летнее время. Из молока готовили чегень, или айран, — квашенное наподобие кумыса молоко. Из него варили араку — алтайскую водку. Водки в то время в магазинах почти не было. Употребляли только араку. И это, повторяю, бывало лишь летом, во время большого молока.

Однажды в Актеле ночевал табунщик по имени Яра, пасший колхозных коней в урочище Маргалу. Он был старше нашего предводителя Борбок-Кары. Значит, он был сильнее. Видимо, и храбрее нашего вождя: ведь он далеко в горах один ночует, выполняет ответственную работу. Табунщик — звучит-то как здорово! А наш Борбок-Кара пасет лишь коров. Пасти коров — разве это удел мужчины? Коровьи пастухи не ночуют в глухой и таинственной тайге одни, под кедром. Они всегда возвращаются к вечеру в стойбище. Пастух всегда среди людей.

Яра был немножко косоглазым и с вывернутыми губа-

ми. А конь его был подобен быстрокрылой птице. Таким и должен быть конь настоящего табунщика. Из колхозных коней он выбирал себе самого лучшего. У Яры был конь стальной масти, с подтянутым животом, красивой головой, был конь высоким и тонконогим.

Вечерело. Яра снял седло с коня и повел своего красавца на травянистый луг. Там он привязал его длинным арканом к колу, оставив пастись до утра.

Когда он вел коня, меня вдруг осенила идея: отомстить Борбок-Каре. «Из-за тебя, из-за твоего обмана мы с Метиреем зря дрались, Борбок-Кара. Дождался наконец-то я своего часа. Теперь ты поплачешь», — ликовал я, радовался своей находке. От неожиданной темной мысли даже жарко стало.

Утром, когда все встали, не оказалось на месте коня табунщика Яры. Иноходец исчез. Куда? Конечно, помчался в Маргалу, где табунуют его многочисленные подруги. Извиваясь змеей, следы аркана и коня ушли по пыльной тропинке, к перевалу, откуда вчера спустился Яра. Настоящий табунщик сразу узнает следы своего коня. Яра следопыт, его не проведешь.

Да, но как пешком доберется Яра до Маргалу? У наших матерей-доярок нет коней, чтобы дать Яре. Даже колхозное молоко они возят на быках.

Навьючив на спину седло и потник, Яра — что делать! — ушел пешком. Трудно было идти через горы и перевал пешком, да вдобавок столько дум одолевало в пути: вдруг конь уйдет в сторону, за что-нибудь зацепится арканом и умрет от голода, или намотается аркан на ноги, или упадет конь в пропасть — разные мысли мучили Яру. Как и чем платить за коня колхозу? У Яры волос на голове не хватит, чтобы возместить стоимость такого иноходца...

Уж больше тридцати лет прошло с тех пор, Борбок-Кара, ты не сердись. А впрочем, это дело твое, можешь сердиться. Хотя ты и сам тут виновен. Уроки-то ведь твои, Борбок-Кара. Ты помнишь свою радость и свой смех, когда мы с Метиреем разбивали друг другу носы? А наши синяки и царапины на лицах, а, Борбок-Кара? Ты видел их и хохотал! Как ты пел-кайларил, сидя на упавшей лиственнице, глядя, как мы истязаем друг друга! Или ты забыл об этом? Вот ты и получил: «О-о-о-ох, бууй-бууй, буй...»

...День кончился. Медленно погас огонь в очаге. Людей объял глубокий сон. Я тихо встал с постели, вышел из юрты. Трава на лугу была холодной и сырой. Быстро под-

бежал к коню Яры, отвязал его, махнул рукой: «Иди, ты свободен». Конь, почувствовав волю, легкой рысцой направился в сторону Маргалу. А куда же еще?..

Через несколько дней опять по перевалу, глядим, спускается Яра на своем пританцовывающем аргамаке. От легкого движения иноходца позванивают многочисленные кольца и железяки-безделушки, украшающие сбрую. Вот Яра подъехал к юрте, собирается слезть у коновязи и привязать коня. А я тут как тут!

— Вы, знаете, Яра, — тихо шепчу ему, — но только никому не говорите...

— Ты о чем? — Яра, косыми глазами подозрительно посмотрев на меня, почему-то снял с головы шапку, вытер ею с некрасивого, будто чьими-то сильными пальцами приплюснутого лица пот. — Скажи-ка, о чем я должен никому не говорить?

Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. И все же я стою в нерешительности, молчу, боюсь высказать свою мысль до конца. Видать, Яра что-то почуял и потому, подражая мне, таинственным шепотом спросил:

— Что ты хотел мне сообщить, парень? Клянусь, я никому не скажу!

— Если вы скажете Борбок-Каре, он меня сегодня же убьет, — вынужден был я ему шепнуть.

— Клянусь!

— Я знаю, кто отпустил вашего коня...

— Кто? Скажи-ка, милый? — Яра насторожился. — Умру, никому не скажу, вот! — он быстро надел шапку, указательным пальцем чиркнул по горлу. — Клянусь!.. Кто?

— Борбок-Кара, — выдохнул я.

— Мм-мы! — В косых глазах Яры засверкали мелкие искорки молний. — Мм-мы! Я его сейчас! — Яра повернул коня в сторону загона, где шла вечерняя дойка.

Солнце еще не закатилось. Летом оно всегда уходило как бы нехотя. Вот и сейчас казалось: оно присело на гольцы западной большой горы и наблюдает оттуда за нашим стойбищем. Мне думалось, что солнце жалеет наших матерей, потому и не торопится уходить, ждет, когда они закончат свою работу. При свете дня легче работать. Ведь каждая доярка должна подоить шестнадцать—восемнадцать коров. И каждая хочет закончить дойку дотемна. И доброе солнце понимает это.

Борбок-Кара сейчас возле загона: он всегда в это время помогает дояркам — вовремя пускает к матерям телят,

потом снова их отгоняет. Иначе нельзя. Если с коровой оставить теленка — к утренней дойке в ее вымени не останется ни капли молока.

Я притаился у коновязи, смотрю вслед Яре. Как только он примчался к загону, оттуда раздались крики:

— Эй, Яра, ты сдурел, что ли?

— Что ты делаешь, разольешь молоко!

— Не пьяный ли он, люди?

Яра нашел Борбок-Кару. Я от испуга сжался в комок. Что теперь будет? Наверное, Борбок-Кара убежит от Яры. Может быть, спрячется среди коров или, как белка, полезет на дерево?

— Мм-мы! — зло выстонал Яра и, сидя в седле, белым волосяным чумбуром-поводком ударил по голове Борбок-Кару. — На, получай, змееныш, отпустивший моего коня! — Видать, он озверел. — На, на тебе! — еще и еще раз хлестнул он по пестрой голове нашего предводителя. — Сладко ли, когда мой белый чумбур причесывает твою вшивую голову?

Борбок-Кара обхватил голову руками, присел, скорчившись, там, где его настиг Яра. Сперва я подумал злорадно: «Так тебе и надо!» Но вдруг что-то защемило в груди, заныло в сердце. Я не мог кайларить и буйкать, как Борбок-Кара!.. Сорвался с места и побежал к сердитому табунщику и своему вождю.

— Не бейте, Яра, не бейте его! — кричал я, плача. — Не надо... я... я...

Но табунщик на меня даже не взглянул. Еще раза два или три ударил он нашего предводителя тем же чумбуром по коричневой спине, оставляя следы, похожие на прочерки молний, повернул своего иноходца в сторону дороги, уходящей в деревню, и помчался. Не так далеко отскакав, осадил вдруг коня, повернул искаженное лицо к загону и крикнул:

— Понял теперь, Борбок-Кара, как отпускать коня? Попробуй хоть раз еще поиграть со мной! Мм-мы! — И, не найдя, что еще сказать, он грозно фыркнул и помчался дальше.

Борбок-Кара ни слова не промолвил, лишь, медленно приподняв голову, как-то сбоку взглянул на удаляющегося табунщика острыми, как бритва, полными слез глазами. А на голой спине нашего непобедимого вождя были и до сих пор мне видятся темно-красные следы от ударов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ — о смешном и печальном случае, происшедшем в больнице

Если бы не доктор, моя Ольга Петровна, «Солома волос, ресниц синева», и краешками ушей не услышал бы я об истории, которая произошла с Борбок-Карой в больнице.

В жизни бывает так: близкий тебе человек становится другом твоего приятеля. И тогда не замечаются недостатки, прощаются слабости друг друга. Костер, зажженный твоим приятелем, кажется его новому другу необыкновенно светлым и теплым, слова его, кажется, имеют высокий смысл и мудрость, ибо исходят от друга твоего друга.

Борбок-Кара часто приходил ко мне в шестую палату, мы вспоминали прошлую нашу жизнь, смеялись и печалились. Ольга Петровна начала привыкать к моему приятелю, даже изредка задавала ему вопросы о лекарственных травах. Как-то шутливо назвала его Тибетским Лекарем, и это прозвище понравилось Борбок-Каре.

— Скажите мне, Тибетский Лекарь, — иногда экзаменовала его Ольга Петровна, — почему, например, алтайцы прикладывают к ране листья бадана?

— Бадан хорошо вытягивает яд из раны, — уверенно отвечал Борбок-Кара. — Кроме того, он не прилипает к ране, то есть делает перевязки безболезненными.

— А почему вместо чая заваривают иногда корни пиона?

— Эти корни мы даже в суп кладем. Ничего тут плохого нет, — Борбок-Кара, видно, плохо знает лекарственные свойства этого корня и потому отвечает уклончиво. — Приятный у него запах. К тому же говорят, что корень пиона помогает работе сердца... А скажите мне, Золотой Волос — Алтын-Чач, почему русские любят капустный суп?

Постепенно, в таких вот разговорах и диалогах, между моим доктором и Борбок-Карой установились весьма теплые, приятельские отношения.

— Здравствуйте, Тибетский Лекарь!

Борбок-Кара отвечал непременно шутливым тоном:

— Приветствую вас, Золотой Волос — Алтын-Чач.

— Я только начала привыкать к «Соломе волос, ресниц синеве», — Ольга Петровна улыбалась, показывая красивые белые зубы. — А вы мне дали новое прозвище. Вдруг я потеряюсь среди этих «золотых» имен? Вдруг забуду свое собственное?

— Какие у вас белые зубы, Алтын-Чач! — не удержится Борбок-Кара. — Если бы мне такие зубы, не был бы чабаном, а стал бы именно врачом.

Ольга Петровна от души смеялась. Потом вынимала маленький платочек и осторожно вытирала им уголки своих небесного цвета глаз.

— Вот Барыс ваши волосы сравнивает с соломой, — не унимался Борбок-Кара и качал большой головой. — Разве красоту можно сравнивать с никудышной соломой?!

— Но ведь это не моя выдумка... — начинал оправдываться я.

— Кто бы ни выдумал, все равно не подходит! — останавливал меня жестом Борбок-Кара. — Пусть тебе будет «Солома волос», а для меня Ольга Петровна — Алтын-Чач, Золотой Волос. Это не прозвище, а мое почтительное отношение.

В одну из наших встреч в шестой палате Борбок-Кара пожаловался Ольге Петровне:

— Запах лекарств, мне кажется, проник во все мое тело, Алтын-Чач. Кажется, я начал забывать красивые, свежие запахи тайги, цветов и трав.

— Что-то не пойму, — Ольга Петровна посмотрела на моего друга изучающе. — Не заболели ли вы ностальгией?

— Когда я смотрю вниз, то не могу поднять голову, а когда подыму голову вверх, то не могу посмотреть на землю, — так жаловался он Ольге Петровне на свой радикулит. И тут же, как и раньше — ни с того ни с сего, вдруг задал странный вопрос: — Скажите, Алтын-Чач, может быть, в суставах наших костей тоже имеются зубы, а? Как вы думаете?

Ольга Петровна засмеялась. Наверное, подумала, что это очередная шутка Борбок-Кары. А мой друг, не обратив внимания на смех, сам ответил на свой вопрос:

— В моих суставах, особенно на шее и спине, мне кажется, сидят какие-то щенята. Грызут они меня, живого, день и ночь своими острыми клыками так, что иной раз стоном стонут и плачут мои кости. Мало того, криком кричат от боли.

Слушая друга, я подумал, что так оно и должно было случиться. Ну, подумайте сами, кто с самого детства до сегодняшнего дня столько замерзал, столько выдержал страшных зим Кайру-Бажи, сколько выдержал их Борбок-Кара? Кроме меня, кто его поймет?.. Кто, как Борбок-Кара, с раннего детства трудился, безропотно выполняя самые разные и тяжелые работы?.. Когда теперь я думаю об

этом, то осознаю свою вину перед ним: я охаивал его, писал о нем фельетон, а надо бы орден ему дать! Ему скоро пятьдесят. Но за эти годы он ни разу не побывал на курорте. Вот рядышком Белокуриха — знаменитая здравница Алтая. Туда приезжают со всего белого света. А Борбок-Кара не знает туда дорогу. И никто не пытается указать ему эту дорогу. Он даже порог больницы переступил впервые. Вся его жизнь прошла на стоянках и в горах, вечно в седле, под дождем и снегом, а эти ночи на земле, под каким-нибудь мохнатым кедром? Горы Алтая — дом его, от них и боль его.

— Меня сюда отправил насильно ветеран совхоза, — говорит Борбок-Кара. — Тот самый Диман, который вместе с тобою за тот несчастный случай с овцами чуть ли не сунул меня в тюрьму. Довез сюда на своей легковушке и устроил в этой больнице.

— Не ветеран, а ветеринар, — поправляю я и виновато молчу.

Борбок-Кара никогда бы сюда не приехал из-за какой-то простуды. Дома-то он давно бы уж вылечился: накопал бы корней каких или нарвал полезных листьев с деревьев, растущих в древних горах Кайру-Бажи и Актела, заварил бы как положено — и вольно и счастливо ходил бы уж иль ездил на коне за своими овцами по родной земле, горам и долинам, а не валялся в этой проклятой больнице.

— У меня есть возможность вам помочь, — деловито сказала Ольга Петровна, выслушав жалобы моего друга.— Вам, Тибетский Лекарь, необходим массаж. Хороший массаж помогает и при радикулите, и при остеохондрозе. Я поговорю с вашим лечащим врачом, вам должен помочь массаж...

Борбок Кара вдруг весело улыбнулся:

— Значит, мазаж... Значит, меня, мужчину, как женщину, надо гладить, да? — Не дождавшись ответа, он опять восхитился: — Ох, какие у вас белые зубы, Алтын-Чач, они напоминают белизну кандыка. Знаете, в горах есть такие цветы, а корни их очень похожи на ваши зубы...

— Коль ваши глаза, Тибетский Лекарь, до сих пор замечают красоту женских зубов, жить вам еще сто лет, — засмеялась Ольга Петровна и направилась к двери.

Борбок-Кара крикнул ей вдогонку:

— По-литика, Алтын-Чач!

Через несколько дней в мою палату вбежала возбужденная Ольга Петровна:

— Я вас очень прошу, поговорите со своим другом. Он отказался от водного массажа, да еще как отказался! А ему бы это очень помогло...

...Нашего Борбок-Кару в массажной встретила молоденькая девушка, едва ли не в прошлом году закончившая десятилетку. Как мне рассказывал позднее сам Борбок-Кара, глаза ее были детские и чистые, голубые-голубые. Словно вода того самого безымянного озера в долине Ары-Кем, которое нашел наш предводитель, когда в тех местах пас овец, — безупречной чистоты. Можно все камни пересчитать на дне. Вот какие бывают глаза! А кожа лица какая: белая, первозданной свежести! Сам бог свидетель, говорил Борбок-Кара, совсем ребенок. А походка, движения — летит, словно легонькая бабочка. Нет, не бабочка, а самая нежная и ласковая пташка под ясным небом! Первая снежинка, спустившаяся только что из страны, где, пожалуй, живет один бог.

И вдруг эта бабочка, или пташка, или снежинка — совершенно серьезно говорит Борбок-Каре:

— Раздевайтесь...

Мой друг замешкался. Но что делать, коль надо, — разделся по пояс. А девчонка-массажистка спрашивает:

— Вы что, в ванну в брюках ляжете? Время идет, вода остывает. Раздевайтесь быстро и ложитесь!

Что?! Борбок-Кара не то что раздеваться, наоборот!— скоренько надел свою больничную полосатую курточку — и к двери. Девчонка — к нему:

— Я не собираюсь с вами шутить. Раздевайтесь и ложитесь!

Борбок-Кара наотрез отказался. «Бабочка» полетела жаловаться к лечащему врачу Борбок-Кары, тот — к Ольге Петровне... И вот я слушаю друга и думаю, как все-таки убедить его принять сеансы массажа?

— Разве у них нет мужчины, который может сделать мне мазаж?! — кричит на меня Борбок-Кара, будто во всем виновен я. — Ты зайди в эту комнату — сам увидишь. Говорю тебе, там ребенок сидит, девчонка совсем... «Раздевайтесь...» Куда велишь мне спрятать свою совесть? Я пока не потерял мужское достоинство! — никак не мог успокоиться Борбок-Кара.

Будь что будет, решился я!

— И мне массаж делала эта самая девчонка, — обманул я друга. — Она только с виду молодая, а так она уже врач, специалист, — защищал я медсестру, которую в глаза не видел.

— Мы с тобой разные люди! — не сдавался Борбок-Кара. — У тебя стыда нету. Ты — городской... А я — по-прежнему алтаец. Понимаешь, ал-та-ец!

— Какой ты алтаец и мужчина! — продолжал я хитрить и нарочно сердиться. — Ты, Борбок-Кара, настоящий трус... Дрожишь, увидев женщину. Что она, предлагает тебе в постель с ней ложиться или лечить тебя хочет? Ты же сам выклянчил этот массаж, — задел я его самолюбие. — Вспомни, как подхалимничал перед Ольгой Петровной! А теперь ведешь себя как мальчишка...

— Мне не по душе такая по-литика, — явно сникшим голосом сказал Борбок-Кара и как-то беспомощно посмотрел на меня. Помолчали. Вдруг он спросил: — На самом деле эта девчонка своими руками твои кости гладила, да?

— Гладила! — не моргнул я глазом.

— Ну и как? После ее мазажа утихли боли в суставах или нет?

— Сейчас я разве жалуюсь врачам? Значит, все нормально.

Убедил я его. Вошел с ним в массажную. Там он нехотя, очень стесняясь, разделся и вошел в ванну. А когда начался сам процесс массажа, о боже мой! — неожиданно случилась другая беда. Нет, чего только не увидишь!

Когда медсестра при помощи специального шланга начала делать Борбок-Каре подводный электромассаж, комната чуть не рухнула от страшного, нечеловеческого хохота моего друга. Он, выплескивая из ванны воду, крутился, извивался под шлангом и дико при этом хохотал. Мне никогда до этого не приходилось слышать, чтоб Борбок-Кара так громко смеялся. Прежде смех его был хитроватым и тихим: «Ке-ке-ке, Паша, с каких пор ты привык убивать священных кротов, а?..» Но сегодня с ним что-то стряслось: «Ха-ха-ха!.. го-го-го!.. хо-хо-хо!..»

Медсестра испугалась и выключила аппарат. Но Борбок-Кара не мог остановиться. Он захлебывался от смеха. Наконец в изнеможении утих, лежал в ванне на животе. Медсестра снова включила аппарат, намереваясь продолжить массаж, но едва она поднесла шланг к спине Борбок-Кары, он с воплем и хохотом выскочил из ванны, чуть не сбив с ног массажистку, рванулся к двери и, мокрый и голый, выбежал в коридор. Увидев в коридоре ожидающих своей очереди больных, он опомнился, пулей влетел назад в массажную, лихорадочно стал одеваться. Но теперь начала хохотать медсестра:

— Я вас очень прошу, поговорите со своим другом. Он отказался от водного массажа, да еще как отказался! А ему бы это очень помогло...

...Нашего Борбок-Кару в массажной встретила молоденькая девушка, едва ли не в прошлом году закончившая десятилетку. Как мне рассказывал позднее сам Борбок-Кара, глаза ее были детские и чистые, голубые-голубые. Словно вода того самого безымянного озера в долине Ары-Кем, которое нашел наш предводитель, когда в тех местах пас овец, — безупречной чистоты. Можно все камни пересчитать на дне. Вот какие бывают глаза! А кожа лица какая: белая, первозданной свежести! Сам бог свидетель, говорил Борбок-Кара, совсем ребенок. А походка, движения — летит, словно легонькая бабочка. Нет, не бабочка, а самая нежная и ласковая пташка под ясным небом! Первая снежинка, спустившаяся только что из страны, где, пожалуй, живет один бог.

И вдруг эта бабочка, или пташка, или снежинка — совершенно серьезно говорит Борбок-Каре:

— Раздевайтесь...

Мой друг замешкался. Но что делать, коль надо, — разделся по пояс. А девчонка-массажистка спрашивает:

— Вы что, в ванну в брюках ляжете? Время идет, вода остывает. Раздевайтесь быстро и ложитесь!

Что?! Борбок-Кара не то что раздеваться, наоборот!— скоренько надел свою больничную полосатую курточку — и к двери. Девчонка — к нему:

— Я не собираюсь с вами шутить. Раздевайтесь и ложитесь!

Борбок-Кара наотрез отказался. «Бабочка» полетела жаловаться к лечащему врачу Борбок-Кары, тот — к Ольге Петровне... И вот я слушаю друга и думаю, как все-таки убедить его принять сеансы массажа?

— Разве у них нет мужчины, который может сделать мне мазаж?! — кричит на меня Борбок-Кара, будто во всем виновен я. — Ты зайди в эту комнату — сам увидишь. Говорю тебе, там ребенок сидит, девчонка совсем... «Раздевайтесь...» Куда велишь мне спрятать свою совесть? Я пока не потерял мужское достоинство! — никак не мог успокоиться Борбок-Кара.

Будь что будет, решился я!

— И мне массаж делала эта самая девчонка, — обманул я друга. — Она только с виду молодая, а так она уже врач, специалист, — защищал я медсестру, которую в глаза не видел.

— Мы с тобой разные люди! — не сдавался Борбок-Кара. — У тебя стыда нету. Ты — городской... А я — по-прежнему алтаец. Понимаешь, ал-та-ец!

— Какой ты алтаец и мужчина! — продолжал я хитрить и нарочно сердиться. — Ты, Борбок-Кара, настоящий трус... Дрожишь, увидев женщину. Что она, предлагает тебе в постель с ней ложиться или лечить тебя хочет? Ты же сам выклянчил этот массаж, — задел я его самолюбие. — Вспомни, как подхалимничал перед Ольгой Петровной! А теперь ведешь себя как мальчишка...

— Мне не по душе такая по-литика, — явно сникшим голосом сказал Борбок-Кара и как-то беспомощно посмотрел на меня. Помолчали. Вдруг он спросил: — На самом деле эта девчонка своими руками твои кости гладила, да?

— Гладила! — не моргнул я глазом.

— Ну и как? После ее мазажа утихли боли в суставах или нет?

— Сейчас я разве жалуюсь врачам? Значит, все нормально.

Убедил я его. Вошел с ним в массажную. Там он нехотя, очень стесняясь, разделся и вошел в ванну. А когда начался сам процесс массажа, о боже мой! — неожиданно случилась другая беда. Нет, чего только не увидишь!

Когда медсестра при помощи специального шланга начала делать Борбок-Каре подводный электромассаж, комната чуть не рухнула от страшного, нечеловеческого хохота моего друга. Он, выплескивая из ванны воду, крутился, извивался под шлангом и дико при этом хохотал. Мне никогда до этого не приходилось слышать, чтоб Борбок-Кара так громко смеялся. Прежде смех его был хитроватым и тихим: «Ке-ке-ке, Паша, с каких пор ты привык убивать священных кротов, а?..» Но сегодня с ним что-то стряслось: «Ха-ха-ха!.. го-го-го!.. хо-хо-хо!..»

Медсестра испугалась и выключила аппарат. Но Борбок-Кара не мог остановиться. Он захлебывался от смеха. Наконец в изнеможении утих, лежал в ванне на животе. Медсестра снова включила аппарат, намереваясь продолжить массаж, но едва она поднесла шланг к спине Борбок-Кары, он с воплем и хохотом выскочил из ванны, чуть не сбив с ног массажистку, рванулся к двери и, мокрый и голый, выбежал в коридор. Увидев в коридоре ожидающих своей очереди больных, он опомнился, пулей влетел назад в массажную, лихорадочно стал одеваться. Но теперь начала хохотать медсестра:

— Хи-хи-хи... Ох!.. Мне такой пациент сроду не попадался... Хи-хи-хи... Вам надо сперва нервишки подлечить, а потом сюда... Хи-хи-хи... Мас-са-аж ему... хи-хи-хи...

А у Борбок-Кары будто отнялся язык. Мокрый, он безуспешно пытался поскорее натянуть на себя больничную пижаму. Наконец кое-как оделся, быстро пошел к двери, но неожиданно обернулся к массажистке и показал ей язык. Бедная девчонка покатилась со смеху.

— Чи-чи-чи... Почирикай пока! — передразнил он ее. Тут Борбок-Кара заметил меня, весь передернулся и налетел коршуном: — Смеешься, да, и ты смеешься?! «Гладила»?! «Руками»?! Сейчас я тебя так поглажу!.. Я в суд на вас подам, будет вам тогда «чи-чи-чи»!.. Вы специально издевались надо мной! Я от рождения щекотки боюсь, вы нарочно!..

После этого никто, конечно, не мог затащить Борбок-Кару в массажную комнату. Он так до конца и не поверил, что существует такой метод лечения радикулита и остеохондроза. Думал, что над ним специально решили подшутить. Долго он сердился на меня и Ольгу Петровну. Сердце моего друга и давнего предводителя простило нас только тогда, когда мне удалось однажды уговорить его посмотреть, как другие переносят столь испугавшую его процедуру. Мы вошли с ним в массажную. В той же самой ванне, где недавно «пытали» его самого, спокойнехонько лежал больной, а девчушка-массажистка, та, что «издевалась» над ним, Борбок-Карой, при помощи того же шланга и воды делала больному массаж. Борбок-Кара собственноручно проверил, включен ли аппарат, еще и еще раз недоверчиво посмотрел на больного, на медсестру и, озадаченный, вышел из массажной.

Мы с Ольгой Петровной были прощены. Но уговорить Борбок-Кару принять массаж, думаю, никогда и никому все-таки не удастся.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ — о том, как Борбок-Кара учился выть по-волчьи, какими друзьями были Папай и Ярын, и воспоминания о некоторых других случаях в урочище Кайру-Бажи

Имена двух известных в наших местах охотников Папая и Ярына навеки связаны с охотой на волков, злее и коварнее которых, пожалуй, в наших горах не найти. В те годы, если доходил до нас слух, что кто-то убил волка, то

мы уже знали: это мог сделать только один из них — Папай или Ярын.

Коль все события в этой книге текут совершенно свободно, по вольным руслам, то почему я свой новый рассказ должен начать с волков? Нет, я начну его с поэзии. С поэзии?! С чьей? Очевидно, читатель удивится, если я скажу, что мой рассказ связан с поэзией шотландского поэта Роберта Бернса.

Какая может быть связь между волками, день и ночь рыскающими в лесах и горах Кайру-Бажи, и поэзией Бернса? Да, между поэзией великого шотландца и волками трудно непосвященному перекинуть мост. А он все-таки существует — как невидимая связь между различными землями.

В стиле разговорной речи, в диалогах, особенно в народном юморе разных наций всегда можно найти общую основу. Ведь красота живого слова, краски и запахи земли во многом схожи. К тому же поэзия, если она настоящая, всегда касается вечных тем: любви и человеческой доброты — где бы она ни родилась. Истоки и язык любви, ее характер, хитроватые сплетения ее ситуаций в разные времена и у разных народов зачастую схожи, как бусы на одной нитке.

— Торын, Торын, открой мне дверь!..
— Кто там ко мне стучится?
— Конечно, это я, Торын...
— А кто ты, я не знаю.
— Как можешь не узнать меня?!
— Назад ступай, не знаю.
— Но я Папай, Торын, открой!
— Я двери не открою!
— У двери буду я стоять...
— Ярын приедет ночью.
— Ярын далёко, он в горах...
— Но с гор спуститься можно!
— А спустится — я убегу.
— А если я открою...
— Открой, Торын, ведь это я!

Торын — жена Ярына. А Папай — друг Ярына. Был ли действительно такой диалог — точно не могу утверждать. Может быть, его выдумал какой-нибудь кайрунский шутник. Все возможно. Но наши люди, как только видели, что едет к ним на своем темно-сером коне дед Папай, тут же начинали улыбаться и шептаться меж собой: «Торын, Торын, открой мне дверь», и кто-нибудь непременно отвечал: «Ярын приедет ночью».

Как знать, может быть, между Папаем и Торын в молодости и на самом деле состоялся именно такой разговор, а? Конечно, сам я не мог слышать его, поскольку все они — и дед Папай, и его друг дед Ярын, и тетушка Торын — были уже глубокими стариками, когда я был еще ребенком. Но старцев Папая и Ярына не разлить было водой. Крепкими были они друзьями. Лето ли, зима ли — всегда вместе: ходили на охоту, заготовляли корм для своих коров и лошадей, в работе и в отдыхе — вместе.

Все дети на земле плачут одинаково. Нет разницы между черными и белыми детьми — все улыбаются одинаково мило. Так и поэзия разноязычных, разноплеменных народов нашей многотрудной земли болеет общей болью, радуется, плачет, горюет, проклинает на одном языке — языке чувств. И эта общность удивительна и радостна.

Кто знал в те далекие и тяжелые годы в моем Кайру, что жил и творил на белом свете такой поэт, как Роберт Бернс. О его «Финдлее» не подозревали не то что Папай и Торын, о нем, как и о самом поэте, до недавнего времени не слыхивал и живущий в последней четверти двадцатого столетия Борбок-Кара.

Между английским и алтайским языками нет ничего общего. Но стоит мне прочесть «Финдлея» и вспомнить далекое «Торын, Торын, открой мне дверь», я чувствую единую волю прекрасного искусства, слышу в стихах, созданных на таких разных языках, общую музыку.

«Финдлея» на алтайский язык перевел наш широко известный, но так рано ушедший из жизни поэт Лазарь Кокышев. Сегодня это стихотворение популярно среди алтайской молодежи, особенно оно по душе влюбленным юношам и девушкам. А вот «Торын, Торын, открой мне дверь» в моем родном Кайру помнят разве люди старшего возраста да, возможно, мои ровесники, а больше никто на свете эти стихи не знает...

Как-то в палату ко мне, когда я думал об удивительной общности поэтического языка, пришел Борбок-Кара. Я очень обрадовался ему и, приподнявшись, начал читать «Финдлея» на алтайском языке:

— Кто там стучится в поздний час?
«Конечно, я — Финдлей!»
— Ступай домой. Все спят у нас!
«Не все!» — сказал Финдлей.

Борбок-Кара заулыбался, прошел к стулу, поглаживая короткими пальцами свою густую кудрявую бороду.

Но вдруг он прервал меня:

— Э-э, друг, оказывается, ты забыл ночной разговор деда Папая и тетушки Торын. Неправильно читаешь. Вот послушай меня.

— Торын, Торын, открой мне дверь!..
— Кто там ко мне стучится?
— Конечно, это я, Торын...
— А кто ты, я не знаю...

Он дочитал до конца. Тогда я рассказал Борбок-Каре о Роберте Бернсе и его «Финдлее».

— Так не может быть! — горячо возразил Борбок-Кара. — Не Биндлей, а Торын, Торын должно быть! Это стихотворение нашей земли. — Потом он задумался и неожиданно протянул: — А-а, вспомнил, вспомнил... Помнишь, после войны к нам в Кайру приезжали какие-то иностранцы? Помнишь, один из них снимал на карточку наскальные рисунки?..

— Ну-ну, помню, приезжали. И что?

— По-литика! — Он вскинул указательный палец правой руки и хитровато посмотрел на меня. — Не догадываешься? Услышал этот самый Роберт наше стихотворение — и переделал: «Торын, Торын...» стал «Биндлеем». Это точно, друг! Понимаешь, новая по-литика! — И, понизив голос, прошептал: — Ты, Барыс, этому самому Роберту напиши письмо, а я подпишу. Скажи ему, что стихотворение нашей земли «Торын, Торын...» должно остаться нашим. Зачем нам какой-то Биндлей?

Вот какие бывают странные вещи. В народной поэзии есть своя притягательная сила, вечная и неповторимая. Родиной высокого духа поэзии не обязательно может стать страна древней цивилизации и культуры, ею может оказаться и простой шалаш под кедром в глухой тайге. Великие стихи могут создаваться не только на языке великих, но и малых народов...

Опять зима в Кайру-Бажи. Ядовито-морозные дни февраля.

В один из таких дней наш предводитель возвращался домой радостный и вдохновенный. Пока паслись коровы, он успел осмотреть свои капканы и силки, и теперь за спиной его белел заяц, попавший в его петлю. Как же не радоваться такой удаче! Борбок-Кара привел коров в Кайру-Бажи и вошел в нашу единственную избушку, на-

певая: «Торын, Торын, открой мне дверь!..» Заходит — а возле горящего очага сидит дед Папай. Борбок-Кара осекся, растерялся и с грохотом сбросил со спины замерзшего зайца. А дед Папай ухмыльнулся, оценивающе взглянул на упавшего зайца и подмигнул нашему вождю:

— Пой, Борбок-Кара, ке-ке-ке, почему ты такую хорошую песню прервал? Пой, а я послушаю, ке-ке-ке...

Борбок-Кара испугался. Он подумал, что дед Папай сейчас опять схватит его за уши крепкими, как щипцы, пальцами и будет их крутить. Но Папай в тот день был душою мягок и добр.

— Ну, Борбок-Кара, прошу тебя, спой еще раз. Я буду рад, ты вернешь мою молодость. Как ты сейчас пел? «Торын, Торын, — попробовал запеть старик, — открой мне дверь...» Видишь, нет у меня уже голоса, Борбок-Кара, ке-ке-ке... Где взять, у кого одолжить сильный голос, а, Борбок-Кара?

Как ни упрашивал Папай, побоялся петь наш предводитель.

Старик сменил тему:

— Ке-ке-ке, Борбок Кара, не хочешь ли ты иметь чуткий слух, как у лисы? Согласишься — научу...

— Если стану чутким, как лиса, плохо буду спать, — отказался Борбок-Кара. — Ночью, как только завоют волки, проснусь.

— Тогда хочешь быть быстроногим, как заяц?

— Хочу, — согласился тут же наш вождь и друг. — Тогда бы на зверей я петли не ставил, а просто догонял бы и ловил их.

— Вот принесу тебе хорошие лыжи, Борбок-Кара, тогда с горы на гору будешь летать, как крылатая птица. Легко будет на охоту ходить. А хочешь научиться выть по-волчьи, Борбок-Кара?

— Если я завою, как настоящий волк, то испугаю своих коров и они побегут куда глаза глядят, — отказался Борбок-Кара. — Не хочу быть волком.

— Однако ошибаешься, — поправил его дед Папай. — Знаешь, в чем хитрость? Какой сейчас месяц?

— Кочкор — февраль...

— В месяце кочкоре каждый охотник должен уметь по-волчьи выть.

Куда клонит он свой разговор, что хочет сказать? Пока Борбок-Кара думал и сомневался, дед Папай серьезно объяснил:

— Месяц кочкор — это гон волков, Борбок-Кара. —

В старческих глазах деда Папая сверкнули искры молодости. — Ты знаешь, Борбок-Кара, теперь волки на своем языке примерно такую же песню поют, как «Торын, Торын, открой мне дверь», и ищут друг друга. Дружат, в любовь играют. Понял теперь? Я тебя, молодого охотника, хочу научить петь на волчьем языке. «Торын, Торын, открой мне дверь...» Как ты смотришь на это? Волчица ждет волка, а волк — волчицу: начался их свадебный месяц! Научишься выть, Борбок-Кара, выбежавшего волка или волчицу встретишь меткой пулей. А пристрелишь волка, сам знаешь, Борбок-Кара, колхоз даст целого барана, будешь всегда сытым...

— Научите меня! — Борбок-Кара подошел к деду Папаю, забыв свой страх. — Я хочу выть волком...

— Ке-ке-ке, ведь я знал, знал, — старик весело заулыбался.

Позже выяснилось, что с годами начал потухать прежний голос охотника Папая, и он, подражая волкам, долго и протяжно выть уже не мог. Воздуха не хватало. И вот поэтому, когда в феврале начался гон, он взял с собой Борбок-Кару — молодой воет, старый и опытный наготове держит ружье.

Уже летом, охотясь за кротами и сусликами в Актеле, мы однажды сильно испугались. Всех бросило в жар, волосы дыбом встали...

Загустели над землей вечерние сумерки. Мы — Метирей, Паша и я — подошли к юрте, где ночевали, и вдруг услышали странный звук. Мы, как по команде, остановились. Что такое?.. Глядя друг на друга, мы стояли ни живые ни мертвые.

Первым догадался Паша:

— Это — волк. Волк воет!

— В юрте! — с ужасом добавил Метирей.

— Наелся мяса наших кротов и... — я не успел дальше ничего сказать, ибо в это время волк завыл еще страшнее.

Мы, обезумев, полезли на дерево, растущее поблизости. Хотя и интуитивно, но поступили верно: если бы побежали, то волк бы нас догнал.

И вдруг из юрты вместо волка с веселым смехом выскочил Борбок-Кара...

Так мы сами убедились, что Борбок-Кара здорово умеет подражать волку. Настоящий волк. От его воя сначала бросит в жар, а потом — в холодный пот.

...Сегодня я спросил у Борбок-Кары:

— В каком месяце волчица приносит волчат?

— Как и собака — через три месяца после гона. В конце апреля.

— А как различить следы волка и волчицы?

— Вот какая по-литика тебя заинтересовала, а? Эй, мой друг Барыс, — продолжает он тоном учителя и упрекает, — коль ты считаешь себя писателем, надо и это знать. Самец всегда бывает красивее и больше. Взгляни на маралов — что стóят одни их рога! Солнце и луна на них сияют. Возьми птиц. Например, глухарей. Глухарь — в черном бархате, крылья широкие, на крыльях утром сверкает солнце! А самки их — тусклого цвета, серые и небольшие...

Ведь я у него спросил лишь о том, как отличить следы волка и волчицы. А он затеял целую лекцию о других зверях и птицах. Такова у него манера — сразу не ответит.

— А петухов возьми, — развивает Борбок-Кара свою мысль, — какие у них гребни, а вид каков, а поступь?! А курочку, такую важную и красивую, ты видел когда-нибудь?

— Но ведь следы волков не говорят о их красоте?

— Как не говорят?! Кто тебе сказал?— возмутился мой друг. — Ты внимательно посмотри свежим утром, особенно после небольшого снега: где ступал волк — следы тяжеловатые, большие, кругообразные. А у волчицы — какие-то щупленькие, легонькие...

В то далекое время в наших местах много развелось волков. В апреле почти все люди выходили на охоту. По утрам, после снега, искали следы самок, чтобы найти логово, где они ощенились.

— Не только человек нежно и ласково относится к своим детенышам, — рассказывает Борбок-Кара. — Ощенившаяся волчица теряет покой в поисках еды для своих волчат. Промышлять уходит с раннего утра. Чуть свет — и охотнику надо быть на ногах. — Борбок-Кара рассказывает о волчьих повадках спокойно, обстоятельно. Но вдруг, как это часто с ним бывает, он меняет ход беседы, становится резким: — Нет, хуже и злее человека не бывает на земле никого. Ведь и у волка есть сердце, — неожиданно озлился он, — ведь и у волчицы есть боль, и жизнь есть и смерть!.. А люди — сами что хищники... Помогая деду Папаю, я много раз выл волком. Весною мы выслеживали волчиц, безжалостно разоряли логова, убивая волчат. Не оттого ли сейчас я все чаще стал болеть и мучиться? Может, это проклятья волков?..

Мы молчим. Каждый из нас задумался, видать, о своем. Трагедия волка и человека... Есть между ними какая-то связь и в то же время бездонная пропасть. Может быть, во всем этом отразились беды и тревоги времени?..

— А помнишь, Барыс, какая интересная по-литика случилась у меня с дедом Папаем? — первым нарушил молчание Борбок-Кара.

— В то время много было «политики» в Кайру, — отвечаю ему, — какую из них ты имеешь в виду — откуда мне знать.

— А припомни-ка мою охоту с дедом Папаем и дедом Ярына...

Мотор машины моих воспоминаний снова зарокотал.

...Где-то далеко смутно начало белеть лицо февральского утра. На восточной стороне лесистой горы завыл волк. Услышав его, дед Папай медленно приложил ладони ко рту и, подражая волку, завыл в ответ.

— Пока волк находится далеко, не поймет подделки, — объяснил охотник своему молодому помощнику. — Попробуй выть, подражая мне.

Борбок-Кара вдохнул холодный февральский воздух, взвыл и нерешительно посмотрел на Папая.

— Ничего, ке-ке-ке, Борбок-Кара. — Папай одобрительно, чтобы сильно не шуметь, тихонько засмеялся. — Научишься и привыкнешь, Борбок-Кара, давай еще раз... Вот так. Еще, еще чуть-чуть затягивай голос, а под конец снизь до хрипоты...

Потом, показывая, завыл волком сам Папай. Вслед за ним опять Борбок-Кара. Они выли поочередно. Тихо, без лишнего шума двигались вперед, прячась то за дерево, то за куст, часто прислушиваясь: не послышится ли хруст мерзлого снега. Иногда кто-то из них осторожно поднимался на пенек или на кучу валежника, чтобы посмотреть, не показался ли волк. Нет, волк пока далеко. Он воем отозвался откуда-то издали. Борбок-Кара ответил ему. Прислушались. Бегут минуты. Волк завыл гораздо ближе. Папай остановил Борбок-Кару, а сам, закрыв рукавом своей большой и мохнатой шубы рот и нос, как-то глухо и таинственно завыл.

— Посмотри, как надо, — шепотом учит он Борбок-Кару. — Прикрываешь рот — и волку трудно узнать человеческий голос.

Чувствуется, что волк где-то совсем рядом. Теперь надо смотреть в оба: серый выскочит скоро и неожиданно.

Папай замер. Наготове держит ружье, следит и ожидает. Но признаков какого-либо движения нет.

Горы в тишине. Вокруг лишь снега да леса. За все время, пока поджидали волка, ни Папай, ни Борбок-Кара даже не взглянули на небо. Оказывается, уже настало утро. Но до первых лучей солнца еще есть время. Тишина. Легкий ветерок гуляет по снегу. Время идет, терпения у кого больше?

Вдруг совсем рядом коротко взвизгнул волк. Не может, наверное, больше ждать. Папай погрозил пальцем Борбок-Каре, чтобы тот стоял тихо, не скрипел снегом.

И опять в лесу тишина. Чувствуется холод утреннего ветерка. Небо, постепенно освобождаясь от сумерек, становится все больше. Любой шорох и шум в такое утро удивительно хорошо слышится. Вдруг охотники услышали, что где-то совсем рядом сломался с громким треском сучок под чьей-то ногой. Вот шебаршит зимний снег, вот чье-то тяжелое дыхание...

Охотники переглянулись и взяли ружья на изготовку.

Вот тебе сюрприз! Борбок-Кара отчетливо увидел впереди себя, шагах в пятнадцати, человека в большой алтайской шубе. Он медленно и осторожно взбирался на лежащий под снегом огромный валежник, ружье наготове держит и так же, как Папай, рукав шубы поднес ко рту, запрокинул лицо к небу и завыл по-волчьи.

— Ке-ке-ке, — вдруг глухо засмеялся дед Папай. — Ке-ке-ке, это ты, Ярын?! Тфук!.. Вот встреча так встреча!

— Ба!.. А это, оказывается, ты, Папай?! Хи-хи-хи...

Так вот в горах встретились два охотника и смеялись чуть не до обморока.

— Откуда ты пришел, Ярын?
— Спустился с гор Кайру.
— Что ты в пути нашел, Ярын?
— Нашел я хлеб, Папай.
— А где тот хлеб теперь, Ярын?
— Его съел волк, Папай...
— А где твой волк, скажи, Ярын?
— Он спрятался в кустах.
— Остались где кусты, Ярын?
— Пожар их съел, Папай.
— А где пожар, мой друг Ярын?
— Под снегом он, Папай.
— А где тот снег, скажи, Ярын?
— Под лыжами, Папай...
— А лыжи где, мой друг Ярын?
— Охотник их надел.
— А где охотник тот, Ярын?
— Он волком тебе выл!

Примерно такой шутливый диалог вели два знаменитых охотника. Наконец они обратили внимание на стоящего рядом Борбок-Кару.

— Знай, наш ученик, что только хорошие охотники так могут встретиться, — сказали они ему.

— Ты, Ярын, услышав мой голос, действительно подумал, что это настоящий волк?

— А ты тоже так думал, да, Папай?

— Да, Ярын, ты умеешь выть, как настоящий волк!

— И ты, Папай, точно умеешь подражать этому жадюге! А ты вот, Борбок-Кара, если хочешь быть настоящим охотником, то научись выть, как мы с Папаем, — сказал дед Ярын.

— Он уже научился, — похвалил Папай своего ученика. — Может быть, Ярын мне не верит? А ну, покажи-ка, как умеешь выть...

— Интересная была по-литика, — подытожил наше воспоминание Борбок-Кара, и хотите — верьте, хотите — не верьте, но я сам не ожидал того, что случилось в следующую минуту: Борбок-Кара, видно, забыл, что сидит в больничной палате, чуть прикрыв рот ладонями, запрокинул бородатое лицо к потолку и начал выть: — А-а-у-у-у... Ах-х-х-у-у-у... Ах-н-х-у...

Бог ты мой! Смотрю — возле дверей палаты уже толпятся больные, к палате спешат врачи, медсестры. На лицах людей ужас! А мой Борбок-Кара, не обращая на них внимания, так же запрокинув лицо к потолку, воет:

— А-а-а-у-у-у... Ах-н-уу...

Кто слышал этот страшный вой, конечно, думали, что он сошел с ума. Ведь с больным, раз уж он находится на лечении, что угодно может случиться. Но нет, все было в порядке. Просто он сидел и рассказывал об охотниках. Вспоминая прошлое, развеселился и решил продемонстрировать свое мастерство. Но объяснить и доказать это всем оказалось нелегко. Хорошо, что в больнице был хоть один человек, который знал нас и нам верил. Если бы не Ольга Петровна, моего друга могли перевести в психиатрическое отделение.

Еще раз спасибо, Ольга Петровна — «Солома волос, ресниц синева!» И от имени моего друга и вождя нашего детства говорю: «Спасибо, Алтын-Чач — Золотой Волос!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ —
о том, как молния любви поразила сердце Борбок-Кары, и о первых послевоенных днях на нашем летнем стойбище

С быстротою птицы летели над нами времена года. Лето — зима, зима — лето... Мы взрослели. Незаметно пришла к нам любовь. Большая и мучительная беда прежде всего свалилась на Борбок-Кару. Он был старше нас и взглянул на высокое солнце до нашего рождения. А раз так, то и красота девушек и молодых женщин открылась его холодновато-черным глазам гораздо раньше, чем нам. От этого глаза Борбок-Кары потеплели, смутная тень неизведанной любви изменила их.

Наверное, все живое на земле начинается с любви, этого великого и очень болевого чувства. Чье сердце помнит любовь, тот навсегда лишится покоя. Такое сердце не будет знать, что значит лень. Любовь все подчиняет своей воле. Ничего она не боится. Лучших друзей и близких родственников она может сделать врагами, а вчерашних врагов примирить. От воли любви зависит многое на этом свете.

Тут стоит еще раз вспомнить того самого табунщика, который белым чумбуром бил Борбок-Кару по голове и голой спине. Ведь впоследствии любовь сделала родственниками Яру и Борбок-Кару. Как это произошло, пока не буду говорить. Лишь намекну: это связано с Аткыром — братом нашего предводителя. А в первой любви Аткыра и самого Борбок-Кары, мне думается, есть тайна судьбы. Нет, не буду опережать время. Сначала расскажу о первой любви Борбок-Кары.

В один из погожих летних дней наш вождь и друг удивил нас всех — Пашу, Метирея, меня и своего братишку Аткыра. Аткыр до недавнего времени был прикован к постели и потому с нами вместе никуда не ходил. Теперь же он поднялся на ноги и стал всюду бегать за своим старшим братом.

Борбок-Кара привел нас всех... к Бай-Тыту — Священному дереву, которое красуется чуть ниже нашей летней стоянки. Оно отличается от всех деревьев вокруг него. Другие лиственницы — обычные, с редкими сучьями, зелеными иглами. Священное дерево не такое, Бай-Тыт — это ветвистое и большое дерево. Оно похоже на темно-голубой кедр, с кучковатыми и густыми ветками. И стоит оно на видном месте, на темени небольшого и чистого холмика. Другие лиственницы, будто боясь Бай-Тыта, стоят чуть поодаль.

Стоят вокруг как часовые. Может быть, иногда приходит мне на ум, у природы тоже есть свой тайный язык и закон чинопочитания...

Бай-Тыт — Священное дерево... Понимаете ли вы, в какое место нас привел Борбок-Кара? Ведь это, как считают алтайцы, святое место. Не знаю, специально ли это сделал наш предводитель, а может, его привел сюда рок самой судьбы?..

Любовь — сладкая и горькая боль. Жить с ней одному очень трудно. Перед другими открыть высокую боль этого чувства еще тяжелее...

У Бай-Тыта Борбок-Кара задал нам удивительный вопрос:

— Как вы думаете, если с сегодняшнего дня назову я себя не Борбок-Карой, а Максымом?

— Максым?! Это что за слово? — спросили мы.

— Разве вы забыли того солдата, который возвращался с фронта домой, в Оймонский край, и ночевал на нашей стоянке? Помните, какие у него были сапоги? Красные и до блеска начищенные. — Борбок-Кара с какой-то надеждой и ожиданием смотрел на каждого из нас. Мы не знали, что ему ответить, а он объяснил: — Того солдата звали Максымом. Ох, как красиво плясал он, солдат из Оймона...

— Максым — это имя оймонского человека, — вступил в разговор Аткыр. — Такого имени в наших местах нет.

— Ох, — тяжело выдохнул Борбок-Кара и посмотрел на нас опять вопросительно. — Ох, братцы, если вы не понимаете, то открою вам свою великую тайну...

...Солдат, возвращавшихся с фронта, мы увидели недавно и только стали к ним привыкать. На гимнастерках солдат сверкали ордена и медали. Кончилась великая и кровавая война, которая много лет шла где-то далеко от нас, там, куда уходит солнце. Люди стали больше петь, смеяться, рассказывать веселое, смешное, даже араку, которую до этого почти не употребляли, стали пить чаще. Действительно, мир вокруг нас с каждым днем становился светлее, шире и вольнее, а лица людей — улыбчивее и добрее. Люди будто стали выше ростом, быстрее и легче стали ходить и двигаться. Мы, дети, открывали для себя мир. Раньше мы думали, что все люди на земле разговаривают только на одном алтайском да изредка на русском языках, поскольку нигде, кроме как на летнем и зимнем стойбищах, не были, заезжали чужие к нам редко. Мы и знать не зна-

ли о существовании различных народов, языков, религий. Слышали лишь, что где-то есть немцы-фашисты, которые убивают наших отцов и братьев. Теперь же ехали через тайгу к себе домой фронтовики...

...Итак, такое собрание у Священного дерева — нашей Мекки... Конечно, тогда никто из нас и не подозревал, что на свете существует страна, называемая Саудовской Аравией, и там находится город Мекка — священный город мусульман и место их паломничества. Нет, тогда мы этого не знали... У нас было свое Священное дерево.

— Максым, — тихо сказал Борбок-Кара, — это... это красиво. — Мы молчали. — Красиво звучит — Максым... — Он опять выжидательно посмотрел на нас. Мы не понимали, почему он хочет стать Максымом. — Когда он плясал здесь, то у Чомый, которая пришла к нам с верхней стоянки, глаза сверкали, таяли, как две льдинки под горячим солнцем...

— Какая Чомый? — вдруг вырвалось у меня. — Пасет телят на верхней ферме, да?

— Другой Чомый быть не может! — рассердился Борбок-Кара. — Раз навсегда запомни, на всей земле нет никакой другой Чомый! Только она — дочь чернобородого Карамая, которая пасет телят на верхней стоянке, — глаза Борбок-Кары тоже сверкали, как льдинки на солнце.

Летом в Актеле находились всегда два гурта колхозных коров. Поэтому и стоянок было две. На нижней старшей дояркой была моя мама, на верхней стоянке, где жила и пасла телят Чомый, старшей дояркой работала очень высокая и похожая на мужчину Шурбала — старшая сестра Чомый.

— У этой Чомый еще сестра есть младшая. Чергий, — вспомнил Паша, но наш предводитель и слышать не хотел никаких новых имен.

— Я вам говорю не о какой-то там Чергий, а о красавице Чомый, — почти прошептал Борбок-Кара. — Кто-нибудь из вас заметил, какие у нее глаза?.. Чистые, как смородинки, обмытые дождем. Ни у кого таких глаз нет! О мои смородинки!.. — шепотом простонал Борбок-Кара, прикрыв глаза и словно забыв о нас.

— Нет, имя Максым тебе не подходит! — вдруг сказал Метирей. — Я не согласен.

— Имя Максым на тебя не похоже, — поддержал Метирея Аткыр. — Если хочешь быть моим братом, то оставайся Борбок-Карой. Ты похож на Борбок-Кару, больше ни на кого... Все мы к тебе и твоему имени привыкли.

— И правда, что это такое — Максым?! — поддержал я своих друзей. — Нет, оставайся собой. Борбок-Кара лучше звучит...

И вдруг Аткыр сказал:

— Нет, ребята, Чергий намного красивее! Чергий... звучит-то как, а?!

Но наш предводитель жестко прервал своего братишку:

— Я вам еще раз повторяю, мои мысли заняты Чомый. — Неожиданно он указательным пальцем правой руки ткнул напротив сердца и, едва не плача, заорал: — Вот тут!.. Тут горит, понятно вам всем? Э-х, куда вам понять!

— Борбок-Кара, в таком случае... — раскрыл было я рот, но он сердито прервал:

— Запомни, теперь я вам не Борбок-Кара, а Максым!

— Раз ты решил быть Максымом, то где возьмешь такие же красные сапоги, как у оймонского солдата? — заинтересовался Метирей.

— Красные сапоги?! — явно замешкался Борбок-Кара, глядя на свои голые ноги. Он нерешительно поднял глаза на Метирея. — Говоришь, красные сапоги... — он долго стоял и задумчиво смотрел на свои обмытые росами трав голые ступни. Через какое-то время лицо его просияло. — Откуда возьмутся красные сапоги?.. — Он с хитрецой посмотрел на нас. — Скоро я снова поеду в страну Ело, сдам шкурки сусликов и кротов... По-литика!

— Какая политика? Объясни, — сказал Аткыр. — А то наябедничаю матери, будешь знать...

— Матери?! Тогда я задушу тебя, горбун! — погрозил Борбок-Кара братишке.

Если бы кто-нибудь из нас назвал Аткыра горбуном, досталось бы тому от Борбок-Кары. Защищая своего братишку, он сам мог любого сделать горбуном.

— Что ты сделаешь в Ело? — вернул Паша Борбок-Кару к прерванной мысли.

— Продам шкурки госторгу, получу деньги и куплю себе красные сапоги, — удивил нас своей находчивостью наш предводитель. — А если в еловской лавке не будет красных сапог, поеду еще дальше. Знаете, какая лежит за Ело страна?

— Какая?

— За страной Ело не знаете, какая страна?

Борбок-Кара решил похвастаться, что знает много стран. А страной мы тогда представляли себе любое село или колхоз, которые находились в каких-нибудь десяти километрах от нашего Кайру.

— По-литика, секрет! — Борбок-Кара хитро подмигнул. — Дальше дорога приведет меня в страну Кенгу! Там можно найти все что угодно. В Кенгу я могу купить не только красные сапоги, но и красную рубашку. Вот увидите...

Мы стояли разинув рты, пораженные словами Борбок-Кары. Конечно, у нашего предводителя шкурок больше всех, и мы верили, что он сделает, как сказал. Но... Красные сапоги и еще красная рубашка — одному человеку?! Наше воображение не могло представить такое богатство...

— Вот тогда ты станешь настоящим Максымом, — первым согласился Паша.

— А там, в стране Кенгу, о которой ты говоришь, разве идет война? — поинтересовался я, предполагая, что красивую новую одежду можно приобрести только там, где идет война. Ведь солдаты, возвращавшиеся с войны, были очень красиво одеты: у каждого из них сапоги, галифе, высокая фуражка, еще гимнастерка с орденами и медалями...

Когда мы задали Борбок-Каре вопрос о красных сапогах, он будто оказался на лесной тропинке, по которой ни разу не ходил. А теперь, когда ответил, он словно вышел на просторную и ясную дорогу.

Не удостоив меня ответом, наш предводитель объявил:

— Один важный вопрос решил. Остается еще одна тайна.

Мы ждем. Замерли.

— Во-первых, вы никому не должны говорить о нашем разговоре, — приказал он. — По-литика, секрет! Дайте мне клятву, что все будет шито-крыто...

— Клянемся!

— Во-вторых, — Борбок-Кара пальцем указал на Пашу, — сегодня ты пойдешь со мной на верхнюю ферму. Не доходя до юрты, я останусь. А ты найдешь Чомый и скажешь ей так: тебя ждет Максым. Скажешь: пойдем вместе. Но только никто ничего не должен заметить. Особенно об этом не должна знать Шурбала. Ясно?..

— Может быть, ее позвать через Чергий? — подал новую идею Метирей.

— Нет, нельзя, — сказал наш вождь. — Вдруг Чергий шепнет Шурбале?.. Нет, не подходит.

— Но ты ведь еще не Максым? — не соглашался Аткыр.

— Никаких разговоров, теперь я — Максым! — приказным тоном сказал Борбок-Кара. — Оторву, однако, тебе уши... — пригрозил он.

Как Паша первый раз уговорил и привел Чомый к Бор-

бок-Каре, никто не знает. Но потом мы много раз сами были свидетелями, как встречались Борбок-Кара и Чомый.

Мы часто провожали нашего друга на верхнюю ферму. Бывало и так: Чомый выходила пораньше и ждала своего возлюбленного пониже юрты доярок, среди густых зарослей. Не догадываясь, что она тут, мы не раз проходили мимо. Чомый выскочит из-за дерева и позовет тихонько:

— Эй, Максым, я тут!

Ее тень на миг мелькнет под ясной луной и тут же скроется за деревом.

Борбок-Кара, услышав любимый голос, взволнованно приказывал нам:

— Не шуршите тут, как мыши, сухой травой, а лучше — уходите!

Нам неохота было уходить. Но Борбок-Кара неумолим:

— Кому сказал?! Уходите!

Что поделаешь — командир есть командир. Мы нехотя поворачивали домой, на нижнюю стоянку. Но однажды Паша, самый сообразительный среди нас, сказал:

— А давайте подкрадемся к ним и посмотрим, что они там делают, а?

Мы, как ночные воры, тихо подползли к валежнику, на котором сидели наши влюбленные, и стали вслушиваться.

— Ты самый красивый мой теленочек!.. — разобрали мы жаркий шепот Борбок-Кары. — Самое чистое и белое молоко мое...

«О каком теленке они говорят?» — уставился на меня Метирей.

— Может, Чомый ему молоко приносит? — еле слышно спросил я друзей, сам ничего не поняв в подслушанном разговоре.

— Молчи, бестолочь! — шикнул на меня Паша. — Это любовные слова!

Мы опять прислушались.

— Ты мое сладкое зернышко в самом большом кедровом орешке...

Мы переглянулись и прыснули.

Влюбленные вскочили, как ужаленные.

— Убирайтесь немедленно! — зашипел наш командир. — Я вам завтра покажу!

Мы бросились, спотыкаясь в темноте, в сторону дома. Но любопытство так нас разбирало, страсть как интересно было послушать еще — мы, пошептавшись, решили вернуться.

И вот шепот Борбок-Кары вновь обжег краешки ушей:

— Знаешь, Чомый, я скоро приду к тебе в красной рубашке!

— А где ты ее возьмешь?

— Если хочешь, я и тебе принесу красную рубашку. Я знаю, где купить...

Нет, какими мы тогда глупыми были! Выскочив из-за кустов, гордясь, что знаем такую большую тайну, мы в три голоса выпалили:

— Борбок-Кара привезет эти вещи из страны Кенгу, Чомый!

Пока наш предводитель искал, чем бы запустить в нас, нас и след простыл...

...Как порою близко соседствуют горе и радость! Еще недавно в нашем Кайру не было человека несчастней тетушки Тудар — матери повесившегося Текемея, а сразу после войны выпало ей счастье, какое не узнала ни одна из наших матерей.

Кроме Текемея, были у тетушки Тудар еще два сына. Они, как и отец их, давно ушли на войну. Тетушка Тудар была старше всех в стойбище. Наши матери помогали ей, жалели ее, несмотря на то что она жестоко относилась к сыну Текемею. А мы, дети, не могли этого понять: мы не знали, почему тетушка Тудар была так сурова с сыном.

Она была похожа на всех тутошних доярок, только слабее. Правая рука ее плохо двигалась, поэтому ей старались не давать тяжелую работу: сено она не косила, возить молоко ее не заставляли. В зимнее время мать запрещала ей ездить за сеном.

— Пусть тетушка Тудар останется дома, присматривает за нашими детьми, — не один раз говорила моя мать.

— Спасибо, за детьми следит, — соглашались доярки.

А Тудар, оставшись с нами, в зимние дни любила сидеть у единственного окна нашей старой избушки. Она целыми днями занималась шитьем и ремонтом: ставила заплатки на наши старые, порванные шубейки, чинила обутки доярок, своих подруг.

Сидя у подслеповатого окна, она иногда тянула тоскливую мелодию:

Звонким голосом птица кукушка
Споет ли опять будущим летом?
На войне оставшись живыми,
Вернутся ли летом мои сыновья?

Потом, тихо шмыгая носом, она горько плакала. А мы, не до конца понимая причину ее слез, очень ее жалели и старались сделать ей что-то приятное:

— Тетушка Тудар, может, пойти пособирать щепки?

— Давайте затопим печь, пусть будет тепло, тетушка Тудар?

Она переставала плакать и говорила ласково:

— Разожгите, дети, печь, а я заварю вам чай.

Пока мы носили дрова, она сидела на том же месте у окна, задумчивая, и плакала уже молча. Увидев, что дров достаточно, она, украдкой вытерев лицо рукавом старой шубы, тяжело поднималась, чтобы поставить чай.

— Тетушка Тудар, когда с нами, всегда плачет, — много раз я сообщал своей матери.

— Пусть поплачет, — говорила мать, — вы ей не мешайте...

Только позже, когда подрос, я узнал, что на фронте погибли муж и старший сын тетушки Тудар. О похоронках нам тогда никто не объявлял. А от среднего сына Токтона тетушка Тудар до самого конца войны не получала никаких вестей. И потому оплакивала его тоже.

Но однажды... в один из самых прекрасных дней середины лета в Актел вернулся Токтон. Я никогда не забуду его встречу с тетушкой Тудар.

Увидев сына, мать рванулась к нему, но тут же остановилась, впившись глазами в его пустой рукав.

— Что случилось, сынок? — крикнула она. — Ты жив?! — медленно подошла к сыну, упала ему на грудь.

Остальные женщины от неожиданности тоже растерялись, стояли молча, смотрели на тетушку Тудар и Токтона.

В следующее мгновение мать отстранилась от сына, снова посмотрела ему в лицо, перевела взгляд на пустой рукав и опять, горько вскрикнув, упала лицом на грудь Токтона.

— Ты, оказывается, жив? — почему-то стала она упрекать сына. — Почему ты не писал, что живой, почему? Если бы я знала, что ты живой... — И тут она произнесла непостижимые для нашего ума слова: — Текемей сейчас тоже был бы жив! Ой, ой, дорогой мой сынок, балам, Текемей, Текемей, что я натворила, что я наделала!..

Невозможно было понять: почему, обвиняя себя в смерти Текемея, тетушка Тудар обвиняет и Токтона? И почему его, Текемея, жизнь зависела от жизни Токтона?

— О великий кудай-бог и люди добрые, — причитала мать, снова уткнувшись в гимнастерку солдата, — посмот-

рите на сына моего, разве я родила такого?.. Где, мой сын, твоя рука?! — Она подняла с груди сына свою седую голову. — Проклятые бесхвостые волки живьем съели твою руку!..

Я хорошо помню, что Токтон тогда не проронил ни слова. Он словно действительно был виноват перед матерью...

Только повзрослев, я узнал, что алтайцы в годы несчастий и бедствий стараются спасти своих детей... своего рода наказанием. Так, новорожденному в такое время дают плохое имя, чтобы подземный злой бог Эрлик не унес его к себе. Осталась верна этому древнему обычаю и тетушка Тудар. Она сказала своим подругам:

— Я очень любила своих старших детей и была с ними чрезмерно ласкова. Потому, видать, они погибли в стране немецкого хана. Пусть хоть мой последний сын, Текемей, останется живым. Я буду теперь к нему жестокой.

Наши матери не осудили ее за такое решение, а лишь тихо шептались между собой, жалея старую мать...

...Токтон стоял перед матерью, склонив голову. Фуражку свою он держал под мышкой единственной левой рукой. Пустой рукав гимнастерки был засунут под ремень. Черные волосы Токтона красиво блестели под лучами летнего солнца. За спиной его висел солдатский вещевой мешок. Сапоги были обыкновенными, а не красными, как у оймонского солдата. А галифе такие же зеленые. Зато медалей и орденов на его груди было больше, чем у Максыма. Так и должно быть. Ведь солдат-то не оймонский, а из нашего Кайру!.. Награды и пуговицы ослепительно сверкали на солнце, радуя нас, детей.

— ...Отца и старшего брата эти кровавые собаки съели... — плакала мать перед сыном. Она вынула откуда-то из-за пазухи пожелтевшие, со следами слез листки. — Вот черная бумага про их смерть... — Она подала листки сыну, тот, не разворачивая и не читая, положил их в карман галифе. — Дали бы мне железные вилы, этим фашистам распорола бы животы!.. Хорошо хоть ты живой, сынок, — начала немного приходить в себя тетушка Тудар. — Ну, проходи, проходи, балам-сынок, в юрту...

Как бы ни была жизнь трудна и печальна, но и у радости есть свои права. Когда возвратился Токтон, над нашим летним стойбищем в Актеле вновь взмыла, полетела, затрепетала алтайская песня — жив солдат! На стоянке в Актеле были три островерхих юрты. Наши матери жили в разных юртах. А в тот день все они собрались в одну

большую юрту и пели до утра, плача вместе с тетушкой Тудар и радуясь вместе с ней.

Травы, которые мы косим, роняют слезистые росы.
Жизнь в живых оставшихся пусть будет бесслезной,
Собранное нами сено пусть будет зеленым,
А наша дальнейшая жизнь пусть будет счастливой.

Конечно, кто-то горько плакал, вспоминая своего мужа или брата, погибших на войне. А кто-то пел и радовался, что настало спокойное время.

Те песни, посвященные погибшим в кровавой стране Война, до сих пор во мне не остыли, они приплывают через годы и расстояния, отдаются пронзительной болью.

Если б не выпадали большие снега,
Не отцветали б цветы и травы,
Если б не приходили на землю войны,
Разве б молодые братья умирали?..

Когда чуть закружились головы наших матерей от теплой алтайской араки, развязались их языки. Стали вспоминать и рассказывать каждая свою беду и потерю.

Токтон, будто не слыша ничего, сидел молча, думал о чем-то своем. На его губах изредка появлялась и тут же исчезала тень улыбки. Интересно, о чем он думал, этот всегда молчаливый, немногословный человек, живым оставшийся на войне?..

По нашему обычаю араку пили в то время из одной, специально для такого случая, пиалы-туурам. Ее передавали из рук в руки по ходу солнца, с востока на запад. Когда очередная пиала с горьким напитком приходила к кому-то из участников застолья, он, чуть пригубив, мог по своему желанию, преподнести ее любому уважаемому человеку. Особенно в почете бывал гость. Каждый старался ему подать пиалу-туурам. Но и гость в долгу не оставался: оказывал уважение присутствующим, особенно пожилым людям и хозяевам дома.

Сегодняшним гостем был Токтон. Туурам то и дело оказывалась в его руках. Ему желали здоровья, счастья и других благ. Он — солдат, защитник родной земли. Остался жив и первым вернулся домой!

— Выпей, Токтон, это твой родной напиток...

— Выпей, Токтон, ведь он из чистого молока...

Он молча пил. Пил много, но не пьянел. Задумчиво смотрел на огонь очага. Видимо, вновь шагал по дорогам своих длинных и неизвестных нам воспоминаний.

Почему он не смотрел на людей, родных и знакомых с детства?.. Сегодня мне думается, ему было трудно и мучительно видеть, что сделали с лицами этих многострадальных женщин-матерей муки и беды...

И снова лились мелодии алтайских песен. Кружилась вокруг очага та же алтайская пиала-туурам.

На вершине снежной горы
Пусть растет золотой цветок.
Золотой наш Алтай
Пусть свет луны освещает.

Среди множества голосов выделялись два: голос Кыйгас, которая чем-то напоминает мне красавицу врача Ольгу Петровну, и пронзительный и мелодичный голос тетушки Кажакай:

На снегах синеющих вершин
Пусть растут жемчужные цветы.
Каждый день родной Алтай
Пусть обходит золотое солнце...

Когда Токтон и на огонь устал смотреть, прикрыл глаза. Кто-то попросил его:

— Хоть что-нибудь расскажи нам, Токтон?

— Как ты жил там и воевал, расскажи, нам охота послушать.

Токтон тяжело вздохнул, поднял голову и будто только сейчас заметил окружавших его людей.

— Что рассказать?! Я солдат. От Сталинграда до Польши копал окопы. Вот и все...

— А медали и ордена дали за то, что много копал землю, что ли?

Токтон небрежно махнул единственной рукой:

— Остальное время валялся в госпиталях.

— Встречал ли ты на войне алтайцев, Токтон?

— Нет, встречаюсь вот сегодня, с вами...

Пути людских судеб никогда не бывают прямыми...

Токтон не пел тогда с доярками, не плясал, как Максым, поднимая пыль с земляного пола юрты, не рассказывал небылицы о войне. Нет, он молчал, наш Токтон. А вскоре поползла про него молва, похожая на фантазию.

— Правая нога у Токтона — не своя, — таинственно передавалось из уст в уста. — Это не сказка, а настоящая правда.

— Как не своя? — ахали маловеры.

— Так! Когда страшный снаряд оторвал ему ногу, то

на ее место поставили ногу немца! — уверял кто-нибудь маловерного.

Но тот не сдавался.

— Такого не может быть! — решительно заявлял он.

— Но так говорят... На войне, рассказывают, такие бывают врачи, которые умеют оживлять даже мертвых солдат!

И верили. И про Токтона и про врачей. Видимо, люди в каждом из солдат и своих земляков, вернувшихся с большой войны, хотели видеть непоколебимых батыров и героев, убивших злодеев и смерть.

Удивительные люди в Кайру! Они умеют в трудный момент и пошутить и выдумать; умеют трудиться и верить — всегда. Каких только удивительных рассказов о войне не приходилось нам, кайрунским детям, слышать от наших матерей! Промерзшие до костей, голодные и смертельно уставшие, вернутся они с работы зимним вечером в нашу единственную, со слепым оконцем избушку, сядут, безжизненные, у очага, молча возьмут пиалы с чаем — пустым кипятком... и глядишь — уже согрелись, ожили, уже разговаривают друг с другом, прижимают к себе нас, детей, видят, наконец, свой дом, живут вновь надеждой на лучшее...

Так, чаюя, поведали нам наши матери не одну легенду. Помню, я был заворожен рассказом о единоборстве двух богатырских коней. Кто-то видел, высоко в ночном небе, среди холодных звезд, будто бы дрались подобный ночи Черный и подобный солнцу Красный кони. Они, всхрапывая, раздувая ноздри, кидались друг на друга, били друг друга копытами. От их ударов высекались молнии, которые, прочерчивая ночное небо, вонзались в снежные хребты далеких гор. В этой смертельной схватке каждый старался сбросить на землю другого. Ноздри коней выбрасывали клубами огромные облака пара. Пена шла изо рта того и другого. А кровь у коней была разная: у Черного — черная, у Красного коня — красная.

— А кто победил? — не терпелось мне узнать главное.

— Верх взял Красный конь. Черный, перевернувшись, стремительно полетел вниз с ночного неба, пробил землю и навеки ушел в нее. Когда он ударился о землю, даже горы покачнулись...

— Если на самом деле так, — тихо проговорила тогда тетушка Тудар, — то это очень хорошо. — И, по обычаю суеверных алтайских женщин, она стала творить внутреннюю молитву, поглаживая свои косы то правой, то левой рукой.

А я потом не один раз вглядывался в ночное небо, надеясь увидеть там чудесного Красного коня.

Наслушавшись за долгие военные зимы подобных рассказов своих матерей, мы, мальчишки, на Токтона смотрели как на сказочного героя...

А молва о нем шла все дальше:

— Было, говорят, так. Когда наши бойцы взяли в плен того самого немца, который своим большим ружьем оторвал ногу Токтону, его спросили: «Что, фашист, тут же прикончить тебя или ты добровольно отдашь свою ногу нашему верному другу, смелому воину с Горного Алтая, и этим спасешь себя?» Конечно, он, хоть и был немцем, тоже хотел жить. И он ответил: «Не убивайте меня! Лучше возьмите мою ногу для своего друга!» Вот так, а?.. А искусные военные доктора ногу немца ловко поставили Токтону вместо прежней...

— Нет, Токтона хранил, видать, сам великий кудай-бог...

Смешно это и горько сейчас вспоминать. А тогда мы не думали, почему же заодно военные хирурги не подарили Токтону правую руку? Не задумывались мои земляки над тем, потеряла ли бы наша страна двадцать миллионов своих сыновей и дочерей, если бы существовали такие чудотворцы. Очевидно, и из маленького нашего Кайру погибли бы не семьдесят, даже и семь бы человек не погибли, а все бы вернулись домой, будь такие врачи. Но мы об этом не думали тогда. Радуясь, что наконец-то кончилась проклятая война, мы — верили. И поддерживали фантастические слухи о сыне тетушки Тудар. И мечтали от него услышать рассказ о войне и его «немецкой» ноге.

И потому однажды мы — я, Паша и Аткыр, — выбрав удобный момент, предстали прямо перед Токтоном. Он, как всегда, был в галифе и гимнастерке. Но особенно нашу зависть вызывал его широкий ремень.

Токтон взглянул на нас, провел единственной пятерней по красивым, коротко стриженным волосам и широко улыбнулся:

— Что вам?

— Давай спрашивай, — Паша подтолкнул меня вперед.

Но Аткыр опередил, спросив совсем не о ноге:

— Скажите, дядя Токтон, возьмут меня на войну? — он смотрел на Токтона снизу вверх с ожиданием.

Солдат как-то странно и нежно поглядел на стоящего перед ним мальчика-горбуна.

— Сейчас нет войны, — ответил он.

— А просто в армию возьмут его? — включился в разговор и Паша, словно забыв, зачем мы сюда пришли.

— В армию, говоришь? — Токтон, улыбаясь, смотрел то на Пашу, то на Аткыра. — Говоришь, солдатом... наверное, возьмут... Нет, точно возьмут! — уверенно сказал он.

— А они мне что говорят?.. — Аткыр бросил на нас упрекающий взгляд. — Когда я стану взрослым, ведь выпрямится моя спина? — Его серые глаза с надеждой смотрели на Токтона. — Тогда у меня будет точно такой же широкий ремень, как у вас, дядя Токтон, да?!

— Правда, дядя Токтон, что у вас одна нога — не ваша, а какого-то немца? — не выдержав больше, вдруг выпалил я.

Токтон громко засмеялся: что, мол, с вами говорить, — махнул единственной рукой и, повернувшись, ушел в юрту.

Я и сейчас не знаю, кто выдумал эту историю о «немецкой» ноге Токтона. В ней выразилась, думается, великая сила духа нашего народа, его многолетняя мечта о победе и — нетленная надежда человека победить смерть.

Однако, вспомнив в связи с первой любовью Борбок-Кары оймонского солдата Максыма и кайрунца Токтона, я затянул, кажется, свой рассказ. Но как было не поведать о возвращении с войны первого нашего солдата?! Тем более, что Токтон и сейчас живет в Кайру. Он такой же тихий, ласковый. И у него уже внуки...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
в которой говорится о некоторых стихах русского поэта Ивана Ерошина и продолжаются воспоминания о первой любви Борбок-Кары

Человеческая душа... Что в этом мире не открыто в ней? Какие чувства новы? Любовь, эта самая глубокая боль, и та — старая-старая песня...

Думая о нашем суровом и далеком детстве, рассказывая о первой любви Борбок-Кары, я вдруг усомнился: могу ли кого-нибудь этим заинтересовать? Такая любовь, как у Борбок-Кары, была и до него, и будет после него. И описана много раз. К примеру, в стихах русского поэта Ивана Ерошина. Почему именно о них речь? Потому что они об Алтае.

Возможно, современный читатель не знает об Иване Евдокимовиче Ерошине, русском поэте, жившем в двадца-

тые—тридцатые годы в Сибири. Своеобразная его поэзия до сих пор не потеряла своей свежести и чистоты.

В 1935 году французский писатель Ромен Роллан, ознакомившись с книгой Ерошина «Песни Алтая», отправил автору в Сибирь письмо, в котором, в частности, писал:

«...Мы поражены свежестью и силой не только образов этих песен, но чувств, в них выраженных. Я знаю пока только несколько стихотворений — с десяток, из самых коротких — «Я похож на облака», «Череп», о юноше, который хочет посмотреть девиц и у которого нет новой рубашки, и несколько других. Образ пальцев... «как дикие пчелы», голоса, — «как рыжее пламя» — образы природы (кедровая ветка под инеем и т. д.) — замечательны. Это напоминает китайскую и японскую поэзию, и вместе с тем — это могло бы быть создано самыми утонченными поэтами Запада...» Далее великий романист сообщил о своем желании познакомить с этими стихами французских читателей.

Так вот теперь я думаю: может быть, Иван Ерошин обладал даром предчувствия? И не о нашем ли Борбок-Каре, не о его ли первой юношеской любви некоторые стихи поэта? Даже название одного из стихотворений напоминает о мечте нашего друга и предводителя:

Новая рубашка

Износилась, посмотрю, рубашка,
Старую рубашку надо бросить,
Новую купить рубашку надо.
Славно новую надеть рубашку!
Старая юрта покосилась,
Юрту новую строить надо...
Жизнь отцов совсем изломалась —
Жизнь хорошую будем строить!

У жизни одна общая колыбель. Молодой герой стихотворения Ерошина, Тюргень, полюбил красавицу из долины Суу-Тал. Он мечтал о ней и страдал от любви. Страдал и мой друг Борбок-Кара, сердце его тоже было объято огнем любви, любви к Чомый, которая пасла телят на верхней ферме в урочище Актел.

У поэта, жившего и работавшего до моего появления на свет, мы находим еще одно стихотворение о любви Тюргеня:

Девиц посмотреть хочу,
Девиц сугдаальских гор!

Как я с ними познакомлюсь?
Как вступлю я в разговор?
Сапоги хорошие надену,
А рубашки новой нет.
Я скажу: «Зовут меня Тюргень,
Мне семнадцать лет».

Такой муки, какую испытал Борбок-Кара от своей первой любви, наверное, никогда он больше не чувствовал. А ведь в своей жизни он и замерзал, и голодал — многое видел, через многое прошел. Даже тогда, когда дед Папай жестоко крутил его уши, он слезинки не проронил из своих черных глаз. Этот стойкий батыр страдал и проливал слезы из-за любви.

Чомый перестала выходить к Борбок-Каре. Что с ней случилось — трудно было понять. Каждый из нас, жалея Борбок-Кару, ходил как больной. Но другу нашему от этого было не легче!

Борбок-Кара вновь отправил на верхнюю стоянку Пашу. Тот, улучив момент, напомнил:

— Максым ждет тебя, Чомый.

Девушка, словно не слыша, прошла мимо, юркнула в юрту своей сестры Шурбалы. Паша ждал, ждал, но она не вышла.

Назавтра к ней явился я:

— Максым ждет тебя.

Чомый опять кинулась к юрте, но я решительно преградил ей дорогу.

Мы стоим лицом к лицу. Она посмотрела на меня со своей высоты, скривив в усмешке уголки рта. А к босым ногам ее прилипли былинки трав, омытые серебром вечерней росы.

На какое-то мгновение я оторопел. Не мог найти нужных слов и вдруг соврал:

— Максым сегодня придет в красной рубашке и в красных сапогах, Чомый. Ты выйдешь к нему? — спрашиваю, а сам, чуть не плача, уговариваю: — Ты сегодня нашего Максыма не узнаешь. Во всем красном он сверкает, переливается, как огонь!

Она же, показав мне язык, неожиданно так сильно меня толкнула, что я упал.

— Скажи своему Борбок-Каре, что я ему не молоко, не сметана и не какой-то белый теленок... Чтоб сюда больше никогда не приходил! Иначе... — не досказав, она скрылась в юрте Шурбалы, лишь мелькнув пятками.

Делать нечего. Я вернулся к друзьям.

— Как? — погасшим голосом спросил Борбок-Кара.

Я скрыл, что Чомый толкнула меня и что я упал. А об остальном рассказал, как было.

— А язык она тебе не показала? — поинтересовался Паша.

— Значит, говорит, чтоб я ей больше не показывался? — уточнил предводитель.

— Д-да...

— А как звала меня — Максымом или Борбок-Карой?

— Борбок-Карой... И еще сказала, что она не хочет быть ни теленком, ни молоком.

— В таком случае вот тебе! — Борбок-Кара влепил мне крепкую пощечину. — Скажи, скажи, что Чомый звала меня Максымом! — закричал он яростно, схватив меня за ухо. — Больше не будешь врать! — Наконец, помучив меня, он отпустил мое ухо, зло приказал Метирею: — Приготовься, завтра пойдешь ты! А теперь уходите! Все!

И мы, тяжело вздохнув, взглянув на своего друга и вождя с великой жалостью, медленно направились домой, оставив его одного в сумерках леса.

Как провел эту ночь Борбок-Кара — никто из нас не знает. А назавтра, когда к Чомый должен был идти Метирей, дело приняло неожиданный поворот.

— Я сам все узнал, — хриплым голосом сказал нам предводитель. — Ты, Метирей, сегодня не пойдешь к Чомый... — И приказал, как накануне Метирею: — Приготовьтесь! Сегодня долго будем ждать Чомый. Оденьтесь все потеплее. Как будем действовать — объясню по пути.

В сумерках мы двинулись на верхнюю стоянку. Не доходя немного, остановились около огромной лиственницы. Тут Борбок-Кара нас совсем ошарашил — выдал каждому заранее приготовленные им и спрятанные под лиственницей дубинки.

— Будьте наготове!

— Зачем это?!

— Большая по-литика!

— Если такими лупить, Чомый умрет!

— Не для нее это! — решительно и зло отрезал Борбок-Кара. — Другая тут по-литика, батыры. С кем будем воевать, потом узнаете.

Что-то очень серьезное ждало нас. Мы подошли поближе к юртам фермы и остановились в густом подлеске. Отсюда до юрты Шурбалы шагов сто. Залегли, уставившись на дверь, замерли... Ждать пришлось недолго, дверь юрты открылась и...

О кудай-бог ты мой! Разве тогда мы — Паша, Метирей и я — понимали, что на пути любви есть такие повороты и узлы?..

Хорошо, что Аткыр не пошел с нами. Горько было бы ему смотреть на слезы и муки старшего брата.

Когда на фоне яркого огня, горящего внутри юрты, на какое-то мгновение предстал очень знакомый силуэт, Паша громко прошептал:

— Борбок-Кара, гляди, Чомый!

Но наш вождь, пригрозив Паше кулаком, пригнул его к земле.

— Чомый сегодня решила прийти к тебе, — обрадовался и Метирей.

— Давай крикнем, что Максым ждет здесь? — повернул я голову к нашему предводителю, но сильная рука Борбок-Кары и меня пригнула к земле.

— Тихо! — скомандовал он. — Где колотушки? Приготовьтесь!

Чомый побежала не туда, где всегда встречалась с Борбок-Карой, а в другую сторону, туда, где под большой и яркой луной дремали высокие деревья. Глядим во все глаза, даже не дышим. Что будет дальше? Куда же она?

Внезапно чья-то огромная тень выросла из-за дерева и двинулась навстречу Чомый. Мы сразу узнали, кто это. Батыром, обнявшим Чомый единственной рукой, был, конечно, Токтон.

Когда Токтон обнял Чомый, а она прижалась к его груди, Борбок-Кара не выдержал: застонал, заскрипел зубами, стал царапать землю и бить по ней кулаками, рвать зубами траву. А мы, глупые мальчишки, с величайшим любопытством продолжали следить за теми двоими, будто не видя мук нашего предводителя.

Очень хотелось услышать, что они говорят, но мы были далеко от них. Паша первым стал подползать к Чомый и Токтону. Мы с Метиреем, не оглядываясь на своего предводителя, — за ним. Вскоре я услышал за своей спиной и дыхание Борбок-Кары.

За влюбленными следили не только мы. Желтая, как масло, луна, казалось, тоже замерла, чутко вслушиваясь в каждое слово влюбленных.

Притихли и деревья и горы.

Токтон говорил не так, как наш вождь, у него таких слов не было.

— Чомый, ты такая красивая... Человек не может быть таким! — говорил всегда молчаливый Токтон.

— Но я же человек! — Чомый, улыбаясь, смотрела на солдата снизу вверх.

— Ты, наверное, дочь этой луны, — Токтон и Чомый, запрокинув головы, крепче прижались друг к другу и какое-то время молча смотрели на луну и крупные ночные звезды.

— Нет, Чомый, ты больше похожа на солнце, от тебя веет его теплом... — опять смотрел Токтон на Чомый.

— Как это, от солнца — веет? — тихо спросил меня Метирей.

Я пожал плечами.

— Я так долго не был дома, Чомый, а ты — как весь наш Алтай: от тебя пахнет его травами, снегами вершин...

Борбок-Кара не выдержал.

— Ы-ых! — тяжело застонал он. — Ы-ых!.. Сердце бы вырвал!..

— Чье? — мы втроем придвинулись к предводителю.

— Где колотушки, берите! — приказал Борбок-Кара. — Будем бить обоих!

Мы, всегда готовые горой стоять за своего командира, замялись, что-то нам мешало послушаться его.

— Ну! — резко и требовательно подгонял он. — Я встану, а вы — за мной...

— Борбок-Кара, а если у него наган? — как всегда проявил сообразительность Паша.

— Наган? Какой наган?

Мы растерялись, если не сказать — испугались.

— Токтон нас всех перестреляет, а что будет с нашими матерями? — высказал Паша за всех беспокоившую нас мысль.

И вдруг Токтон как рявкнет:

— А ну, марш! Я вам дам подслушивать!..

Наши сердца словно в пятки прыгнули, от испуга перехватило дыхание. Первым подскочил Метирей, за ним — Паша и я, последним бежал Борбок-Кара. Так и ждали мы за спинами выстрела.

Немного отбежав, наш предводитель остановился. Мы тоже. Борбок-Кара тяжело дышал, то и дело оглядывался на Токтона и Чомый. Вдруг он упал, как подкошенный, и запричитал:

— Что я наделал? Что, что, что?.. Дурак я, дурак! — Он долго катался по земле, скрипел зубами и все причитал: — Дурак я, дурак! Ведь я знал, что Чомый — дочь солнца! Почему я не говорил ей так?!

Мы очень жалели Борбок-Кару. Впервые мы каким-то

далеким и новым ощущением поняли, что слова и жар любви бывают, оказывается, разными...

...А осенью наши родные горы и уже дышащее холодом небо опять отдались звону алтайских песен. Пели их наши матери-доярки и гости, прибывшие на первую послевоенную свадьбу. Стойбище Актел запомнилось оседланными конями и празднично одетыми людьми. Всем хотелось посмотреть на свадьбу солдата, поздравить жениха и невесту, чем-нибудь помочь молодым.

Чомый было трудно узнать. Она вся светилась счастьем! В свадебном наряде, в алтайской шапочке из лисьих лап и в кожаных сапожках алтайского покроя невеста была неотразима.

Токтону и Чомый пели песни-пожелания, песни-посвящения. Эхо тех свадебных мелодий и теперь, кажется, отдается в моих ушах:

Из всех красивых долин —
Самая красивая наша долина.
Из всех красивых невест
Лучшая — Токтона невеста.

Борбок-Кары в дни свадьбы в Актеле не было. Чужая радость была для него горька, и он уехал, может быть, в страну Ело или еще дальше, в Кенгу, сдавать шкурки сусликов и кротов.

А песни не кончались, их пели до молочно-белого утра:

Пусть у шестигранной коновязи нашей
Всегда стоит иноходец-аргамак.
А в юрте большой, шестигранной
Пусть веселится народ на свадьбе.

Алтайцы говорят так: нет одинаковых облаков на бескрайнем небе, нет в огромном мире и людей, похожих друг на друга. Но похожие судьбы, мне думается, встречаются.

Я потому решил написать о первой любви своего друга, что был уверен: это ново и интересно. А перечитал стихи Ерошина, узнал о трагедии его героя, его любовных муках и понял — трагедия первой любви Борбок-Кары не нова. Может быть, русский поэт и вот эти стихи написал о моем друге?

Что за птицы там летят?
Это — пара серых уток.
Вслед смотрю, зачем смотрю?
Над горой, где камень сер, —

— Но я же человек! — Чомый, улыбаясь, смотрела на солдата снизу вверх.

— Ты, наверное, дочь этой луны, — Токтон и Чомый, запрокинув головы, крепче прижались друг к другу и какое-то время молча смотрели на луну и крупные ночные звезды.

— Нет, Чомый, ты больше похожа на солнце, от тебя веет его теплом... — опять смотрел Токтон на Чомый.

— Как это, от солнца — веет? — тихо спросил меня Метирей.

Я пожал плечами.

— Я так долго не был дома, Чомый, а ты — как весь наш Алтай: от тебя пахнет его травами, снегами вершин...

Борбок-Кара не выдержал.

— Ы-ых! — тяжело застонал он. — Ы-ых!.. Сердце бы вырвал!..

— Чье? — мы втроем придвинулись к предводителю.

— Где колотушки, берите! — приказал Борбок-Кара. — Будем бить обоих!

Мы, всегда готовые горой стоять за своего командира, замялись, что-то нам мешало послушаться его.

— Ну! — резко и требовательно подгонял он. — Я встану, а вы — за мной...

— Борбок-Кара, а если у него наган? — как всегда проявил сообразительность Паша.

— Наган? Какой наган?

Мы растерялись, если не сказать — испугались.

— Токтон нас всех перестреляет, а что будет с нашими матерями? — высказал Паша за всех беспокоившую нас мысль.

И вдруг Токтон как рявкнет:

— А ну, марш! Я вам дам подслушивать!..

Наши сердца словно в пятки прыгнули, от испуга перехватило дыхание. Первым подскочил Метирей, за ним — Паша и я, последним бежал Борбок-Кара. Так и ждали мы за спинами выстрела.

Немного отбежав, наш предводитель остановился. Мы тоже. Борбок-Кара тяжело дышал, то и дело оглядывался на Токтона и Чомый. Вдруг он упал, как подкошенный, и запричитал:

— Что я наделал? Что, что, что?.. Дурак я, дурак! — Он долго катался по земле, скрипел зубами и все причитал: — Дурак я, дурак! Ведь я знал, что Чомый — дочь солнца! Почему я не говорил ей так?!

Мы очень жалели Борбок-Кару. Впервые мы каким-то

далеким и новым ощущением поняли, что слова и жар любви бывают, оказывается, разными...

...А осенью наши родные горы и уже дышащее холодом небо опять отдались звону алтайских песен. Пели их наши матери-доярки и гости, прибывшие на первую послевоенную свадьбу. Стойбище Актел запомнилось оседланными конями и празднично одетыми людьми. Всем хотелось посмотреть на свадьбу солдата, поздравить жениха и невесту, чем-нибудь помочь молодым.

Чомый было трудно узнать. Она вся светилась счастьем! В свадебном наряде, в алтайской шапочке из лисьих лап и в кожаных сапожках алтайского покроя невеста была неотразима.

Токтону и Чомый пели песни-пожелания, песни-посвящения. Эхо тех свадебных мелодий и теперь, кажется, отдается в моих ушах:

Из всех красивых долин —
Самая красивая наша долина.
Из всех красивых невест
Лучшая — Токтона невеста.

Борбок-Кары в дни свадьбы в Актеле не было. Чужая радость была для него горька, и он уехал, может быть, в страну Ело или еще дальше, в Кенгу, сдавать шкурки сусликов и кротов.

А песни не кончались, их пели до молочно-белого утра:

Пусть у шестигранной коновязи нашей
Всегда стоит иноходец-аргамак.
А в юрте большой, шестигранной
Пусть веселится народ на свадьбе.

Алтайцы говорят так: нет одинаковых облаков на бескрайнем небе, нет в огромном мире и людей, похожих друг на друга. Но похожие судьбы, мне думается, встречаются.

Я потому решил написать о первой любви своего друга, что был уверен: это ново и интересно. А перечитал стихи Ерошина, узнал о трагедии его героя, его любовных муках и понял — трагедия первой любви Борбок-Кары не нова. Может быть, русский поэт и вот эти стихи написал о моем друге?

Что за птицы там летят?
Это — пара серых уток.
Вслед смотрю, зачем смотрю?
Над горой, где камень сер, —

Серые растаяли,
Вслед смотрел, зачем смотрел?

Горе мне: жена ушла.
Глупая покинула.
Глупую зачем люблю?

Ай, Борбок-Кара, жаль, не ведал ты о том, что жил на земле человек, знавший, какие душевные терзания тебя ждут, чем кончится твоя любовь. Если бы ты знал о судьбе его героя Тюргеня, наверное, не стал бы сравнивать Чомый ни с белым молоком, ни тем более с теленком. Ах, если бы ты ей сказал: «Чомый, ты — дочь солнца», или: «Ты, Чомый, спустилась с небес»... Если бы так ты сказал, возможно, пути твоей любви оказались бы совсем иными...

Я видел собственными глазами, как мучительно больно умирала первая любовь нашего тогдашнего вождя и друга. Как в большую засуху выгорают травы и цветы, так сгорала и его любовь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ — о том, как возвращались мои дядья с фронта, и о новых поворотах жизни

Закончилась война, и мы, дети военного времени, узнали жизнь другой. Она ли повернулась к нам новой стороной, или мы смотрели на незнакомую жизнь глазами удивленных цветов?.. Мы учились жить по-другому.

Мама отвезла меня в деревню к своей старшей сестре, чтобы я продолжил здесь учебу в школе, в третьем классе. Но какое это было учение?! Я не мог не жить дома. Часто уходил к маме. Днями бродил с ребятами по Кайру-Бажи, ставил петли и капканы на зайцев и косуль, жил прежними заботами и радостями. О школе и не вспоминал, в деревню не возвращался месяцами.

В один из зимних дней, когда я жил дома, до Кайру-Бажи дошла радостная новость:

— Тадай вернулся!

Тадай — это один из трех маминых братьев. Мы знали, что он и дядя Кипий живы и должны скоро вернуться с фронта. Я никогда не видел своих дядей, не знал, чем они занимались, где работали и жили до войны, но мама изредка получала весточки от них, и я с великим нетерпением ждал их возвращения.

Услышав долгожданную весть, еще не встретившись с родным братишкой, мама всплакнула. Она разволновалась, заторопилась, стала тут же запрягать серого коня.

— Мама, возьми меня! Я хочу увидеть дядю! — подбежал я к матери.

— Дядя потом сюда придет, и ты увидишь его.

— Ну, мама!..

— Возьми ты его с собой, — выручила меня тетушка Тудар. Если бы не она, мне бы не уехать с матерью. — Пусть Барыс посмотрит на своего дядю.

О, если бы я не поехал тогда в деревню, не достался бы мне подарок, на который с завистью смотрел даже Борбок-Кара.

Кайрунская долина насквозь продувалась ветрами. Снега не оставалось: все уносили сильные ветра. Теплых одежд у нас не было. В шубейке своей, казалось, сшитой из заплат, я не замерзал, только если постоянно двигался. А в санях мне не высидеть. Поэтому мама надела на меня поверх шубы старый брезентовый дождевик, и мы помчались в Кайру сквозь белый буран.

Дядя Тадай, оказывается, остановился у младшей сестры, у тети Чодыйт. Мама протянула руку брату и опять заплакала.

Разглядев своего дядю, я не очень обрадовался. Нечем гордиться, думаю. Вид совсем не как у Максыма и Токтона. Дядя же, взглянув на мои грязные, потрескавшиеся до крови руки, на мою шубейку, украдкой вытер слезу со щеки.

В это время Темитей, сын тети Чодыйт, который младше меня на два года, подбежал ко мне:

— Смотри, что мне дядя подарил! — он явно хвастал полевой сумкой с длинным ремнем. — Вот глянь, сколько тут отделений! Для тетрадей, книжек...

Я, конечно, тайно завидую красивой сумке Темитея и краем глаза смотрю на дядю. Нет на его зеленой гимнастерке ни одной медали, значка даже нет. Блестят лишь медные пуговицы. Видать, с фашистами дрался плохо. И ноги, и руки целы. Откуда мне было знать, что дядя находился на дальневосточной границе. А вот шинель его намного красивее, чем у Токтона. У моего дяди она болотного цвета, а у Токтона обыкновенная — серая.

Темитей не отходил от меня. Он учится в первом классе, ни одного дня не пропустил, потому что живет в деревне, тут его дом.

— А ты почему в школу не приходишь? — сам того не

зная, он позорит меня перед дядей-фронтовиком. — Хорошо в школе! Посмотри, какие у меня книжки! Такие картинки красивые...

Вдруг и я решил перед Темитеем хвастануть:

— А я дяде заячьего мяса привез!

Мама, будто ждала этих моих слов, вытащила из мешка зайца и подала тете Чодыйт.

— О, оказывается, ты охотник! — удивился дядя. — Подожди, что же тебе подарить? — Он улыбнулся ласково и вдруг снял с себя ремень: — На, возьми...

О, поверить ли этому! Я остолбенел.

— Такую красивую и дорогую вещь, — начала мама, — зачем отдавать ребенку? Лучше сам носи.

Я испугался: «Теперь не даст...» Но Темитей подбежал к дяде, взял ремень и подал мне:

— У тебя будет ремень, а у меня — сумка!

Ни тетя Чодыйт, ни мама больше про ремень ничего не сказали.

— Но одно условие, — сказал дядя. — Ты будешь ходить в школу. Надо учиться, Барыс...

Надо же мне было приехать посмотреть своего дядю! Я узнал, что до армии он, оказывается, учился в педучилище, а теперь его назначили директором Кайрунской начальной школы. Если б я знал! — сокрушался я тогда.

Домой мама уехала одна. Я стал жить у дяди. Учился, чай пил теперь с сахаром и хлебом. Но не утихала во мне одна боль — желание вернуться домой. Даже ремень был не в радость. Мои петли и капканы, оставленные в горах и лесах Кайру-Бажи, казались слаще, чем чай с сахаром и хлебом. Они звали меня, манили к себе день и ночь: «Приходи, взгляни на нас!» В иные дни они криком кричали. Почему-то казалось, что в них, запутавшись, попали почти все звери Алтая: заяц, лисица, косуля, кабарга, волк и даже, хотя и зима, — почему-то медведь!

Мыслями я всегда был там, в Кайру-Бажи. «Все равно уйду в горы!» — думал я. Дяде с трудом удалось уговорить меня закончить в тот год третий класс. Он со мной здорово повозился!..

И вот учебный год заканчивается, во дворе буйствует зеленый май, месяц кукушки.

Однажды к нам в класс вместе с моим дядей вошел восхитивший всех мужчина. Такого высокого человека наш Кайру, конечно, никогда не видел. Мы думали, что ростом

он не меньше десяти метров. Но дядя потом сказал, что рост его всего лишь два метра. Лицо у него было маленькое, глаза голубые и пронзительные. Мы тогда красоту голубых глаз не понимали: они напоминали нам холодное небо. Мы никак не могли понять: почему бывают такие глаза? Глаза у всех должны быть как у алтайцев, — черные или хотя бы карие. Мы, дети гор, в то время еще не привыкли к европейским глазам.

И речь этого человека, конечно, мы не понимали. Мы только-только начали изучать русский язык. Тогда был такой учебник по русскому языку, в конце которого помещался небольшой русско-алтайский словарик. Мы зубрили: «Сын — уулы... сын — уулы» или «Сыр — быштак...»

Приехавший высоченный человек с тонкими ногами был никакой не инспектор или начальник, а не то режиссер, не то оператор. Имя-отчество его я забыл, но фамилию помню и сегодня — Минорский.

Верстах в трех от Кайру есть небольшой каменистый перевал, через который можно попасть в обширную долину Тади-Кышту. По-русски это значит: Место зимовки человека по имени Тади. Перевал этот был нам известен давно. Там мы не раз восхищались наскальными рисунками птиц и зверей. Удивлялись: когда и кто их нарисовал? Они казались живыми, эти нарисованные звери и птицы.

И вот дядя Тадай и приезжий человек повели нас к перевалу Тади-Кышту.

Повели вот почему: Минорский хотел «фотографировать» нас, как мы тогда его поняли, у наскальных рисунков каким-то странным и жужжащим аппаратом. Потом дядя объяснил, что Минорский будет не фотографировать, а снимать нас для киножурнала.

У наскальных рисунков приезжий оставил только моего двоюродного брата Темитея. Нас же расставил невдалеке: кого — за дерево, кого — за камень. И велел нам представить, будто мы дети колхозников и пасем здесь, на перевале, овец.

Рисунки тогда и так были четкие и ясные; а Минорский к тому же подретушировал их углем. Это еще больше оживило нарисованных птиц и зверей: казалось, сейчас птицы взлетят, а звери продолжат свой бег.

Замысел Минорского был таков: Темитей будто бы впервые увидит эти рисунки, начнет ликовать, размахивать руками, сзывая нас посмотреть. А наша роль была — выскочить с разных сторон, подбежать к Темитею и рисункам, смотреть и удивляться.

Почему Минорский именно Темитея выбрал для этой цели? Дело, наверное, в его шапке. Ни у кого из нас не было такой шапки. У Темитея была настоящая алтайская шапка, сделанная из рысьих лап. Видно, по замыслу режиссера, фильм должен был отражать национальный колорит.

Вот все готово. Высокий человек в длинном кожаном плаще опустился на колени, нацелил аппарат на худого Темитея и взмахнул свободной рукой:

— Кричи, зови друзей!..

Нет, мой двоюродный брат никак не мог этого сделать. Уж слишком он был застенчив. Застыл и покраснел.

— Кричи, Темитей, кричи. Сними шапку и маши! — помогая Минорскому, просит и дядя Тадай.

Но у Темитея пропал голос. Застрял в горле. Брат мой заплакал и отбежал в сторону. Сколько ни просили и Минорский, и дядя Тадай, он наотрез отказался. Что делать, как быть?..

— Тогда дай-ка сюда свою шапку, — сказал Минорский и, сняв с головы Темитея шапку из рысьих лап, надел ее на меня, а мою рваную ушанку протянул Темитею.

Тот отказался надеть мою ушанку, далеко отбросил ее и убежал.

Теперь наскальные рисунки находил я. Какая радость! Теперь у меня будет главная роль, я стану кричать, махать шапкой, созывать остальных ребят!

И вот я кричу, кидаю вверх шапку, ловлю ее на лету. Подпрыгиваю и чуть ли не пляшу. Аппарат Минорского, словно пчела или змея, жужжит, шипит, щелкает. А он сам то присядет, то выпрямится во весь рост. Снимает, снимает, то пятясь назад, то наступая.

От лучей весеннего солнца глазок его странного аппарата сверкает, блестит.

Вот я на четвереньках ползу вокруг камня. Вожу по нему указательным пальцем, как указкой по школьной карте, показывая друзьям рисунки. А Минорский все жужжит и жужжит...

Часа через полтора он отпустил школьников с дядей, а меня и еще двух мальчиков оставил. На мне так и осталась Темитеева шапка. Мы пошли искать другие камни с древними надписями и рисунками, чтобы и возле них сниматься для киножурнала «Сибирь на экране».

Спустились в долину Тади-Кышту. Там Минорский нас снимал около каменной бабы. Вечером, когда подошло время возвращаться в деревню, этот приезжий человек еще

больше нас удивил, — а уж как обрадовал! — дав каждому по новенькой красной тридцатке. В то время не то что мы, даже наши родители редко держали в руках такие деньги. Это был мой первый гонорар за скромную службу на поприще искусства...

С тех пор много раз всходили и увядали цветы и травы родной земли. С тех пор промчалось много лет. Омывая и залечивая душевные раны мои чистейшим горным аржаном — лечебной водой, много рек радости и счастья протекло через мое сердце.

Все мы на этом свете, под этим небом ходим под таинственным знаком предначертанной судьбы. Что ж, ничего не сделаешь. Как я могу пройти мимо имени Темитея, как не вспомню о нем?!

О Темитей, Темитей, Темитей! Ты больше не видишь весен, белых зим Алтая и золота осени не видишь. Алтайское лето пахнет настоем трав и парным молоком — и все это тоже без тебя. В тот год, когда приключилась беда, тебе было всего двадцать пять лет...

Закончив учебу, мы выбрали разные пути. Ты, Темитей, первым дошел до Москвы. Закончив Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, человек высокой души, ты вернулся на родной Алтай.

В тот год ты работал в отдаленном районе Кок-Суу. Оттуда ты не раз и не два приезжал ко мне в гости в наш родной и единственный на Горном Алтае город. Любил брать на руки моего сына-первенца и, белозубо улыбаясь, подбрасывал его до потолка. Как я могу, Темитей, все это забыть? Вот-вот ты должен был жениться.

Темитей, Темитей — брат ты мой, друг мой, один из тех, кто мечтал и начинал делать добро для людей алтайских зеленых и белых гор...

В ту свою первую весну агронома ты вдохновенно работал. Влюбленно смотрел на девушку, идущую рядом с тобой. Всему радовался. Верил мечте своей, дорогам верил, по которым шел, верил в свои молодые силы... О жизни думал, что она как длинная, длинная нитка. Не думал, что эта нитка может быть очень непрочной...

О Темитей! Ледяная вода грозной Кок-Суу сразу сковала твое тело. В ее пенистых, бурлящих волнах навеки исчезла твоя голова... А девушка бегала вдоль берега и кричала, бегала и кричала. Не услышала смерть крика ее, молитвы ее. Смерть ненавидит влюбленное сердце!

Был ты тогда всего на два года моложе меня. А теперь на двадцать. Черные мои волосы начали седеть. Иду я сегодня по жизни, сгибаясь под бременем своего века. Стараюсь подняться во-о-он на тот перевал. А дальше виднеется другая высота. Возьму ли ее? Темитей! Как бы нам было легче идти вместе!..

Вдруг в мозгу шевельнулась одна странная мысль. Так или нет — сомневаюсь, право... Темитей, не зря ли ты тогда отказался сыграть свою роль? Не чужую ли роль играл я на перевале Тади-Кышту? Как налезла на мою голову чужая шапка, скажи? Как же мог я согласиться отобрать у тебя твои движения, взмах рук твоих, твою улыбку, удивление твое — все то, что, благодаря кино, сохранило бы тебя навсегда живым? Почему же, Темитей, ты не сыграл свою роль? «Бегите сюда!» — кричал бы ты нам с экрана...

Где тот оператор или режиссер? Его я искал и не нашел, Темитей. А хорошо бы увидеть наскальные те рисунки, которые видели тогда алтайские оборванные мальчишки и девчонки.

Говорят, нет знака судьбы. Мне же кажется, что люди рождаются с определенной метой. Кто меня убедит, что это не так?..

Сами подумайте, отец Темитея тоже утонул в реке, и было ему тоже двадцать пять лет. Что это? Случайное совпадение? Кто мне ответит? Сам я понять не могу.

...Когда я лежал и мучительно думал о человеческих судьбах, ко мне в палату пришел Борбок-Кара:

— Кончается мой курорт. Хватит лечиться. Кто будет пасти овец? Я соскучился по ним.

Увидев, что я не реагирую на его шутливый тон, он перестал смеяться, и, теребя бороду, заглянул в мои глаза:

— Что с тобой? Может, сильно болеешь, а? Наша Алтын-Чач не приходила?

— Борбок-Кара, — спросил я его, — в последний раз когда ты был у наскальных рисунков на Тади-Кышту?

— Ха, — усмехнулся он. — Зачем я туда поеду, что мне там делать? — Он почесал свою чёрную бороду. — Ты разве не знаешь, что теперь нет тех рисунков?

— Как нет?! Куда они могли деться?

— Дети испортили, камнями выбили те рисунки, Барыс...

— Как дети, какие дети?!

— «Ка-ки-е, де-ти»... — протянул Борбок-Кара и вдруг рассердился: — Наши дети, школьники! Да еще влюбленные. Если хочешь, поезжай сам, убедишься. Некоторые,

видать, специально приносили туда долото и долбили прямо поверх рисунков свои имена.

Вот она, современность! Почему же нам в детстве не приходило на ум пойти и уничтожить эти рисунки? Кто тут виноват?.. Молчу, думаю...

Быть может, я человек несовременный? Как долго, оказывается, я живу на свете... Стал современником разных эпох!

Борбок-Кара, увидев, что я не расположен сегодня к беседе с ним, ушел в свою палату.

Подумать только: дядя мой, работавший директором школы, ныне — простой чабан. Заболев под старость тяжелой болезнью, мать моя ушла в ту страну, где не бывает ни дня, ни ночи, — теперь она в вечном покое. Почти два десятилетия нет на земле брата моего и друга Темитея...

Новое поколение властвует над временем. Но ведь и наскальные надписи, и рисунки древних мастеров уничтожили тоже люди нового поколения. Видимо, многим гораздо дороже видеть на тех камнях свои имена, чем следы предков. Почему? Разве я кому позволю надругаться над могилами дорогих мне людей? Того же Темитея или моей матери?.. Кто в будущем обратит внимание на камни с выбитыми долотом именами и инициалами людей двадцатого века?.. Думаю, даже простому любителю-фотографу они будут неинтересны.

Жив ли сегодня тот голубоглазый, двухметрового роста человек, который приехал к нам в Кайру в послевоенный год, чтобы донести до людей красоту, чудо?..

Всего, что вспоминается, не опишешь. Неловко хвалить, нехорошо охаивать своих близких родичей. Но от правды не уйдешь. Какими были пути жизни — так и хочется о них рассказать.

Младший брат матери, дядя Кипий, вернулся намного позже дяди Тадая. К этому времени я снова бросил учебу. Закончив третий класс, уехал в горы к матери и твердо решил больше не спускаться в деревню. Никакая школа, с ее прекрасными книгами и умными учителями, не могла затмить мою любимую охоту.

Дядя Тадай часто приезжал к нам, уговаривал учиться. Иногда ему удавалось увезти меня в деревню при решительном содействии матери. Ну, например, при помощи плетки, которую она крепко держала в руках. А дня через два или три я снова был дома.

— Ну зачем учиться? — не раз ставил я этот глупый и наивный вопрос перед дядей-учителем. — Половина Кайру не учились, и никто от этого не умер.

— Когда поймешь, зачем учиться, будет поздно, — отвечал дядя, — сам будешь казнить себя и нас проклинать, почему не заставили тебя учиться.

— Ну уж нет, учеба не для меня. Чем сидеть в душном классе, лучше на хорошем иноходце ездить по горам и пасти табун! — дерзко отстаивал я свою точку зрения.

В самом деле, может ли быть что-нибудь прекраснее всадника на крылатом коне?!

Все мамины сестры и дядя Тадай жили в Кайру, и дядя Кипий присылал письма именно туда. Он писал тете Чодыйт, матери Темитея, которая заведовала овцефермой, интересуясь жизнью всех родных, обращаясь ко всем своим сестрам и брату. Спрашивал он и о нашей маме, но никогда в этих письмах не упоминал обо мне и сестре, что очень обижало, а порой и злило меня. Изредка письма от дяди Кипия приходили и к нам, в Кайру-Бажи или в Актел. И хотя в них находилась строчка обо мне и сестренке, дядя не называл наших имен. Это не могло не сердить меня.

Писал он из самого Берлина. Присылал в письмах и фотокарточки. На одном фото дядя был чисто и красиво одет, в белой рубашке, при галстуке. На другом — в комбинезоне и пилотке. Он сидел на крыле огромной машины. В этот снимок я невольно влюбился, еще бы: мой дядя шофер! Подсчитал колеса его машины — десять! Вот на какой необыкновенной машине работает мой дядя!..

Об этом я прожужжал уши и Борбок-Каре, и Метирею, и Паше, словно я сам был шофером этой десятиколесной машины.

Хотя и кончилась война, время было все равно трудное. По-прежнему плохо было с питанием. Приходилось есть и отруби, и жмых. Наша земля — высокогорная, суровая, на ней ничего не растет. Даже картошка...

Помнится, однажды дядя Кипий прислал посылку. Посылка пришла на имя тети Чодыйт. Мне досталась рубашка, которую я носил, пока не истлела на моих острых плечах. А досталась она мне так.

Мама никогда не спускалась в деревню с пустыми руками. Она везла родным алтайский самодельный сыр-бышtак, творог-эдегей, а если я убивал ко времени ее поездки горного козла или кабаргу, непременно брала с собою мясо. Грузила на сани и сухие лиственничные дрова. Вот пос-

ле одного такого путешествия мать и принесла ту самую рубашку.

— На́ рубашку, балам-сынок, мы сшили ее из мешка, в котором была посылка твоего дяди Кипия, — просто сказала мать.

А разве мне важно было, из чего она? Была бы без дыр и заплат. Надев рубашку, оглаживая ее своими потрескавшимися черными руками, я радовался: как хорошо, что у меня есть дядя.

Прошел год. Я становился человеком самостоятельным. Колхозник!.. Летом пас табун коней. Коня седлал — какого выберу! Я уже, как взрослый, объезжал строптивых коней. А это — достоинство алтайского мужчины, от такой славы отказался ли бы хоть один алтаец?

— Сын волка — волком вырастет, — говорили тогда люди обо мне.

И мне это было приятно слышать, я гордился: значит, я похож на отца! Он тоже был табунщиком. Да еще каким! Отменным! И лучше моего отца никто коней не объезжал. Конечно, я очень хотел быть сильным, ловким, бесстрашным, как он.

Но пока мне доверяли табун только летом, когда не хватало табунщиков, потому что даже их отправляли на сенокос. Готовить корм для скота летом было главной задачей всех колхозников. Замещая какого-нибудь табунщика, я мечтал, как через два-три года стану настоящим, даже старшим табунщиком. Буду пасти коней и зимой, не только летом. Вот тогда во всем Кайру не найдется такого парня, даже взрослого мужчины, под седлом которого будет конь лучше моего. Только немного подождите. Я вам это докажу!

Однажды осенью я приехал в деревню. Зачем — не помню. Когда проезжал мимо юрты тети Чодыйт, выбежал Темитей:

— Барыс, зайди к нам, тебя зовет дядя Кипий, он вернулся из армии.

Мне совсем не хотелось заходить к тете Чодыйт, я даже не обрадовался приезду дяди: знал, что опять начнется разговор об этой проклятой школе.

Войдя в дом, я тут же прилип к косяку двери. Почему-то очень смутился. Бросило в жар.

Дядя Кипий показался мне намного выше дяди Тадая. На мои рваные штаны, на обутки мои он посмотрел как-то странно, брезгливо, что ли. Сам он был не в военной форме, а в белой рубашке и в черном костюме.

Я вспотел и смотрел не на дядю, а себе под ноги.

— Подойди и поздоровайся с дядей, — подсказала тетя Чодыйт.

Дядя Кипий сам подошел ко мне и спросил:

— Как живет мать?

«Нет бы узнать, как я живу и работаю!» — разозлился я и ничего не ответил.

— Скажи ей, что я у Чодыйт, пусть завтра приедет. Ты в каком классе учишься?

«Началось!»

— Я работаю, не учусь.

— Это плохо. Ты сколько классов кончил?

— Три.

— А Темитей вот младше тебя, а тоже уже в третьем...

— А я зато табунщик! — гордо выпалил я, перебив дядю.

— Ты, наверное, не табунщик, а лентяйчик, — вдруг засмеялся он.

Я вскипел, выбежал из дома, сел на коня и ускакал.

Той осенью я до снега пас коней...

Как я радовался, что мне доверили колхозный табун до самой зимы! Но радость моя к концу омрачилась: и замучился я, и было страшно, и рано наступили зимние холода.

Хорошо, конечно, красоваться на отличном иноходце. Приятно летом ездить по горам, слушать тонкое ржание жеребят. Но ночевать в холодные, почти морозные ночи под открытым всем ветрам кедром ой как трудно! Еще хуже, если волки нападут на табун да погубят какого-нибудь жеребенка. Каково рассчитываться за него с колхозом? Той осенью волки двух жеребят съели. Удержали с матери. А сколько она зарабатывала?!

Но самое, наверное, жуткое было в ту осень — одному ночевать в горах, у одинокого костра под холодным, злым небом. Греешь грудь — спина мерзнет. Повернешься спиной к огню — ветер холодный дует в лицо. Никак не согреться...

Рано в тайге начинаются снежные дожди... пурга... Сыро, темно кругом. А как спать ложился? Под себя стелил потник, под голову пристраивал седло. Укрыться было нечем. А одежда какая?! А уж вот-вот зима нагрянет, ударят морозы, которых порой не выдерживали и деревья: сучья трещали и ломались. Нет, мне казалось, я не выдержу. Застыну, подохну один в горах...

Зимой я, как всегда, охотился. С весны и летом, забыв

все свои невзгоды и страхи прошлой осени, опять пас коней.

Как-то в конце августа к нам в Актел приехал дядя Кипий. Он теперь жил в Ело, работал председателем сельского Совета.

Я был дома. Мама заварила чай, угощала гостя. Я старался так сесть перед дядей, чтобы он не видел моей изодранной одежды...

К осени густых и сочных трав становится все меньше и меньше. Кони в поисках еды все дальше уходят в горы. В логу их не удержишь. Поэтому приходится гоняться за ними, искать их среди высоких зарослей и кустарников. Вот откуда порванная одежда, особенно — штаны. На них смотреть страшно: как красные заплаты, проглядывает сквозь дыры мое исцарапанное тело.

Я пытался руками прикрыть дыры, но было их так много, а ладоней — только две...

За чаем разговаривали о том о сем. Я видел, что дядя изредка взглядывает на меня, что-то про себя обдумывает, но говорить обо мне он пока не решался.

Закончив пить чай, дядя Кипий раскрыл свою черную сумку, вытащил из нее солдатские галифе желтого цвета и зеленую гимнастерку и подал их мне со словами:

— Иди надень все это!

Я вышел из юрты, за деревьями переоделся и быстро вернулся. Телу стало легко и уютно в теплой одежде без единой заплаты. Но только выглядел я, должно быть очень смешно: поглядев на мои ноги, дядя не смог скрыть усмешки. Тут и я увидел, что широкие части галифе пузырями опустились ниже моих колен.

А дядя Кипий вдруг спросил:

— Ну как, не надоело быть табунщиком?

Что ему ответить?

— Сынок, ты поедешь учиться? — совсем неожиданно удивила меня вопросом мама.

— Что ты, мама, какая учеба? Я ведь два года не учился. Кто же меня, переростка, возьмет в четвертый класс?

— А хочешь учиться в городе? Там для детей пастухов открывается новая школа, — объяснил дядя. — Поедем?..

И вот мы с дядей, вдвоем на одном коне, доехали сначала до Ело — страны, где жили удивительно умные мальчишки и где жил теперь дядя Кипий. Оттуда поехали в районный центр Онгудай, куда к этому времени переехал

дядя Тадай. Он работал учителем математики в школе и очень обрадовался, что я наконец буду учиться. Дядя Тадай оказал мне самую необходимую для этого услугу: выписал фиктивную (не буду и этого скрывать) справку, будто я на «хорошо» и «отлично» окончил Кайрунскую начальную школу. Без такой справки нечего было и ехать: в областную национальную среднюю школу принимали только с пятого класса.

Пока шла война, не только я, многие дети бросили учебу. И потому Горно-Алтайский областной комитет партии и облисполком специально для детей алтайцев-пастухов открыли такую школу с интернатом на полном государственном обеспечении.

Приехав в школу, я удивился, как много нас, детей, тут собралось и как мы все похожи: грязные, рваные, худые. Мы кишели, как муравьи, не только возле здания школы, мы заполнили и улицы маленького городка. Шмыгая сопливыми носами, гурьбою ходили по деревянным тротуарам, удивляя и пугая горожан.

Разобравшись с нашими документами, нас повели в баню. Ах, что это за чудо! Как его... мы-мы-ло? Щиплет и пенится белым-белым снегом. Правда, когда попадет в глаза — заплачешь. Даже Борбок-Каре будет от этой штучки трудно.

Нашу одежду прожарили в какой-то горячей печи. Овчинные шубейки от жара скукожились, стали похожими на лица старух. После бани всех переодели: каждому дали новую рубашку, костюмчик из черного сукна и ботинки. Мы не узнавали друг друга.

Повели в столовую. Тут опять открытие. Запах пищи какой-то новый, нам не нравится. Особенно противно пахнет... как ее... ка-пус-та. Как только люди едят такое?! А этот... помидор?! Отец такого не видал и не едал! Снаружи красивый, кругленький, красный такой, а внутри слизь. Сперва я думал, что это и есть хваленое всеми яблоко. Хватанул с жадностью и чуть не задохнулся. Тпфук! Брызнул-то как! Противный сок и зернышки испачкали лицо и одежду.

...Началась учеба. Я в пятом «А» классе. Сижу смирно. Ведь два года книг в руки не брал. К тому же учился я на алтайском языке. А тут входит в класс учитель — русский, второй, третий — опять же говорят и рассказывают только по-русски. Ни одного знакомого слова!

А во дворе золотая осень. Дует теплый осенний ветер, падают листья с тополей. Печально на душе и тоскливо.

Тоскую по родине. Кажется, сам становлюсь как осенний желтеющий лист тополька. Эх, сейчас бы очутиться дома! Там, в логах и долинах, тихо. Кедровый орех уже созрел. Скоро выпадет первый снег. По нему побегут тысячи следов. Все выедут белковать. Быть бы мне среди них!.. «А если удрать? Как я буду учиться, если по-русски не знаю ни одного слова. Ну, поругают дяди и мать, пусть даже побьют — уеду!»

А как уехать без денег? Бесплатно по Чуйскому тракту никто не повезет...

Пока я решал, как удрать, в моей школьной жизни произошли перемены.

Это случилось на уроке ботаники. Учитель был добрый старичок. Стоя на одном и том же месте, покачиваясь, как маятник, он рассказывал и рассказывал, не обращая внимания на посторонний шум и шепот учеников. Некоторые, не слушая его, делали свое: рисовали, читали, писали домой письма.

Учитель ботаники никогда не вызывал неожиданно: спрашивал всегда по алфавиту. И однажды, о кудай-бог, он вызвал меня!..

В нашем пятом «А» знали русский язык и хорошо учились только несколько девочек из сел, расположенных недалеко от города. Они, эти девочки, сидели на первых партах.

Как только учитель задавал какой-нибудь вопрос, руки их стрелами взлетали вверх: «Я отвечу, спросите меня!»

А я? Ни слова не понимая на уроке, и дома не открывал учебников — зачем? Все равно убегу! Чтобы меня не спрашивали на уроке, я и голову прятал за крышкой парты, и скрывался, весь сжавшись в комок, за спинами сидящих впереди, и вообще готов был все уроки просидеть под партой.

Когда учитель ботаники назвал мою фамилию, по мне, как по железу, прошел какой-то звон. Чего ему от меня надо?

Девочки с первых парт подбодрили:

— Выходи, не бойся, расскажи по-алтайски, а мы переведем. Не стесняйся, ну, выходи же!..

Я вышел к доске. Такая тоска на душе, так хочется домой! Эх, будь что будет! Набрался духу — и стал рассказывать, как охотился за белками, как ставил петли и капканы на косуль, кротов, сусликов. Даже о работе табунщика рассказал. Вижу — всем интересно, слушают, да еще как!

А учитель, видно, догадывался, что речь идет отнюдь не о ботанике, потому что с любопытством посматривал то на меня, то на класс. Но дал мне вволю выговориться, не перебил.

— Кто переведет? — спросил он, когда я замолчал.

— Я, я! — поднялись руки с первых парт.

Учитель вызвал одну из девочек, и та бойко защебетала, как я узнал потом, вчерашнюю тему по ботанике, которую я должен был рассказать. Когда она ответила, старый учитель посмотрел на меня с хитрой улыбкой и вдруг сказал по-алтайски:

— Оказывается, ты хорошо усвоил материал, молодец! Но за то, что ты отвечал не по-русски, пока ставлю не пятерку, а четверку. Давай свой дневник. А дальше посмотрим. Учись говорить по-русски...

Я покраснел. Но тем не менее не отказался от четверки...

Так через два года возобновилась моя учеба. Теперь я приезжал домой только летом, на каникулы. Помогал матери. Косил траву, стоговал сено.

Во второй свой приезд, на сенокосе, я заметил очень красивую девушку. Кто же такая?.. Да ведь это так неузнаваемо похорошела та самая Чергий, младшая сестра Чомый, что ходила когда-то в рваной грязной юбчонке и была худой и большеглазой! Как она быстро выросла! Посмотрите, какие длинные и черные волосы у Чергий! А лицо белое-белое. И на нем двумя радугами раскинулись брови. Вся она стройная, ладная. Как же это я раньше ее не замечал?

— Какая ты красивая, Чергий! — я встал метать стог с ней рядом. — Такую красавицу я не встречал даже в городе.

Чергий промолчала. Опустив на самые глаза голубенький платочек, она собирала граблями остатки сена и накладывала его на волокуши.

— Чергий, ну подними хоть раз свои звездоподобные глаза!

— Не издевайся! — сердито сказала Чергий и первый раз взглянула на меня. Глаза большие, карие. Ресницы длинные и темные, как вечерние сумерки. Взглянула — и снова за работу. — Ты не хвастайся, что стал городским. Подумаешь!

— Ты зря ко мне так плохо относишься. Я и не собирался хвастаться, не сердись. Но ты ведь на самом деле красавица, Чергий...

— Видать, привык разговаривать с городскими девушками, — она приподняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. — Что, впервые меня видишь, да? Или не умел отличить камень от дерева?

— Почему ты такая сердитая? Раньше ты не была такая красивая, вот и не замечал, — ответил я совершенно откровенно. — Может, вечером встретимся, а?

— Зачем?

— Будем дышать свежим воздухом, просто так побродим.

— Свежим воздухом дыши в городе, — засмеялась Чергий. — Кто тебе сказал, что мне тут не хватает свежего воздуха?

— Ты языком стреляешь, как из автомата!

Девушка смутилась. Потом опять посмотрела на меня:

— Ты культурный! Потому-то и решил поиздеваться надо мной, да? Терпеть не могу культурных!..

В тот же день вечером мама, мягко улыбаясь, но решительно сказала мне:

— Ты кончай заговаривать с Чергий. Разве не знаешь, что скоро ее свадьба с Аткыром?

— Как?! — растерялся я. — Ведь Чергий — сестра Чомый?

— Ну и что?

— Да ведь на Чомый хотел жениться Борбок-Кара! Там два брата, здесь две сестры?!

Не скрою, мне это известие было неприятно, я завидовал Аткыру и не скрывал этого от Чергий.

— Если бы ты не уезжал в каменный город, — сказала она мне перед моим отъездом, — я бы еще подумала...

Я уехал. А через несколько лет написал вот это стихотворение:

И вновь весна прибежала ко мне
С брызгами слез на лице.
И девушку-землячку из дальней дали
Ко мне привела с собою она.

На ногах, вымокших в горной росе,
Цветы и травы прилипшие вижу.
Всплакнув, она упала на грудь,
Мокрое от слез скрывая лицо.

— Что ты нашел в том городе каменном? —
Глаза большие мучительно кротки. —
Кому ты оставишь на стойбище меня?! —
Горькую мысль не может скрыть.

— Но мне... мне надо учиться! —
Отстранив ее, говорю жестоко.
Быть может, в груди моей сердце другое —
На рану горькую сыплю соль.

Не жалея девушку-землячку,
Отстранив ее от себя,
Мук ее душевных не понимая,
Уезжаю в город далекий.

...И вновь весна прибежала ко мне.
С брызгами слез на красивом лице.
От имени далекой и забытой девушки
Спросила вдруг: «Счастлив ли ты?..»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ — воспоминания о свадьбе брата Борбок-Кары Аткыра и об их дяде Урмате

Каждого жизнь испытывает по своему усмотрению. Отправив человека по своим таинственным путям-дорогам, сама и следит за ним.

В первых любовных муках нашего великого вождя и друга Борбок-Кары и его брата Аткыра все не просто.

Вы помните Аткыра, младшего брата Борбок-Кары? У него серые глаза, торчащие уши, небольшой горб. Мало красоты в этом человеке, красоты внешней. И сколько же мук и страданий выпало на его долю!

Как Аткыр мучился в детстве! Тогда-то мы, дети, этого не понимали до конца. А ведь он был лишен главного в эти годы — движения. Говорили, что у него костный туберкулез. Возможно, это было и так. Но тетушка Кажакай смогла поднять сына на ноги. Она постоянно натирала его медвежьим салом, жиром других животных, барсучье сало смешивала с травами и медом — доставала же где-то! — и этим кормила Аткыра. Я не раз видел, как она укутывала сына на ночь, приложив к его спине запаренный мох с брусничным листом. И Аткыр встал. И пошел. И по сей день здравствует. Когда я думаю об этом, хочется сказать: силен человек!

И сильнее того любовь матери к сыну...

Лежа целыми днями один, Аткыр выучился играть на алтайской дудке-шооре и на комусе. Он не только хорошо играл, но и был наделен даром подражания. На шооре и комусе он очень точно воспроизводил манеру исполнения и своеобразие голоса любого исполнителя, слышанного нами. А как он умел на шооре и комусе подражать голосам

птиц, обитающих в горах Алтая! Мы часто прибегали его послушать.

Но для Аткыра песня была его жизнью. И не однажды пришлось мне видеть, как из его серых глаз каплями свинца выкатывались тяжелые слезы, когда он выводил мелодии алтайских песен, лежа один в опустевшей избушке или юрте. Он молча плакал, поверяя свои думы и чувства комусу и шоору.

Когда Аткыр смог ходить, он, опираясь на костылек, всюду бегал за нами. Но Борбок-Кара, щадя силы брата, никогда не брал его в длительные походы, на что Аткыр очень обижался.

Когда мы все разъехались учиться, Аткыр остался без ровесников, и опять он не расставался с шоором и комусом. И о любви его они узнали первыми.

Не Аткыр выдумал: покорить сердце красавицы своей игрой. Сватать девушку при помощи печальных, плачущих звуков комуса — древний алтайский обычай. Находкой Аткыра стало прибавление к нежной и порхающей мелодии комуса своеобразных звуков, песен шоора.

Каждый день поднимался он на верхнюю ферму, пристраивался где-нибудь вблизи юрты Чергий и, не отрывая ото рта шоор, пел и пел печальные мелодии. Иногда заменял шоор комусом и опять продолжались песни любви и печали.

Очень скоро все поняли, кому посвящает свои страдальческие мелодии Аткыр. Но и не думала их замечать Чергий.

Влюбленный человек иной раз не то что слово сказать своей влюбленной, побаивается даже встретиться с ней. Боялся и Аткыр. И каждый день пел...

Однажды мать его, тетушка Кажакай, не выдержала:

— Если тебе по душе младшая дочь Карамая, то как дурачок не играй на шооре, а языком человека и мужчины скажи ей об этом, — посоветовала она сыну. — Не она же к тебе подойдет и скажет, чего людей-то смешить...

— Мама, как мне ее сватать? — покраснев до слез, спросил Аткыр.

Кажакай, не готовая к такому вопросу, подумала-подумала и решила идти по древнему, испытанному пути.

Раньше алтайцы жили кочевьями, разбросанно: одна семья в одном логу, другая — в другом. Потому-то парень, задумавший жениться, в один прекрасный день возлагал нарядное седло на своего коня, одевался сам как можно праздничнее и отправлялся по горам и весям искать себе

невесту. Чаще всего выбирали не по красоте, а спрашивали в кочевье: есть ли у них работящая девушка, умеет ли она шить, варить, доить... Если не находилось невесты в кочевье, то всегда знали, где есть подходящая девушка. При этом всегда про всех знали, кто какого рода-племени. Каждый род был чем-то знаменит, у каждого были какие-то особые традиции. Парню оставалось только слушать и присматриваться. Если девушка ему нравилась, он просил засватать ее.

Сватами становились, как правило, люди достойные, умеющие в нужный момент отстоять жениха, не лезть за словом в карман. Они на все лады расхваливали парня, будущего мужа девушки. А парень, еще ни слова не сказавший той девушке лично, ждал ответа ее и ее родственников. Как только получали согласие, начиналась бурная подготовка к свадьбе.

Но, конечно, не все так поступали. Иные сами находили себе жен и даже без согласия родителей приводили их домой. Бывало и наоборот: парень не хотел брать в жены девушку, а его родители заставляли взять ту, которая им нравилась.

И все-таки чаще сватали по обычаю. Этот древний обычай Алтая нет-нет да и теперь возрождается. О нем думала и тетушка Кажакай, когда Аткыр спросил ее, как сватать Чергий. Сын выбрал невесту. Так дело теперь за сватами!

Не посвятив в свои думы Аткыра, мать сказала ему:

— Съезди, сынок, в деревню к дяде Урмату. Уж он-то поможет тебе.

Дядюшка Урмат — старший брат тетушки Кажакай — один из самых удивительных людей нашего Кайру. Такие встречаются один на тысячу человек, да и то не всегда.

Нам, мальчишкам, дядюшка Урмат казался стариком, и звали мы его дедушкой, а было ему после войны всего пятьдесят. Я не запомнил его довоенным, в военные годы он работал на угольной шахте в городе Кемерово — это совсем недалеко от Горного Алтая. Сразу же после войны вернулся домой, в родной Кайру, и часто приезжал к своей сестре Кажакай в Кайру-Бажи и Актел.

Дядюшка Урмат очень любил рассказывать. Слова с его языка сыпались градом. Где только их брал? Говорил чисто и гладко. Так порой скажет, что и шва не найдешь, а ведь чуешь: сочиняет дядюшка Урмат. Слушали его охотно, и было совсем не важно, где у него правда, а где выдумка. Сам он всегда верил тому, что рассказывал другим.

Поговаривали, что к своим пятидесяти годам он успел жениться более десяти раз, но никто не ведал, правда это или нет. Я его знал только холостым.

Нам, детям, было интересно спрашивать дедушку Урмата о боях, походах, сражениях Красной Армии, где он служил. А слушателей постарше интересовало другое.

— А где ваши жены, дядюшка Урмат, почему вы с ними разошлись? — спрашивали они.

— Моя первая жена осталась в Даурии, — отвечал старый солдат. — Женился, когда служил в Красной Армии. Красивая женщина, русская женщина. А кто сказал, что я ее оставил? Я был солдат, меня перевели в другое место... Я с нею не разошелся.

— А вторая жена где осталась? — улыбались слушатели.

— Вторая? Там... — он неопределенно кивал головой куда-то вбок и замолкал.

— Где «там»?

— Да мало ли в Советском Союзе городов и сел? Все там... — гордо и грозно заканчивал он разговор о своих женах: о них он рассказывать не любил. Потом опять долго молчал, что-то вспоминая, и неожиданно говорил: — Имя ее Аксюша... Да, Аксюша...

Кто была эта Аксюша, была ли она его второй женой, да и была ли женой вообще — мы никогда не узнали. Назвав ее имя, дядюшка Урмат сидел молча долго-долго и был совсем не похож на себя, всегда любившего поговорить, позубоскалить.

Ну, а если мы своим вопросом успевали опередить взрослых, дедушку Урмата было не остановить.

— Я, ребята, служил в кавалерии, у самого Семена Буденного! — так обычно начинал он свой рассказ.

Дядюшка Урмат был один из тех, кому первыми из нашего Кайру выпало служить в рядах Красной Армии. До того времени алтайцев на службу не брали, что сильно обижало наших дедов и отцов. Поэтому попасть в ряды Красной Армии было очень радостно и очень почетно.

— А вы знаете, — продолжал дедушка Урмат свой рассказ, — Семен-то Буденный, мой знаменитый командир, человек не русский, а чистейший алтаец! И не просто алтаец, а, клянусь вам молоком матери, он, как и я, ваш покорный слуга, из рода майманов. Да, из рода карачерных майманов! Мы с Семеном жили как два родных брата, только он, конечно, был старший брат... Эх, дорогие годы, дорогое время! Тогда какие были героические пар-

ни! — Дедушка Урмат, глядя на нас желтоватыми глазами, качал лысеющей костистой головой и поглаживал усы.

Если кто-нибудь позволял себе не поверить, что Буденный алтаец, Урмат обижался:

— Скажи, пожалуйста, ты воевал, проливал кровь, как я?.. В красной кавалерии самого Семена Буденного ты служил или я, скажи?!

Усомнившемуся в правдивости слов дедушки Урмата делали предупредительный знак, чтобы он притих. А что до старика, он, как говорится в героических сказаниях, мог «семь дней и ночей» рассказывать о боях и походах, о своем командире.

— Ну вот, послушайте меня. Наш огнеподобный, героический командир Красной Армии Семен Буденный, если хотите знать, родился в прикатунской долине, родом он из тамошних черных майманов. Да, он родился на берегу красавицы реки Катуни! Давно, в молодости, я работал ямщиком. Много раз ездил в верховья Катуни. Мне еще тогда о нем знающие люди рассказывали. — Урмат пронзительным желтым взглядом смотрел на слушателей. — В детстве Семен, слышал я, был не то чтобы хулиганистым, а шустрым, очень шустрым был мальчиком. Подумайте сами: стоит во дворе у коновязи строптивый, еще не объезженный конь. А Семен, рассказывали, совсем-то мальчишка, вдруг сорвется с места и проскочит меж ног коня. Тот еще и шевельнуться не успевал, а уже Семен тем же путем — обратно. Вот какой был мой командир. Не человек, а пуля! Не зря говорит алтайский народ: «Батыр виден в детстве, а урожай — в колоске».

— А вы виделись со своим братом, Буденным, разговаривали с ним? — интересовался кто-нибудь.

— А как же нам не встречаться, не разговаривать, если мы из одного майманского рода, а?! — удивлялся дедушка Урмат и с великой гордостью продолжал свой рассказ о встречах с «братом»: — С белобандитами сражался я сильно. Очень сильно! Догонял их и на скаку рубил их головы. И стрелком я был метким. Буденный все это примечал... И вот однажды Семен собрал красноармейцев и командиров в сосновом бору, а народу-то нас было — тьма, собрал и выступил с речью. Ох и жарким был его доклад! Слова все огненные, сильные и призывные. Мы и так сражались, как настоящие батыры, а он звал нас, кавалеристов-красноармейцев, уничтожать беляков, не щадить этих хвастливых болтунов. Мы все были готовы тут же ринуться в бой после таких жарких слов. А Семен, когда закон-

чил, вдруг указал на меня: «А ну-ка, пропустите ко мне, товарищи, вон того черноволосого и красивого кавалериста». Я стоял далеко от командира. Кавалеристы расступились, как два берега, передо мною открылась, словно в лесу, широкая просека. Я четким кавалерийским шагом подошел к Буденному. Все затихли, ждут, что же будет дальше...

А Семен спрашивает меня:

— Из какой долины Алтая будешь, такой боевой и бесстрашный кавалерист?

— Из Урсульской, товарищ командир, — отвечаю Буденному, — деревня Кайру.

— Из какого же ты рода? — интересуется Семен.

Ну как тут промолчишь? Коль спрашивает сам знаменитый командир, я вынужден дать четкий ответ. И я даю:

— Товарищ командир, я из рода черных майманов!

О кудай-бог, как только это сказал, что тут произошло! Семен, брат мой Буденный, бросился ко мне, радуется, дышит взволнованно и сильными руками обнимает меня. Клянусь, все красноармейцы, которые стояли вокруг нас, словно густой лес, видели это, поверьте, люди, мне, вашему мужественному земляку. Обнял меня Буденный и даже, как маленького, поцеловал, а потом громко, чтобы все знали, объявил:

— Товарищи кавалеристы, запомните, пожалуйста, вот этого бойца, отныне он — мой кровный брат, мы с ним из одного рода черных майманов.

А вы спрашиваете, разговаривали ли мы... Мы с Семеном в гражданскую войну дали прикурить врагам Советской власти, показали, что такое буденновцы, беляки узнали, какие батыры алтайцы, особенно из древнего рода черных майманов...

А вы говорите, виделись ли мы... Брат он мне, поняли теперь?.. Вот так-то...

Много всяких рассказов было у старого солдата, одиноко коротавшего свой век.

Позже я узнал, что он действительно служил в кавалерийской части, и было это где-то в Забайкалье, но было уже в конце двадцатых годов. Узнал и о том, что дядюшка Урмат принимал участие в событиях на Китайской военной железной дороге. Но сам он об этом никогда не рассказывал.

Вот что это был за человек, дедушка Урмат — дядя друзей моего детства Борбок-Кары и Аткыра.

...Аткыр еще долгие дни играл на комусе и шооре около юрты Чергий. Любовные муки, как острозубые щенки, по-прежнему грызли его сердце. Когда ему стало совсем невмоготу, он послушался совета матери: поехал к дяде Урмату.

— Засватайте мне невесту, дядя, — без предисловия заявил он, едва перешагнув порог юрты.

— Чо! — Урмата будто бичом ударили. Он удивленно посмотрел на Аткыра. — Коль захотел жениться, значит, выздоровел совсем и не умрешь. Обожди, племянник, на ком же ты решил жениться? На русской или алтайке? — поинтересовался Урмат и, не дождавшись ответа, изрек: — Я тебя научу! — Но тут же спросил у Аткыра: — Скажи мне, ты уже какой-нибудь шаг сделал или сначала прибежал ко мне?

— Да делал...

— Что?

— Играл на шооре...

— Эйт, «на шооре»! — передразнил дядя. — Этим, парень, ничего не добьешься. Современных девушек не шоором сватают, понятно?..

— А как, дядя, скажите!

— Разные бывают подходы к женщинам, парень. — Урмат потеребил усы, набил самосадом свою трубку и надолго замолк.

Аткыру невтерпеж, ему хочется скорее получить ответ на свой вопрос, он торопит:

— Ну, дядя, научите, как сосватать девушку?!

Урмат покурил еще и начал:

— Кому же еще я передам свой опыт, если не племяннику? Сядь поближе и слушай повнимательней. Так вот, если хочешь жениться на русской, то прежде всего посмотри на ее огород: богат ли, беден ли, что там растет... Узнай имя хозяюшки, то есть невесты. Познакомившись, не поленись и посчитай, сколько свиней и кур держит. Почувствуешь, что все у нее ладно в хозяйстве и женщина собой гладкая, забудь про смущение, скажи ей тут же прямо: «Я вас люблю!» Горячо скажи, сильно скажи.

— Дядя, ведь я не на женщине хочу жениться, а на молодой девушке алтайке, — не выдержал Аткыр.

— Хм-хм, — кашлянул Урмат, как бы прочищая горло. Дымя трубкой, задумался, посмотрел на небо через дымоход юрты. — Надо было, парень, сказать сразу, что ты хочешь жениться на алтайке. Для алтайских женщин у меня другие приемы...

— Дядя, да я хочу жениться на молодой девушке! Она не была замужем!

— Боть! — воскликнул Урмат. — Значит, строптивую выбрал, а?! Я-то сравнивал тебя с собой, учил, как сватать вдовушек. — Урмат, выбивая пепел из трубки, легонько постукивал ею о негорящий конец головешки. — Да, дорогой мой племянничек, где, где моя молодость, времечко мое!.. Ну, на кого же ты глаз положил?.. А я, грешным делом, почему-то подумал, что ты собираешься жениться на Арамай.

— Дядя, зачем мне Арамай? — возмутился и обиделся Аткыр. — У нее же растет суразенок.

— А что тут такого, чем ребенок виноват?! — рассердился не на шутку Урмат. — Как я погляжу, так тебе больше и подходит Арамай, младшая сестра табунщика Яры. А насчет ребенка ее даже не заикайся, парень. Ребенок тебе на шею не сядет!

— Дядя, я хочу засватать Чергий, — решил прекратить этот неприятный разговор Аткыр.

— Ы! Чергий, говоришь?.. Это младшая дочь моего друга Карамая, что ли?.. Так, яснее ясного. Ты сделал верно. На шооре ей можно и даже нужно было играть. Пусть тает и смягчается ее сердце.

— Дядя, не тает! Как лед ее сердце, и потому я пришел к вам.

— Обожди, племянничек, объясни мне: ты как, на коне к ней ездил или так, пешочком нес туда свой горб?

— Дядя, какой конь? Ферма рядом, а вы о коне. Конечно, ходил пешком...

— Пешком?.. Это никуда не годится! — Урмат сгоряча приподнялся было и тут же опустился на свое место. — Пешком! Кто, когда и где смог покорить сердце девушки, если ходил к ней пешком?! К красавицам полагается являться на коне, дружок. И конь чтоб плясал под седлом, едва касаясь копытами земли-матушки. Алтайской женщине по душе лихой джигит на быстроногом скакуне. Запомни это. А ты ведь и работаешь табунщиком, не так ли? Тебе все карты в руки!

— Попробую к ней прискакать на коне, — быстро согласился Аткыр. — А сватать как, дядя?

— Вот именно! На коне! — обрадовался дядя Урмат первой своей победе. — И найди для нее такие слова, чтобы сердце раскололось, как лед весной.

— Какие слова говорить, я ведь за этим к вам и пришел?!

— Вот послушай. Не зря раньше учили молодежь, чтобы слова мудрецов собирали в мешок, — считая себя мудрецом, загордился Урмат. — Сердца алтайских женщин требуют особого колдовства, парень. Послушай, вот древнейший метод. Подъедешь к ней на отличнейшем иноходце. Слезь с коня. Поздоровайся. Спроси, какого она рода-племени. Не забудь в свою очередь о своем сказать.

— Ну дядя! — перебил Аткыр. — Я же род Чергий знаю давно. И она мой тоже.

— Эйт, не перебивай! — Урмат строго посмотрел на Аткыра. — Коль все знаешь сам, зачем ко мне явился?

— Молчу и слушаю...

— Вот, будь скромным. Не лезь вперед. Дальше слушай... Поздоровавшись с нею, старайся долго не отпускать ее руки. Мягким, воркующим голосом скажи ей: мол, какие у вас теплые и мягкие ладони, и при этом смотри ей прямо в глаза. Скажи: глаза ваши, как звезды лучистые. И дальше, дальше, все тем же макаром. Быстроту ее ног сравнивай с ветром в чистом поле. Не давай передышки. Вытащи и преподнеси свой подарок. Например, кольцо из белого серебра или плат какой... В общем, племянничек, сам разумей. Раньше, например, было так: увидит влюбленный у возлюбленной кисет или носовой платочек, тут же, без разрешения, правдами и неправдами забирает его себе. И ты так сделай, отними у нее что-нибудь, а захочет отнять, — не отдавай, беги в безлюдное место. Она — за тобой, а ты — в кусты... И дальше и дальше! А там все выяснится.

— Нет, дядя, — Аткыр тяжело вздохнул, — я так не смогу...

— В таком случае, мне все ясно. — Урмат махнул рукой. — Лучше тебе сватать Арамай.

— Не нужна мне Арамай, — чуть не плача, сказал Аткыр.

Урмат сжалился:

— Ну что с тобой делать?! Если сам не можешь, я тебе засватаю Чергий.

— О кудай-бог! — радостно воскликнул Аткыр. — Неужели это правда? Дядя!..

— Как это «неужели»? Будет так, коль сказал! Перед тобой человек, который умеет покорять сердца молодиц. Только терпи, засватаю и приведу в юрту твою Чергий.

— Может быть, дядя, мне сходить в лавку, а?

— Это хорошо, самый момент отметить. Она будет твоя! Хотя я старик, но методы мои пока не устарели.

Аткыр поверил дяде, легко и быстро перепрыгнул через порог юрты Урмата, вскочил на своего смирного коня и стрелой полетел по единственной улице Кайру к магазину. Куда уж там пешком?! Чувство радости захлестывало Аткыра. Ему хотелось поскорее очутиться в горах и огласить родные просторы вдохновенной песней своего комуса...

Пожелтели ветки лиственниц. Не выдерживая даже легкого ветра, они падали на сырую землю. Длинная спина горы Яну уже побелела от снега. Утром и вечером в Актеле дыхание воздуха становилось холоднее, серебристым инеем покрывалась земля.

— Ич-и-ке-ей, — говорили алтайцы, чувствуя приближение холода, — зима уже опустила на горы свои белые ноги.

Глаза солнца тускнели, шея дня становилась все короче. Приближалось время перекочевки на зимнюю стоянку. Приближалось время занятий в школе.

Но лето еще напомнит о себе. Придет благодатная пора бабьего лета. Оно как дар самой природы — лето прощается с людьми и скотом.

Как не хотелось мне уезжать в город в те августовские дни, когда актелские доярки шептались о предстоящей свадьбе Аткыра и Чергий! Сердце болело от непонятной тоски. Хотелось быстрее в город, и никак не мог я расстаться с домом, не мог не видеть Чергий.

— Тетушке Кажакай достанется хорошая сноха, — радовались за настрадавшуюся мать ее подруги — наши добрые доярки.

— Как мы были не правы, когда считали Урмата вруном, — осуждали себя виноватые. — Ведь он лучшую девушку засватал своему племяннику. Подумать только, такую красавицу...

Какие слова сказал Урмат Чергий, когда с нею встречался, никто не знает. И поэтому разговоры были всякие, говорили и недоброе, и без зависти не обошлось:

— Дело это не совсем простое: Чергий ведь не любит Аткыра, а дала согласие... Разве неудивительно?!

— Не поймешь, что за язык у этого Урмата! Похоже, слова его тают, как масло, а прилипают, как смола.

— Он, наверное, знает колдовское дерево, — поправляя свои длинные черные волосы и искоса глядя на собеседниц, говорила Кыйгас. — Говорят же, что где-то в горах встречаются колдовские деревья...

— Может быть, может быть, — легко соглашались с ней женщины.

— Тифук! — не выдерживала, вступала в разговор всегда молчаливая тетушка Кару. — Что это за невеста, чтобы ее выменять на родную мать или брата? Хорошо, что Борбок-Кара в армии, не знает все это.

Слова тетушки Кару были небеспочвенны. У алтайцев существует такая легенда. Кто найдет колдовское дерево, должен срезать с него кусочек коры, раскрошить ее, подмешать в еду или всыпать в питье тому, чью голову хочешь вскружить, и, прошептывая магические слова, подать это питье или эту еду избраннице (избраннику). Можно, раскрошив кору и перемешав ее с табаком, набить им трубку и подать ее с теми же магическими словами е й или е м у, если они курят.

Колдовское дерево почти мгновенно приворожит человека. Но только, говорят, тому, кто воспользуется корой этого дерева, не миновать беды и несчастья. И не только скот его будет падать. Говорят, из-за колдовства может на тот свет уйти близкий человек... Страшно это! Лучше не трогать колдовское дерево, не подходить к нему...

Все эти толки и разговоры не могли пройти мимо ушей Кажакай. Поэтому она пошла на верхнюю ферму, чтобы лично встретиться и поговорить с самой Чергий.

— Говорят, что ты согласилась стать моей снохой, Чергий, правда это или... — Девушка смотрела на мать Аткыра почтительно. — В твоих глазах не нахожу радости... — Кажакай тяжело вздохнула и покачала седеющей головой. — Значит, я зря поверила своему старшему брату?

Разговор этот состоялся рано утром, Чергий только вывела пасти своих телят. Таежные травы и кусты были мокры от утренней росы. От росы почернел и подол длинной юбки Чергий.

— Все теперь стали культурными, — печально засмеялась девушка, глядя себе под ноги. — В Кайру не осталось парня, за которого можно было бы выйти замуж. Все учатся, будто хотят на небо взлететь.

— Я ведь вижу, нет радости в твоих глазах, — повторила Кажакай. — Может быть, ты решилась выйти за моего сына, не найдя в Кайру культурных парней, а?..

— Может быть, — Чергий, не глядя на тетушку Кажакай, шумно вздохнула. И вдруг засмеялась: — Жди их, культурных, так и состаришься! — Она опять погрустнела и дерзко призналась: — Недавно был тут один культурный, обещал, что увезет, и след простыл. Никаких вестей...

— Что же нам делать? — пытала Кажакай. — Готовиться к свадьбе? Говори откровенно.

Чергий долго молчала. Она смотрела вниз, пальцами босых ног срывала холодные мокрые цветки и траву.

Кажакай опять заговорила:

— Аткыр день и ночь тоскует по тебе, скоро высохнет...

— Что делать, — Чергий снова вздохнула, — раз уж начали готовиться, то готовьтесь...

Вскоре люди срубили молоденькую белую березку и прибили ее к дымоходу юрты Аткыра. Это древний знак того, что скоро в этой юрте будет свадьба.

И вот долгожданный день близок: завтра будет той-свадьба Аткыра. Такое не каждый день бывает. Зашевелились, загалдели люди. Кто-то варил араку из чегеня — квашеного молока. Гулко стучали там и тут ступы, обдирая ячменное зерно для мясного супа.

Жизнь вокруг хорошела с каждым днем. Стыдно было делать плохую, бедную свадьбу. Решили зарезать не одного, а трех баранов. Возле юрты Кажакай сооружали из камней таган для казана — большого котла. И рыли большие ямы, чтобы в них разжигать огонь и в огромных котлах варить мясо.

В день свадьбы Аткыр был разговорчив, как никогда, шутил, улыбался. Его серые глаза были переполнены радостью. В голубой рубашке и черных брюках, весь искрящийся счастьем, Аткыр был даже красив. Как главный виновник торжества, он сновал туда-сюда, помогая, подсказывая, слушая, спрашивая.

Уши его не пропускали мимо ни слова, ни звука. Память отлично помнила необходимое в эти волнующие минуты. Глаза видели все, что происходило вокруг юрты и за ее пределами.

— О, по перевалу Кадыргат спускаются трое верховых! — первым заметил он. — У них высокие шапки с кистями, значит, эти люди из Оймонской долины.

Кайрунцы посмотрели в сторону перевала и действительно увидели подъезжавших верхом гостей.

— Весть о моей свадьбе дошла и до Оймона, — горделиво сообщил Аткыр. — Хорошо, что много будет гостей.

— Это я оповестил всех дальних и близких родственников, — похвастал дядя Урмат. Он вгляделся во всадников: — Не Максым ли это? Конечно, он. Я специально просил его приехать, уж он-то повеселит гостей на твоей свадьбе, племянничек. Такого танцора второго не найти! Я сообщил ему о тое!..

Двое из приехавших были женщины. Их тут никто не знал. А третьим оказался действительно Максым, оймонский солдат, которого знали все, так как он не раз здесь бывал.

— Видишь, какие глаза у твоего дяди, глаза кавалериста: острые и пронзительные! — Урмат хлопнул Аткыра по плечу.

Несколько лет назад Максым лихо отплясывал на свадьбе Чомый и Токтона и тогда сказал жениху:

— На твоей красавице должен был я жениться, но ты опередил меня, молодец! Мы с тобой, Токтон, фронтовики. Прощаю тебе и не сержусь! Живите хорошо, будьте счастливы.

И вот подросла Чергий. Сегодня ее свадьба...

На эту свадьбу плясун прибыл в черных, а не в красных, как ходил до сих пор, сапогах. Но и они начищены до блеска. Как зеркало сверкают. На нем галифе и китель из темно-синей диагонали. На голове — барашковая черная кубанка. Женщины, прибывшие с ним, в алтайских расшитых шапках.

Навстречу гостям первым по праву шагнул Аткыр:

— Спасибо, что приехали, гости дорогие. Коль успешно осилили большие перевалы, одолели опасные реки, примите участие в моей свадьбе.

— А-а-а, свадьба, оказывается, твоя, паренек?! — Максым изумленно посмотрел сверху вниз на Аткыра. Он хотел было еще что-то сказать, но передумал.

— Свадьбой руковожу я, невесту привел к согласию тоже я! — тут как тут явился перед гостями Урмат. — Людей, прибывших издалека, пригласи, племянничек, в юрту, где будет свадьба, угости. Пусть отдохнут хорошенько.

Женщины, готовившие мясо и другие угощения для свадьбы, с радостью встретили гостей. Подали им лучшие куски, поставили арачку. Гости поели, выпили немного арачки и встали, намереваясь отправиться в путь.

— Куда так торопитесь? — удивилась мать Аткыра. — Ночуйте сегодня у нас. Если какие дела в деревне, завтра можете завершить? Максым, ведь ты хороший плясун, остался бы, а? — Кажакай узкими добрыми глазами смотрела на него. — Поддержи свадьбу моего сына. Попляши на ней, пусть люди радуются, сынок... Мы по древнему обычаю опоясем тебя красным расшитым кушаком.

— Останься, Максым, на свадьбу прибудут красивые девушки из Кайру, — приглашал Урмат, — если захочешь, одну из них я лично тебе засватаю, а?

— Некогда, торопимся, — одна из двух женщин вежливо вступила в разговор. — Максым, время идет, поехали...

Гости попрощались, вышли из юрты, на дымоходе которой шелестела на ветру белая березка, и направились к коновязи. Их провожали Урмат, Аткыр и Кажакай.

— Ну, паренек, до свиданья, — перед тем как сесть на коня, Максым протянул руку Аткыру. — Не обижайся, что не поплясал на свадьбе твоей...

Гости уехали. А люди продолжили подготовку к торжеству. Кто-то шел за водой, кто-то шагал навстречу с полными ведрами на коромысле... Одно слово: свадьба — хлопот предостаточно.

К вечеру через верхний восточный перевал спустился тот самый табунщик Яра, который когда-то белым чумбуром бил Борбок-Кару. Ныне он пас своих коней в благодатной долине Тегорюк меж Оймоном и нашим Кайру. Он, не слезая с коня, спросил у старика Урмата:

— Мне говорили, что Аткыр женится на Чергий, выходит, наврали, а?.. Значит, Аткыр женится на какой-то другой, да, дядюшка Урмат?

— Как на другой? — на вопрос ответил вопросом Урмат. — Невеста находится в назначенной юрте. А сваты наши уехали к родственникам невесты. Там уже начались, наверное, предсвадебные угощения.

— В какой назначенной юрте, — удивленно расширялись маленькие глаза Яры, — если я видел ее с оймонским Максымом, они ехали мне навстречу?!

— Еще что ты придумаешь, а, парень?! — разозлился Урмат.

— Чергий с Максымом теперь уже за перевалом, подъезжают, наверное, к Ак-Кобы — родной деревне Максыма, — простодушно сообщил Яра. — Если мне не верите, проверьте, там ли невеста, куда ее посадили.

— О чем он болтает? — Кажакай беспокойно оглянулась на тех, кто был рядом. — О кудай-бог, разве возможно такое?!

— Ты решил поиздеваться надо мной? — Аткыр быстро нагнулся, схватил с земли камень и с силой бросил в Яру, но не попал. — Ты... ты... — Аткыр потерял дар речи.

Урмат, умея удивлять, сам мало когда удивлялся. Но сейчас и он не знал, что делать.

— Как же это так, правду ли ты говоришь, Яра?

— Говорю же, проверьте в назначенной юрте, там ли Чергий, — сердито повторил Яра, пришпорил коня белым чумбуром и помчался в деревню.

— Повешусь! — безумно заорал Аткыр.

Его остановил дядя Урмат.

— Не торопись, племянник, обожди, — тихо сказал он поникшим голосом. — Сперва действительно надо удостовериться, на месте ли она. А вдруг Яра с какой-то целью нарочно сказал...

Урмат сел на коня и умчался. Вскоре он вернулся. Люди, ждущие его возвращения, сразу догадались по его виду, что Яра сказал правду.

На Аткыра страшно было смотреть: безумными и бессмысленными стали глаза, лицо побелело.

— Дайте мне ружье! — кричал он. — Я догоню эту оймонскую собаку и пристрелю обоих!..

«Что же делать? — потеряла голову тетушка Кажакай. — О кудай-бог великий, это же позорище! Кто проклял моих сыновей? Может быть, они нарушили предначертания судьбы, полюбив родных сестер, дочерей чернобородого Карамая?..»

Немного опомнившись, Урмат позвал в юрту Кажакай и обезумевшего Аткыра. В их разговоре посторонние не участвовали, но позже все стало известно.

— Оказывается, этот из Оймона не человек, а монгус-дьявол восточный! — ругался и проклинал Урмат. — Обожди, получит он от меня!

— Через гору не стращай кулаками! — нервно и зло выговаривала Кажакай брату. — Человек, опозоривший всех нас, не он, а только ты, больше винить некого.

— Ладно-ладно, — резко махнул рукой старик. — В такой момент нельзя отступать, Кажакай. — Он прямо посмотрел на сестру, повернулся к Аткыру. — В такой момент надо идти только напролом, племянник. Опять-таки придется мне помогать тебе, Аткыр...

— Что увидели мои сыновья в этих сестрах! — причитала тетушка Кажакай. — Досталась же мне злая доля, чтобы выкормить собственной грудью и вырастить таких безумцев! Опозориться перед всем народом! Как же это понять, за что такой стыд?! Хорошо, хоть Борбок-Кара в армии...

— Не совсем плохи наши дела, — вдруг попытался улыбнуться Урмат. — Свадьбу надо продолжить, Аткыр... А как ты считаешь, Кажакай, сестричка моя? — словно издеваясь, спросил он у бедной матери несчастного жениха.

— Упустив невесту, о чем теперь болтать! — злыми глазами сверкнула сестра на брата. — Мало этого позора...

— Не поняв мудрость мудреца, ты зря не кричи, Кажа-

кай! — Урмат не отступал от какой-то своей тайной идеи.— Кто тебе сказал, что нет в Кайру девушек, кроме дочерей моего бывшего друга Карамая?..

Мать Аткыра подозрительно посмотрела на Урмата.

— Нам хватит и этого позора перед всем народом! Где та невеста, которую ты привел своему племяннику?!

Урмат словно ждал такого упрека.

— Одновременно я сватал сразу двух невест, — он уже спокойно выпускал дым из своей трубки, будто ничего не случилось. — Другую я оставил в запасе, сестренка. Она ждет нашего Аткыра...

— И-та-та-гай! — брезгливо воскликнула тетушка Кажакай. — Старик уже, пятьдесят пять лет, а болтаешь что попало! Противно даже слушать...

— Я ведь говорил тебе, племянник, об Арамай...

— Хватит о ней! Я не женюсь на Арамай! — Аткыр, сидевший до сих пор тихо, вскочил как ужаленный. — Повешусь!

Он ринулся к двери юрты, но Урмат поймал его за руку.

— Ты меня этим не пугай! — твердо и сердито сказал дядя. — Сперва послушай старого, опытного кавалериста. Потом, если захочешь, успеешь... Сегодня мы должны найти выход, снять позор, понял меня? Никто не хочет привязать тебя навеки к Арамай, понятно?.. Будь ловким и хитрым, — Урмат перешел на шепот. — Сделаем ладом. Если с ней не хочешь жить, то, когда пройдет свадьба, утихнут толки, оставь Арамай. Найдешь подходящую для себя, сделаем новую свадьбу... — Он повернулся к Кажакай, молча прося материнской поддержки. — Арамай растит ребенка, она не откажется. Ей тоже надо смыть свой большой девичий позор.

— Джигиты Кайру начнут потом насмехаться надо мной, что на такой женился. — Аткыр смотрел то на мать, то на дядю. Они в свою очередь тоже посмотрели друг на друга и понимающе кивнули друг другу. — Может быть, ради того, чтобы смыть свой позор... — нерешительно сказал Аткыр.

— Ну и хорошо, это идет! — обрадовался Урмат и подошел к Аткыру. — Учись жить у дяди! — Он притянул племянника к себе. — Арамай очень работящая, — зашептал он. — Ты на внешнюю красоту и на возраст не обращай внимания. Как работает — вот что главное. Если женишься на Арамай, и мать немножко отдохнет. Кроткая, уважительная жена будет. Будет доить коров, шить. Чистым бу-

дешь, теплые одежды сошьет она тебе. Вот таков мой метод, племянничек.

Такой двухступенчатой была свадьба у Аткыра. Можно сказать, когда сгорела первая ступень Аткыровой любви, начала работать вторая.

Все, что случилось, труднообъяснимо. Жизнь движется своими тайными путями...

Так братишка нашего друга и предводителя Борбок-Кары стал уважаемым зятем табунщика Яры. Если бы Яра заранее знал, что Борбок-Кара в будущем станет деверем его, конечно, не бил бы его по голове и голой спине, оставляя бугристые следы. Следы его чумбура должны были бы лечь на мою голову за мой обман. Что теперь сделаешь, то было давно...

Аткыр и Арамай до сих пор живут мирно и дружно. Есть у них и внуки, и не все дети их еще вышли замуж и женились. Детей у них много. Какими путями пойдут их любовь и судьбы — пока никому не известно.

Эй, великая жизнь, ты бы объяснила и подсказала, что такое любовь, что за сладкое и горькое это чувство?..

Странная любовь двух братьев, Борбок-Кары и Аткыра, к двум сестрам до сих пор удивляет меня, и до сих пор я не могу разгадать ее загадок...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ — рассказ о тревожной ночи

В больнице я пролежал месяц. Выписываться было еще рановато, но у жены подошло время родов, и меня отпустили с условием, что дома я еще полежу, полечусь.

Как мы с женой ждали дочку! Мечтали, вот она родится, подрастет, порадует первыми шагами, смешными словами. У нее на головке будет белый бантик. Будет дочка черноголовой, похожей на мать...

Вернувшись домой, я уже назавтра проводил жену в роддом. Хлопоты, а потом томительное ожидание вымотали меня.

— Как там, кто у нас родился? — не раз звонил я в роддом, беспокоя медицинских сестер.

— Пока никого нет, — равнодушно отвечали мне. — Рано еще...

Положив трубку, хотел было отойти, но тут раздался звонок. Слышу голос жены:

— Сейчас же расстегни все пуговицы!..

О, я совсем забыл об этой примете: если расстегнешь на всех вещах пуговицы, роды облегчатся.

Так уж устроен человек — в критический момент верит всему. Я не только пуговицы, все узлы на всех своих галстуках развязал.

Опять жду, какую же новость сообщат из роддома. Ведь новый человек на свет появляется. Это не шутка.

— Как там, родился кто или нет? — звоню дежурной сестре.

— Поздравляю вас сердечно! — отвечает она радостным голосом. — Поздравляем с рождением сына! Крепкий парень — три триста! Еще раз с сыном!..

Опять родился сын. Третий сын. Стал я теперь отцом трех мужчин!.. Ну что ж...

Тороплюсь, кладу в сумку банки с компотами, молоко, какую-то еду. Мужчина есть мужчина. Оставшись один, он не знает, что делать по дому. Старший сын уехал в Москву: у него начались занятия в институте. А средний сын в походе. Зная, что мне еще нужна помощь и что вот-вот появится на свет новый член нашей семьи, сын отказывался идти, но они так давно собирались классом в этот поход и так хотелось пойти сыну, что мы с женой настояли, чтобы он обязательно отправился с ребятами. Поэтому остался я в квартире совершенно один. Сын вернется завтра к вечеру, а сейчас он, наверное, распевает песни у костра и не знает, что у него есть теперь еще один брат...

Отнес жене передачу. Через дежурную сестру попросил, чтобы жена написала записку, что ей еще надо и что мне делать.

Ближе к вечеру, когда за окном стояли уже осенние сумерки, я решил справиться о жене и сыне. Набрал знакомый номер... О великий бог! Сестра, уточнив мою фамилию, сказала такое, что я выронил трубку. Нет, она не слова сказала, а выстрелила в меня. По всему телу будто прошел сильный ток — я потерял сознание!

Когда пришел в себя, казалось, что все кругом рушится, весь мир несется в какую-то пропасть. Стены квартиры стали сумрачным стеклом, и видно сквозь него, как туманные сумерки кружатся и тонут в темноте. Ни ногой, ни рукой не шевельнуть, отнялись, что ли?.. Вдруг слышу: «Кын-кын-кын». Подумал, что где-то далеко плачет ребенок. Я похолодел. Плач по-прежнему продолжался. Кто-то плачет, зовет на помощь.

Вдруг я догадался, что не положил на место телефонную трубку и теперь в темноте раздаются ее сигналы.

Что произошло со мной?.. Я отчетливо услышал тот самый проклятый голос дежурной сестры: «Это вы? — спрашивает фамилию. — Ваш мальчик только что скончался, а жена... жена находится в очень тяжелом состоянии...»

Что там случилось?.. Только недавно, днем, было все хорошо. Что мне теперь делать? Кто мне поможет?

Вскочил я, и тут же показалось, что кто-то ослепительно яркий фонарик направил мне в лицо. Не выдержал я и закрылся ладонями. Что это, кто светит? А может быть, это вовсе не свет, а темнота? Нет, это что-то другое. Передо мною возникло доброе лицо знакомого человека. Это... это Ольга Петровна, мой врач. Она мне поможет!..

Я встал, включил свет и набрал номер домашнего телефона Ольги Петровны. Как хорошо, что она дома. Услышав мой взволнованный голос, выяснив все, что произошло, сказала: «Подождите, сейчас проверю».

Ярко горят лампочки в моей квартире. Я зажег их во всех комнатах. Но кажется, что покрыт я черным одеялом прежних сумерек. В теле какая-то тяжесть. Неожиданно кто-то отчаянно закричал. Я со страхом вскочил. Кто это так надрывно кричит?.. Это телефон кричит, а я не могу поднять трубку. Смотрю на него, а он на глазах вдруг превращается в черную кошку с зелеными глазами. Закрываю руками уши, чтобы не слышать. Теперь аппарат говорит голосом той медицинской сестры: «Это вы? Ваш сын только что скончался, а жена... жена в очень тяжелом состоянии...»

Сколько прошло времени — не знаю. В квартире снова мертвая тишина. Ни единого звука. Я вскакиваю, быстро одеваюсь и бегу вниз по лестнице, а во дворе вижу какую-то машину.

— Куда вы бежите? — останавливает меня Ольга Петровна. — Все неправда. Медсестра напутала. Жив ваш сын и жена здорова. Куда вы рветесь? Говорю же, что все хорошо...

Будто не узнаю Ольгу Петровну, смотрю на нее удивленными глазами, ничего не могу сказать.

— Час поздний, — слышу голос Ольги Петровны. — Вас не пустят сейчас в родильный дом. Успокойтесь, я все вам расскажу и объясню.

Мы поднялись на пятый этаж и зашли в квартиру. Она, войдя в дом, отдышалась и, посмотрев на меня голубыми глазами, улыбнулась:

— Я вас от души поздравляю еще с одним сыном! — Она протянула мне свою небольшую ладонь. А я ничего не могу ответить, тупо смотрю на нее. Ольга Петровна опять

повторила: — Вы успокойтесь. Дежурная сестра перепутала. Все у вас хорошо.

Я не могу этому поверить. Ольга Петровна, понимая мое состояние, продолжает терпеливо объяснять. Она сама съездила в родильный дом, видела мою жену, говорила с ней, посмотрела на сына моего и оттуда позвонила мне домой, а я не поднял телефонную трубку. Пока она все это мне рассказывала, опять раздался телефонный звонок. Я рванулся к телефону, но опять остановился, испугавшись.

— Берите, берите трубку, звонит ваша жена, — говорит Ольга Петровна. — Я договорилась, она должна звонить...

Все же я не решался. Она сама подняла трубку.

— Это я, — ответила она, — Ольга Петровна. Да, тут, дома. Не верит. И потому не подходит к телефону. Ну, подойдите же, поговорите сами. Все нормально. Только недолго...

— Я поздравляю тебя с сыном, — слабым голосом сказала мне жена. — У нас все в порядке, не волнуйся...

Ольга Петровна улыбнулась, когда я повесил трубку.

— Порядок? Успокоились? — И вдруг поинтересовалась: — Есть у вас в доме кофе? Дайте-ка, я сварю...

Почти до утра я не мог уснуть. Иногда чудилось, что опять кто-то звонит и сообщает мне о смерти сына. Голову накрыл одеялом, старался уснуть, но все равно ничего не получалось. Тень страха появлялась и стучала в окно, говорила голосом сестры: «Что вы лежите, умер ваш сын. Умирает ваша жена...» Наконец стали серыми окна. Я забылся в полусне.

Опять зазвонил телефон. Я испуганно дернулся. Потом вспомнил вчерашнее и торопливо поднял трубку.

— С добрым утром, отец! — слышу ласковый голос жены. — Мы хорошо переночевали. Сын передает тебе привет. На кого похож?.. Конечно, на тебя, на кого же еще...

Сейчас маленький мой человечек, сын мой, и жена уже дома.

В один из обычных дней раздался звонок в нашей квартире. Взяв трубку, я сразу же узнал голос своего врача.

— А-а, якшилар-здравствуйте, «Солома волос, ресниц синева»!.. Как поживаете, в гости просим...

— Как назвали сына?

— Зовут его Темир, — докладываю ей. — А почему именно так, объяснить пока не могу.

Так появился на этот древний свет мой третий сын. Он

родился в тот год, когда не стало моей матери. Постоянно помня и горюя о ней, я написал «песни любви и печали о материнском сердце». Вот одна из тех песен:

Мама, на этом свете продолжают качаться колыбели,
Шьются опять мягкие, новые пеленки.
Горы белеют. Волны морей беспокойны, как всегда,
Вырастают травы, зеленеют просторы.

Мама, был у меня брат Темир,
Красоту мира не увидев, ушел он насовсем.
Ночами я кричал и плакал: «Темир, Темир!» —
Днем среди мальчишек его не находил.

Мама, утром сегодняшним по-новому восхищаюсь:
Еще один сын мой появился на земле.
Чтобы он жизнь прожил за моего брата,
Сыну дал я его имя.

Может быть, эту мою новую книгу когда-нибудь прочтет хороший врач и женщина с прекрасным сердцем, поймет, почему дал я такое имя своему младшему сыну, и, возможно, вспомнит ту тревожную ночь. Вспомните и будьте счастливы всегда, дорогая Ольга Петровна!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,
в которой еще раз необходимо вспомнить о русском хлебе дедушки Папая и о возвращении Борбок-Кары из армии

По звонку в дверь я сразу угадал, что это кто-то посторонний. Наши так долго и беспрестанно не звонят. Открыла жена: ее с сыном накануне выписали из роддома. Я узнал гостя по голосу: заявился Борбок-Кара.

— Сюда, сюда, проходи, Борбок-Кара! — кричу я, приподнявшись с постели: я опять занемог, сказались все волнения.

Когда я выписался из больницы, он еще лежал. Недаром ведь говорят: пришло горе — открывай двери шире. Удивительное дело: Борбок-Кара почти вылечил свой остеохондроз и собирался уходить, как он сам говорил, «из курорта», а тут зашевелился его аппендицит. Сделали операцию. Видно, болезнь как найдет однажды человека, начнет атаку на него и долго не отпускает. А может быть, Борбок-Кару поберегла судьба: пусть, мол, заодно вылечит и другие свои болезни. Ведь если бы приступ случился в урочище Кайру-Бажи, куда бы он пошел?..

И вот Борбок-Кара сидит в моем доме, рядом со мной.

— Ты очень плохо выглядишь, парень, — заметил он. — А я выздоровел, стал как бык. Наверно, до меня дошли благие пожелания моих овец, — смеется он. — Они ждут не дождутся моего возвращения...

Жена моя принесла и поставила около кровати низенький столик с угощениями. Когда она вошла с графинчиком водки и по алтайскому обычаю преподнесла его Борбок-Каре, тот удивленно посмотрел на нее взглядом другого Борбок-Кары — хитрого и коварного.

— Нет, милая, водку свою подальше убери, — сказал он. — Когда болеет друг, как я позволю себе пить?! Неужели я совесть потерял?

— У нас сын родился, — говорю ему.

— Вот это по-литика! — воскликнул он. — Как говорится в народе, человек перед прыжком в старость может еще стать шаманом, так и вы... Коль так, — улыбнувшись, Борбок-Кара бережно, соблюдая обычай, двумя руками взял графин из рук жены, — не откажусь. В этой по-литике есть большая причина.

Он налил в пиалу водку, пригубив, поставил на стол и сказал:

— Значит, говоришь, у тебя три сына. А у меня нет детей...

— А у Аткыра сколько детей?

— О! Полная юрта...

В это время я вспомнил, как Борбок-Кара вернулся из армии, и о русском хлебе деда Папая.

...Тогда Борбок-Кара заехал в город и пришел ко мне. А я уже был настоящим взрослым парнем — учился в седьмом классе и было мне семнадцать лет. Жил я в интернатском общежитии.

Был осенний вечер, когда ребята привели в нашу комнату Борбок-Кару. Я, конечно, обрадовался, поздоровался с ним за руку. Вижу, другим стал мой друг.

В серой солдатской шинели он показался мне высоким. В кирзовых, новых сапогах. На голове высокая фуражка. Не понравился лишь его брезентовый ремень.

В то время была мода у нас — показывать гостям свой альбом. У всех учеников, живущих в интернате, были альбомы с фотографиями друзей. Среди ребят были даже свои фотографы.

Мы с Борбок-Карой смотрели мой альбом, вспоминали Кайру, земляков. На одной фотокарточке я был в галстуке. Борбок-Кара, увидев этот снимок, как-то странно посмотрел на меня.

— Ба, когда же ты успел стать коммунистом, Барыс?!

Что я ему объяснил тогда и как вышел из этого смешного положения, конечно, сейчас не помню. Борбок-Кара, видно, думал, что тот, кто носит галстук, член партии. Не знаю, думает ли он сейчас по-другому или же по-прежнему — я не поинтересовался. Как-то неловко...

Потом мы пошли к Паше. Он тоже жил в городе. Паша не пропустил в занятиях ни одного года и теперь поступил после семилетки в медучилище.

— Хочу посоветоваться с Пашей и с тобой об одной большой по-литике, — по пути сообщил мне Борбок-Кара. — Ай, жизнь, жизнь — какая трудная по-литика!..

— Может, я один могу помочь тебе, а? — поинтересовался я.

— Нет, надо думать вместе, — не согласился Борбок-Кара. — Ты даже догадаться не можешь, Барыс. Большую и оч-чень серьезную по-литику хочу сказать. О ней надо мозговать вместе с Пашей. Три головы всегда находчивее, чем одна моя или твоя.

Увидев Борбок-Кару, Паша обрадовался так же, как и я. Теперь мы смотрели Пашин альбом. В его снимках мы не обнаружили, чтобы он был снят в галстуке. Но в альбоме Паши Борбок-Кара увидел другое достоинство.

— У тебя, оказывается, много девушек, Паша, — он шутливо ткнул его в бок. — Ай, сколько девушек! Хм-хм...— Он закрыл последнюю страницу Пашиного альбома и предложил: — Если вблизи есть чайная, то пойдемте, почаюем втроем.

Мы, конечно, тут же согласились, обрадовались, поскольку тогда мы постоянно ощущали голод и не умели отказываться от еды.

— Когда приедешь домой, из-за тебя, наверное, девушки будут драться, Борбок-Кара, — пошутил Паша. — Ты стал не хуже того оймонского Максыма в красных сапогах!

— Нет, парни, — сказал Борбок-Кара, хитро улыбаясь, — сейчас в моей голове другая по-литика живет. Какая по-литика, спрашиваете?.. Не торопитесь.

Мы пришли в чайную, купили по два стакана горячего чая и по два пирожка. Борбок-Кара, заплатив за все это, сел рядом с нами и теми же хитрыми глазами посмотрел на нас.

— Дело вот какое, — заговорил он полушепотом, — вы оба должны крепко подумать и сказать мне... — наш друг-солдат был серьезен и все усиливал наше с Пашей нетерпение узнать, что же за «по-литика» его мучает. — Пусть

этот чрезвычайный вопрос останется, парни, между нами. Секрет и по-литика, поняли? — предупредил он. — Вот какое дело, парни, будущие воины: в нашем Кайру или в Ело найдется ли хоть одна девушка, которая умела бы по-русски печь хлеб, а? Подумайте не торопясь и скажите мне.

Понять и узнать Борбок-Кару со всех сторон трудно. Иногда мне думается, что он подобен осенним дням: лицо — словно пасмурное, черное небо. А иной раз он — как солнышко весной: весь светится и сияет.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара, скажи-ка, кто ты есть?

Вот он сидит в моем доме. Только что печалился, что кудай-бог не дал ему детей. Вдруг, угощаясь и разговаривая с нами, стал совсем другим человеком. Вижу, в его круглых глазах появилась добрая тайна. Может быть, он понял, догадался, что я вспоминаю те далекие от нас годы и печальный случай, связанный с русским хлебом дедушки Папая?..

— Я хочу спросить и узнать от тебя об одной очень интересной по-литике, Барыс, — хитро прищурился он.

— Говори...

— Откуда люди знают, что человек думает только головой, а? — Он смотрел на меня испытующе. — А вдруг он думает ногами, а? — Борбок-Кара так громко засмеялся, что жена испугалась, что проснется ребенок, и торопливо ушла к нему.

— Ты видел человека без головы? — смеюсь я в свою очередь и на вопрос отвечаю наивным вопросом. — Ты вспомни Токтона, его «немецкую» ногу... — я осекся.

Лицо Борбок-Кары покрылось грозовыми тучами: назвав имя Токтона, я задел его старую рану. Мне стало неловко. Как-то надо было поправить свою ошибку, но ничего не приходило в голову. От затянувшегося молчания я испытывал еще большую неловкость.

А Борбок-Кара есть Борбок-Кара. Некоторое время он сидел молча, сопя и шмыгая носом. Потом, будто ничего не было сказано, продолжил свою «по-литику»:

— В твоих словах есть зернышко правды, — как-то уклончиво и с сомнением сказал он. — Я ведь нарочно сказал о том, что человек, возможно, думает ногами. А вот теперь серьезно спрошу: может быть, человек думает сердцем? — При этом он ткнул себя в грудь слева указательным пальцем. Потом, указывая этим пальцем на потолок, как бы давая понять, что там, над нами, сидит бог, победоносно и громко изрек: — Жизнь — это есть большая по-литика, помни об этом всегда! — И опять: — Если вынуть сердце

из груди человека, он не сможет жить ни одного часа! Тебе встречался человек, не имеющий в груди сердца?..

Откуда у него такие странные мысли, как к нему пришли? Возможно, когда он лежал в больнице, то соседи его по палате говорили примерно об этом, о смерти и бессмертии человека?.. А у него-то: жизнь — сердце — способность думать?! Ах, Борбок-Кара, решил козырнуть передо мной своей мудростью?

— Сердце и голова человека похожи на влюбленных,— сказал я. — У них одно дыхание, жизнь и душа общие, связаны навеки...

Борбок-Каре эта мысль не понравилась. Он решил, что я вновь напоминаю ему о его первой любви.

— Жена моя ничуть не хуже Чомый! — резко и гордо заявил он. — Подумаешь, Чомый!.. Только и знала, что рожать каждый год. Она, как моя жена, даже не умеет печь душистый русский хлеб! Мне она не пара. Тогда я был глупым мальчишкой, потому и бегал за этой дурой, потеряв голову.

...Когда Борбок-Кара спросил нас с Пашей о девушке, умеющей печь русский хлеб, мы недоуменно уставились на своего предводителя.

— А что, русский хлеб должен есть только Папай, так, что ли? — наш друг искренне обиделся. — Находясь на службе, я забыл вкус алтайского сырчика-курута. Привык есть только русский хлеб. Моя жена должна уметь печь русский хлеб, запашистый и теплый русский хлеб! Теперь я человек культурный! Вот, парни, с такой новой по-литикой еду домой. Если найду жену, которая умела бы печь русский хлеб, я к себе позову дряхлого деда Папая, хорошенько угощу его хлебом, а после отомщу ему за его подлость своим судом. Пусть знает, как крутить уши!..

Ах, Борбок-Кара, Борбок-Кара, это ты хорошо запомнил, а помнишь ли ты, кто научил тебя охотиться? И так ли уж тебе было больно? И разве была эта наука бесполезна? Думал ли ты когда-нибудь над этими вопросами?

Сидя в чайной, мы с Пашей перебирали всех знакомых девушек, молодых женщин, кого бы из них предложить Борбок-Каре в жены. А он не торопил нас, терпеливо ждал.

— Может быть, еще принести по стакану чая и по пирожку? — предложил он. — Хорошо думается, когда перед тобой стоит горячий чай.

— В нашем Кайру нет ни такой девушки, ни такой женщины, — был наш с Пашей ответ другу.

— Вы не спешите, еще подумайте, а я принесу чай.

Но и новая порция чая и пирожков не изменила итог наших размышлений: у нас не было подходящей жены для Борбок-Кары ни в Кайру, ни в Ело.

— Может быть, мне поехать в деревню Туякту, поискать жену там? — советовался с нами наш предводитель. — Ведь в Туякту с давних времен живут и русские и алтайцы. Там, конечно, найдется подходящая девушка.

— А-а! — Паша вдруг вспомнил кого-то и посмотрел на друга. — Только ты, Борбок-Кара, наверное, не согласишься и даже рассердишься, если я назову женщину, которая умеет печь вкусный русский хлеб.

— Почему? — разволновался наш предводитель. — Говори скорее, кто она, где живет?

— Она работает в Ело. Крещеная полуалтайка.

— Язык не имеет костей, скажи, Паша, хочу знать, кто она такая? — нетерпеливо потребовал Борбок-Кара.

— Дора, — назвал Паша, — ее довут Дора...

— А-а-а, — громко и долго затянул Борбок-Кара. Наконец он, видимо, вспомнил эту Дору и посмотрел на Пашу потеплевшими глазами. — Ты говоришь о женщине, которая работала на племенном пункте, да? Я помню ее. Да, она действительно культурная...

— Но она же лет на пятнадцать старше тебя!..

— Возраст — это по-литика совсем другая, — наш друг встал, поправил ремень и надел фуражку. — Сколько лет я должен жить один, а, парни? У Аткыра и то уже дочь, хоть и чужая, а я все один. — Он улыбнулся нам, поднес правую руку к виску, встал навытяжку и сказал: — Любовь — это непростое дело, парни! Это — по-литика!..

Борбок-Кара уехал домой. А через какое-то время до нас дошел слух, что он женился на той самой Доре, которую подсказал ему Паша, что состоялась большая и славная свадьба, на которой гуляли жители Кайру и Ело.

Услышав такую новость, мы с Пашей диву давались: как же должен был запасть в душу и память нашего друга хлеб дедушки Папая, если он, чтобы наслаждаться душистым русским хлебом из золотистой алтайской пшеницы, женился на Доре?!

Голод... Голод в разное время бьет нас, людей, по-разному. Иногда берет за горло, а бывает — за душу. Голод всевластен и хитер. Как убить его? Как, если он почти бессмертен?!

В годы детства мы страдали от физического, реального голода войны. Теперь же у голода новый лик, новый образ — голод на вещи...

Современный человек, посмотри, оглянись: ничего тебе не напоминают твои меньшие братья? Взять, к примеру, корову. Она зимой скрипит зубами, мычит и просит сена. Так мычит, что душа у человека разрывается. А как только ее покормишь хорошо и пустишь к стожку под навесом, она от сытости начинает топтать его, бодать. Осенью сытые коровы, взбрыкивая, бодают и сваливают, разбрасывают копны на полях. А зимой опять: мо-то, мо!.. му-му-му!.. Не так ли поступаешь и ты?..

...Сегодня Борбок-Кара сидит в моем доме. Ай, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара, ты не случайно встретился мне в больнице. Разве мог я без тебя вспомнить наше детство, радости его и трудности?..

Все мы — и ты, Борбок-Кара, и твой брат Аткыр, и Паша, и Метирей, и я сам — выросли без отцов. Теперь мы сами отцы. Хозяева Алтая и алтайской юрты.

Паша сегодня — ветеринарный врач. Живет в городе. Руководит большим отделом. А наш Метирей — строитель. Есть ли лучшая профессия, чем строить дома своим родичам и землякам?.. Аткыр и ты — совхозные пастухи. Все мы занимаемся своим любимым делом.

Но нет теперь среди нас вашей матери — тетушки Кажакай, и нет матери Паши — доброй тетушки Тообос, и моей матери не стало в этом подлунном мире. И нет красавицы Кыйгас...

Наши матери, лишившись так рано своих мужей, всеми силами старались поставить нас на ноги. Они терпеливо и достойно выдержали все трудности, тяжелые испытания безжалостной судьбы. О наши дорогие, милые матери, покуда мы видим синеву этого синего Алтая, белизну нашего белого Алтая, цвет зелени родного нам зеленого Алтая, покуда радуемся всем краскам нашего прекрасного Алтая, мы никогда, никогда не забудем вас!

Кайру — небольшое горное селение. Оно не отмечено ни на союзной, ни тем более на мировой карте. Но из этого села на великую войну уехали десятки мужчин. Они навеки остались живыми в глубине сердец наших матерей, сестер и братьев, в наших сердцах. Они — наша общая и неутешная боль, незарубцованные раны и горе всех сердец нашей доброй земли.

Вот сидит Борбок-Кара и, глядя на меня, думает о чем-то. А я, думая о судьбах наших отцов и братьев, вдруг говорю ему:

— Хочешь послушать, прочту тебе стихи одного своего друга?

— Стихи?! — удивился Борбок-Кара. — Ты только и думаешь об этих стихах. Разве они помогут жить?

Но я не послушался своего гостя. В этот самый момент мне почему-то очень захотелось высказаться строчками стихов.

Мне не хватает одной улыбки,
Мне не хватает одного рукопожатия
Человека, которого я любил.

Двадцать миллионов улыбок,
Двадцать миллионов рукопожатий
Навсегда унесла война...[1]

Борбок-Кара остался равнодушным к стихам. Он сообщил мне, что купил уже билет на автобус домой. Который раз я опять замечаю внутри его небольших глаз второго Борбок-Кару. Он на меня смотрит издали.

— Нет, все же в тебе я вижу тени острой боли, — говорит он, — плохо отходит от тебя болезнь. Гляжу на твое лицо и боюсь. — Борбок-Кара бесцеремонно напоминает мне о болезни. Вдруг, переменив тему разговора, он вспомнил о моей матери: — Мать твоя была очень хорошая. Жаль, не проводил ее в последний путь. Поздно услышал. Тайга...

Слушая его, я искренне подобрел к нему. Хороший человек Борбок-Кара: светло думает о моей бедной матери. Есть у него душа, есть сострадание к человеческой боли и утрате.

— Ну, Барыс, до свидания, — он протянул мне свою мясистую, крепкую ладонь. — Кто знает, друг, может быть, больше не придется нам встретиться...

А я, прощаясь с ним, хотел сказать: вот скоро совсем выздоровею, и обязательно приеду в Кайру, и дальше поеду, в Кайру-Бажи, где работали наши матери. Может быть, сядем на коней, проедем по тем местам, где в детстве охотились за сусликами и кротами, посмотрим на те поля и горы, где пасли коров, телят, колхозных коней. Как было бы хорошо, если б позвать Пашу, Аткыра и Метирея!.. Нет,

[1] Кондаков Г. «Оленный камень». М., «Советский писатель», 1980.

Борбок-Кара, отныне мы все чаще и чаще будем встречаться. Ты снова станешь нашим другом и вождем. Нас никто разлучить не может!..

Но вождь вдруг погасил мои светлые и добрые намерения. Неужели он сделал это специально? А может быть, невольно так получилось, а?..

— Ну, до свидания, — снова повторил он и пошел к двери. У порога обернулся. — Ну что ж, — сказал, глядя на меня маленькими насмешливыми глазами, — прости, и на твои похороны не смогу прибыть, коль надумаешь отправиться на тот свет... Опять услышу поздно.

Ай, Борбок-Кара, Борбок-Кара... Что можно сказать тебе после этого? Как с тобой поступить?.. И скажи мне, кто ты, Борбок-Кара?

Только я уверен, все равно ты эту книгу не прочтешь и не подумаешь о разных судьбах наших земляков — наших родных и друзей...

Ай, Борбок-Кара! Прощай и прости меня, Борбок-Кара!

Нет, я все же рад, что через много лет встретился с тобой и вспомнил наши далекие стойбища и вечно дорогих мне людей...

1979

МОЙ ДОБРЫЙ ДРУГ АРСЛАНБЕК

ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

РАССКАЗ О ТОМ, КАК МНЕ ПРИСНИЛСЯ МОЙ ДОБРЫЙ ДРУГ АРСЛАНБЕК И КАК НАЧАЛАСЬ ЭТА ПОВЕСТЬ

Вчера вернулся из Самарканда, вчера простился с Арсланбеком. Он полетел к себе, я — к себе. Вчера вернулся и в первую же ночь увидел друга-досума во сне. Так нам не хотелось расставаться, так он мечтал погостить на земле Алтая.

Снится жара, жара, жара...

Тесны объятия солнца. Трудно дышать. Пестры людские толпы. Мелькание, толчея, шум...

Палящее солнце выжгло летние небеса, и притягательно влажными видятся свеже-голубые купола древних зданий. . Регистан... Гур-Эмир... Шахи-Зинда...

Рядом со мной хромает мой друг-досум Арсланбек. Толпа несет нас по привычному туристическому руслу, предельно сокращенному сном, и у обсерватории великого Улугбека, перекрывая гул машин и многоголосый шум толпы, доносится до нас протяжный, долгий крик утреннего осла.

Жара, жара, жара...

Она придавила к земле, сгустила все запахи Самарканда, из переулков они втекают ручьями в широкие улицы, заливают прохожих с головой духом яблок, дынь, виногра-

да, чая, шашлыков, переливами сотен соблазнов южной кухни.

— В Самарканде достаточно выйти подышать и можно не завтракать, — улыбается Арсланбек.

Я иду за ним дальше, красная рубашка на мне почернела от пота. Куда мы движемся, скоро ли конец пути?

— Тут ходили Рудаки, Навои, Джами, — останавливается Арсланбек, — пройдем хоть немного их дорогой. Ты только представь себе — прожили они, так и не узнав, что такое такси, телевизор, коньяк, аэропорт. А теперь все это даже детям известно. Так почему же нет среди нас нового Навои? — И снова по широкому лицу друга расплывается медленная улыбка.

Сон длится.

Мы оказываемся на веранде прохладной чайханы у негромко плещущего арыка. Пьем чай и вспоминаем присловья наших разных, но родственных народов. Не убывает чай в пиалах. Душа просыпается.

— Где счастье мужчины, Арсланбек?

— Там, где он впервые увидел солнце.

— А где первые слезы мужчины, Арсланбек?

— И первые слезы мужчины тоже там, где он впервые увидел солнце.

Мы говорим дальше.

— Можно ли острым словом сшить шубу, Арсланбек?

— Можно, друг-досум, но для этого поэту придется навсегда превратиться в скорняка! Острое слово больше похоже на стрелу. Будешь стрелять куда попало — что принесешь с охоты?

— А ты хотел бы, Арсланбек, чтобы твои слова стали вечными, как звезды?

— Как бы ярко ни светили звезды, друг-досум, но они еще никого не согрели, не забывай об этом.

— И ты, Арсланбек, не забывай, что бык сначала был теленком, а нож — просто куском железа.

— А назови мне три самых приятных соседства! — Мой друг, видно, решил засыпать меня своим знанием восточных присловий, он не дает мне ответить, быстро говорит сам: — Небо над нами голубое, чистое — приятно. Огонь, на котором варится баранина, — приятно, красивая женщина рядом — еще приятнее.

— А три позорных соседства? — спрашиваю я и не даю ему ответить. — Плохой пес — позор охотнику, плохое седло — позор коню, плохая жена — позор мужу. Так что, если рядом...

— Но я же говорил не о плохой жене, а о красавице, — уточняет Арсланбек, — понимаешь разницу? Нет ничего приятней, когда рядом красивая женщина. Ее лик — сама красота жизни!

— Та-ак! Вчера попрощался с Айшат, а сегодня уже заговорил о красивых женщинах.

— Нет-нет! Что ты, друг-досум! — Арсланбек изобразил испуг и усиленно начал убеждать меня — клянусь аллахом, нигде и никогда не забываю мою Айшат, сто лет буду жить, не забуду! Такой женщины на земле еще не рождалось! Помнишь, я в Москве ее потерял? До сих пор страшно. А сейчас — закрою глаза и вижу только ее.

И Арсланбек действительно закрыл глаза.

— Что в самом деле прекраснее человека, прекраснее доброго слова? — сказал я. — Какие песни, какие сказки сложил народ!

— Не забывай о земле, об этом городе. Поэтов рождает земля, — говорит Арсланбек. — Мы с тобой прошли по тем самым улицам, где когда-то ходили Рудаки, Навои, Джами, сам Бабур — поэт и властитель.

— Но только ли поэты и мудрецы? У колыбели Самарканда, помнится, стоял Железный Хромец — Тимур. А забыл ли мир, как на Самарканд обрушились орды Чингизхана? И в нашем веке не миновала война этот тыловой город. А теперь скажи, только ли поэзия, только ли вечные строки Рудаки витают над Самаркандом, над нами, над землей? Что нас ждет, Арсланбек?

— Трудное время, — задумался друг. — Но я верю: прекрасный человек и прекрасное слово никогда не исчезнут! Ими жива жизнь! Они — душа земли!

— Но есть не только прекрасные люди и не только прекрасные слова. Слово может сжечь дом, убить человека.

— Это уже не слово! — горячится Арсланбек. — Слово — свет и тепло, слово — доброта материнская, душа, музыка жизни! Без веры в это поэт не рождается. Надо служить прекрасному правдивому слову. А если поставил его себе в услужение, сделал средством для обогащения, карьеры — все, пропал, погиб! Слово... Это красота вот этого неба, слово — вечно как солнце!

Сон длится.

Мы снова идем с Арсланбеком по улицам Самарканда. Идем под огромным летним небом, под могучим азиатским солнцем.

Снова вокруг нас пестрая толпа, толчея, мельканье, шум. Я иду за прихрамывающим другом и так мне хочет-

ся, чтобы вот за этим домом, за этим перекрестком, за этим поворотом вдруг открылась широкая и плавная родная алтайская долина, встали вдали оснеженные горы, возникла тишина, так мне хочется, что мы с Арсланбеком тут же сворачиваем в переулок и оказываемся на Алтае. Я оглядываюсь, но ни вблизи, ни вдали нет шумного города, словно и не было.

Тут просыпаюсь. Лежу и долго вспоминаю о своем друге-досуме, и светло на душе.

«Арсланбек... Арсланбек...» — повторяю я. Сердце мое вдруг горячо забилось, я вскочил, заторопился, словно где-то меня очень ждали среди ночи, и самого меня охватило радостное ожидание.

Я вспомнил дни и годы, когда мы с Арсланбеком вместе учились в Москве, в Литературном институте, наши встречи после того.

Так началась повесть о друге моем Арсланбеке.

Пусть же он станет и вашим другом!

РАССКАЗ О ТОМ, КАК АРСЛАНБЕК ПРОШЕЛ СОБЕСЕДОВАНИЕ И НАПИСАЛ СОЧИНЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Забудешь ли те дни, когда мы впервые оказались в Москве, приехали поступать в Литературный институт имени Горького! Шестьдесят второй год. Светлая московская осень. Дворик на Тверском с огромными тополями и памятником Герцену. И мы — молодые, сплошь «ярко талантливые», признававшие единственную похвалу: «ты — гений!»

И походка и манеры у многих были как у живых классиков. Когда мы знакомились, то сперва интересовались — поэт? прозаик? А потом уж спрашивали — откуда?

И в общежитии, и в институте то и дело звучали стихи, прерываемые возгласами — поэт! гений! Казалось, открывается новая, совершенно бессмертная страница советской, да что там советской — мировой литературы!

Наивная, самоуверенная молодость...

Арсланбек был старше многих из нас. Веселый, разговорчивый, с широким рябым лицом, он умел находить общий язык с любым незнакомцем, потому я, наверное, быстро и близко сошелся с Арсланбеком, и дружба наша длится до сих пор.

Он подошел ко мне в сквере у памятника Герцену, силь-

но прихрамывая, и не стал выяснять — поэт я или прозаик, а сразу спросил глуховатым приветливым голосом:

— Откуда ты, друг-досум?

Видно, от некоторого замешательства я долго смотрел под ноги, и Арсланбек отнес это к своей хромоте.

— Ничего страшного. Всякие бывают дороги, всех бед не обойти, через все несчастья не перепрыгнуть... Так ты из каких земель будешь?

— С Горного Алтая.

— Алтай да еще — горный! И где же такая страна?

В его вопросе мне послышалась издевка, потому я ответил, стараясь попасть в тон.

— Не знаешь? Алтай — это в Южной Америке.

— Прости, друг-досум. У меня по географии из трех оценок всегда четыре были — двойки. — Он шутливо и ласково улыбнулся. — Я считал, что Алтай — в Северной Америке. Теперь знать буду. Однако, ты русский язык хорошо знаешь!

— Что ты! Говорю еле-еле, а как сочинение писать?

— Не бойся, досум, — твердо сказал Арсланбек. — Если есть что сказать, то это можно сказать на любом языке — хоть на японском! Мы свое напишем и обязательно в институт поступим. Я из Средней Азии, слышал о такой? Пишу стихи, а язык мой — тюркский.

— И наш язык тоже тюркский!

— Здорово! Значит, мы с тобой — братья! — Он крепко меня обнял. Руки у Арсланбека были сильные, твердые.

Настал день собеседования. Собеседования побаивались, иные говорили, что это страшнее и серьезнее всех вступительных экзаменов.

На собеседовании и произошел с Арсланбеком случай, который положил начало его известности сперва в стенах института, а потом и далеко за его пределами.

Кому-то из наших выпускников может показаться, что случай этот произошел не с Арсланбеком, а с другим студентом, но таково уж свойство фольклора, когда с течением времени реальный случай обрастает вымышленными подробностями. А впрочем, если нечто подобное произошло и еще с кем-то, то это только прибавляет славы моему другу, поскольку следом идти всегда легче, чем первому.

Итак, Арсланбек переступил порог актового зала и оказался перед профессурой во главе с самим тогдашним ректором института — Иваном Николаевичем Серегиным, человеком с виду суровым, строгим, а на деле добросердечным, даже ласковым.

Иван Николаевич внимательно оглядел Арсланбека, его усталое и чуть припухшее от ночных споров лицо, помолчал и спросил:

— Арсланбек, скажи-ка мне — только честно и откровенно — водку пьешь?

— Да, товарищ д-ректор. Пью, товарищ д-ректор. — Арсланбек ответил быстро, не задумываясь, словно знал, о чем его спросят на собеседовании, и заранее подготовил ответ. — Но если вы меня примете в Литературный институт имени незабвенного Горького, то я больше никогда в рот не возьму эту гадость. Клянусь!

Искренность была вознаграждена: Члены комиссии посмеялись и решили допустить Арсланбека к вступительным экзаменам.

Через два дня мы писали сочинение. Тема — «Традиции Маяковского и современная советская поэзия». Арсланбек написал самое короткое в истории Литературного института сочинение, и краткостью его доказал не только собственный талант, но и то, что последовательность — главная черта его честного характера.

Сочинение его, которое до сих пор передается из уст в уста, было следующим:

«Маяковский жил. До сих пор у меня не было времени прочитать его стихи. Но если вы меня примете в Литературный институт имени незабвенного Горького, то я обязательно прочитаю все, что написал Маяковский. Клянусь!»

И моего доброго друга — поэта, табунщика из Средней Азии — приняли.

РАССКАЗ О ТОМ, КАК АРСЛАНБЕК НАШЕЛ ИГОЛКУ В СТОГУ СЕНА

Сразу после экзаменов мы должны были поехать на уборку урожая в один из подмосковных совхозов. В общежитии — сборы, веселье, суматоха.

И вот в один из этих дней Арсланбек опять предстал перед очи Ивана Николаевича Серегина.

— Что случилось, Арсланбек? — ласково спросил ректор.

— Товарищ д-ректор, вы знаете, я не могу поехать в совхоз, — Арсланбек указал на свою ногу. — Отпустите меня на это время домой.

— Домой... — Серегин помолчал, ему не хотелось отпускать студента. — Домой, это хорошо. Но ты очень бы нам помог, если бы поработал при кухне. Там не трудно.

— Ну, если при кухне, тогда другое дело, — Арсланбек вроде бы начал соглашаться. — При кухне я могу. Во-первых, буду делать салаты: анара — это из граната. Знаете? А сумза? Это из лука с козьим сыром. На холодное можно лик-лик. Это что-то вроде студня. На обед, конечно, плов! Хотя можно и шашлыки. Только вот боюсь, товарищ д-ректор, после моих обедов студентам нечем будет писать свои гениальные стихи. Они могут проглотить пальцы вместе с моими кушаньями!

Иван Николаевич погрустнел и спросил:

— Ты ведь недавно приехал, что за причина — снова ехать домой?

Тут Арсланбек прихромал к столу ректора и почти на ухо начал говорить ему тихим голосом:

— Только по секрету, товарищ д-ректор, жена у меня молодая, боюсь за нее — украсть могут! Ночами не сплю, все думаю. Если украдут — какая мне учеба? Да и разговоры пойдут: у студента Литературного института имени незабвенного Горького — жену украли. А? Надо ехать.

Когда мы вернулись с уборки, друга моего в Москве еще не было.

Учеба началась. Месяц прошел. Но об Арсланбеке — ни слуху ни духу.

Появился он перед самой зимней сессией. И не один, а с женой Айшат. Она — застенчивая, тоненькая, смуглая, в красных сапожках. Слова лишнего не скажет. Шагу без разрешения Арсланбека не ступит. Примерная школьница да и только! По утрам для мужа и нас — его друзей — готовит завтрак, вечером после учебы мы снова у них в комнате — ужинаем. На столе лагман, чай зеленый — хорошо! И вот в один из таких вечеров Арсланбек грустно говорит нам:

— Завтра надо показать Айшат Всесоюзную сельхозвыставку. Домой она скоро возвращается.

Так все мы впервые на выставку пошли.

А народу там — тьма!

Туда, сюда толпы текут. Чуть загляделся — друзей уже людским течением в сторону унесло. Пробираемся кучкой к павильону родной республики Арсланбека. Вдруг смотрим — нет с нами рядом Айшат! Бросились искать — куда там. Разве найдешь в таком море?

Арсланбек испугался.

— Быстрей шагай! За хромым не успеваешь! Искать надо! Она же в Москве первый раз, заблудится, дорогу не найдет!

Бросились искать. Три раза обежали все павильоны — нигде не видать черных застенчивых глаз Айшат, не видать красных ее сапожек. Арсланбек потом обливается. Мечется в толпе. Увидит человека в азиатском халате — сразу бежит к нему, за рукава хватает, засыпает вопросами:

— Аксакал, вы тут не видели мою Айшат? Вам тут моя жена Айшат не попадалась?

Люди только недоуменно смотрели на Арсланбека и пожимали плечами, а он, с досадой махнув рукой, бросался к следующему прохожему.

Жалко смотреть на него. Кажется, он вот-вот сядет где-нибудь и заплачет. У меня обе ноги здоровые, и то я еле-еле их волочу.

— Арсланбек, постой!

— Что? Айшат увидел? Нашлась?

— Нет. Просто у меня есть предложение.

— Какое еще предложение? Говори быстрей! Время теряем, она совсем потеряется!

— Мы с тобой ищем иголку в стогу сена.

— Какое сено? Что ты мелешь? Нашел когда шутки шутить! — волнуется Арсланбек, ничего не слышит и не понимает. — Что встал?! Пошли! Ну, где же она?

— Арсланбек, — придержал я друга. — Москва, конечно, большая, но не пустыня же. Тут любой ей скажет — куда и как добраться. Милиция, метро, троллейбусы, автобусы.

Арсланбек не слушает. Быстро хромает вперед. И мне остается только поспевать за ним, на ходу объясняя:

— Мы тут бегаем, а твоя Айшат наверняка уже дома, в общежитии, в твоей комнате. Успела и чай заварить, лагман приготовить, ждет нас.

— Что ты болтаешь! Ищи! Пока не найдем Айшат, не уйдем отсюда!

Меня досада взяла — взрослый человек, а ничего понять не хочет. Говорю:

— Ищи один. Я домой поехал, а ты можешь тут до утра бегать!

— Что? Что ты сказал?! — Друг посмотрел на меня с детским удивлением. — У тебя души нет! Ты — шайтан с черным сердцем! Собака!

Арсланбек повернулся ко мне спиной и быстро захромал в толпу на поиски своей несравненной Айшат. А я пошел к автобусу. Арсланбек — человек находчивый. Уж он-то не заблудится, не потеряется.

И что вы думаете. Айшат давно уже ждала нас в об-

щежитии, заварила зеленый чай, приготовила вкусный лагман, запах которого распространялся из комнаты далеко по коридору.

— А где же Арсланбек? — испуганно вскрикнула Айшат.

— На выставке остался. Ищет вас там.

— Почему же вы его там одного оставили!

— Не мог уговорить. Пока не найду Айшат, домой не вернусь, говорит.

— Что же вы так! Ведь он... со своей ногой... — Ее слова прозвучали с укором и недоумением — как можно было оставить в большом незнакомом городе беспомощного человека?!

— Нет-нет, надо скорее вернуться и найти Арсланбека! Поедем, поедем скорее!

— Он никогда не заблудится, не первый день в Москве. Ничего с ним не случится, не такой он человек. Если вы нашли дорогу, то такой джигит, как Арсланбек, найдет ее с закрытыми глазами. Не успеете и оглянуться — как он будет сидеть вот тут и пить чай.

— Нет, надо ехать. Он там один.

— Айшат, меня уже ноги не держат, устал, — вынужден был я признаться. — Минутку отдохну, наскоро перекушу, и сразу поедем искать Арсланбека.

— Отдохните, отдохните, — быстро согласилась Айшат. — Покушайте, чаю попейте.

Она тут же наполнила мою тарелку лагманом, налила в расписную пиалу зеленого чая, но не дополна, а по их обычаю — только наполовину. Я выпил и одну, и другую, и третью пиалу — так хотелось пить. И только занес вилку над тарелкой с лагманом, как с порога раздался радостный голос:

— Здесь! Конечно, здесь! Я же говорил, что она вернулась домой!

Арсланбек ворвался в комнату, точно за ним гнались волки.

— Айшат, моя Айшат!

— Ой, Арсланбек!

В печальных глазах его жены вспыхнули огоньки радости, любви, счастья безмерного. Она кинулась к мужу. А я не знал, верить или нет — Арсланбек стоял, обняв свою жену, раскачивал большой головой и громко плакал.

Меня они не видели, забыли, что я сижу тут же.

— Айшат, милая, тебя никто не обидел? Ты не замерзла, пока добиралась?

— Нет-нет, Арсланбек. Я давно приехала и все о тебе волновалась, ждала тебя, беспокоилась! Арсланбек, зачем тебе этот большой город? Давай завтра же вернемся в наши родные степи.

Я потихоньку встал и выскользнул из комнаты, ушел к себе. И тут же шумно появился веселый, громкоголосый мой друг.

— Алтайлык! — кричал он, — ты сказал правду! Почему ты такой умный, а я такой глупый и хромой? Дружить с тобой для меня большая честь, Алтайлык! Ну, что ты тут сидишь одинокий, как головка лука? Вставай, пошли ко мне! Лагман стынет в твоей тарелке, чай ждет, когда ты выпьешь его, досум?

— Не пойду.

— Почему?! Что случилось? — Арсланбек даже присел от удивления.

— Ты же меня проклял там, на выставке.

— Убей — ничего не помню. Что я тебе сказал?

Я мрачно нахмурился, сделал скорбное лицо, хрипло процедил сквозь зубы, подражая Арсланбеку:

— Ты... шайтан с черным сердцем... собака!

Он расхохотался.

— Прости, друг-досум, это я все по глупости. Не сердись. Пойдем.

Когда мы вернулись и сели за стол, Арсланбек, ласково поглядывая на свою жену, сказал:

— Айшат, наш друг-досум Алтайлык говорит, что невозможно найти иголку в стоге сена. Но разве я не нашел тебя в этом огромном мире, тонкая ты моя иголочка?

РАССКАЗ О ТОМ, КАК РАСКРЫЛАСЬ ОДНА ИЗ ТАЙН АРСЛАНБЕКА

Первая наша московская зима была холодной и бедной. Стыдно признаться, но порой мы добирались от общежития до института на троллейбусе, не заплатив за проезд положенных копеек. Нет, мы не родились обманщиками или скрягами. Денег у нас иногда просто не было, а на занятия надо было ехать.

И вдруг начались чудеса.

Что ни утро — приходит к нам Арсланбек и приглашает нас к себе завтракать. На столе дымится добрый лагман, словно Айшат и не уезжала, словно опять вернулись те времена, когда еще не были окончательно истрачены деньги, с которыми мы приехали в Москву.

— Откуда это все? — удивленно спрашивали мы, но Арсланбек всегда уходил от ответа, только посмеивался, глядя на нас, как на малых детей, и покровительственно приговаривал — ешьте, ребятки, ешьте.

А чудеса продолжались.

Начали поговаривать, что видели как-то накануне стипендии Арсланбека с бутылкой вина! Действительно, не потому ли временами из его комнаты доносятся звуки дутара и томительные народные песни о красоте степей?

Денежных переводов ни нам, ни Арсланбеку не приходило, родни в Москве ни у кого из нас не было. Возникал естественный вопрос: откуда у бедного студента завелись деньги? А не связался ли он с дурными людьми? Может быть, эти деньги нечестные? А если через все это наш добрый друг угодит в тюрьму?

— Нет, Арсланбек, — сказал я ему решительно. — Больше я твой лагман не ем. Лучше умру с голоду.

— Почему так? — недоуменно спросил он.

— Семья у меня — жена и сын.

— Это я знаю. Но станет ли им легче, если ты умрешь с голоду, грызя в Москве гранит наук?

— Лучше уж так, чем в тюрьму с тобою сесть.

— А кто тебе сказал, что я в тюрьму собираюсь?

— А откуда у тебя деньги? Лагман каждое утро, кормишь всех, а по воскресеньям вино покупаешь. Где это все берешь? Воруешь?

Арсланбек осторожно оглянулся по сторонам, придвинулся ко мне и сказал приглушенно:

— Любое дело надо делать с умом и без страха. Понял?

— Уж не воровство ли ты делом называешь? — сказал я.

Арсланбек улыбнулся:

— Эх, Алтайлык! Учишься в Литературном институте, а ничего не понимаешь. Ну что общего между вором и поэтом? Вор не может быть настоящим поэтом! Запомни.

— Тогда объясни мне ради Кудая, Аллаха и Христа — откуда у тебя берется мясо и лапша, ты же нас каждое утро завтраком кормишь!

— Я смотрю, объяснять тебе бесполезно. Надо, чтобы ты все своими глазами увидел. Завтра пойдешь со мною на дело. Хватит набивать брюхо даром. Пора отрабатывать авансы, возвращать долги. Понял? Иди и ложись спать. Завтра подниму тебя в пять утра. Контролер нашелся.

Я ушел к себе, улегся и, думая о разговоре с Арсланбе-

ком, сам того не заметил, как уснул. И тут же проснулся — кто-то настырно стягивал с меня одеяло и приговаривал:

— Вставай, прокурор! Пора на дело.

На улице — тьма, пронизывающий влажный московский мороз. С дрожью из меня выходит сон, я плетусь за Арсланбеком и постепенно меня охватывает какое-то неприятное ожидание — куда он меня ведет в такую рань, ведь сейчас все кругом закрыто, сейчас добрые люди спят, шестой сон видят.

Однако путь наш был недолгим. До ближайшего от общежития гастронома. Мы тут частенько бывали, особенно в первые дни после стипендии. Знали продавцов по имени-отчеству.

Арсланбек подвел меня к задним дверям магазина.

— Песню «Во саду ли, в огороде» знаешь? Замри тут и смотри в оба. Если кто покажется, то тихонько пой — «во саду ли, в огороде». Понял? — Все это он проговорил зловещим шепотом, оттеснил меня к ящикам и как-то затейливо постучал в дверь.

Дверь вскоре приоткрылась. Послышался голос: «А-а, мастер! Привет!» Арсланбек зашел, а я остался у дверей, в темном дворе, один. Я не знал что и думать. Стою, дрожу — то ли от холода, то ли от страха. Только хотел убежать из этого злополучного места, как на той стороне двора показался человек! Что делать? Петь? А у меня из головы выскочило — что петь! Тогда я тихонько постучал в дверь, стараясь повторить замысловатый стук Арсланбека.

Дверь тут же открылась, словно ждали моего стука.

— Ты что? — строго спросил Арсланбек. — Я же тебе сказал — пой «во саду ли, в огороде»! Все. Нас накрыли. По одному делу пойдем.

Он затащил меня в магазин.

Мы прошли темным, сырым коридором и оказались в небольшой комнате, где нас встретил человек в темном халате. Тут я увидел что и друг мой в таком же халате.

— Сегодня тебя, мастер, ожидает целый бык, — сказал этот человек. — А это кто с тобой? Хочешь выучить его на рубщика?

— Какой из него ученик! Это наш народный контролер, пришел от имени студентов, хочет выяснить — откуда берется лагман, который они едят каждое утро. Не стал ли я вором — вот что он хочет выяснить!

Я готов был провалиться сквозь землю. Хорошо, что еще не запел у дверей, так бы смеялись надо мной до самых выпускных экзаменов!

— Значит, у него на сытый желудок сверхбдительность появилась? — сказал человек из магазина. — А ты, мастер, корми контролера через раз.

Они рассмеялись. Арсланбек взял большой топор и начал разделывать бычью ляжку на обширной колоде. Как он работал! Ровные, аккуратные куски один за другим ложились под его ударами. Ни одного промаха, ни одного лишнего движения! Быстро покончив с одной ляжкой, он приступил к другой. Человек из магазина только поспевал раскладывать ровные, точно калиброванные куски мяса на длинном, обитом блестящим железом столе.

К шести с быком было покончено. Когда мы направились из магазина, нас догнал тот же человек в черном халате и протянул Арсланбеку увесистый сверток.

— Тут мясо и лапша — гонорар за работу. Пусть контролер проверит — не обманул ли я тебя.

— Рахмат, Иван Михайлович, спасибо.

— Тебе спасибо, мастер!

Когда мы вышли во двор, Арсланбек весело сказал:

— Вот так-то, друг! Воровать тоже надо умеючи. Ну, похромали быстрее, надо еще лагман успеть сварить до занятий.

Не зная что сказать ему, я попытался как-то оправдаться:

— Прости меня, друг. Правильно ты сказал — настоящий поэт никогда не может стать вором!

— Э-э! Не извиняйся, все правильно — правильно ты забеспокоился. Настоящий поэт не станет есть ворованное мясо. И все же поторопимся. Ибо, как говорили древние, даже настоящий поэт не может прожить без доброго лагмана!

РАССКАЗ О ТОМ, КАК АРСЛАНБЕК ВПЕРВЫЕ ПРОЕХАЛ НА ТАКСИ

Арсланбеку срочно надо попасть в институт. Приехали сокурсники, сообщили, что Нина Илларионовна сегодня последний день принимает зачеты и уходит в отпуск. И как только это у него из головы вылетело!

Нина Илларионовна, преподавательница русского языка, женщина простая, добрая, с тихим материнским голосом, отзывчивой и мягкой душой. Много сил она положила, чтобы мы научились хорошо говорить и писать по-русски, а с Арсланбеком занималась даже отдельно, и на каждом занятии сама читала для него вслух по нескольку

страниц из Толстого, Лермонтова, Чехова, старалась заинтересовать, зажечь его классикой, пробудить в нем желание читать русскую литературу, понятие о которой у нашего друга было самое общее.

Нина Илларионовна, наверное, давно уже ждет Арсланбека. Что она подумает о своем подопечном? И как ему быть с «хвостом» по русскому языку, если она его не дождется? Нет, во что бы то ни стало — надо успеть!

У Арсланбека есть рубль. Последний. Что делать, придется потратить этот рубль и домчаться до института на такси. От общежития на улице Добролюбова до института на Тверском счетчик тогда нащелкивал ровно восемьдесят семь копеек. Арсланбек, конечно, знал об этом, хотя сам никогда не ездил на такси. Он считал, что лучше поесть хорошенько, чем раскатывать по Москве на такси. Да еще и подсмеивался над любителями быстрой езды:

— Э-э, вы тут совсем забудете, с какого бока на ишака садиться! А что дома будете делать?

Но сегодня надо самому. Крайний случай.

— В институт тороплюсь, экзамен сдавать, друг, довези побыстрее!

— Сделаем.

Помчалось такси по проспекту Руставели, но... только до первого перекрестка. Красный свет. И надо же такому случиться, что и у второго, и у третьего, и у десятого перекрестка их встречал красный свет. «Волга» замирала, пропуская машины, а у Арсланбека замирало сердце — не успею! Перед Савеловским вокзалом застряли совсем. Арсланбек взмок от волнения. А тут еще счетчик щелкает и щелкает — каждый щелчок в виске отдается. К одной тревоге — другая прибавилась: доехать не успеет и денег не хватит! В кармане-то всего-навсего — рубль!

— Скажите, вы когда-нибудь ездили на ишаке?

Шофер невозмутимо ответил:

— Не приходилось. Тридцать лет вот эту баранку кручу.

— Я почему спросил — мой черный ишак быстрее этой машины бегает.

— По пескам, конечно, мне его не догнать, — спокойно согласился водитель. — Ишаков я только в кино видел.

— Эх, если бы не эта нога! Я давно бы уже добежал до Тверского. Совсем опаздываю!

— Не волнуйтесь, доедем, — улыбнулся водитель словам незадачливого пассажира. — Когда вам надо быть на месте? В десять? Будете — минута в минуту.

И правда — дальше такси помчалось без остановок, быстро. Арсланбек подался вперед, сердцем и мыслями подгоняя бег «Волги». Но щелканье счетчика раздавалось все громче, все сильнее стучало в висок.

Вот кинотеатр «Россия», вот последний поворот к заветной площади Пушкина, и — сердце у Арсланбека упало — в окошечке счетчика выскочило — 1.00! Рубль!

Арсланбек, не помня себя, испуганно вскрикнул:

— Стой! Стой!

От этого крика водитель невольно нажал на тормоза, на какой-то миг выпал из общего потока машин. Тут же сзади раздались сигналы возмущенных водителей. Такси вздрогнуло, выравнялось и вновь, влившись в общий поток, побежало от «России» к улице Горького и остановилось у красного светофора.

— Что случилось? Разве можно так кричать? Чуть в аварию не попали, — сказал водитель все тем же ровным и спокойным голосом.

Арсланбеку оставалось только чистосердечно признаться:

— Друг, у меня только один сом, — произнес он и протянул водителю мятую рублевку. — Дальше пойду пешком. Тут рядом.

Он хотел было открыть дверцу, но таксист удержал его:

— Сидите! Тут нельзя!

— Но у меня только рубль!

Загорелся зеленый. Машины рванулись с места, пересекли улицу Горького, покатились вниз по Тверскому.

И вот «Волга» Арсланбека медленно и важно въехала во двор Литературного института и остановилась у высокого каменного крыльца.

— Прошу! — улыбнулся водитель. — Сколько там на ваших? На моих без десяти десять.

Он сдвинул на лоб форменную фуражку и из-под черного лакированного козырька спокойно посмотрел на Арсланбека.

— Вот, возьмите. — Арсланбек протягивал все тот же мятый рубль.

Голубые глаза таксиста засветились улыбкой:

— Оставьте, он вам еще пригодится. Да не подкачайте на экзамене. Ни пуха вам, ни пера, как говорится!

— А как же с деньгами? — неловко спросил Арсланбек.

— Гора с горою не сходится... Встретимся еще! Вот станете знаменитым писателем — тогда и вернете.

— Друг! — Арсланбек не выдержал и крепко обнял во-

дителя. — Друг! Приезжай к нам в Среднюю Азию, я тебе... я тебе ишака своего подарю!

Он стоял на крыльце и все смотрел и смотрел, как «Волга» разворачивалась, как выезжала из институтского двора...

Потом за время учебы, конечно, много раз Арсланбек ездил на такси. Бывало, ездили мы с ним. И всегда я видел, что Арсланбек старается хоть немного, но переплатить, дать водителю больше, чем показывает счетчик. Отсчитывал ему таксист сдачу или нет, но Арсланбек, вылезая из машины, всегда говорил одну и ту же, словно заученную фразу:

— Нет цены человеческой доброте, друг! За доброту только добротой заплатить можно.

Он, наверное, считал таксистов Москвы особым народом, добрым и отзывчивым, как тот первый его водитель, седоватый и спокойный, который помог ему в трудную минуту.

Это счастливый дар — хорошо думать о людях!

РАССКАЗ О ТОМ, КАК АРСЛАНБЕК СДАВАЛ ЭКЗАМЕН ПРОФЕССОРУ П.

О требовательности профессора П., который читал нам курс лекций по русской литературе девятнадцатого века, ходили легенды. Говорили, что срезавшиеся приходили сдавать ему экзамен по восемь-девять раз, причем проверял профессор их знания не по всему курсу, и даже не по творчеству отдельного классика, а по какому-нибудь, казалось бы, простому произведению, скажем, «Вию» или «Муму». И вот настало время, когда мы убедились в том, что легенды эти не только правдивы, но и даже преуменьшают меру требовательности профессора П.

Нельзя сказать, что Арсланбек больше любил писать, чем читать. Но читал он очень уж как-то медленно. Другие едут и в институт и из института с полной сумкой книг, глотают одну за другою, и глаза их бегают по страницам, как изголодавшиеся овцы по первой зеленой траве.

Как-то зашел разговор о технике быстрого чтения, Арсланбек послушал и категорически высказался:

— Дурная техника. Книга — добрый гость, а гостя надо принять, внимательно выслушать, поговорить с ним. Что

же это за техника — побыстрее доброго гостя из дома проводить, а?

Но тут, наверное, мой друг немного хитрил. Ведь медленно читал он еще и потому, что русский язык давался ему трудно. И перечитывал он одну страницу часто по нескольку раз, чтобы просто понять — о чем речь идет, до красот ли стиля при таком чтении.

А когда совсем заходил в тупик, то прибегал к помощи товарищей.

— Как это понять — «са-тис-фак-ци-я»?

Товарищи объясняют, как сами понимают, а через минуту новый вопрос:

— А что такое «эполеты»?

— Это погоны с бахромой, которые царские офицеры носили.

И снова Арсланбек спрашивает. Мы, студенты из национальных республик и областей, далеко не всегда могли ответить на непрерывные вопросы друга. Сами многого не понимали, потому перед экзаменами Арсланбек часто покидал нас и безвылазно сидел в комнатах, где жили русские студенты.

— А что такое «из-воз-чик»?

— Извозчик — это кучер.

— Понятно, друг. Но только скажи мне — что такое кучер?

Сегодня экзамен по русской литературе девятнадцатого века. Арсланбек, тяжело ступая на свой протез, кое-как поднялся на второй этаж института. Широкий лоб в капельках пота, бледные щеки впали, белки глаз после бессонных ночей покрыты красными жилками.

У дверей аудитории толпятся студенты. Арсланбек устало говорит им:

— Друзья! Прошу вас, пустите меня первым. Если уж падать, так с высокой скалы! — От волнения он с трудом переводит дух. — Не могу ждать. Сердце вот-вот выпорхнет изо рта и улетит в родные степи, к Айшат.

Студенты смеются:

— Вот весельчак! На погибель идет, а шутит!

— За хорошую шутку у нас на родине барана режут, курдюком угощают, кумысом.

— Ну, курдюка у нас тут нет, а вот первым тебя пропустить можем. Иди, иди, Арсланбек!

Вошел, видит: вот он — профессор П., а перед ним слева на столе огромный коричневый портфель, а справа на газетке — бутылка кефира и надкусанная белая булочка.

— Что же вы не проходите, молодой человек? — Профессор откусил от булочки, отпил кефиру, снова глянул на Арсланбека. — Проходите, пожалуйста, берите билет, готовьтесь.

И вот уселся Арсланбек перед завтракающим учителем.

— Итак, «Шинель» Николая Васильевича Гоголя. Что вы нам можете об этом сообщить?

— Николай Васильевич Гоголь — великий русский писатель, — уверенно сказал Арсланбек.

— Тут вы совершенно правы. Переходите сразу к анализу повести «Шинель».

Задумался Арсланбек, пыхтит, вытирает пот с широкого лба. Потом решается и уже без прежней уверенности продолжает:

— Жил-был Акакий Акакиевич. Родился он в бедной крестьянской семье.

— Что, что вы сказали? В бедной крестьянской семье? Оригинально! Признавайтесь, ведь вы не читали это великое произведение Николая Васильевича Гоголя! Студент Литературного института и так нелюбопытен!

Тут Арсланбек широко улыбается, чем искренне удивляет профессора, и говорит:

— Товарищ профессор, можно вас спросить?

— Пожалуйста, спрашивайте.

— Товарищ профессор, вы читали роман «Колхозные будни»? Он недавно вышел в «Советском писателе» на русском языке.

— Простите, какие будни?

— Колхозные, товарищ профессор. Роман в переводе на русский язык, а вы не читали его.

— Нет, молодой человек, признаюсь — не читал. Все читать у меня нет времени.

— Вот, у вас нет времени прочитать роман «Колхозные будни», просто прочитать, а откуда у меня время, я же этот роман написал! — И Арсланбек снова широко улыбнулся.

Конечно, никакого романа Арсланбека «Колхозные будни» тогда не выходило в «Советском писателе». Несколько лет спустя действительно Арсланбек написал роман, действительно издал его в «Советском писателе» в переводе на русский, и роман этот действительно назывался «Колхозные будни».

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОБСУЖДАЛИ СТИХИ АРСЛАНБЕКА НА ТВОРЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ

Накануне первого своего обсуждения заходит ко мне в общежитскую комнату Арсланбек. Говорит с порога:

— Знаешь, досум, я домой телеграмму отправил. Решил Айшат вызвать.

— Зачем?

— Как это зачем? Да при ней ребята не станут меня сильно ругать! А? Что думаешь?

— А если станут? Тебе же при Айшат вдвойне будет стыдно.

— Нет, досум, не такие у нас ребята, чтобы меня при женщине ругать! — уверенно сказал Арсланбек и утер пот с широкого рябого лба. — Айшат сегодня вечером прилетает, успеет на обсуждение...

— А если кто-нибудь из ребят...

— Ну, во-первых, мои стихи не так уж и плохи, а во-вторых, перед красотой и сама правда отступить может.

Я видел, что он убеждает не меня, а себя самого, не совсем понял друга, потому сказал:

— Ты так уверен в своей гениальности — считаешь, что твои стихи верх красоты и совершенства и перед ними померкнет сама правда! Ты еще на семинаре про это скажи, тогда ребята от твоих шедевров камня на камне не оставят!

— Да я не о стихах. Я о красоте Айшат говорю! Перед ее красотой ребята отступят. Понятно?

Арсланбек, Арсланбек, друг ты мой добрый, смешной и наивный человек!

И вот наступил четверг — тревожный для моего друга день, день обсуждения его стихов на нашем творческом семинаре.

Первым говорил наш староста — откровенный и горячий Уральский стихотворец Владлен Машковцев. Он сверкал очками и рубил воздух крепкой ладонью:

— Что получается — потешаемся над Арсланбеком, подначиваем его... А ведь перед нами настоящий, большой национальный поэт! Талантливый поэт! Честно, я не ожидал, что Арсланбек, толком не зная русского, так ярко и образно раскроется в стихах и поэмах!

— Голословно! Давай примеры!

— Мы не на юбилее! Доказывай!

— Примеров сколько угодно, — продолжил Владлен. — Вот хотя бы про московского коня. Ну кто из нас написал о нем? Никто! Кто пожалел этого трудягу? Арсланбек! Вот, слушайте:

С утра, запряженный, он тяжело ступал
По следам колес автомобилей,
Тяжело дышал он, вез пустые бутылки в ящиках,
Стекло громыхало, звенело, пело.
Я в глаза его глянул, вижу —
Спят, не видят, уснули глаза коня!
Что же снится тебе, добрый мой товарищ?
Может быть, росное горное утро?

Владлен волновался. Его длинные волосы спадали на лоб, он откидывал их назад кивком головы и продолжал:

— Это ведь не просто описание коня, это о человеке, это Арсланбек написал о нас, о себе. Вот:

Бредешь по асфальту, головою киваешь,
Привык к запаху бензина и грохоту трамваев,
О, как я на тебя похож, друг мой!
О, насколько же я не похож на тебя!

Так написать, так почувствовать может только настоящий поэт!

— Да, лошадь он чувствует хорошо, — ровным бесцветным голосом поддержал Владлена руководитель семинара. — Национально чувствует. Русский поэт не станет себя сравнивать с конем. Интересный образ.

— А вот после «Холстомера» кто-то из художников сказал Толстому, что он в прошлой жизни наверняка был лошадью! — выпалил Витя Яковчев. — Я вот могу себя сравнить с донецким углем.

— Тише, товарищи. Всем дадут слово. Продолжай, Машковцев.

— Я сейчас закончу. И последнее — красиво пишет Арсланбек, точно, образно. Вот из того же стихотворения:

До сих пор на родине все тропинки хранят ваши следы.
Там, кося понимающие глаза на бег волн,
Свежий горный рассвет кони пьют по утрам из речек,
Ясный горный закат кони пьют вечерами из речек...

— А кто помог тебе сделать подстрочник этого стихотворения? — спросил русоволосый, щупленький Максаков.

— Не помог, а помогла, — решил блеснуть знанием русского языка Арсланбек. — Нина Илларионовна помогла!

— Нет! Арсланбек не похож на коня! — поднялся крепкий, кудрявый Ахмат Кубанов. — Арсланбек — рыбак! Поэмы — крупные рыбы. Стихи — маленькие рыбы, живые, блестящие. Я пишу на карачаевском, мой язык родственный языку Арсланбека. Все вы знаете, что в послевоенные годы карачаевцы были вынуждены жить в Средней Азии.

— О вашей трудной доле — потом, — сказал руководитель семинара. — Сейчас разговор о стихах Арсланбека.

— Я о них и говорю, — продолжил Ахмат. — Я читал стихи Арсланбека не по подстрочникам, а на его родном языке. Я его понимаю. Стихи у него добрые, как земля. Вот, послушайте, это ведь сказано мудро:

Стыдно хвастаться и кичиться радостью своей
Перед калекой, перед увечным человеком.
Добрый всегда поделится своей радостью
С калекой и увечным человеком.

А мы как относимся к Арсланбеку? Не смеемся ли мы иногда над его хромотой?

— Ахмат, досум! Зачем ты так? Нехорошо это, — воскликнул Арсланбек, перебивая товарища. — Иди, Айшат, домой. Иди, пожалуйста! А то я тут со стыда под землю провалюсь.

Айшат послушно встала и, чуть поскрипывая все теми же красными сапожками, быстро вышла. Мы все проводили ее взглядом.

— Прости, Арсланбек! — сказал Ахмат. — Сам не знаю — как это у меня выскочило такое.

— Нет, ничего не случилось, — улыбнулся Арсланбек. — Ты тут ни при чем. Стыдно мне стало, что вы меня на все лады хвалите. Я ведь жену пригласил, чтобы вы при ней не сильно меня ругали, вот вы при ней и старались. Что же, теперь ее нет — критикуйте!

Шум, смех прокатился по аудитории. Молодец, Арсланбек, выручил товарища из неловкого положения!

— Вот что еще хочу сказать, — заговорил Ахмат, — У Арсланбека не только горькие, не только печальные стихи. Есть и очень веселые, но и в них все та же мудрость... от земли. Я прочитаю еще два четверостишия:

Яд одной змеи
Никогда не убьет другую змею.
Свет одной звезды
Никогда не затмит другую звезду.

Точно и красиво! Настоящий талант никогда не помешает другому таланту.

Много людей на свете, все они разные,
Но иногда мне кажется,
Всего-навсего четыре человека на свете —
Трезвый и хмельной, дурак и умный.

Четыре строчки, а сколько содержания! Жалко, что вы не можете прочитать их на родном языке Арсланбека.

Ахмат сел.

— А кто твои учителя, Арсланбек? — спросила единственная девушка нашего семинара — тонкобровая и очень модная москвичка Роза.

— Зачем спрашивать? — удивился Арсланбек. — Кто у тебя — тот и у меня: наш уважаемый руководитель, наша Нина Илларионовна, другие.

Все засмеялись такому простосердечному признанию товарища.

— Но твои стихи нисколько не похожи на стихи нашего руководителя. Он пишет не так. Ты иногда очень ядовитые стихи пишешь. А Нина Илларионовна вообще тут ни при чем! Она не учит стихи писать.

— Этому никто не учит. Только жизнь, — сказал руководитель. — А вот понимать стихи, мне кажется, можно научиться.

— Совершенно правильно сказал поэт-руководитель! — Арсланбек даже привстал со стула.

— А ты еще и подхалим, к тому же! — вспыхнула Роза.

— Роза, ты хочешь высказаться? Пожалуйста, только конкретней.

— Вы все тут словно сговорились — хвалите и хвалите его! Ну прямо классик, верх совершенства! — У Розы покраснели щеки, она горячилась и в такт своим словам как-то высокомерно поводила своим худеньким плечиком. — А ведь Арсланбек пишет зло, оскорбительно:

На плечи положила худая девушка
Смерть зверей моих степей и гор:
Смерть красной лисицы укутывает ее шею,
Смерть черного соболя укрывает ее голову...

Машковцев раскатисто расхохотался, спросил:

— А что тут оскорбительного?

— Как это — что? При чем тут смерть? Девушка одета в меха, которые продаются в государственных магазинах. Она же не убивала этих зверей — лису и соболя? Разве не зло? Разве не оскорбительно? Не перебивайте! Вот еще одно стихотворение, «Озорная любовь», тут герой Арсланбека выступает совсем злым человеком:

Я люблю, оказывается,
Внезапно напугать спящих собак,
Я специально наступаю на хвосты
Черным змеям, которые спят на дороге.

И потом из родных мест
Уезжаю в чужие края,
И сердце мое болит,
Тоскует о родной земле.

Из чужих краев в земли родные
Как безумец стремлюсь,
Стряхиваю пыль дальних дорог со своей одежды,
Душа в тишине отдыхает.

Потом опять выхожу на прежнюю дорогу,
Опять пугаю спящих собак,
Спящим змеям снова и снова
Наступаю на хвосты.

О чем это? Почему герой пугает спящих собак? Зачем? С какой целью? Просто так, чтобы был шум, было беспокойство. Что же тут хорошего? Идет человек по родному селенью и баламутит всех. Зачем он наступает на хвосты змей — вообще непонятно, если бы на головы — тогда ясно: борется со змеями, а на хвосты... Одним словом, такие стихи не воспринимаю.

Роза села, сердито поглядывая на Арсланбека.

— Ты не сердись, — сказал тот с улыбкой, — это не ты носишь смерть зверей, это я совсем про другую девушку написал.

— А я... я так и не думала, — смутилась Роза.

Владлен Машковцев повернулся к ней:

— Нет! Так говорить о стихах нельзя! Надо же понимать, что тут — иносказание, что не идет же речь о собаках в буквальном смысле!

— Разрешите мне, — попросил слова Максаков, — ты говоришь, иносказание. А я считаю, что стихи Арсланбека как раз страдают грубостью и прямолинейностью. Особенно когда он хочет меня рассмешить, старается потешить, а мне не смешно. Не смешно. Грустно мне становится. Например, стихотворение «После вчерашнего дня». Зачем из всех людей выбирать такого типа — вчера он напился до чертиков, а сегодня лежит и вспоминает. Вспомнил, что мать он вчера из дома выгнал. Вспомнил, и что вы думаете, сделал? Плюнул в правую сторону! Вспомнил, что верного друга назвал паразитом — плюнул в левую сторону. Так он довольно долго лежит, вспоминает и плюет то влево,

то вправо, мучается — как людям в глаза смотреть? И вот концовка этого стихотворения:

— Нет, лучше не думать, —
Сказал он сам себе
И плюнул в потолок,
А слюна — куда же ей деться? —
Упала обратно — прямо ему в лицо.

— Точно сказано, — воскликнул Ахмат Кубанов, — весь позор на него самого и упал!

— Но при чем тут поэзия, — сказал Максаков, — живописать похмельные муки, плевки — зачем это? Неужели в этом — поэзия?

— Поэзия — это правда!

— Это стихотворный фельетон, хороший фельетон!

— А «Черный человек» Есенина — тоже фельетон?

— Нашел с чем сравнивать!

Поднялся шум, гам, начался общий спор. Арсланбек молча слушал своих однокурсников. Когда утихомиренные руководителем студенты затихли, раздался в первые же секунды тишины сердитый голосок Розы:

— Арсланбек ко всему прочему еще и суеверный!

— Суеверный? — удивился Арсланбек. — Почему?

— Не знаю почему. Ты всем объясни сам. Тут в одном стихотворении у тебя говорится, что обедать, садиться за стол в одном башмаке нельзя — сноха будет воровка. Как это понять?

— Правда, в чем тут смысл? — раздались голоса.

— Я думал — так понятно, — сказал Арсланбек, — зачем объяснять: просто нельзя садиться за стол в одном башмаке, нельзя есть в одном башмаке. Что тут непонятного?

— А при чем тут сноха? — продолжала Роза. — Почему она должна стать воровкой? Какая тут логика?

— Отвечу, — сказал Арсланбек, — товарищи, кто хочет чтобы его будущая невестка или сноха была воровкой? А? Никто! Вот, никто не хочет, поэтому не станет садиться за стол в одном башмаке. Испугается... Народ так молодых к культуре приучал, путем этого... путем испуга.

— Народная этика, — пояснил руководитель.

— Вот-вот, этика-эстетика, — обрадованно согласился Арсланбек. — Тебя, Роза, я никогда не видел в одном сапоге, в одной туфельке, сразу понял — культурная девушка, знает этику-эстетику. У такой девушки никогда зять не будет вором!

Говорили, спорили, горячились долго.

А когда руководитель дал «последнее слово» Арсланбеку, тот сказал коротко:

— Ругали меня, хвалили меня — за все спасибо! А тем, кто ругал — большое спасибо. У нас как в народе говорят — щенка не ласкай сильно, а то он тебя в губы лизать будет всегда, сыночка ласкай, но не переласкай, а то он тебе на шею сядет! Может, я и на коня похож, но в литературе еще только щенок, как бы я тут вас всех лизать в губы не начал. — Тут Арсланбек выразительно поглядел на Розу и все опять рассмеялись. — Не обижайся, Роза, я не злой и не черный, я — веселый, хотя бываю и грустным.

О, неважно мне, сколько пойдет людей
Вслед за моим телом!
А важней мне, сколько пойдет людей
Вслед за моим делом.

— Ты хитрец, Арсланбек! — улыбнулась Роза.

— Не хитрец, а мудрец! — сказал Ахмат Кубанов.

РАССКАЗ АРСЛАНБЕКА О СВОЕЙ СОБАКЕ И О ТОМ, КАК ОН СТАЛ ХРОМЫМ

После зимних каникул Арсланбек вернулся в Москву понурым и неразговорчивым.

Я не стал докучать ему расспросами, подумал — пройдет время, он сам обо всем расскажет, поведает, что такое случилось с ним на родине.

Так и вышло.

Как-то я заглянул к нему в комнату. Арсланбек стоял у темного окна, смотрел на дальние морозные огни, а когда оглянулся, то я увидел, что глаза его полны тоской и болью. И еще я увидел, что друг мой готов сейчас излить мне свою душу, потому молча присел к столу и стал ждать.

— Зачем эти стихи? — начал Арсланбек. — Зачем все, если я предал, если я убил его?

— О ком ты? Что случилось?

— Пса я убил своего, Волчка. Волчком его звали, друга моего верного.

Я облегченно вздохнул и невольно улыбнулся.

— Чему ты улыбаешься?! — вскричал Арсланбек. — Знаешь, Волчок у меня здесь!

Друг смотрел на меня гневно и держался за сердце.

— Ну не человека же, собаку только, — попытался оправдаться я.

Арсланбек не мог успокоиться, он судорожно ходил по комнате, стуча своей деревяшкой, и говорил:

— Только собаку... только собаку... Да лучше бы я себя убил!

И он все рассказал мне.

За щенка этого отдал он барашка. Стоит того хороший пес, а этот щенок по всем статьям обещал таким вырасти — был он помесью волка и степной овчарки, потому и получил свою кличку — Волчок. Вырос быстро, вырос большим, рыже-серым, мощные лапы, широкая сильная грудь, хвост держал только вниз, по-волчьи. А про доверчивость его, верность и ум — говорить нечего.

Хороший конь и хорошая собака — счастье табунщика. Из беды выручат, погибнуть не дадут.

«Лучше верить верной собаке и доброму коню, чем некоторым людям», — так сказал Арсланбек.

Бывало, приедет Арсланбек от своих табунов домой, расседлает Рыжуху, пустит ее пастись, а Волчок тут как тут, он свое дело знает. Куда бы ни пошла Рыжуха, Волчок за ней. И уж никогда ее к табунам не подпустит, затеряться ей не даст. И назавтра утром быстро и точно выведет хозяина к ней.

А как он доглядывал табуны!

Но вот заматерел Волчок и кровь дикая в нем заговорила. Зима. Метель в степи разыгралась. Волки появились ночью недалеко от стойбища. Воют в метели. Арсланбек несколько раз выходил и стрелял в темноту, наугад, чтобы отпугнуть волков. И с каждым выстрелом пес его убегал от стойбища в темноту, а через некоторое время возвращался.

Наутро Волчок исчез. Исчез надолго. Было время волчьего гона. Арсланбек понял, что пса его угнала из дома дикая кровь. А вернее — любовная страсть.

Он явился через две недели. Худой, в ранах, но по-прежнему ласковый, умный — все тот же Волчок.

Так он уходил каждый год, когда начинался волчий гон.

Но сколько бы в нем ни текло дикой волчьей крови, Волчок никогда не подводил хозяина, готов был жизнь положить за его табуны, даже охромел раньше Арсланбека, когда в ночной битве положил двух серых — вожака и годовалого, но и они притрепали его крепко — хромым сделали.

Как-то в предосеннюю пору спускался Арсланбек по

крутой горной тропе и был под ним молодой конь, а не его добрая Рыжуха с белой звездочкой-отметиной на высоком лбу. И надо же такому случиться — внезапно выпорхнула из-под ног коня какая-то птица! Конь испугался, прянул в сторону, оступился и тяжело упал набок, всем телом придавил ногу Арсланбека. Тот не успел освободить ступню от стремени. И показалось, что услышал сам, как хрустнула кость.

Конь, он еще больше испугался, тут же вскочил и убежал. Арсланбек, сам не помнит как, все же успел теперь вытащить ногу из стремени.

«Уволок бы меня конь, и не сидеть мне здесь с тобою, — рассказывал он. — Вот ведь как судьба испытывает человека: тогда ногу мне перекрошила, а теперь душу».

Лежит Арсланбек, ни подняться, ни шевельнуться не может — боль в ноге страшная. Что делать?

Волчок рядом. Лижет хозяина, поскуливает. А как помочь? Верный, умный, но пес же, не скажешь ему: беги, Волчок, позови людей на помощь, Арсланбек с ногой поломанной один в горах, Арсланбек от боли помереть может, Арсланбека волки могут разорвать, и ты, добрый Волчок, один с ними не справишься.

Пес не отходит. То рядом присядет, то бегает вокруг беспокойно. И ведь не хозяин, а Волчок догадался, что нужно делать: стал он тащить Арсланбека — схватил зубами за фуфайку и потащил вниз по тропе. Тут и хозяин стал кое-как помогать псу. Так и карабкались они шаг за шагом.

Хорошо, что не зима. Ночь в горах, а все же не так холодно, не так темно.

Долго ли, нет ли ползли они, сумерки начали сгущаться, кричал Арсланбек, звал на помощь из последних сил. И помощь пришла. Пастухи услышали, вышли на тропу.

Арсланбек увидел их и силы его кончились, сознание потерял. А Волчок встал рядом с хозяином, шерсть на загривке дыбом, зубы оскалил, рычит и никого не подпускает. И ни уговоры, ни угрозы не действовали. Только пастухи шаг сделают, он так рявкнет, так глянет, так кинется на них, что невольно остановишься. Верный пес. Хозяина охраняет.

Потом Арсланбек пришел в себя, унял своего защитника.

А ногу спасти не удалось — и перелом сложный, и до больницы долго добирались, и шины в первый раз неудачно наложили. Все одно к одному. Так при хромом Волчке

стал и хозяин одноногим. Так и закончилась слава табунщика Арсланбека.

«Когда был табунщиком, я стихи не писал, — рассказывал он. — Зачем?! Степь, горы — вот они! Травы, табуны, деревья, речки. Любовался ими, песни о них пел в седле. А когда начал мыкаться с ногой по больницам, тут и начал вспоминать свои песни, записывать их как-то. Из этого стихи и получились. Они и сгубили моего Волчка».

Уехал Арсланбек в Москву, а в дальнем его родном ауле осталась Айшат, Волчок остался. И тосковал он о своем хозяине не меньше красавицы Айшат. Она писала и рассказывала Арсланбеку, что после его отъезда неделю не находил себе места пес, скулил, не ел ничего, выл по ночам и никого не подпускал к себе. А как он радовался приезду хозяина! Как малый ребенок — ни на шаг не отходил, в глаза заглядывал, играл и был со всеми приветливым. Нет, в повадках, в характере собаки и в самом деле есть что-то от ребенка.

В этот раз Арсланбек на несколько дней задержался в столице своей республики, не сразу приехал в родной аул. Пригласили его на радио, записали стихи, да еще и в издательстве дела были.

В это зимнее утро все и началось. Над аулом в тишине послышался голос Арсланбека. Из громкоговорителя у клуба зазвучали его стихи. Прислушался Волчок, встрепенулся, выбежал к клубу, начал прыгать, радоваться, не зная что случилось, что делать.

Передача была большая. Арсланбек все читал и читал.

Волчок во все глаза смотрел на громкоговоритель — где же спрятался его хозяин, почему он не показывается? Пес слушал, печально поскуливал, словно плакал, а потом начал прыгать высоко, стараясь допрыгнуть до громкоговорителя. Он прыгал, падал, больно бился о мерзлую землю и снова прыгал.

Люди все видели и смеялись, галдели, а Волчок прыгал, голос хозяина звал его. Но где же сам хозяин, почему не показывается, почему так зло шутит со своим верным псом?

Но вот хозяин перестал говорить. Куда улетел его голос? Почему смеются эти люди вокруг? Почему нет хозяина?

Волчок сел у столба и завыл дико, не по-собачьи. Люди спешно разошлись по домам от этого душераздирающего волчьего воя.

С этого утра пес не мог успокоиться. Он не находил

себе места, хромая, бегал вокруг дома, искал хозяина. Айшат попыталась его успокоить, но Волчок злобно рявкнул на нее, оскалив зубы. Айшат забеспокоилась, вынесла еду, но пес не притронулся, не подошел, не глянул.

Он выл всю ночь, и всю ночь Айшат не сомкнула глаз, она думала об Арсланбеке, о Волчке... Оба хромые, так тоскуют друг о друге. Как схожи их судьбы! Арсланбек приедет только через два дня, так написал в телеграмме. Надо бы позвонить ему, но позвонить можно только из райцентра, а туда зимой добраться непросто. Да и куда звонить, где искать Арсланбека в многолюдной столице? Как душа ее истосковалась по мужу! Знает ли об этом Волчок, чувствует ли он, как она любит своего Арсланбека? Она любит его не меньше, чем Волчок, но не плачет, ждет терпеливо. Айшат сильнее этого матерого полуволка. Волчок слабее ее, простой, маленькой женщины.

На следующее утро Волчок исчез.

Айшат звала и искала его, но бесполезно. Она решила, что пес в поисках хозяина рыскает по аулу, вокруг тех дворов, куда заходит Арсланбек, когда приезжает из Москвы. Многие его приглашают, хотят послушать о Москве, хотят послушать новые песни земляка, который теперь взлетел так высоко.

Тут с диким криком и руганью на коне к ней подлетел Жолдосбек, чабан знаменитый. Сердце у Айшат так и оборвалось! Почему он кричит? Почему злой такой? Что стряслось?

— Убью! Убью! — кричал чабан, размахивая над головой ременной плетью. — Вместе с твоей проклятой собакой убью! Твой вонючий волк овец моих порезал!

Айшат почему-то не испугалась. Она спокойно стояла и смотрела на злого чабана удивленными глазами.

— Что молчишь? — кричал он, а конь под ним вставал на дыбы, вихлялся, бросая из ноздрей клочья горячего дыхания. — Будешь платить за овец! Где твой паршивый писатель? Когда приедет?!

Вдруг Айшат тихо спросила:

— А где Волчок?

Жолдосбека перекосило от этого вопроса.

— Волчок? Да вы что тут — с ума посходили! Племенных овец он порезал! Понимаешь ты это?

Айшат испуганно прикрыла лицо ладонями, хотела убежать, спрятаться в доме, но неожиданно вспыхнула, озарила ее мысль, женщина резко повернулась к чабану и выкрикнула:

— Вы сами все это устроили! Не твой ли отец Абдулла-ака за барашка подсунул этого волка Арсланбеку?

Чабан на мгновение смутился, замешкался. Но надо же как-то втолковать этой сумасшедшей все, что случилось. Он уж и не проговорил, а прохрипел:

— Вспомнила барашка! Давно он ваш, волк бешеный! Барашка вспомнила! Он зарезал двадцать овец! Двадцать! Понимаешь!

Жолдосбек резко повернул коня и умчался.

А через два дня в родной аул приехал Арсланбек. Со всех сторон ему рассказывали о том, что произошло. Со всех сторон кричали аульчане:

— Увези волка с собой или убей. Сбесился он. Натворит дел, вот и сядешь за него в тюрьму.

Вызвал председатель колхоза, сказал мирно:

— Арсланбек, уважаемый, ты стал большим человеком, высоко взлетел, в самой Москве живешь. Но я тебе должен сказать — прими меры, сделай что-нибудь со своим бешеным волком. Вчера он кучу колхозных овец порезал, завтра за людей примется. Кто может поручиться, что не будет беды? А?

— Что вы мне говорите! — гневно вырвалось у Арсланбека.

— А то и говорим, — с улыбочкой вмешался бухгалтер, — во-первых, убить бешеную собаку, а во-вторых, внести в колхозную кассу стоимость двадцати племенных овец. Вам понятно, товарищ писатель? Дело-то подсудное.

Председатель точно не слышал слов ехидного бухгалтера, но по всему было видно, что на разговор этот он его пригласил сам.

— Деньги внесу. А Волчка убить не могу. Сами знаете, он жизнь мне спас.

— Дело-то не только в деньгах, в овечках этих, — председатель говорил сочувственно, — разве тебе, Арсланбек-джан, не рассказывали, что волк твой чуть Айшат не разорвал? Он ведь нападал на нее. Я понимаю, она жалеет и уважает тебя, она сама не расскажет, но так было, люди соврать не дадут. Многие видели. Страшное дело. От волка всего ожидать можно. Ты опять в Москву уедешь, а как без тебя Айшат с волком останется?

Эти слова и решили судьбу Волчка.

Подошел Арсланбек к своему двору. Волчок ему навстречу выползает. Ему за овец и вторую ногу перебили, еле движется, но так рад, боли не замечает, кажется и плачет и смеется от радости, что опять хозяина увидел.

Но страшно Арсланбеку за Айшат. При нем Волчок мирный и ласковый, а без него — зверь зверем. Что поделаешь?

— И ты его убил? — спросил я Арсланбека.

— Не знаю, как он погиб. Не видел. Разве я один в ауле живу? Попросил я соседа. Он-то Волчка и...

Арсланбек молчал, глядя в темное окно. Молчал и я.

— И зачем только я согласился сам читать стихи по радио. Надо было сразу домой ехать. Теперь Айшат там одна осталась.

Тут я по своей привычке решил уточнить одну деталь:

— А почему Айшат сказала Жолдосбеку, что Волчок его, а не твой?

— Разве непонятно? Я же тебе говорил, что выменял его щенком за барашка у Абдуллы — отца Жолдосбека. У него много было собак, но больше он любил барашков. Что угодно отдать мог.

— Арсланбек! Да ведь это все живой рассказ — вырвалось у меня. — Я пойду, а ты садись и все это запиши, как мне рассказал. Куй железо, пока горячо! Настоящая вещь получится!

— Я из горя штаны себе шить не буду, — сказал Арсланбек с обидой.

И долго после этого не разговаривал со мной. И рассказ про Волчка так и не написал. Да простит он мне эти строки!

РАССКАЗ О ТОМ, КАК СТИХИ АРСЛАНБЕКА ПЕРЕВЕЛ ЛЕРМОНТОВ

Как-то на лекции по научному атеизму Арсланбек поднял свою широкую ладонь.

— У вас вопрос? Пожалуйста, — прервался преподаватель.

— Уважаемый лектор, мне больше не надо ходить на ваши занятия.

Понятное дело, преподавателю от этого сообщения стало как-то неловко. Он развел руки и удивленно спросил:

— Почему же? Вы все уже постигли, все знаете?

— Нет, конечно, нет, уважаемый лектор, — почтительно сказал Арсланбек. — Ничего я не знаю, поэтому мне и не надо слушать ваши лекции.

Студенты загалдели.

— Тише, товарищи! — призвал преподаватель. — Давайте разберемся. Продолжайте, пожалуйста!

Арсланбек оглядел аудиторию, заговорил с простодушным удивлением:

— Я вот считаюсь мусульманином. Но ничего не знаю об этой древней религии, никогда не читал коран, не слышал из него ни одной строчки. И по-арабски — ни бум-бум. Так товарищи мои говорят.

— Простите, но я же не на арабском языке лекции читаю, — недоумевал молодой преподаватель. — В чем же ваша причина, в чем нежелание заниматься атеизмом?

— Вот, уважаемый лектор, вы нам рассказываете о разных религиях, обо всяких богах, про которых я никогда в жизни не слышал.

— Правильно. Рассказываю. Будущим писателям крайне необходимо научно убедиться в том, что никаких богов нет — ни на земле, ни на небе.

— Неправильно, — твердо сказал Арсланбек. — Я до ваших лекций ничего не знал про Магомета. Вот мой друг, он с Алтая. Алтаец. Язычник. Тоже раньше ничего не знал о Магомете, Аллахе, вашем Будде и Христе. Он говорит, что его народ верит огню, доброму человеку и высоким горам. А вы ему рассказываете, как и откуда появились Магомет, Аллах, ваш Будда и Христос. Зачем ему знать то, чего нет ни на земле, ни на небе? Он и так неверующий.

Преподаватель снисходительно улыбнулся, сказал:

— Не только вы и ваш друг не верите в бога. Все мы здесь не верим. Не так ли, товарищи?

— Не верим! Правильно! — раздались голоса.

— Вот, сами слышите, товарищ лектор, что мы не верим никакой религии, — совсем весело произнес Арсланбек.

— Похвально! Очень хорошо! — потирая руки, сказал преподаватель, он никак не мог ожидать, что на этом рассуждения Арсланбека не закончатся.

— А если мы все не верим, зачем нам атеизм, зачем нам ходить на ваши лекции? Значит, все мы можем теперь идти писать стихи!

Все рассмеялись.

Преподаватель тоже.

Но самое интересное — с той поры Арсланбек действительно никогда больше не посещал лекции по научному атеизму и никто ему не делал за это внушения.

Но не все шутки и проделки заканчивались так благо-

получно. Не все они были безобидны. Порою в шутке его таилась такая колючка... Хотя бы взять историю с переводами его стихов на русский.

На очередном творческом семинаре руководитель предложил послушать переводы стихов Арсланбека. Год уже прошел с того памятного дня, когда мы впервые открыли его для себя. И вот — новая встреча.

— Кто первый? — Голос у нашего руководителя усталый, даже какой-то равнодушный. — Ты, Машковцев? Что же, ты больше всех хвалил подстрочники Арсланбека, тебе и карты в руки, читай.

— Я только одно стихотворение перевел, — сказал Владлен, — оказывается, переводить — это адский труд! Думал, просто: взял да зарифмовал подстрочник... Это стихотворение Арсланбека называется «Новые слова».

Мне дороже всех сказанных слов
Нерожденные — в горле — слова.
Мне дороже осенних цветов
Эта робкая — в мае — трава.

Может, новые мысли щедрей?
Мы еще не вкусили плодов
С их ростков. Только все горячей
Жажду свежих, неслыханных слов!

— Ну как, что скажет автор? — Руководитель посмотрел на Арсланбека и, не дожидаясь его оценки, сказал сам: — Неплохо, Машковцев. Получились неплохие русские стихи. А вот как это с оригиналом?

— Я бы так по-русски никогда не написал, — простодушно воскликнул Арсланбек.

— Ну и хорошо, — подытожил руководитель. — Ты еще переводил, Владлен?

— Есть, но пока не буду читать. Рано еще показывать, надо поработать. Пусть другие читают.

Читали другие. Спорили, просили читать подстрочники, снова спорили. Тут же рождались варианты некоторых строчек, показавшиеся в переводе неточными или неудачными. Последним слово взял Яковчев:

— Я перевел только одно стихотворение. Сперва прочитаю хотя бы строфу из подстрочника:

Самолет примчал в родной аэропорт,
А домой попасть не могу.
Нет такси, долго жду автобуса,
Как мне быть, как скорее добраться?

Стихи называются «В аэропорту». Такой перевод получился:

Прилетел в родной аэропорт,
А до дома не могу добраться.
Нет такси, автобус не идет,
И уже — нет толку в авиации.

Вдруг на черной «Волге» подкатил
Старый друг, мы с ним учились в школе.
Хорошо — меня б он подхватил
И домчал домой скорее, что ли!

Школьный друг приязни не таит,
Подошел, как подобает другу.
«Как Москва? На месте ли стоит?» —
Пошутил, протягивая руку.

Но заметил он кого-то вдруг,
Дверцу распахнул пред долгожданным,
А меня оставил школьный друг
Одного хромого с чемоданом.

Да, начальник он. Его ль вина?
И недаром древность мудро учит —
Старая пословица верна:
Всаднику прохожий — не попутчик...

— Это — Арсланбек! — воскликнул Ахмат Кубанов. — Я знаю эти стихи, читал!

— Молодец, правильно перевел, — похвалил и я своего сокурсника.

— А тебе от друга-начальника за такие стихи не достанется? — улыбнулся руководитель семинара.

— Что же он может сказать? Очень умная критика бюрократов! — сказал Владлен Машковцев.

— Хороший перевод, — подытожил руководитель. — Эти стихи можно предложить для печати. Вполне достойны.

Я заметил, что Арсланбек не слушает руководителя, а как-то странно смотрит на Розу и делает ей какие-то знаки рукой. На его широком лице и просьба, и беспокойство.

— Ну что, товарищи, будем заканчивать? — спросил руководитель.

И тут поднялась Роза.

— Можно мне прочесть свой перевод одного стихотворения Арсланбека. Он меня вчера уговорил взять подстрочник, так что строго не судите. Стихотворение без на-

звания, подстрочник такой, я прочитаю тоже только строфу:

Одинокая белая лодка
В туманной морской сини!
В дальней стороне что пытается она отыскать?
В родной стороне что она оставила навсегда?

И так далее, там еще две строфы. Вот как это звучит в моем переводе:

Белый мой, одинокий мой челн,
Ты в туманной качаешься сини!
Светлой памятью родины полн,

Что ты ищешь в далекой чужбине?
Под тобой изгибает волна
За волною лазурные спины,
Даль прошедшая — бури полна,
Впереди закипают пучины!

Но покуда струится лазурь,
Песня солнца летит золотая!
Челн, как сокол, летит среди бурь,
В бурю, словно бы в сон, залетая!

Роза читала выразительно. Стихи были звучные. И мне странным показалось крайнее недоумение на лице Владлена, который слушая переводил взгляд с Розы на Арсланбека. Но, не дав никому ничего сказать, с последней строчкой перевода Розы, встал сам Арсланбек.

Встал и заговорил, странно покашливая:

— Роза, я тебе сказал, что давно отдал подстрочник другому поэту. Вчера он не перевел, а теперь тоже перевел. Можно, я прочитаю?

— Это любопытно, — устало бросил руководитель, — прочитай, а мы сравним — где ближе к оригиналу.

И Арсланбек прочитал:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны — ветер свищет...

Остальное потонуло в шуме, смехе, выкриках.

Руководитель впервые за все занятие оживился. Он громко постучал ладонью по столу, утихомиривая студентов, сказал: — «Ну, знаете ли!..» и покинул нас, не попрощавшись.

Стихи называются «В аэропорту». Такой перевод получился:

Прилетел в родной аэропорт,
А до дома не могу добраться.
Нет такси, автобус не идет,
И уже — нет толку в авиации.

Вдруг на черной «Волге» подкатил
Старый друг, мы с ним учились в школе.
Хорошо — меня б он подхватил
И домчал домой скорее, что ли!

Школьный друг приязни не таит,
Подошел, как подобает другу.
«Как Москва? На месте ли стоит?» —
Пошутил, протягивая руку.

Но заметил он кого-то вдруг,
Дверцу распахнул пред долгожданным,
А меня оставил школьный друг
Одного хромого с чемоданом.

Да, начальник он. Его ль вина?
И недаром древность мудро учит —
Старая пословица верна:
Всаднику прохожий — не попутчик...

— Это — Арсланбек! — воскликнул Ахмат Кубанов. — Я знаю эти стихи, читал!

— Молодец, правильно перевел, — похвалил и я своего сокурсника.

— А тебе от друга-начальника за такие стихи не достанется? — улыбнулся руководитель семинара.

— Что же он может сказать? Очень умная критика бюрократов! — сказал Владлен Машковцев.

— Хороший перевод, — подытожил руководитель. — Эти стихи можно предложить для печати. Вполне достойны.

Я заметил, что Арсланбек не слушает руководителя, а как-то странно смотрит на Розу и делает ей какие-то знаки рукой. На его широком лице и просьба, и беспокойство.

— Ну что, товарищи, будем заканчивать? — спросил руководитель.

И тут поднялась Роза.

— Можно мне прочесть свой перевод одного стихотворения Арсланбека. Он меня вчера уговорил взять подстрочник, так что строго не судите. Стихотворение без на-

звания, подстрочник такой, я прочитаю тоже только строфу:

Одинокая белая лодка
В туманной морской сини!
В дальней стороне что пытается она отыскать?
В родной стороне что она оставила навсегда?

И так далее, там еще две строфы. Вот как это звучит в моем переводе:

Белый мой, одинокий мой челн,
Ты в туманной качаешься сини!
Светлой памятью родины полн,

Что ты ищешь в далекой чужбине?
Под тобой изгибает волна
За волною лазурные спины,
Даль прошедшая — бури полна,
Впереди закипают пучины!

Но покуда струится лазурь,
Песня солнца летит золотая!
Челн, как сокол, летит среди бурь,
В бурю, словно бы в сон, залетая!

Роза читала выразительно. Стихи были звучные. И мне странным показалось крайнее недоумение на лице Владлена, который слушая переводил взгляд с Розы на Арсланбека. Но, не дав никому ничего сказать, с последней строчкой перевода Розы, встал сам Арсланбек.

Встал и заговорил, странно покашливая:

— Роза, я тебе сказал, что давно отдал подстрочник другому поэту. Вчера он не перевел, а теперь тоже перевел. Можно, я прочитаю?

— Это любопытно, — устало бросил руководитель, — прочитай, а мы сравним — где ближе к оригиналу.

И Арсланбек прочитал:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны — ветер свищет...

Остальное потонуло в шуме, смехе, выкриках.

Руководитель впервые за все занятие оживился. Он громко постучал ладонью по столу, утихомиривая студентов, сказал: — «Ну, знаете ли!..» и покинул нас, не попрощавшись.

Мы еще некоторое время галдели. Какие только слова не пали на бедную голову моего друга!

Кто-то даже предложил исключить его из института, кто-то грозился выдернуть ему последнюю ногу за надругательство над классиком...

Арсланбек сидел красный, потный и растерянный.

— Пусть встанет и объяснит! Пусть скажет! Шутник!

И Арсланбек встал и сказал:

— Ты меня убей, Роза, или прости. А сделал я все это, чтобы вы поняли, друзья мои, что получается, когда стихи переводят с подстрочника.

Злая шутка или серьезный урок? Это как посмотреть.

А с нашей очаровательной Розой они скоро помирились. Более того, недавно она перевела целую книгу стихов Арсланбека, которая вышла в одном из московских издательств.

РАССКАЗ О ТОМ, КАК АРСЛАНБЕК ПРОШЕЛ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ

Не знаю как где, а в Литературном институте, все студенты после второго курса проходят переаттестацию. Суровая и авторитетная комиссия беседует с каждым и выясняет, может или нет этот студент продолжать обучение именно в Литературном институте. Два года — срок достаточный, чтобы себя показать.

Интересно, бывают ли такие переаттестации, скажем в медицинском, сельскохозяйственном или педагогическом институтах? Наверное, не бывают. Иначе откуда бы тогда брались врачи, которые не жалеют больных, не сочувствуют им, берут с больных взятки? Откуда бы тогда появлялись агрономы, торгующие пивом и никогда, кроме практики, не выезжавшие в деревню? Откуда педагоги, ненавидящие и школу, и работу в ней, и учеников?

Но тут вы в свою очередь можете меня спросить — ну есть в вашем Литературном институте переаттестация, ну кого-то там она отсеивает, а откуда же тогда берутся бездарности с дипломом этого единственного в своем роде института? И больше ли от них пользы, чем от агронома с дипломом, торгующего пивом?

Так или иначе — она есть, эта переаттестация, и мы после второго курса опять оказались в положении абитуриентов. Нам предстоит суровое испытание, о подробнос-

тях которого ничего, кроме слухов и легенд, толком никто не знает.

Очередной студент появляется из комнаты, где работает комиссия, мы плотно окружаем его, засыпаем вопросами:

— Ну, как там? Как твои дела?

— Полный порядок!

— Повезло. Проскочил! А что спрашивают?

— Зайдешь — узнаешь.

И вот перед комиссией встал наш Арсланбек.

Николай Николаевич Моргунов — тогдашний проректор, оглядев присутствующих, обратился к широкоскулому седому поэту:

— Что вы можете сказать о своем питомце, как руководитель творческого семинара?

— Арсланбек радует меня своими творческими успехами. — Поэт двинул тяжеловатым подбородком в сторону «своего питомца». — На родном языке у него вышло уже два сборника стихов и поэм. Обсуждения на семинаре прошли... гм-гм... в целом успешно. Теперь Арсланбек занимается прозой, начал роман, значит...

— Значит, вы хотите нас убедить, что перед нами стоит профессиональный, сложившийся писатель?

— Именно так.

— А не преждевременны ли такие авансы? Мелкая вспашка никогда не дает хорошего урожая.

Николай Николаевич Моргунов, говорили, перед тем как стать проректором нашего института, был председателем колхоза где-то возле Загорска, студенты между собой называли его «наш председатель» и рассказывали десятки историй — одна другой смешнее — о том, как он соединял животноводство с литературоведением... И вот поэт, видимо, задетый словами о мелкой вспашке, решил немного поддеть проректора, знал, о чем роман Арсланбека, но все же спросил:

— Так о чем там у тебя в романе речь?

— О современном колхозе. Роман так и называется «Колхозные будни».

— Когда закончишь, не забудь свою вещь показать Николаю Николаевичу. Он большой специалист по вспашке, телятам. Он в литературоведение пришел из гущи жизни, с поста председателя колхоза.

— У меня как раз главный герой — председатель колхоза! — неподдельно обрадовался Арсланбек. — Это ответственная работа!

— Вот-вот, именно. — Поэт, широко улыбаясь, хотел еще что-то сказать, но проректор прервал его.

— Да, мы с Арсланбеком оба колхозники. — Он не подал вида, хотя выпад поэта немного его покоробил. — Однако меня сейчас интересуют вопросы, связанные не столько с прошлым, сколько с настоящим — с учебой ваших питомцев.

— Что конкретно?

Проректор повернул свою легкую голову в редком пушке волос в сторону Арсланбека:

— Правда ли то, что вы на экзаменах требуете у преподавателей нужные вам оценки?

Комиссия в полном составе смотрела на Арсланбека в ожидании ответа. Он не заставил долго себя ждать. Ответил вопросом на вопрос:

— У кого я требовал нужную оценку, товарищ продректор?

Тут словно керосину плеснули на тлеющие угли — в комнате взорвался смех.

— Как... как он сказал?

— Товарищ продректор... ай, Арсланбек! Продректор!

Когда смех притих, Арсланбек снова спросил:

— Уточните, у кого я, например, просил оценку, товарищ прод-ректор?

Невозмутимый Николай Николаевич оглядел всех своими бесцветными глазами, остановился на нужном ему преподавателе, спокойно сказал:

— Уточняю. Правда ли то, что вы требовали нужную оценку у доцента Петрова?

Да-а. Было дело. Сдавал он зачет Петрову на зимней сессии.

Пришел тогда последним. Никого на кафедре кроме них уже не было.

— Проходите, садитесь. Запишите три вопроса, готовьтесь, отвечайте, — нетерпеливо сказал доцент.

— Вот моя зачетка. — Арсланбек положил раскрытую зачетку на стол перед преподавателем и стоял в ожидании. — Я не буду готовиться.

— Прекрасно! Отвечайте без подготовки. Вопрос первый: расскажите в двух словах о Гоббсе и Бэконе.

— Оба они были англичанами, — тихо сказал Арсланбек.

— Исчерпывающе. И все?

— Все. Вы же просили в двух словах.

— Ладно. Вопрос второй: переход количественных изменений в качественные. Знаете?

Арсланбек опустил голову, задумался.

— Читал я «Анти-Дюринг», бедный мой мозг весь расплавился, товарищ до-доцент...

— Не додоцент, просто — доцент.

— Так, так, пусть будет так! — торопливо согласился Арсланбек. — Пусть так будет!

— Вы вспомните, подумайте, ну — переход количественных изменений в качественные?

— Не могу я думать, не могу вспомнить, домой мне надо ехать, а я без вашего зачета не могу! Все зачеты есть, все экзамены, вашей одной оценки нет — вот и переход в качество!

— Оригинально! Комплект положительных оценок рождает новое качество — возможность отбыть в родные края!

— Товарищ до-доцент. Нет, нет, доцен, доцен, доцен. Поставьте мне сегодня зачет!

— Нет, дружок, не могу. Почитай еще и приходи.

Доцент сложил бумаги в портфель и двинулся к двери. Арсланбек стал на его пути, раскинул руки:

— Вы забыли.

— Что я забыл, — оглянулся доцент.

— Вы забыли поставить мне зачет, товарищ до-доцент.

— Откуда вы взяли какого-то додоцента! Я же вам сказал — доцент! Доцент!

— Пусть будет так, пусть! Простите меня, доцен, доцен, доцен! Мне надо ехать домой. Вы понимаете, меня там дети ждут!

— А мне-то что? — прервал его преподаватель. — Подготовьтесь и приходите, будет зачет.

— Как это — «мне-то что»? — возмутился Арсланбек и придвинулся к доценту. — Вам безразлична судьба малых детей? Вы не любите детей? Вы спокойно слушаете, как они плачут, ждут, зовут меня? Я думал, в Литературном институте имени незабвенного Горького нет равнодушных людей.

Доценту стало неловко. Он похмыкал, покачал головой, снова присел за стол и, тяжело вздохнув, спросил:

— Скажите мне одно: как вы понимаете выражение «единство и борьба противоположностей»? В двух словах.

— Муж и жена! — тихо сказал Арсланбек.

— Остроумно, но маловато для зачета! Все! Прощайте!

Доцент сделал вторую попытку прорваться к дверям, но Арсланбек стоял на пути, зная, что преподаватель не станет прорываться силой.

Кончилось тем, что доцент глянул на часы, ужаснулся и написал в зачетке Арсланбека «зачтено».

— Видите, что получается, когда мы потакаем студентам, даем их поблажки, создаем тепличные условия.

Голос проректора был строг.

— Арсланбек — яркий талант. Настоящий поэт! — встал на защиту «своего питомца» руководитель творческого семинара. — Мы же имеем дело с будущими писателями, с настоящими писателями! Этого нельзя забывать!

— Мы говорим тут не о таланте! — сказал проректор.— Чуть что — только слышишь: талант, талант, талант... Как в крепости, в этом сидите. А кто будет интересоваться — какова идейно-теоретическая оснащенность этого таланта? Какова его гражданская и писательская позиция? У кого, товарищи, еще есть вопросы к Арсланбеку?

— Все тут ясно! Вопросов нет! — послышалось со всех сторон.

— Тогда у меня будет вопрос, — строго сказал Николай Николаевич. — Есть сведения, что вы, товарищ Арсланбек, отрицаете принципы социалистического реализма. Это правда?

«Ну все, попал я крепко в капкан. Выгонят меня из института», — подумал Арсланбек и на душе его стало муторно.

Правда, бывали у них на курсе жаркие споры, спорили и о социалистическом реализме тоже. И это, оказывается, доползло до ректората. Это тебе не «до-доцент» Петров. Это серьезнее.

И вспомнил Арсланбек ту самую лекцию Трегуба, на которой и разгорелся сыр-бор.

— Принципы социалистического реализма наиболее ярко выражены в романах «Мать» Горького и «Как закалялась сталь» Николая Островского. Вопросы есть?

— У меня вопрос, — поднялся Владлен Машковцев. — А есть ли в реальной жизни такие герои, как Павка Корчагин — кристально чистые, идеальные во всем?

— Сами-то вы как думаете? — спросил Трегуб.

— Я думаю, в жизни таких героев не бывает, — откровенно сказал Владлен.

Что тут поднялось! Каждый попытался высказать свое мнение, доказать, переспорить, а то и просто перекричать соседа.

— Есть такие люди!

— Их мало, но на них мир стоит!

— Вот — мало! Почему же они — типичные?

— Какой это реализм, если герой идеализирован!

Тут в общий спор, шум которого Трегуб слушал со снисходительной улыбкой, вторгся наш Арсланбек:

— А что такое социалистический реализм? Где про это написано?

— Ну-у, братцы! Алексей Максимович ясно написал об этом! Хоть вы все тут и писатели, но читать-то иногда надо... — Преподаватель посмотрел торжествующе, считая, что положил спорщиков на обе лопатки.

Шум стих. Но Арсланбек не успокоился. Он продолжал свое:

— У Горького написано, я прочитал и все равно не понял. В самом деле — что такое социалистический реализм?

— Отражение жизни в революционном развитии! — выскочил кто-то со своими знаниями. — Садись, Арсланбек! Прочитай сперва букварь, а потом берись за теорию!

— Букварь я на первом курсе прочитал, — невозмутимо сказал Арсланбек. — Теперь читаю «Конармию» Бабеля. Эту книгу очень хвалил Горький.

— И что, есть социалистический реализм в «Конармии»? — крикнул Машковцев.

— Воры, злодеи, дураки там есть, — махнул рукой Арсланбек.

— Но ведь это — правда! — вскочил Машковцев. — Революцию делают не одни идеальные герои! Революцию народ делает, массы, а в массах есть всякие люди — и воры, и злодеи, и насильники! Вот реализм.

— Я думаю, хватит, Машковцев! — раздался суровый голос Трегуба. — Полезно делиться знаниями, а невежество лучше оставлять при себе! Вопрос — яснее ясного, и нечего тут своими путаными оценками наводить тень на плетень!

И тут опять, словно бы и не было до того никакого разговора, поднялся Арсланбек:

— Вы так и не сказали нам, уважаемый лектор, что такое социалистический реализм? Оставили ответ при себе? — Трегуб что-то хотел сказать, даже руку поднял, но Арсланбек продолжил: — Вот типичное-нетипичное: у нашего типичного студента две ноги, так вы его в романе и опишите, так и покажите, а мне — одноногому от этого не станет легче! Правду надо писать!

Вспомнил все это Арсланбек. Да, слово — не воробей!

Но как же поймать этого «воробья», как же выпутаться? И посмотрел он простодушно на членов комиссии, и начал говорить тихим, виноватым голосом:

— Правда, товарищ прод-ректор, я еще в детстве плохо понимал принципы социалистического реализма. И в юности — тоже. Я и в Литературный институт имени незабвенного Алексея Максимовича Горького поступил, чтобы ясно понять, что такое социалистический реализм.

Преподаватели оживились, но теперь улыбки их были невеселые. И только проректор Николай Николаевич Моргунов остался все таким же серьезным. Он покачал легкой головой, глянул на Арсланбека:

— Идите. Больше у нас к вам нет вопросов.

— И все же уясните себе основные принципы социалистического реализма, — добавил руководитель творческого семинара.

Арсланбек не уходил, он вздыхал, стоя у стола комиссии, потом спросил:

— Товарищ прод-ректор, как же я уясню, если вы меня отчислите из института?

— Да остаетесь вы, остаетесь! — сказал Моргунов.

— Спасибо, товарищ прод-ректор! Спасибо, учитель! — Арсланбек поклонился проректору и руководителю творческого семинара. Потом он поклонился большому портрету Горького и закончил: — Спасибо тебе, незабвенный Алексей Максимович!

РАССКАЗ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ АРСЛАНБЕКА

Деревья на Тверском бульваре роняют желтые листья.

Мы только что вернулись с летней практики, сидим с Арсланбеком на скамейке в дворике Литературного института.

— Как птицы — возвращаемся на зимние гнездовья, — говорит Арсланбек. — Нет, все же больше мы похожи не на птиц, а на коров.

— Как это — на коров? — не понял я.

— А так вот. Очень похожи мы на коров. Зимою корова каждую травинку съест, ничего не затопчет, а отъестся за лето — забудет все: может копну раскидать рогами, лепешек на свое же сено нашлепать...

— И чем же мы с тобой похожи на корову?

— Я же сказал тебе — только вернусь в Москву, так и

начинаю тосковать по Айшат, по степям родным, все до травинки вспоминаю. А вернусь домой, пройдет неделя-другая и опять меня тянет в Москву. Наелся я, сытый стал. Не жалко мне оставлять дом. Что там — есть у человека коровьи черты.

— Далась тебе эта корова! Можно подумать — не в редакции практику проходил, а в коровнике.

Арсланбек помолчал, следя за тихим полетом желтых листьев, потом задумчиво сказал:

— Ты как всегда прав, досум, лучше бы нам практику проходить в коровниках, в колхозах. Хотя мне редакция много дала. Я же в газете только печатал стихи, сам-то никогда не работал.

И он рассказал мне о своей производственной практике.

Попал он в редакцию газеты «Трудовая трибуна», выходила она в самом отдаленном районе его республики и возглавлял ее Турсун Туякбаевич Кудайкулов — человек в районе известный, до выдвижения на пост главного редактора работавший много лет главным бухгалтером сельхозуправления.

Был он весь какой-то круглый, гладкий. Если говорить о чем-то выдающемся в его облике, то надо отметить только бородавки на просторном гладком лице. Они словно бы жили своей жизнью — то замирали, то почти исчезали в складках кожи, то оживали, шевелились, а в какие-то крайние моменты — начинали ползать по просторам круглого лица Турсуна Туякбаевича.

Хотя к тем дням, когда Арсланбек прибыл в газету, Кудайкулов проработал в ней пять лет, не стал он за эти годы ближе ни к журналистскому делу, ни к редакционной работе.

Но работал не покладая рук и не разгибая спины.

Было три главных дела. Три кита, на которых покоилась вся его редакционная деятельность: летучка, передовица, бухгалтерия.

Рабочий день начинался с летучки. Называл ее редактор «пятиминуткой», хотя часто эта «пятиминутка» затягивалась чуть ли не до обеда. И всякий раз было много проблем для обсуждения — опоздания на работу утром и после обеденного перерыва, оставление рабочих мест до окончания рабочего дня, неряшливый вид сотрудников (дальше обязательности галстука требования редактора не шли, но и это далеко не всегда выполнялось), не совсем морально

выдержанный запашок, исходящий от некоторых сотрудников, особенно по утрам в понедельник, неправильное ведение книги присутствия на работе...

Была такая книга в «Трудовой трибуне». Большая амбарная книга. Ее прихватил с собой Турсун Туякбаевич с прежней службы и вот уже пять лет каждый сотрудник должен был четко и ежедневно отмечаться в ней — в какое время прибыл в редакцию, в какое время убыл из редакции и куда убыл, если это происходило в рабочие часы. Покончив с «пятиминуткой», Турсун Туякбаевич закрывался в кабинете и отдавался сочинению передовой статьи в очередной номер.

— Нет в газете ничего важнее передовой статьи! — рассказывал Арсланбек. — Это голова всего номера. Остальное — шея, грудь, руки, ноги и так далее. Я видел, как редактор писал передовицу. Страшное дело! Лысина дымится, бородавки по лицу бродят, как овечки по склонам холма, сам какие-то слова странные бормочет. Но страшнее всего — пишет с закрытыми глазами! Такое, друг-досум, только раз дано нам увидеть в жизни.

Дописав передовую статью, Турсун Туякбаевич, усталый, красный, вызывал в кабинет бухгалтера и тут давал себе волю. Он как горный орел, расправив могучие крылья, парил в небе над ведомостями, квитанциями, накладными, заявками и отчетами. Орел! Гигант! Он преображался в эти минуты, смотрел героем, молодцом, полководцем. И в таком приподнятом настроении заканчивал свой рабочий день.

Правда, как потом узнал Арсланбек, был в конце дня и не совсем приятный момент для редактора. Он приглашал к себе литсотрудника сельхозотдела Тудурбека Текебаева — поэта районного масштаба и говорил:

— Тудурбек-джан, я тут написал передовую статью...

На что поэт районного масштаба довольно развязно отвечал:

— Будет время, я гляну. Завтра принесу.

— После напряженного дня даже молодому отдыхать надо, — говорил редактор, опускал руку в глубину кармана своих синих галифе, извлекал мятую трехрублевку, протягивал Тудурбеку со словами:

— Остальное добавишь из гонорара.

Поэт перерабатывал статью редактора. Она выходила в газете. Жизнь шла своим чередом.

Поэт понимал свою ценность и позволял себе некоторые вольности. А во время вечернего отдыха, санкциониро-

ванного и частично финансированного редактором, он иногда давал себе такую волю, что резал правду-матку и называл редактора не совсем лестными словами.

Потому время от времени Турсун Туякбаевич отлучал его от редакции, но ненадолго, поскольку в эти периоды редактору приходилось худо — он писал статьи полностью сам. Да что там греха таить — переписывал из старых, прошлогодних и позапрошлогодних подшивок своей же «Трудовой трибуны». И все бы ничего — что там меняется в задачах сельского хозяйства? — но очень уж Турсун Туякбаевич свыкся со своим редакторством и панически боялся разоблачения методов сочинения передовиц.

И поэту районного масштаба тоже некуда было податься — несколько дней он бузил, читал у магазина свои стихи о космосе, которые написал еще на школьной скамье (собственно, больше в стихах он так ничего и не написал), потом решал отдаться творчеству, садился за стол, но рука его, как он ни бился, вместо возвышенных строк выводила:

Редактору районной газеты «Трудовая трибуна»
тов. Кудайкулову Т. Т.
от журналиста Т. Текебаева

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас... обещаю Вам... И так далее, и тому подобное.

И снова он стоял пред просторным лицом редактора и лепетал:

— Никогда не повторится, Турсун Туякбаевич, в последний раз. Не знаю, как эти слова, эти бяки-моки из меня вырвались. Какой шайтан мне их нашептал. Простите меня, бай-аке.

— Ты где находишься? Ты в редакции партийного органа находишься! Не смей называть меня «бай-аке»! Навсегда забудь этот пережиток проклятого прошлого!

— Нет, прошу вас, не запрещайте мне этого, бай-аке! Бай-аке, я не могу вас называть иначе! Бай-аке!

— Ну что ты будешь делать! Если не можешь, так уж дома, пожалуй, не в служебной обстановке.

— Спасибо, бай-аке, спасибо за приглашение! Для меня большая честь сидеть за вашим гостеприимным столом, бай-аке!

выдержанный запашок, исходящий от некоторых сотрудников, особенно по утрам в понедельник, неправильное ведение книги присутствия на работе...

Была такая книга в «Трудовой трибуне». Большая амбарная книга. Ее прихватил с собой Турсун Туякбаевич с прежней службы и вот уже пять лет каждый сотрудник должен был четко и ежедневно отмечаться в ней — в какое время прибыл в редакцию, в какое время убыл из редакции и куда убыл, если это происходило в рабочие часы. Покончив с «пятиминуткой», Турсун Туякбаевич закрывался в кабинете и отдавался сочинению передовой статьи в очередной номер.

— Нет в газете ничего важнее передовой статьи! — рассказывал Арсланбек. — Это голова всего номера. Остальное — шея, грудь, руки, ноги и так далее. Я видел, как редактор писал передовицу. Страшное дело! Лысина дымится, бородавки по лицу бродят, как овечки по склонам холма, сам какие-то слова странные бормочет. Но страшнее всего — пишет с закрытыми глазами! Такое, друг-досум, только раз дано нам увидеть в жизни.

Дописав передовую статью, Турсун Туякбаевич, усталый, красный, вызывал в кабинет бухгалтера и тут давал себе волю. Он как горный орел, расправив могучие крылья, парил в небе над ведомостями, квитанциями, накладными, заявками и отчетами. Орел! Гигант! Он преображался в эти минуты, смотрел героем, молодцом, полководцем. И в таком приподнятом настроении заканчивал свой рабочий день.

Правда, как потом узнал Арсланбек, был в конце дня и не совсем приятный момент для редактора. Он приглашал к себе литсотрудника сельхозотдела Тудурбека Текебаева — поэта районного масштаба и говорил:

— Тудурбек-джан, я тут написал передовую статью...

На что поэт районного масштаба довольно развязно отвечал:

— Будет время, я гляну. Завтра принесу.

— После напряженного дня даже молодому отдыхать надо, — говорил редактор, опускал руку в глубину кармана своих синих галифе, извлекал мятую трехрублевку, протягивал Тудурбеку со словами:

— Остальное добавишь из гонорара.

Поэт перерабатывал статью редактора. Она выходила в газете. Жизнь шла своим чередом.

Поэт понимал свою ценность и позволял себе некоторые вольности. А во время вечернего отдыха, санкциониро-

ванного и частично финансированного редактором, он иногда давал себе такую волю, что резал правду-матку и называл редактора не совсем лестными словами.

Потому время от времени Турсун Туякбаевич отлучал его от редакции, но ненадолго, поскольку в эти периоды редактору приходилось худо — он писал статьи полностью сам. Да что там греха таить — переписывал из старых, прошлогодних и позапрошлогодних подшивок своей же «Трудовой трибуны». И все бы ничего — что там меняется в задачах сельского хозяйства? — но очень уж Турсун Туякбаевич свыкся со своим редакторством и панически боялся разоблачения методов сочинения передовиц.

И поэту районного масштаба тоже некуда было податься — несколько дней он бузил, читал у магазина свои стихи о космосе, которые написал еще на школьной скамье (собственно, больше в стихах он так ничего и не написал), потом решал отдаться творчеству, садился за стол, но рука его, как он ни бился, вместо возвышенных строк выводила:

Редактору районной газеты «Трудовая трибуна»
тов. Кудайкулову Т. Т.
от журналиста Т. Текебаева

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас... обещаю Вам... И так далее, и тому подобное.

И снова он стоял пред просторным лицом редактора и лепетал:

— Никогда не повторится, Турсун Туякбаевич, в последний раз. Не знаю, как эти слова, эти бяки-моки из меня вырвались. Какой шайтан мне их нашептал. Простите меня, бай-аке.

— Ты где находишься? Ты в редакции партийного органа находишься! Не смей называть меня «бай-аке»! Навсегда забудь этот пережиток проклятого прошлого!

— Нет, прошу вас, не запрещайте мне этого, бай-аке! Бай-аке, я не могу вас называть иначе! Бай-аке!

— Ну что ты будешь делать! Если не можешь, так уж дома, пожалуй, не в служебной обстановке.

— Спасибо, бай-аке, спасибо за приглашение! Для меня большая честь сидеть за вашим гостеприимным столом, бай-аке!

Редактор не верил ни одному слову поэта, но что делать — передовицы должны появляться в срок и быть качественными, а пока что никто не мог писать их лучше этого паршивого козленка! Однако он не терял надежды, что когда-нибудь избавится от этого поэта — или найдет ему замену, или — чем черт не шутит! — научится писать сам!

Очередное отлучение Текебаева от редакции состоялось, когда тут проходил практику Арсланбек. Был ли он тому виной, Арсланбек не знал, но тут же после изгнания поэта, редактор вызвал практиканта к себе и вручил ему рукопись передовой статьи, сказав:

— Посмотри, дорогой, московским глазом — что тут и как. И — в набор. Меня завтра не будет. Дела.

Дела были и у Арсланбека, он как раз заканчивал перевод романа Льва Толстого «Воскресение» на родной язык (о чем речь впереди), потому статью редактора, даже не прочитав, отдал на машинку, а там она пошла в набор и в девственном виде появилась на первой полосе очередного номера «Трудовой трибуны»!

На следующий день после выхода номера с этой передовицей «пятиминутка» впервые за все время правления Турсуна Туякбаевича действительно прошла за пять минут.

Когда все вышли из кабинета, редактор остановил Арсланбека и гневно посмотрел на него. Бородавки на его великом лице забегали, как овцы в грозу, над лысиной поднялся туман.

— Это ты, практикант, так изуродовал мою статью?! — Он тыкал пальцем в газету, которую Арсланбек так еще и не прочитал. — А знаешь ты, что со мной за твои художества в райкоме сделали! Ну, напишу я тебе характеристику! Тебя с ней не то что в институт, тебя с ней в свинарник не примут!

Арсланбек чувствовал свою вину, но не до такой степени, в конце концов он эту злосчастную статью не правил, это сделал кто-то другой, о чем он и сказал редактору.

— Тогда разберись какая свинья так испоганила мою статью? Кто в нее напихал таких глупостей?

Арсланбек нашел текст, с которого набирали, сличил его с тем, что написал редактор и понял: никто и ничего не вписывал в статью редактора, никто ее не правил, она была напечатана в газете слово в слово, как написал Турсун Туякбаевич!

Арсланбек вошел в кабинет редактора, чтобы как-то

сказать ему потактичнее об этом, но тот начал с порога кричать, мелькая бородавками:

— Сейчас ты, практикант, пойдешь в райком и все там объяснишь сам, какую ты тут идеологическую диверсию провернул!

— Хорошо, товарищ редактор, я объясню. Только диверсант не я, а вы, уважаемый.

— Думай, что говоришь!

— Смотрите сами, вашу статью никто не правил, как написали, так и напечатали. Так я пойду? — И Арсланбек захромал к двери.

— Э-э-э, постой, постой! Дай-ка я сам еще гляну! — Арсланбек положил бумаги перед редактором, он на минуту углубился в чтение, а потом поднял на Арсланбека свое просторное лицо, но оно уже не пылало гневом, а лучилось медом приветливости:

— Ну стоит ли волноваться из-за такого мелкого случая. Стоит ли. У вас, наверное, много работы? Я могу вам завтра же написать хорошую характеристику, поезжайте домой, творите. А, уважаемый практикант?

Так успешно и досрочно закончилась практика моего друга. В тот же день Турдубек Текебаев был срочно помилован и сидел в редакции, ожидая очередного задания редактора.

— А как он меня провожал! Только что без оркестра. «Передавай привет родным, жене, друзьям-студентам». Да так ласково!.. А еще он просил меня поговорить с ректором — не примут ли его в Литературный институт. Человек, говорит, я бывалый, из гущи народных масс, роман, говорит, у меня из жизни бухгалтеров написан, большой роман. Хочу выучиться, чтобы умереть писателем. Как думаешь, друг-досум, не поговорить ли мне действительно, с д-ректором, ведь в моей литературе еще не было романа из жизни бухгалтеров?

РАССКАЗ О ТОМ, КАК МЕНЯ МУЧИЛ МОЙ ДРУГ АРСЛАНБЕК

И только в пору экзаменов мы реже становимся свидетелями и участниками шуток Арсланбека.

Ему не до шуток. Сидит на койке обложенный книгами и читает, читает, читает. Становится серьезным, даже сер-

дитым. В такие дни его лучше не трогать. А когда сам отрывается от очередного учебника, то задает какие-то странные вопросы.

Как-то заглянул я к нему. Арсланбек поднял лохматую голову от книги и громко рассмеялся:

— Нет, друг-досум, критика — загадочная штука!

— Что же в ней такого загадочного?

— А вот смотри — во всех книгах хвалят одну и ту же строчку Николая Тихонова! Загадка! И так десятки лет!

— Какую строчку? — спросил я.

— Вот эту — «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей».

— Сильно сказано!

— Так и знал, что ты похвалишь тоже. Загадка!

— Никакой загадки, просто сильная строка, настоящая поэзия.

— А я вот никак не пойму — что тут такого сильного? Или все умные, а я один глупый? Не нравятся мне эти стихи, по правде говоря.

Я очень удивился этому заявлению Арсланбека.

— «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Нет, не нравится! Непонятно.

— Что же тут непонятного?

— Ты все понимаешь? Тогда объясни мне, пожалуйста, скажи, что дороже — гвозди или люди? И зачем из людей делать гвозди? Не знаю. Да в войну из гвоздей надо было людей делать! Вот это было бы правильно! Что ты на это скажешь?

Ничего не мог я возразить моему другу тогда. И теперь, признаться, мне тоже трудно что-нибудь ему возразить.

В другой раз перед экзаменом Арсланбек озадачил меня новым вопросом, связанным со стихами Маяковского.

— Вот выполняю клятву, которую дал, когда поступал в Литературный институт — читаю Маяковского. Далеки его стихи от нашего устного народного творчества, а читать надо — клятву выполнять.

Он раскрыл красный том, в котором держал свой палец вместо закладки.

— Слушай, оказывается, иногда ошибаются и большие поэты. Читал, читал, а на одной строке запнулся и дальше — ни с места. Вот эта: «Поэзия — вся! — езда в незнаемое»!

— И на ровном месте можно споткнуться, — сказал я.

— Нет, друг, Маяковский — крупный поэт, и ошибся он тут крупно! Езда в незнаемое — дело туристов, путешественников. Дело поэта — езда в знаемое. Приближение к родному, к тому, что ты знаешь с детства. Надо так приблизиться, как никто, чтобы и слова о родном сказать такие, какие не говорил никто до тебя. А ехать в незнаемое...

— Слово авторитетного поэта далеко слышно, — уклонился я от оценки суждений Арсланбека.

— Настоящему поэту не нужны чужие авторитеты. Поэт должен верить только себе самому! — Арсланбек сказал это твердо, уверенно.

— Вот именно, Арсланбек! — хватаюсь я за сказанные им слова. — И Маяковский, и Тихонов — настоящие поэты. Им не нужны досужие суждения какого-то там студента Литературного института.

— Кто спорит. Конечно, не нужны. — Арсланбек сразу как-то сник. — И все же...

Надо тут сказать, что характер у моего друга был неровный. Иногда он напоминал мне человека, который взбирается по крутому и скользкому склону горы. Лезет, выкладывает все силы, карабкается к вершине. Кажется, цель близка, вот-вот коснешься ее рукой... Но тут человек срывается и опять оказывается у подножья, хоть снова начинай свой путь.

Только что Арсланбек пытался покорить вершины русской поэзии, говорил об авторитете, спорил с Маяковским. А пришел я к нему через полчаса — друга не узнать: совсем другой человек. Лежит на койке, на груди дутар, вокруг книги валяются.

Приглашаю его в столовую. Он смотрит на меня удивленно, точно в первый раз видит, говорит:

— Спасибо, я уже пообедал.

Сказал и глаза закрыл. Я постоял немного и опять его вынужден был потревожить:

— Ну, тогда дай мне полтинник на обед.

Арсланбек, не открывая глаз, пошарил в кармане и протянул мне двадцать копеек одной монетой.

Я подумал, может быть, он ошибся — разве на ощупь отличишь одну монету от другой.

— Арсланбек, ты мне дал только двадцать копеек!

От открыл глаза, широко улыбнулся:

— Двадцать копеек! Ты забыл, друг, что двадцать копеек — это же по-старому два рубля. А два рубля по-новому — двадцать рублей по-старому! Видишь, почти вся наша стипендия.

Когда я выходил из комнаты, вслед мне донеслись его слова, смешанные со смехом:

— Поэзия — это когда видишь невидимое, бываешь там, где не бывал, обедаешь тем, чего нет!

А дальше он громко сказал по-русски:

— Поэзия — вся! — езда в незнаемое, помни это, друг!

РАССКАЗ О ТОМ, КАК АРСЛАНБЕК ПЕРЕВЕЛ РОМАН ЛЬВА ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ»

На последних курсах Арсланбек беспрерывно работал, писал. Каждый год у него то на родине, то в Москве выходили книги.

Писал он буквально беспрерывно. Я сам тому свидетель, знаменитую свою поэму о табунщиках мой друг записал на лекциях, не выходя из аудитории даже на перерывы. Бывали дни, когда на одной лекции он создавал два прекрасных лирических стихотворения, бывали дни, когда на двух лекциях — одно стихотворение, но не было у Арсланбека пустых дней, а потому не было и пустых лет, каждый новый год был годом выхода его новой книги.

Арсланбек становился известным, но это никак не меняло ни его веселый нрав, ни даже его внешность. Он все так же ходил по утрам в гастроном на проспекте Руставели, рубил мясо, получал свой «гонорар» мясом и лапшой и с удовольствием угощал нас добрым лагманом. Он все так же ходил в своем старом сереньком пиджаке — мятом, видавшем виды.

Но в этот раз, когда Арсланбек вернулся с зимних каникул, мы сразу заметили в нем перемену: он стал неразговорчив, нелюдим, важен.

Я стал допытываться — не произошло ли с ним на родине что-то неприятное. Арсланбек выслушал меня и неторопливо, с длинными паузами сказал:

— Э-э-э... мне доверили... перевести бессмертный роман... Льва Николаевича Толстого... «Воскресение»... Великое дело... Ни на что не остается времени и сил.

Переменился мой друг.

Не раз и не два он обращался к «д-ректору» с просьбой предоставить ему творческий отпуск, поскольку в Москве нет нужной литературы, требующейся ему в работе над бессмертным романом Льва Николаевича Толстого.

Действительно ли это было так, или Арсланбек больше

рвался к своей Айшат, чем к требующейся ему литературе, — сказать сложно, но, уехав в отпуск, он никогда не возвращался в срок, всегда приезжал на неделю-другую позже и все более важный, гордый, даже неприступный.

Дошло до того, что в его словах, в его поведении стали проскальзывать нотки и черты высокомерия.

— Все грызете чужие книги? — спрашивал он небрежно, заглядывая к нам в комнату. — На кого вы тут только учитесь — на читателей или на писателей? Писать нужно каждый день, каждый день нужно повышать свое мастерство, иначе вообще не стоит заниматься этим делом!

И вот из очередного творческого отпуска мой друг Арсланбек вернулся просто неузнаваемым, он словно стал выше ростом, куда делась его простота, его широкая улыбка! Кожаное пальто с серым каракулевым воротником, темно-синий костюм, белоснежная сорочка с галстуком, новый протез — все это преобразило Арсланбека, даже походка его стала иной — ходит важно, неторопливо, склонив голову и выставив подбородок. Как будто даже его рябое лицо стало глаже. Строгость появилась и во взгляде, и в голосе.

Через несколько дней он пригласил нас в свою комнату, сказав: «Посидим за дастарханом».

Мы собрались.

На столе был все тот же лагман, но и еще кое-что — фрукты, шоколад, коньяк.

— Друзья! Я закончил свой труд, — сказал Арсланбек, поднимая стакан. — Я одолел этот высокий перевал! Роман Льва Николаевича Толстого «Воскресение» вышел в моем переводе на родном языке! Понимаете? Теперь князь Нехлюдов и Катюша Маслова говорят и думают на языке моей родины!

Я заметил, что книга в руке Арсланбека выглядит значительно объемнее, чем тот же роман на русском.

— Поздравляем!

— Рады за тебя!

— Теперь ты — живой классик! — загалдели мы.

— Должен сказать, друзья, что мой перевод выдвинут на соискание литературной премии нашей республики, — солидно сказал Арсланбек, выслушав поздравления. — Нужно работать, друзья, каждый день работать! Э-э-э, друг-досум, коньяк не закусывают мясом! Бери шоколад. Интеллигентная штучка!

Но недолго сияла слава Арсланбека.

Быстро померк ее огонь. И как тут не вспомнишь рус-

скую пословицу: ложка дегтя способна испортить бочку меда!

Арсланбек действительно проделал большую работу, трудился упорно и долго, стараясь обогатить культуру своего народа, но... Откуда же это «но»?

Только дал он мне этот роман, предварительно поставив на титульном листе размашистый автограф, все и кончилось.

Как называется роман?!

Оказывается на родном языке Арсланбека бессмертный роман Льва Николаевича Толстого «Воскресение» назывался теперь «Выходной день» или хуже того — «День отдыха»!

Буквально на следующий день Арсланбек улетел на родину. Не знаю, что и как он там делал, но через два года, уже на Алтае я получил от него роман Толстого в его переводе и назывался он точно так же, как у автора.

РАССКАЗ О ТОМ, КАК МЫ РАССТАЛИСЬ С АРСЛАНБЕКОМ В САМАРКАНДСКОМ АЭРОПОРТУ

Всесоюзная конференция писателей закончилась. Сегодня мы возвращаемся домой. Стоим в самаркандском аэропорту, ожидая свои рейсы.

Тяжело гудят могучие самолеты. Они трудно отрываются от земли, уходят в бирюзово-шелковистое небо, взмывают над Самаркандом, оставляя внизу его невыносимую жару и оглушающую пестроту.

Мы стоим с Арсланбеком. Скоро и мой самолет покинет эту землю, полетит на север, в сторону Сибири, к пределам родного Алтая.

Душа неспокойна. Что с ней? Что в ней? И сладкая радость, что возвращаешься домой, и тихая печаль расставания с друзьями. Радость и печаль всегда ходят вместе.

Арсланбек кивает круглым тяжелым подбородком в сторону площади, которая богато украшена разноцветьем цветов:

— Иные цветы радуют глаз красотою.

— А иные цветы, — поддерживаю я «плетение словес», — радуют душу плодами.

Ревет взлетающий авиалайнер. Он надолго глушит на-

ши голоса, а когда вновь до меня доходят слова друга, то он говорит совсем не о цветах и не о плодах. Он говорит о том, что даже вечная красота Самарканда хрупка в наш век, в век ядерных бомб, в дни, когда над миром висит угроза уничтожения всего человечества...

— И все же вспомним о надежде! Не станем расставаться на этих словах! Иначе мы запомним друг друга тоскливыми и опечаленными! Прочитай-ка мне те свои стихи о человеке. Помнишь, которые вчера читал?

Знаю, что Арсланбек предлагает мне прочитать эти стихи не для того, чтобы скоротать время, потому читаю:

Всего удивительнее — Человек,
Потом — этот мир: океаны и горы,
Потом — бесконечного неба просторы,
И вновь — Человек. И опять — Человек...

— Вот! Вот наша вера, наша надежда! Человек! — Друг крепко обнял меня. — А теперь послушай мое четверостишие.

И он прочитал стихи удивительной музыкальности и удивительной точности мысли:

Осмо кетет — каш калат,
Омот кетет — баш калат,
Бетеге кетет — бел калат,
Бектер кетет — эл калат*.

— Прекрасно! — не мог я удержаться от похвалы, хотя и знал, что Арсланбек не любит, чтобы его так откровенно хвалили. — Твои слова будет повторять народ!

— Это я повторяю слова народа, — с улыбкой сказал Арсланбек. — Это сложил мой народ.

И тут же он, как это бывало и в годы юности стал говорить вроде бы совсем о другом:

— Что ни говори, друг-алтаец, народ твой очень невелик, у нас в республике в одном районе больше населения. Нет, ты только не сердись на меня! Я не об этом! Я о том, что, как говорит русская пословица, берут не числом, а умением! Сколько у вашего народа прекрасных песен, сказаний. Но и опять я не об этом! Какая же должна быть ответственность ваших писателей и за свое слово и за слова, сохраненные до наших дней в народной душе!

---

* Смысл четверостишия в буквальном переводе таков: «Сойдет сурьма — останутся брови, пропадет чванство — останется голова, увянут травы — останутся хребты, исчезнут властолюбцы — останутся народы». (прим. переводчика).

И снова от гула взлетающего самолета подрагивает почва, колеблется воздух, и еще одна крылатая птица покидает землю Самарканда, жаркие степи, и исчезает в глубине бездонного неба. Я смотрю на часы. Скоро мой рейс.

— Арсланбек, добрый мой друг, — говорю я, — подходит мое время. Хочешь стихи на прощание?

— Конечно, конечно! — соглашается друг и тут же начинает шутить, широко улыбаясь. — Если даже тело мое умрет, то душа будет все так же любить красивое и умное, а главное — правдивое слово, просто музыку человеческого голоса! Читай, алтаец, я готов тебя слушать всегда!

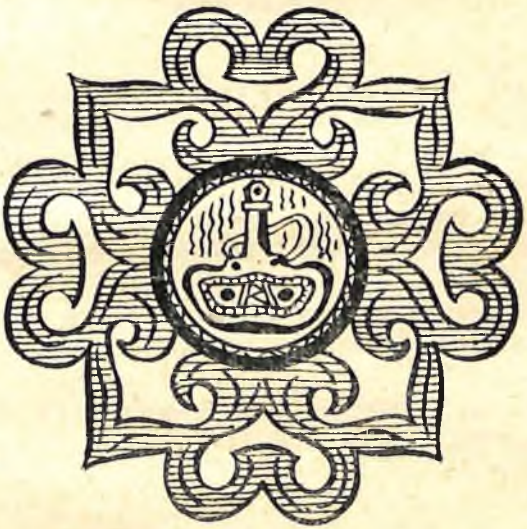
— Знаешь, это стихи... Знаешь, я не люблю, когда говорят «малые народы...»

— Не объясняй, друг, читай!

И я прочитал ему, а возможно, и другим людям от имени «малых народов» такие стихи, перед тем, как возвратиться в родные горы моего вечного и голубого Алтая:

Добро и Счастье, Правда и Свобода...
Во имя их земного торжества
На языке и малого народа
Сказаться могут важные слова!

РАССКАЗЫ



СХОЖИЕ ХАРАКТЕРЫ

ДВА РАССКАЗА

Две голубые жилы бугрятся на теле Горного Алтая. Два кровеносных сосуда. Это — Катунь-река и Чуйский тракт, стремительные, как стрела богатыря Сартакпая.

Едешь трактом, то огибая, то пересекая Катунь, то рядом с нею, и кажется, будто непременно кого-то хочешь догнать, будто там, впереди, кто-то ждет, кто-то кличет тебя.

Дорога на то и дорога, для того и строили ее, чтобы соединять людей, чтобы встречались и узнавали они друг друга.

Без дороги, особенно без Чуйского тракта, в Горном Алтае, считай, и журналиста нет! Какие без дороги встречи?..

1. ЖЕНА АЧИМАЯ

В селе Малая Иня, где тракт проходит по самому краю высоких обрывистых бомов, недалеко от тех мест, где Чуя и Аргут впадают в Катунь, познакомился я с Ачимаем Айдаровым, очень любопытным человеком. Такого, как с ним случилось, наверняка в наших краях до того не бывало, а может, и вообще не будет никогда.

Перед тем, как я с ним повстречался, у него самого бы-

ла встреча. Удивительная встреча! В горах, на сумрачном перевале.

Но лучше я все-таки расскажу по порядку и начну с того, как я попал в контору совхозной фермы. Ведь если бы не задание редакции, которую интересовал именно этот совхоз, не быть бы мне в тот день в селе Малая Иня и не знать, что есть на свете такой человек, Ачимай Айдаров.

Ветреный осенний день. Рыжим пламенем мечутся по узким и глубоким логам деревья, швыряя охапками лоскуты огня — багровые, перегоревшие листья.

Летом тут по-другому. Летом, да в вёдро, голые, безлесные горы и сопки, стоящие караулом вокруг села, над зелеными логами, кажутся раскаленными от жары и солнца. Сейчас красноватые скалы, постепенно остыв под шалыми ветрами, стали уныло бледно-серыми. С далеких вершин таких же бледных и пасмурных гор, а может из самой глубины бездонного неба, накатывает порывистый ветер, пробирая насквозь и овраги и долины.

В селе безлюдно и тихо. Где-то жалобно и грустно мычит теленок, которому еще неведомы ни эти ветры, ни лютые холода совсем близкой зимы. Испуганно жмутся друг к другу деревянные избы, словно маленькие иззябшие дети, не знающие, куда им спрятаться от пронизывающего до костей сквозняка. Только новая контора совхозной фермы высится над селом, богатырски подбоченясь: «Ну, чего ты бесишься, осень?..»

И меня основательно просвистало ветром.

Захожу в контору. Стучу в дверь, на которой золотыми буквами по узенькой полоске стекла — «Управляющий». Никто не отзывается. Кабинет заперт. В комнате напротив сухо пощелкивают костяшки счетов.

Не обращая на меня никакого внимания, чуть склонив высокую модную прическу, создание которой было бы совершенно невозможно без сарлычьего хвоста, молодая женщина сосредоточенно что-то подсчитывает и красным карандашом вписывает цифры в большой разграфленный лист, разложенный перед нею.

— Здравствуйте...

Женщина оторвалась от бумаги, вскинула свое высокое сооружение из искусно взбитых густых волос и взглянула на меня необыкновенно черными глазами.

— Здравствуйте, — отозвалась она и, опустив глаза, сказала смущенно: — Думала, наши бездельники шляются, работать мешают... Извините...

— Мне нужен управляющий.

— Управа нет. В Онгудай с отчетом уехал. — Она окинула меня изучающим взглядом с ног до головы, потом с головы до ног и спросила: — А вы кто будете?

— Я из газеты.

— А-аа, — разочарованно протянула женщина. — Опять приехали торбокам хвосты считать... — Она утратила ко мне всякий интерес, но тем не менее сочла возможным холодно повторить: — Управа нет и сегодня не будет. Он в Онгудае.

Длинные пальцы ее забегали по счетам, ловко отщелкивая десятки, сотни, тысячи... Колыхнулась ее высокая прическа, склонившись к левому плечу, и женщина, забыв о моем существовании, уже проставляла те же десятки, сотни и тысячи на разграфленном листе.

— А где ваш парторг?

— Парторг? — Она не сразу подняла голову и как будто даже удивилась, что я все еще тут. — Он тоже уехал в Онгудай. Вместе с управом.

Вот невезенье!

— Может, вы скажете, где мне найти зоотехника или ветеринарного врача...

— Интересный народ эти газетчики! — В голосе ее слышалось нескрываемое раздражение. — Подавай им обязательно управа, парторга... Неужели вам не надоедает разговаривать с одними начальниками?! — Женщина с искренним удивлением пожала худенькими плечиками.

Мне почему-то стало неловко, что я докучаю ей своими никчемными вопросами, и захотелось тут же уйти, исчезнуть, только бы не видеть ее больших насмешливых черных глаз. Но уйти я не мог, потому что женщина продолжала поносить нас, газетчиков.

— Вот и пишут, вот и пишут!.. Торбоки да овцы! Надой да настриг! Шерсть да мясо! Хвосты да головы! Цифры, цифры, цифры... Неужели ничего интереснее на свете нет? — Она выпалила все это на одном дыхании и словно осеклась. Снова смерила меня взглядом с ног до головы. Щеки ее вспыхнули румянцем. Я подумал, что ее смутила собственная горячность. Ничего подобного! — Теперь вам, конечно, понадобится агроном. Да? Я не ошиблась? А вообще-то цифрами и я могу вас снабдить. У меня их сколько хотите! — Ее рука щедро отщелкнула целую гроздь костяшек на счетах.

Я молчал. И стоять перед нею было уже невмоготу, и удрать невозможно, потому что она не закрывала рта.

— Неужели журналисты думают, что план выполняет

только начальство? Неужели нет ничего на свете, кроме плана? Неужели на всем белом свете перевелись интересные люди? Да вы у нас их можете найти сколько угодно!

Она бы долго еще отчитывала меня, если б я, озлившись, не прервал ее:

— А вы возьмите да покажите мне этих ваших ин-терес-ных людей!

— И покажу! — весело ответила она. — Думаете, не покажу? Хоть Ачимая нашего, например. Вот уж про что люди наверняка читать будут. Забавно!

На ее тонких губах плясала улыбка. Улыбалась даже маленькая родинка на щеке.

— Кто он такой, ваш Ачимай? Что в нем забавного?

— Ачимай-то? Нет-нет, он не передовой чабан. И даже не табунщик, который спас от волков совхозных коней. Ачимай — тракторист. Но гектары и центнеры тут тоже ни при чем... Да чего я буду про него рассказывать. Идите к нему сами. Дом его я вам покажу.

Мы вышли из конторы. Она остановилась в дверях и кивком показала в сторону речки Малая Инюшка.

— Во-он дом Ачимая. С новой шиферной крышей.

Там, куда она показывала, стояло несколько совершенно одинаковых новых стандартных домов. Отличить среди них дом какого-то Ачимая мне, приезжему, было не так уж просто. Заметив мою растерянность, женщина не без ехидства уточнила:

— Неужели не видите? Да вон же! Прямо на вас смотрит. Дверь у него не покрашена.

Она скрылась в конторе, а я направился к дому незнакомого мне человека.

По-прежнему дул упругий холодный осенний ветер. По дороге несло листья и клочья бумаги. Куда-то спешила Малая Инюшка, словно надеялась где-то отыскать еще не посохшую зеленую травку. Мелкие кудрявые волны, толкаясь, переливаясь, прыгали с камня на камень.

«Чем же он «забавен», этот Ачимай? Что он мне скажет?» — думал я, уже жалея, что, как говорится, завелся с ходу. Отступать, однако, было поздно. Наверняка женщина из конторы подглядывала сейчас в окошко.

Возле дома с новой шиферной крышей и некрашеной дверью меня встретила громким лаем огромная, с годовалого теленка, собака. Она металась на длинной цепи, гремя кольцом, скользившим по толстой проволоке, вскидываясь на задние лапы, рычала, обнажая белые клыки.

Вышел хозяин. Маленький и, как мне сперва показа-

лось, даже немного скрюченный, похожий на высохшую кедровую шишку. Он остановился возле своего черного пса и проткнул меня острыми, как иголки, маленькими глазками. Не больно проткнул — иголки оказались мягкими, словно хвоинки. Догадавшись, что я пришел именно к нему, он, как и подобает гостеприимному алтайцу, приветливо сказал:

— Проходите. Не бойтесь. Она не тронет.

Ему было лет сорок. А может, и больше. Когда мы здоровались, он протянул мне короткую, как колотушка, руку с такими же короткими и крепкими пальцами, насквозь пропитанными тракторной смазкой и как бы покрытыми тонкой пленкой металла.

Полы в доме, некрашеные, как и дверь, были вымыты и выскоблены до блеска. Справа от входа возвышался тяжелый шифоньер коричневого цвета. На противоположной стороне дремала громоздкая русская печь. Рядом с нею, приткнувшись к стене, стоял рукомойник «Мойдодыр».

— Садитесь, — Ачимай придвинул табуретку. — Снимайте пальто, если не спешите. У нас тепло...

У них было тепло, даже очень тепло. Когда я, сняв и повесив пальто, уселся на предложенный мне стул, Ачимай по обычаю произнес:

— У оленя на голове рога, у человека — имя...

Я представился.

— Ясно, — сказал он.

Что ему было ясно, я так и не понял, но тут же вспомнил женщину из конторы, пославшую меня сюда, и подумал, что и здесь меня ждет то же самое — сейчас хозяин примется ругать журналистов.

— Значит, из газеты, — повторил Ачимай и опять слегка посверлил меня маленькими острыми глазками, и еще раз сказал: — Ясно...

Тут я решил схитрить, опередить его и, как только мог, непринужденно и весело спросил:

— Говорят, с вами случилась какая-то забавная история?

— Уже успели набрехать! — подмигнул Ачимай и рассмеялся. — Роза, конечно...

На душе у меня полегчало: стало быть, я попал в точку. Но цель моего прихода сюда так и оставалась загадкой.

— Мне о вас в конторе говорили.

— Так и знал! Роза у нас такая — палец в рот не клади.

он, будто совсем о другом решил говорить. — Таскаю на своем «ДТ» сено для совхозной скотины.

Тут он разворчался, что вблизи села плохо растет трава, повыгорела вся, что кругом камни одни, и ему, трактористу, приходится теперь черт те откуда возить сено. Ближний путь — в горы, через перевал переть!

Я не перебивал его, и Ачимай постепенно стал сворачивать на нужную мне колею, рассказал, как и в тот день отправился за сеном, как поднялся на Айлагушскую седловину, где уже было белым-бело.

— Снега на вершок, а то на два навалило...

Похлопав короткими руками по карманам брюк, он нащупал спички и закурил. Несколько раз глубоко затянулся и, глянув на меня сквозь густой дым, спросил:

— Вы в Яйлагушской долине бывали?

Я отрицательно помотал головой.

— Ясно, — сказал он. — Хотя бы разок следовало. Особенно летом. В Кадринских хребтах, например. Вот где богатство! Красивое место. Надо тебе кедровый орех — бери. Надо золотой корень — враг всех болезней! — сколько хочешь. А зверя, зверя... И рысь тебе, и соболь, и снежный барс, и марал золоторогий — все там. Чистый рай! Пастухам — праздник. Травы какие сочные!..

— Хватит, однако, Ачимай, — перебила его жена. — Человек тебя не про травы спрашивать пришел. Ему интересно, как ты медведя своим гаечным ключом...

— Брось ты этот ключ! Корреспонденту все должно быть интересно, — назидательно произнес хозяин, подмигнул и два-три раза шумно отхлебнул чай из пиалы. — Про медведя так про медведя... Значит, поднялся я на седловину. Снег там. И дождь моросит. Погодка! Смотрю: человек на дороге. Надо подвезти. Хотел ему дверцу открыть... Нет, не человек! Прет на меня, зубы скалит, лапищей намахивается... Я еще не соображу никак, а тут впереди что-то дзинь, и фара одна погасла. Что делать? Чую, волосы сами кепку подымают, спину не то огнем палит, не то морозом обдает... Трактор трясется и рычит. Медведь ревет... — Ачимай рассмеялся и смахнул слезинку. — Тут я догадался. Крутанул свой «ДТ». Куда ему, думаю, против трактора? Слышу, стонет под гусеницами. А как же? Считай, на него целая гора навалилась. Железо! Как бы он силен ни был, медведь, а у моего трактора силенок побольше. Схватил я ключ, прыг на землю и давай лупить его по башке. Вот таким манером и прикончил зверя всех зверей...

— И-та-та-тай! — не то испуганно, не то брезгливо воскликнула его жена. — Вот с этим я и не соглашусь никак. Ох, как нехорошо!

— Ну чего ты, в самом деле! Что мне было делать?

Я попытался притушить разгоравшееся пламя спора между супругами.

— А как он на дороге оказался, медведь?

— Видно, раненый был. А такой хоть против кого попрет. Ясно!

Ачимай вышел в коридор и приволок большую, еще не выделанную медвежью шкуру, серебристо-бурую, с острыми и крепкими когтями на широченных лапах.

Расставив короткие ноги, тракторист молча, в десятый, а может и в сотый раз, рассматривал свою неожиданную добычу. Он покачал лысеющей головой:

— Вот сила, а? Если бы не трактор...

Тут отворилась дверь, и в дом впорхнула та самая женщина из конторы, что направила меня сюда. Она вошла, не постучавшись. Впрочем, в наших горах в дом ли, в аил входят без разрешения. Стучать — не наш обычай.

Ее появление почему-то встревожило меня.

— Вот и ваша Роза пожаловала! — весело воскликнул Ачимай, явно подчеркнув слово «ваша».

— Следом за вами, — улыбнулась она мне ярко накрашенными губами, увидела в руках Ачимая медвежью шкуру и захлопала в ладоши. — Вот это да! Вот это красота!

Она как-то «культурно» присела, опасливо сжав остренькие коленки и без того стиснутые короткой и узкой юбкой, чуть подалась вперед и стала гладить растопыренными пальцами шкуру.

— Какая прелесть! Какие мягкие шерстинки!..

— Перестань, Роза! — нахмурилась жена Ачимая. — Нельзя ласкать убитого зверя. Не полагается.

— Почему это не по-ла-га-ет-ся? — удивленно протянула Роза и выпрямилась. — По старым обычаям действительно все не по-ла-га-ет-ся, а по-нашему...

— Не будем спорить, — вступился за жену Ачимай. — Лучше садись чай пить.

Бойкая гостья и не подумала умолкнуть.

— Твой Ачимай, — качнула она своей прической на хозяина, — не настоящий охотник. Это настоящие охотники придерживаются разных там запретов... А ему что? Он же больше на медведя не пойдет.

— Правильно говоришь, — согласилась жена тракториста. — Зачем ему ходить? И все равно нельзя. Я считаю,

не надо с мертвым играть. Мертвый есть мертвый. Его уважать надо. И бояться.

— Зачем же бояться? — скривила губки Роза. — А вы знаете, почему я пришла?

— Наверно, со свежим человеком поговорить, — стрельнул одним глазом в мою сторону Ачимай.

— Мне журналистов-журавчиков не на-до. Его дело вас расспросить, а потом известить всех читателей, и меня в том числе, о интереснейшем событии в жизни села Малая Иня, вас, Ачимай, хвалить за мужество.

— Какое тут мужество? — всплеснула руками жена Ачимая. — Трусости больше, чем мужества.

— Как! — закричал Ачимай. — Вы мне скажите, почему она считает, что я поступил неправильно? Во-первых, если на то пошло, не я этого медведя ранил, а кто-то другой. Во-вторых, не я на него напал, а он полез. Что же мне, по-твоему, надо было выйти на дорогу из трактора и врукопашную с ним бороться?

— А хотя бы и так, — стояла на своем жена. — Вот это была бы честная борьба. И победа честная. И я смогу, и Роза сможет добить железякой зверя, когда его уже трактор придавил. Разве не так? Хоть бы его ножом, что ли...

Роза хохотала, запрокинув голову.

Ачимай подхватил шкуру и поволок ее в коридор.

— Подождите! — остановила его Роза. — Подождите. Дайте мне отдышаться. Вот смех-то!.. Не пойму я тебя, Нина. Слышала я, что ты такую глупость говоришь, и не поверила. Какая ты все же суеверная! Десятилетку кончала, а рассуждаешь...

Жена Ачимая (я только теперь узнал, что ее зовут Ниной) покраснела, а Роза продолжала отчитывать ее.

— Нельзя гладить шкуру! Нельзя ласкать убитого зверя! Нельзя бить медведя по голове! Нельзя, нельзя, нельзя!.. Откуда у тебя все это? А если бы этот зверь задушил, задавил, растерзал, съел твоего Ачимая?

— Замолчи! — впервые не сдержалась и крикнула в сердцах жена тракториста. — Замолчи, Роза. Душа у тебя, как чешуя у рыбы.

Роза не рассердилась. Она повела своими худенькими плечиками и снова расхохоталась, да так, что дыхание у нее перехватило.

— Чистая язычница! Из породы святых ярлыкчи! — еле выговаривала она сквозь приступы смеха.

Ачимай в растерянности стоял, держа в руках шкуру

медведя. Выйти — нельзя. Дверь загородила Роза, прислонясь к косяку и шатаясь от хохота. Нести шкуру в другую комнату он не решался, видимо, считаясь с женою.

— Не пойму, — произнес он, — из-за чего весь этот сыр-бор?

— Вот именно! — перевела дух Роза. — Давай, Нина, не будем зря спорить.

Не было больше в глазах хозяйки милого лукавства и доброты.

— Знаешь что, — сказала она. — Никогда вершины двух гор друг к другу не приблизятся. Так и мы... Разные мы с тобой люди. Понимаешь? Тебе этого не втолковать. Вот Ачимай мой почему упирается?..

— Да чего тут... — забормотал тракторист. — Ясно. Ты хочешь сказать, что у тебя есть жалость к животным, что ты к природе относишься... А у меня, по-твоему, душа каменная, что ли? Если хочешь, скажу, не скрою, хвастать-то нечем... Ну, что я его ключом... Вот и все тут... Ясное дело.

— Давно бы тебе со мной согласиться, — примирительно произнесла жена. — А душа у тебя есть. Мягкий ты человек. Добрый. Только со страху растерялся, не знал, что и делать. И медведя убил не ловкостью, не хитростью, а страхом.

— Ясно, мать моих детей! — снова развеселился Ачимай и стал опять приглашать Розу к столу, но та наотрез отказалась, заявив, что у нее много дел и что забежала она «на минутку».

— Ладно. Гостя я долго не задержу. Он еще зайдет в контору.

— Я же сказала, не нужен мне журавчик! Сама его к вам послала. Ушел он, а я испугалась... Вот и побежала к вам.

— Чего испугалась-то? Думала, я и его, как медведя? — Ачимай продолжал шутить.

— Выйдем, Ачимай, — вдруг сказала Роза и, приоткрыв дверь, выскользнула в коридор.

Хозяин повел игольчатыми глазами на жену, на меня, склонил набок голову, как бы соображая, чего от него понадобилось этой языкатой моднице из конторы, произнес свое любимое «Ясно!» и тоже скрылся за дверью. Вернулся он быстро, смеясь и приговаривая:

— Шкуру ей уступить! Ишь чего захотела! Ишь какая ловкая!..

Оказывается, Роза и вправду испугалась, когда кинулась из конторы к Ачимаю. Испугалась, что я куплю

у тракториста медвежью шкуру! А ей надо какой-то городской подружке подарок сделать!

Тут пришла пора смеяться Нине, Ачимаевой жене:

— Ясно, — сказала она, не подозревая, что в точности копирует мужа. — Ясно, какая там у нее подружка. Это называется: «Я — тебе, ты — мне». Я тебе медвежью шкуру, козий пух, а ты мне — модные сапожки. Я тебе сырлычий хвост на шиньон, а ты мне импортные очки... Мы этим сырлычьим хвостом пол подметаем!

У порога в самом деле лежал хвост сарлыка, прибитый к деревянному черенку.

— Какая она фальшивая, Роза, — с сожалением произнесла хозяйка. — Все у нее будто поддельное. Даже родинка — своя, а фальшивая!.. Как вы думаете? — обратилась она ко мне. — Хоть он и зверь, но нельзя над ним издеваться. Правда же?

Я уклонился от прямого ответа. Промямлил что-то невнятное. Дескать, сразу не скажешь...

— Ясно, — выручил меня Ачимай и попросил, чтобы я ничего не писал про всю эту историю.

Случай, происшедший с трактористом из Малой Ини, был, что называется, из ряда вон. Но не прошло и года, как довелось мне услышать еще одну историю. Почти такую же невероятную. И я невольно вспомнил Ачимая и его жену и, нарушив данное слово, но изменив имена, взялся за перо.

2. АРТУР, СЫН КЫРМАЛДИ

Было это в моей родной деревне Кайру. Она хоть и далеко от Малой Ини, но тоже на обочине дороги встреч, Чуйского тракта, и мне изредка удается завернуть в нее, повидаться с земляками и близкими.

Случай, который жег мою память, в самом деле редчайший. Хотите верьте, хотите нет. И даже немало удивившее меня приключение с Ачимаем Айдаровым показалось уже не таким исключительным.

Не шибко далеко от деревни находится долина Ак-Сас — Белое Болото будет по-русски, хотя никакого болота, ни белого, ни черного, там нет и в помине. В этой долине всегда зимуют колхозные табуны. Вокруг — горы, заступающие путь любым ветрам, и Ак-Сас не напрасно считают самой укромной и уютной долиной в округе. Для та-

бунщика же Кырмалди Боскоева Белое Болото, как говорится, место постоянной прописки, второй дом.

Где какое дерево растет и куда оно наклонено, в каком логу сколько сурков водится, в общем все, что к Ак-Сас имеет хоть какое-нибудь отношение, Кырмалди назубок знает. Деревенские про него как говорят? Нет в долине ни одного дерева, под которым бы он не ночевал. Нет колышка, к которому бы он не привязывал своего коня.

Впрочем, к случаю, о котором мне хочется рассказать, Кырмалди прямого отношения не имеет. Почему же я говорю о нем? Приходится! Дело в том, что у Кырмалди есть сын, которого зовут Артуром.

Стоял месяц курана, самца дикой косули, — ноябрь. В горах уже выпал снег, а в школах начались каникулы. Этих каникул никто так не ждал, как Артур Боскоев, четырнадцатилетний сын табунщика Кырмалди из деревни Кайру. Он, однако, с первого сентября уже начал считать, когда начнутся каникулы. Вы только не подумайте, что Артур плохой ученик, что ему лень было заниматься. Ничего подобного! Ему очень нравилось в областной национальной школе, и он отличник и активист, но чем меньше дней оставалось до конца четверти, тем сильнее было его нетерпение. Он бы, кажется, прямо с последнего урока, сразу после звонка, не заходя в интернат, каким-нибудь чудом перенесся из города домой, в Кайру. А вернее даже не в Кайру, а в долину Ак-Сас, где отец пасет колхозных коней. Не очень-то он соскучился по материнской ласке, и к отцу его неудержимо тянет главным образом потому, что как раз в дни осенних каникул начинается пора большой охоты.

Кырмалди своих детей с малых лет воспитывал как настоящих мужчин — учил ездить верхом на коне, учил метко стрелять из ружья.

— Родился мужиком — учись стрелять, — не уставал повторять Кырмалди Боскоев. — У настоящего мужчины должны быть две вещи: хорошее ружье и добрый конь. Запомни, сынок: ружье — защита от беды, конь — крылья и гордость мужчины.

Сам Кырмалди не расстается со старой-престарой кырлу — нарезной кремневкой, перешедшей к нему по наследству, а сыну, Артуру, тозовку подарил. Ну, о конях и говорить нечего.

Разве может быть плохой конь у табунщика?

Надо сказать еще, что у Кырмалди ко всему свой особый подход. По натуре он очень бережливый человек. Нет-нет, вовсе не скупой. Именно — бережливый. Своего коня,

например, он до снега на длинном аркане держит и сена ни клочка ему не дает.

— Сено зимой пригодится, — говорит Кырмалди. — Пока на земле трава есть, пускай тебенюет.

И до наступления больших холодов, пока земля не промерзла, начинает он там и тут вбивать колышки, где погуще и не так потоптана трава, где зимой будет привязывать коня.

Артур во всем старался походить на отца. Ему с отцом всегда было хорошо, и мальчик учился жить и быть настоящим мужчиной, настоящим алтайцем.

Приехав из города домой, Артур всю ночь почти не спал и наутро отправился к отцу, в Ак-Сас. Он уже представлял, как выглядит сейчас долина — белая-белая от снега, а на снегу следы, следы... Он видел, будто перед глазами, шустрых большехвостых белок, слышал ржание коней, далекий топот копыт... Ах, как он спешил!

А дня через два или через три по Кайру пошел довольно странный и, если можно так сказать, не вполне достоверный разговор:

— Слышали? Говорят, Артур, сын Кырмалди Боскоева, убил мадялая!

Суеверные алтайцы никогда прежде медведя медведем не называли, чтобы беды на себя не накликать. Суеверных сейчас в деревне меньше, чем медведей в тайге, а привычка живет. Мадялай — это иносказательно, но все равно значит «медведь».

Из дома в дом пошло:

— Артур мадялая-то перочинным ножом убил!

Неслыханная новость! Люди не знали, верить или не верить. Ну в самом деле, может ли такое быть? Ладно бы про самого Кырмалди говорили, куда ни шло, а то болтают про четырнадцатилетнего мальчишку, ученика седьмого класса, у которого еще молоко на губах не обсохло.

Все-таки падки мои земляки, кайрунцы, на всякие байки! С ума они все, что ли, спятили? Зима на носу, вот-вот большие холода грянут. Медведь свое время не хуже человека знает. Ему спать пора, медведю. За лето жира накопил и — в берлогу. А тут...

Надо же! Артур убил медведя. Да еще как убил — перочинным ножом! Вот брехуны! Что с них возьмешь? Не зря про болтунов говорят: «Языком дерева не срубишь».

Что бы, однако, ни говорили, а все, как оказалось, было именно так. Убил ведь Артур медведя! Я сам у Боскоевых медвежьим мясом лакомился.

...Утро ясное. Прихватив тозовку, Артур вышел из избушки табунщика. А избушка у Кырмалди чуть побольше курятника, который у них в деревне. Снега еще малость подвалило. Лежал он в долине, чистый и свежий, как страница новой тетради. Неподалеку от стоянки возвышалась покрытая густыми ветвистыми кедрами гора Сокоёк — Танцующая на одной ноге, если на русский перевести. К этой горе и направился Артур. Он и в прошлом году на ней белковал. Места ему знакомые.

У зверей не как у людей — каникулы кончились. Вон сколько на снежных страницах пооставляли клякс-следов! Тут горностай пробежал... Здесь лиса мышковала... Там белка прыгала... Куда же она спряталась, хвостатая? Сидит, наверно, где-нибудь среди зеленых пушистых веток и щелкает орешки. Артур тихо уселся под кедром и стал поглядывать наверх, отыскивая в густых зарослях хитрую белочку. Рядом с ним что-то треснуло. Артур все еще таращил глаза на вершину кедра. Треск повторился, совсем близко. Мальчишка глянул... Шагах в десяти от него, если не меньше, стоял медведь! Стоял и смотрел в упор, словно узнавал и не узнавал его.

Что делать?

Глазки у медведя были маленькие, какие-то бесцветные, точно и не глаза вовсе, а стекляшки, как у игрушечных мишат, которыми Артур давным-давно перестал забавляться.

Если бежать — догонит.

Они глядели друг на друга. Медведь стоял на задних лапах. Мальчик сидел под деревом.

Артур тихонько шевельнулся. Медведь, заметив, тоже переступил с лапы на лапу.

«Ружье — защита от беды!» — вспомнил Артур наставление отца и покосился на свою тозовку. Не очень-то надежная защита от такой беды, как медведь...

«Будь что будет», — решил мальчик и вскинул винтовку. Тозовка тряслась в его руках, как тоненькая ветка на ветру.

«Ружье — защита от беды!» — упрямо твердил он про себя.

Прицелился и выстрелил в медведя. Между глаз.

Медведь заревел и прыгнул к Артуру. Мальчик хотел отскочить в сторону, но поскользнулся и растянулся на снегу. Он успел все же несколько раз перекувырнуться, откатиться подальше, вскочить и спрятаться за деревом. Кедр, за которым он укрылся, совсем еще молодой и тон-

кий, не мог служить защитой. Медведь ринулся к нему и хватил что было силы по стволу когтистой лапой. Мальчик перебежал к другому кедру, потолще, и, почти не целясь, еще раз выстрелил. Зверь отмахнулся от пули, как от мухи, исчез на мгновенье из виду и тут же, снова поднявшись на дыбы, швырнул в Артура здоровенной коряжиной, выдранной из земли. Артур успел выстрелить в третий раз, наугад, но, уворачиваясь от брошенной в него самого коряги, да и с перепугу, выронил тозовку, и она, скользнув гладкой ложей по снежному бугру, очутилась далеко от своего хозяина.

Медведь был теперь совсем рядом. Он дышал прямо в лицо. Их разделял только метровый ствол кедра. Разъяренный зверь пытался схватить своего маленького противника, но не мог дотянуться, яростно пыхтел и все более свирепел. Так они и кружили вокруг дерева. Сердце Артура колотилось часто-часто, отдаваясь каждым ударом в голове и сбивая мысли. Он все-таки вспомнил о складном ноже, который взял с собой, чтобы обдирать беличьи шкурки. Когда из-за кедра вновь высунулась половина медвежьей башки, мальчик, не задумываясь, ткнул ножом в глаз медведю. Тот взревел, зацепил парнишку лапой и опрокинул его в сугроб...

Больше Артур ничего не помнил. Ни того, как он вскочил на ноги, ни того, как очутился в избушке отца. Когда он очнулся, возле его изголовья сидел отец, гладил жесткой ладонью по лбу и успокаивающе приговаривал:

— Ничего, сынок... Ничего, балам... Все пройдет.

Это, как оказалось, было уже на третьи сутки.

А в тот день, когда сын почти без памяти примчался с горы, табунщик взял свою старенькую кырлу-кремневку, пули у которой не меньше большого пальца, и поехал по следу Артура. Добравшись до горы Сокоёк, Кырмалди не поверил своим глазам. Рядом с ветвистым кедром под снежным бугром лежал здоровенный черный медведь. Конь под седлом табунщика фыркал, становился на дыбы, шарахался от убитого зверя.

Снимая с медведя шкуру, Кырмалди отыскал у него пулю в голове. И остальные выстрелы оказались точными — угадали в брюхо зверю. А перочинный нож? Перочинный нож...

...Три или четыре года было Артуру. Рядом с их аилом в Кайру стоял тогда аил Бектреша, у которого был сын. Звали его Менди.

Как-то зимой, в ясный морозный день, когда далеко

слышен каждый шорох, громко закудахтали куры соседей. Любопытный Артур тут же выскочил на улицу.

Смотрит, Менди вытащил из курятника белого петуха с большим алым гребнем на голове. Он был уже совсем взрослый, Менди, лет на десять старше Артура.

— Что ты будешь делать с петухом? — спросил Артур.

Петух отчаянно хлопал крыльями, стараясь вырваться из рук Менди, и всполошенно квохтал.

— Что ты хочешь с ним делать? — снова спросил Артур.

— Как что? — удивленно вскинул голову Менди и, шмыгнув носом, направился туда, где они кололи дрова.

Артур не отставал от него, забегал то слева, то справа, крутился вокруг соседского мальчишки, как игривый щенок.

— Сейчас увидишь, что я с этим куриным жеребцом сделаю, — солидно произнес Менди и схватил топор.

Очень интересно! Хотя Артур и догадывался, что Менди собирается прикончить петуха, загадочность и степенность, с какими взрослый сосед готовился что-то совершить, только подстегивали любопытство.

Ловко ухватив в горсть ноги и крылья петуха, Менди шарил узкими глазами по сторонам, выбирая, на каком из бревен учинить казнь, где бы половчее улеглась петушиная голова.

— Тебе мать велела, да? — не отставал Артур.

— Да! — сказал Менди и, одним ударом отхватив петуху голову с красивым алым гребнем, небрежно бросил «куриного жеребца» на землю. Безголовый петух бился, прыгал туда-сюда, туда-сюда, окропляя кровью свежевыпавший снег. Он никак не хотел умирать, а Менди прыгал вокруг него и громко хохотал.

Артуру стало страшно. Он вдруг заметил, что глаза на отрубленной голове еще не умерли и смотрят, смотрят прямо на него.

Менди продолжал прыгать и хохотать.

— Сейчас еще увидишь! — крикнул он и побежал к курятнику. — Сейчас я рыжему жеребчику голову снесу!

Артур с громким ревом помчался домой.

Он долго болел тогда. Ему все мерещился белый снег и скачущий по нему безголовый петух. Петушиная голова с алым гребешком лежала рядом, возле толстого бревна, и подмигивала Артуру...

Сколько времени прошло! Артуру сейчас как раз столько, сколько было тогда Менди, — четырнадцать.

Почему сейчас вспомнилось ему это? Только закроет глаза и опять видит прыгающего на длинных голенастых ногах белого петуха без головы.

Отец все сидел рядом с ним и гладил, гладил его густые жесткие черные волосы и приговаривал:

— Ничего, сынок... Ничего, балам... Ты молодец, не побоялся!

Артур медленно приоткрыл глаза.

— Папа, — он попытался приподняться. — Я медведю ножом в глаз попал, да?..

— Не промахнулся, балам!

— Как же я... — Артур побледнел. — Как я мог...

Снова в затуманенной памяти его дико плясал на белом снегу безголовый петух. Кричали, просили о помощи бесцветные петушиные глаза. А он, Артур, безжалостно ткнул в них ножом...

В Горно-Алтайск, в школу, Артур возвратился с большим опозданием. И я специально ходил к нему, проведать его.

— Все в порядке, — сказал он. — Пусть отец не беспокоится.

Выглядел мой маленький земляк, сын табунщика Кырмалди, здоровым и веселым, но в черных его глазах мелькали тени грусти.

— Мне пора... Звонок сейчас...

И тут у меня сорвался с языка тот самый вопрос, которого, вероятно, больше всего боялся мальчик.

— На зимние-то каникулы опять в Кайру, Артур? Может, еще одного шатуна-мадялая свалишь?

Он рванулся от меня, невысокий, плечистый, черноволосый мальчик. Оглянулся, сверкнул глазами и крикнул:

— Никогда больше не пойду на охоту! Слышите? Никогда!

До сих пор я казню себя за этот нелепый вопрос.

Я люблю выезжать по заданиям редакции в дальние села. Люблю Чуйский тракт. Я верю, что дорога обязательно порадует меня новыми встречами, приведет к интересным людям.

1971—1973 гг.

ВЕСНОЙ, КОГДА СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ

Это был тот самый скворец. Он снова прилетел и сел на скворечник, прибитый к тополю возле пятистенного дома бабушки Бараши. Вот он перепорхнул на сук еще не покрывшегося листвой дерева и долго отряхивался, чистил перышки, поглядывая время от времени на темный провал летка в собственном домике.

Подходил к концу март. Дорога, что ползла меж деревенских изб, к обеду заметно почернела под лучами вешнего солнца. Над ней вздымалось мутное зыбкое марево.

Когда по дороге пробегала машина или проезжал кто-нибудь на санях, было особенно заметно, как вьется и петляет дорога, уходя за околицу. По всему чувствовалось, что весна вот-вот прорвется из-за высоких гор в долину.

Бараша пристроилась под окном на теплом солнышке и с грустью смотрела на отливающего чернотой скворца, потихоньку разговаривала сама с собой.

Нет, не зря он вернулся сюда, веселый баарчик*. К себе домой прилетел из жарких стран.

Старуха надвинула на самые глаза шапку, сшитую из мягкой шкурки ягненка и покрытую черным бархатом, чтобы не высекли слезы пронзительные солнечные лучи, положила поперек коленей кривой посох — не толще мундштука ее трубки и, не сводя взора со скворца, шевелила высохшими губами.

— Вот бы и ты вернулся, как он... Токтуш ты мой, сыночек... говорун... скворчонок... Зачем только я тебя отпустила в город? Говорила ведь, не уезжай. Не послушал, шалунишка ты мой... Разве бы что случилось, если бы остался дома. Токтуш ты мой, внучек, скворчонок черноголовый...

Перезимовавший на крыше снег, шурша, сползает, подтаивает. Мерно падают на землю блестящие звонкие капли. Некоторые точно попадают на шапку Бараши, будто клюют ее, но старуха не замечает. Сидит, ослепленная солнцем и горем, бормочет те же печальные слова.

— Токтуш ты мой, скворчонок ты мой единственный... Что же ты натворил, внучек...

---

* Баарчик — скворец (*алт.*).

Скворец, нашедший дорогу к своему дому за семью морями и семьюдесятью горами, не слушает ее причитаний. У него свои заботы. Он перепархивает с дерева на дерево, куда-то ненадолго улетает и тут же возвращается, держа в клюве то пушинку, то прутик, то соломинку, — и все в гнездо.

Скворечник сделал своими руками Токтуш, сынишка Эмилдей и внук Бараши. Он прибил его к тополю, что растет возле самого дома. И вот скворец опять прилетел, а Токтуша больше нет в живых. Старая Бараша даже не проводила своего любимца в последний путь. Эмилдей похоронила его в городе.

— Как ты посмела оставить нашего мальчика там одного? Почему сюда не привезла? — с горечью спросила Бараша дочь и не заметила даже, как больно ужалили Эмилдей ее слова. — Совсем у тебя, однако, сердца нет...

— Хоть бы вы, мама, не добавляли яду! — приглушенно, погасшим голосом умоляюще выкрикнула Эмилдей и упала лицом на подушку. Она горько рыдала, и худые ее плечи вздрагивали. — Говорила же вам, что не разрешили везти. Не взрослый, сказали, человек. Зачем, сказали, тело туда-сюда таскать...

Старуха поджала губы и смолчала, хотя обидные слова вертелись у нее на языке.

Эмилдей пробыла дома дня два или три и уехала в горы, на чабанскую стоянку, где ее ждала колхозная отара.

Если бы не этот теплый солнечный день и не этот скворец, Бараше не было бы так тоскливо и одиноко.

— Кто теперь будет звать меня Карган-Эне?* Кто приласкается ко мне? — тяжко вздыхает Бараша и вытаскивает из-за голенища такой же морщинистой, как ее лицо, обутки, сшитой из красных лапок горной косули, черную трубку с коротким мундштуком. — О-о, кудай мой! Бог ты мой!.. Токтуш, Токтуш, скворчонок черноголовый. Если бы не город, если бы не ошкола, никакой беды бы не случилось... Что это я, — словно испугалась она и тут же поправилась: — Что я, глупая, говорю? Ошкола не виновата. Ошкола хорошему учит. Кто теперь захочет жить, как я, всю свою жизнь слепая... Сын Ерукчи большую ошколу кончил, каким большим человеком стал. Колхозный чотобот! Сидит в конторе, костяшки кидает — тарс-тырс, тырс-тарс. А дочку Кокшуна взять. Кем же она-то работает? Тьфу, забыла. Забыла ведь, а... Говорят, без ее разрешения

---

* Карган-Эне — Старая Мама, ласковое обращение к бабушке.

нельзя ни пахать, ни сеять. Разве не большое дело? Тоже мно-ого лет в ошколе училась... Сегодня их, ученых-то всех, и не пересчитаешь. Пальцев ни на руках, ни на ногах не хватит...

Рассуждая вслух, Бараша вдруг улыбается своим мыслям.

— Как он тогда метался, Токтуш, как беспокоился, чтобы этот скворечник сделать! Если бы Эмилдей жила как надо, не обидела бы ее судьба, и у ребенка все было бы иначе. Плохо мальчишке без отца, без мужчины в доме. Токтуш всегда пытался что-нибудь мастерить. А что он мог сделать? Ни пилы, ни топора... Балам, скворчонок черноголовый... Сделал все-таки скворечник. Нет, лучше и не вспоминать. Зачем, я его, Токтуша своего, драла тогда...

Он учился в четвертом классе. Здесь, в кайрунской начальной школе. Весной учитель Диргал Яшнаевич рассказывал им на уроке о разных птицах и дал задание — сделать скворечники. Токтуш примчался из школы, будто за ним гналась злая собака. Запыхался. Прямо с порога закричал:

— Карган-Эне, мне надо плашки!

— Какие плашки? Для чего, балам?

— Диргал Яшнаевич велел каждому сделать по домику для скворцов.

— Это что, игра такая, да? Удивляюсь я на вас! Даже для птиц стали строить домики.

— Диргал Яшнаевич говорил, Карган-Эне, что скворцы очень полезные, хорошие птицы.

— А откуда он знает? Сын Яшная сам с ними разговаривал?

— Правда, полезные! Диргал Яшнаевич говорил, они уничтожают вредителей. Ну, насекомых. За один день каждый скворец около восьми тысяч...

— Не мели языком! Кто мог так считать? Садись лучше и ешь.

Токтуш не унимался.

— Карган-Эне, вы послушайте! Птицы большую пользу приносят сельскому хозяйству. Они уничтожают мышей, крыс, хомяков...

— Хватит, говорю! Слушать тошно про этих твоих нечистых тварей. Садись, ешь, не то я тебе!..

— Карчага-ястреб и мечиртке-сова, — будто урок отвечал Токтуш, — за лето ловят около тысячи мышей. А каждая мышь съедает больше килограмма зерна. Теперь посчитайте, Карган-Эне!

— Хватит, хватит, я тебе говорю! — прикрикнула Бараша и поставила на круглый стол тарелку супа с мясом. — Глядя на такую еду, нельзя говорить о разных насекомых и тварях.

Токтуш уселся за стол. Шумно черпал деревянной ложкой суп, торопливо резал мясо и болтал с набитым ртом.

— Скворцы съедают много червей. Это для них лучший корм.

— Замолчи! — вскочила старуха и погрозила мальчишке палкой, которой взбивала овечью шерсть. — Перестань!

Токтуш в два счета управился с обедом и снова запросил дощечки для скворчиного домика.

— Ну где я тебе их возьму, сынок? — проворчала бабка без прежней строгости в голосе.

— Тогда Диргал Яшнаевич поставит мне двойку, — со вздохом протянул Токтуш.

— Если бы пилорамщики близко работали, я бы у них выпросила тебе плашки, — смягчился было голос бабушки, но тут же она вдруг опять рассердилась. — О таком, как ты, говорят: кто мастерить не научился, тот языком чешет. Не донимай меня! Вот встану сейчас и пойду к твоему учителю, сыну Яшная. Для тебя он учитель в ошколе, а для меня такой же мальчишка, как ты.

Разворчалась старая и уже не замечала, что внук не возражает ей, не просит больше ни о чем. Считая дело решенным, Бараша взялась мять овечьи шкуры — на шубейку для Эмилдей подобрала несколько. Не видела она, когда Токтуш исчез из дома, увлеклась работой.

Порядком, должно быть, времени прошло.

— Карган-Эне, — услышала вдруг голос внука, — тес я нашел. Карган-Эне, нужна только пилка. Сходите к деду Ачанму, попросите у него, Карган-Эне.

«Что я, не человек, что ли? — устыдилась Бараша. — Ребенок просит, а я ему во всем отказываю».

Отложила шкурку, поднялась, опираясь на свой кривой посох.

«Если б Эмилдей вышла замуж, жили бы теперь под одной крышей. И ребенок бы так не мучился. Эх... У каждого своя судьба».

Когда она вышла из дома, зимнее пасмурное небо, чуть тронутое теплой синевой близкой весны, показалось ей нескончаемо глубоким и мягким. Сверху, словно через частое сито, неторопливо и неслышно сыпалась мелкая снежная крупка. Изба старого Ачаима стояла совсем рядом — рукой подать.

— Вот пристал, — кивнула Бараша на внука, выглядывавшего из-за ее спины. — Всю душу вымотал. Дай-ка нам ненадолго свою пилу.

Токтуш очень удивился, что Старая Мама называет строгого Ачаима на «ты». Вон она какая смелая!

У старика поползли вверх густые брови. Интересные брови — черные-пречерные, с длинными белыми волосками.

— Зачем вам она, хотел бы я знать, блар*?

— Говорю, всю душу вымотал. Хочет домик для скворцов строить. Учитель их, сын Яшная, задание такое, видишь ли, дал... Пристал ко мне, что с ним поделаешь?

Ачаим оглядел Токтуша с головы до ног и вышел в сени.

Если бы мальчишка пришел к нему один, ничего бы он, конечно, не получил. И разговор другой бы совсем был. Дед Ачаим сказал бы ему, что ножовка не игрушка и нечего ее портить. А вот бабушке не посмел отказать. Ей разве откажешь?

Старик тут же и воротился, держа в руке сверкающую пилку. Так просто он все-таки ее не отдал.

— Совсем новая... Сам не пользовался. Берегу. Смотри, сорванец!

Весь день Токтуш столярничал в островерхом аиле, стоявшем во дворе. Бараша мяла и выделывала шкуры и времени не замечала.

Уже вечер наступил, когда в дом ворвался, шмыгая носом, посиневший Токтуш.

— Посмотрите, Карган-Эне, какой я домик для скворца сделал!

Скворечник действительно был сколочен аккуратно и ловко, дощечка к дощечке, с ровным летком и порожком-насестом перед ним, с высокой, на два ската крышей.

— Это ты сам сделал, балам? — изумилась Бараша.

— Сам. Мне никто не помогал.

— И правда красиво. Молодец, — похвалила она и добавила: — Как русские избы, которые за рекой. Красиво, балам, красиво!

— Теперь Диргал Яшнаевич не будет меня ругать: сделал! Завтра унесу в школу.

— Вырастешь, настоящим строителем будешь. Я же говорю: твой скворчиный домик все равно как избы у русских на той стороне Кайру. Очень хороший домик, балам!

На следующий день Токтуш вскочил чуть свет. Ему не

---

* Блар — подчеркнуто уважительное, почтительное обращение к старшему.

терпелось поскорее бежать в школу, глянуть, что получилось у других ребят, какие у них вышли скворечники. Он торопливо похватал приготовленный бабушкой завтрак, забросил на одно плечо ранец и умчался, прижимая к груди обеими руками свой скворечник.

Диргал Яшнаевич внимательно осмотрел все ребячьи поделки и принялся снова рассказывать о птицах. Долго рассказывал. Потом взял скворечник Токтуша, повертел в руках, показал всем и сказал, что он самый лучший.

«Старая Мама тоже хвалила», — радовался Токтуш. У него даже уши покраснели. Он и не догадывался, что в эту самую минуту происходило у них дома. Он просто обо всем на свете позабыл от похвалы учителя.

А к ним, вскоре после того как он убежал в школу, явился старый Ачаим. По его недовольному лицу Бараша сразу поняла, что дело нечисто. «Наверно, за пилкой пришел», — подумала она и поспешила успокоить соседа.

— Пилка твоя в порядке. Сейчас я... Вчера-то поздно уже было.

— Что пилка... — холодно произнес Ачаим и грубыми, как корни старой лиственницы, пальцами подправил бороду. — Не в пилке дело. Что же это вы, блар, так? Попросили бы. Я и так бы не отказал... Почему не уступить хорошему человеку.

— Что уступить? Не пойму я. Про что это ты?

— Другой бы тес дал. Эти плашки я на шкаф приберегал.

— Ба-таа! Мой шалопайчик испортил, да?

— Мягкий был тес. Кедровые плашки были...

— Ну, подожди. Придет — я ему!

— Вы-то, старый человек... Почему его не остановили?

— Выходит, по-твоему, я с ним ходила? Выходит, я твои паршивые плашки украла? — вскипела Бараша, швырнула на пол кисет и вплотную подошла к старику. — Ишь, как он обо мне думает! Ишь, нашел у меня время ходить с этим шалуном его тес промышлять! Дохлая собака у тебя внутри, если ты обо мне, старой женщине, так подумать смог. Как у тебя только язык повернулся! Как тебя к моему аилу ноги донесли! Ишь... ишь... ишь какой!

— А когда за пилкой приходили, не знали, что ли, из чего он мастерить собирается? — повернулся к ней широкой чуть сгорбленной спиной Ачаим.

Долго не могла успокоиться Бараша. Размахивала руками, возмущалась, грозилась внуку: «Ну, придешь! Ну, получишь! Узнаешь ты у меня сегодня!»

Здорово попало Токтушу. Выдрала его Бараша красным таловым прутом, а потом велела взять скворечник и погнала к деду Ачаиму.

— Шагай, шагай. А я посмотрю, как мой внучек будет хвастать, какой он мастер.

Токтуш шмыгал носом и брел, едва переставляя ноги, впереди бабки, а та выговаривала:

— Ишь какой! Ласкаешь его — балам, балам! — а он чуть не на голову наступает!

Яростно распахнула Бараша дверь дома Ачаима и посторонилась, пропуская внука вперед себя.

— Получается так: к щенку хорошо относишься, а он тебя старается в губы лизать и не понимает, хорошо это или плохо, — брюзжала она.

— Ну что вы его так ругаете, блар? — ни с того ни с сего заступился Ачаим за мальчишку. Большим пальцем он придавил головку трубки, подсыпал табаку, раскурил и протянул по обычаю трубку Бараше. — Подумаешь, беда какая, тесинку ребенок взял! Найдется еще такая плашка. Правда ведь, Токтуш?.. Только давай договоримся, сынок, — больше так не делай.

Токтуш приволок обратно свой злосчастный скворечник и приколотил его к тополю, что рос возле самого дома. Вскоре в нем и поселился скворец. Этот самый.

Странная птица. Что ее тянет к людскому жилью? Будто нет вокруг деревни леса и кустарников. Сколько там разных птах! А этому обязательно рядом с человеком надо. Видно, душа у них, у скворцов, такая. Тянет их родниться с людьми.

Опять весна. Опять обживает скворец домик Токтуша. А самого Токтуша нет... В прошлом году, в это же время, он приезжал на каникулы. О-о, балам ты мой, скворчонок ты мой черноголовый... Шустряк ты мой, Токтуш, Токтуш...

В прошлом году он кончил пятый класс областной национальной школы в Горно-Алтайске. Всю зиму прожил один в городе, в интернате. Учился он хорошо, лучше других кайрунских ребят. Сельчане хвалили его:

— Добрый мужчина вырастет из суразенка. Ай да сынок у Эмилдей! Не зря в народе говорят: «Под рваной шубой может быть и настоящий батыр, а под плохим седлом — крылатый аргамак».

Сам Токтуш никогда не слышал, что он — сураз, незаконнорожденный. При мальчике самые зубатые, самые злоязыкие женщины Кайру не посмели бы этого сказать. И Токтуша жалели, и бабки его побаивались.

Не то четыре, не то пять лет было Токтушу, когда он однажды вбежал в аил, где Бараша и Эмилдей попивали чай.

— Мам, где мой отец, а? — с ходу спросил он, и Эмилдей поперхнулась чаем, растерялась от неожиданности, не нашлась, что сказать, — опустила глаза.

Бараша бесшумно потягивала из пиалы тонкими губами горячий чай и тоже помалкивала, смущенная вопросом внука.

— Правда, где мой отец?

Бараша, желая помочь дочери выпутаться из неловкого положения, подозвала Токтуша к себе.

— Иди сюда, балам... Эмилдей, ты где нашла Токтуша? Когда овец пасла? В лесу нашла, да?.. Так и говори, балам. Отец твой — Белая гора, а мать — Молочное озеро, зеркало Алтая.

Эмилдей молча вышла из аила.

...Черный скворчик устраивает себе гнездо, порхает взад-вперед, стегает легкими крылышками упругий весенний воздух. Чуть заметный ветерок слегка покачивает голые, беспомощные, ветки тополя.

Бараша, словно заколдованная, сидит на том же месте под окном, не сводит глаз с неугомонной хлопотливой птицы. Теперь она думает о трудной судьбе своей дочери и о давно ушедшем в «ту страну, за солью, под седьмой пласт земли» старом Боролдое, своем муже.

Солнце уже склонилось к закату, а Бараша, охваченная воспоминаниями, не уходит домой, выкуривает трубку за трубкой...

Разное говорили в Кайру о Бараше и Боролдое в свое время. Подтрунивали над ними, будто они и не крестьяне вовсе, а городские. Старые уже, а никогда не расстаются. Куда бы ни пошли — вместе. Да еще под ручку пройдутся. Не смех разве? Когда такое было среди алтайцев? А то выйдут во двор, обопрутся о изгородь и говорят, говорят о чем-то между собой. Сколько лет прожили, и все не наговорятся! Будто молодые, которые только вчера повстречались-познакомились, шепчутся и шепчутся. Кое-кому очень уж любопытно было узнать, о чем часами толкуют старики.

Кто-то из озорных парней подкрался к их забору, подслушать. А в колхозе тогда резали скот и распределяли мясо на трудодни. И оказалось, что старики обстоятельно решали, что им лучше взять: голова скотины шла за три килограмма мяса. Вот они и рассуждали, что выгоднее, мясо все-таки брать или коровью голову.

Им и невдомек было, что про их тайный совет вся деревня знает. Над Эмилдей еще долго подшучивали:

— Ты что возьмешь? Голову или три килограмма мяса?

Быстрый бег у времени. Давно ли Эмилдей ползала по аилу на четвереньках? А теперь за ней на чабанскую стоянку приезжают на машинах. Пишут про Эмилдей в газетах, возят ее по всему аймаку и по области на какие-то там совещания. Хвалят Эмилдей, что много шерсти она настригает со своих овец, много ягнят получает... Это очень хорошо — сюрекей якши! А Токтуш помер... Жалко Эмилдей. Жалко и больно. А еще больнее за тебя, Токтуш, скворчонок ты наш, балам, балам... Разве Эмилдей о нем тоже не думает, не страдает? Она его под сердцем носила, грудью кормила... Хвалят Эмилдей, ценят. А сына-то не вернешь, хоть и суразенок был... Что поделаешь? Судьба, видать, такая. Сверху, самим богом Ак-Бурханом так велено...

Тяжко вздыхает Бараша от нелегких и нескончаемо долгих дум. Годы, пролетая над ее маленькой головой, задели своими туманами, запутались в волосах. Короткие, как хвост суслика, косички, что торчат из-под алтайской шапки, стали совсем белые, как соль, как солончаки Кош-Агачской степи... Сколько их, лет, промчалось? Кто считал, кто помнит? Родилась Бараша, это она знает точно, в год Мыши, в месяц большого мороза*. А когда был год Мыши?

Молодые только плечами пожимают.

Молодой она была очень красивой. И бойкая была, работящая. Даже строптивых коней объезжала, рассказывают. А это, сами понимаете, среди женщин явление редкое.

Как-то к ним, Бараша уже замужем была, гость приехал из другой долины, из Кан-Ябогана, дядя Боролдоя по материнской линии. Бараша им поесть готовила, сновала туда-сюда по женской половине аила, а Боролдой с дядей расселись на кошме — на своей мужской половине — и потягивали подогретую арачку. Пили. Молчали. Боролдой не сводил глаз с молодой жены, за каждым ее движением следил. Вдруг он возьми да и спроси у дяди:

— Ну, как моя жена?

— Что и говорить... Хорошая вроде, гостеприимная...

— Нет, нет, дядя, — перебил его Боролдой. — Я не про то спрашиваю.

— А по чему ее судить-то еще? — удивился гость. — Ну, дочка у вас растет. Может, сын еще будет...

---

* Месяц большого мороза — март.

— Да нет же, дядя! — опять не согласился с ним Боролдой. — Я про красоту спрашиваю.

Кайрунцы, которые постарше Бараши, сейчас еще смеются, вспоминая, как Боролдой о красоте своей жены гостя расспрашивал.

Дядя между тем смущенно молчал, и Боролдой сам за него ответил:

— Да вы что! Не можете оценить такую красавицу! Туда глянет — солнце, сюда посмотрит — луна. Едущий на коне с седла свалится, увидев ее красоту, пешком идущий — упадет от такой красоты!

...Скворец будто почувствовал, как одиноко и тоскливо старой женщине, подлетел и сел совсем близко, почти рядом.

«Хоть и птица, а тоже заботится, для своих детей гнездо готовит», — подумала Бараша, а ее тонкие бескровные губы шептали беззвучно все о внуке, о внуке:

— Был бы ты жив, скворчонок мой, приехал бы на каникулы, сидел бы рядом со мной...

«Странное создание скворец, — толклись мысли. — Что-то в нем от хорошей собаки. Не боится! Это Токтуш приваднл его. Подкармливал то сыром, то творожком, то хлебушком. Бывало, только выйдет из дома, и скворец тут как тут. Кружит над ним, чуть крыльями не задевает. До самой ошколы провожал мальчика. И встречал. Странная птица! Неужто и она душу имеет? Наверно, скучает по Токтушу моему. Зачем бы ему рядом со мной садиться? Знать бы птичий язык. Что он от меня хочет? Я старая, мне на дерево не залезть. Ничего я к твоему домику вкусного не положу. Вот погоди немного, встану когда, отнесу под твой тополь крошек...»

Веселый приезжал Токтуш на каникулы. Веселый и повзрослевший. Он восторженно рассказывал о своем интернате — кто на каком этаже живет, да в какой комнате, да кто его новые друзья. Про учителей рассказывал. Все-все рассказывал Старой Маме.

— Вот кончу школу и поеду учиться в Москву, — говорил Токтуш.

— Маскба отсюда так далеко, балам!

— Ну и что?

Бараша долго и мечтательно молчала тогда, гладила сухой, тоненькой ладонью своей густые волосы внука.

— Из жеребенка аргымакской породы вырастет настоящий иноходец. Ребенок, родившийся с пуповиной мужчины, когда-нибудь да объедет мир...

— Карган-Эне, когда я стану большой и поеду в Москву, я вам привезу оттуда самую красивую, самую лучшую шелковую шубу!

— Ба-таа, балам! Дождусь ли я твоей шубы, доживу ли до того времени?

— А что? Доживете, Карган-Эне, обязательно доживете!

«Старая, усохла, как голова у гуся, а все живу... Нет бы мне помереть, — корила себя Бараша, будто это она была повинна в смерти внука. — Кудай, бог ты мой! Токтуш, Токтуш!..»

Токтуш часто писал им письма. Радовались, читая их, Бараша и Эмилдей.

Как-то старуха слушала, слушала его письмо — Эмилдей читала — и высказалась:

— Из нашего Токтуша большой человек получится. Как сын Ерукчи, который в конторе работает. Сердцем чую...

Эмилдей покраснела при упоминании имени счетовода и перестала читать.

— Что с тобой? Хочу дальше слушать.

Поневоле пришлось дочери снова взяться за письмо Токтуша.

«...Я от Карган-Эне много слышал сказок. Ни одну не позабыл, рассказываю ребятам. А сегодня посылаю сказку, которую, наверно, Карган-Эне сама не слышала. Про верблюда. В древности, оказывается, верблюд был красивым. У него были ветвистые рога и мягкий шелковистый хвост...

...Вы даже не видели в нашем гористом Кайру верблюдов никогда. А я видел живого верблюда. Недавно приезжал в город зоопарк. Каких зверей только не было! И льва видел, и белого медведя, и носорога, и даже слона. Говорят, что раньше человек был обезьяной. Это шутка, наверно, Карган-Эне? Как же из таких страшных может получиться человек?»

Бараша и Эмилдей долго смеялись.

— Кошма тянется, а человек растет, — припомнила Бараша пословицу, вытирая слезы с покрасневших от большого волнения глаз.

«Мой товарищ из Кош-Агача, когда мы пришли из зоопарка, рассказал сказку про верблюда. У них в степи много верблюдов...»

Сказка и в самом деле была забавна, про то, как марал одолжил у верблюда его роскошные ветвистые рога, а конь всего на один день попросил поносить длинный, мягкий, шелковистый хвост. Добрый верблюд охотно поделился с

ними и остался навсегда без рогов и хвоста. Забавная сказка! Да какая бы она ни была, лучше этой сказки все равно просто и на свете быть не могло — внук прислал! И еще спрашивал в письме: «Ну как, понравилась? Расскажите ее, Карган-Эне, внукам и внучкам дедушки Ачаима. И передайте, что это от меня».

— Хорошее дело эта ошкола, — часто поговаривала с тех пор Бараша. — Саконам советским пусть будет спасибо! Разве это не удивительное дело, сидя тут, через белую бумагу слышать голос родного внука? Да еще откуда! Из самого города, где моя нога никогда не ступала. Пусть долго живут саконы новые!

Эмилдей обычно приезжала со стоянки в Кайру не чаще раза в неделю. Не успевала она порог переступить, как Бараша говорила:

— Письмо Токтуша на шкафу лежит, дочка.

Возьмет Эмилдей письмо, разорвет конверт и торопливо пробегает по строчкам глазами. Бараша, шаркая по полу кисами, подойдет к ней, сядет рядышком. Тогда дочка начинает читать вслух. И той интересно узнать, что Токтуш пишет, и другой. Каждый раз что-нибудь новое узнают из его жизни.

В конце одного из последних писем мальчик сообщил:

«Снова узнал интересное, мама. Прочитай или расскажи про это Карган-Эне. Оказывается, есть рыба-меч. Она плавает очень быстро. Ее даже самые быстрые корабли перегнать не могут. Честное слово! Я сам прочитал в журнале. Но наши ученые разгадали секрет меч-рыбы и делают такие же быстрые подводные лодки. Как ты думаешь, мама, почему я тебе пишу об этом? Когда я кончу школу, то поеду в Москву учиться на инженера и буду строить такие корабли, чтобы плавали еще быстрее. Тогда посмотрим, кто кого обгонит!»

Старая Бараша прямо-таки светилась, слушая, что пишет внук. Облик у нее становился гордый, а улыбка медленно расходилась по морщинистому лицу, как по воде круги, когда бросят камешек. И ласково так говорила она, будто внук рядом стоял:

— Балам ты мой, Токтуш...

И уж после ее задумчивый взгляд останавливался на дочери.

— Как ты думаешь, Эмилдей, где сейчас, в эту вот минуту, ходит-бродит наш Токтуш? Что делает? Деньги-то ты ему послала? Чтобы он по домашним сладостям не заскучал. Одет он у нас вроде не хуже других детей. Ишь...

О Маскбе мечтает! Пусть! Мечта — это вера. А без веры трудно и старому и малому...

После этого старуха на некоторое время уходила в себя. Будто засыпала. И долго так сидела. И вдруг, словно кто ее дернет, резко поднимала маленькую седую голову и непременно произносила:

— Ну и будет учиться... А что? Туда, в Маскбу-то, ведь не с рогами на голове ездят. Время-то какое! Правдиво говорили в народе: «Придет пора, люди до нее, до Маскбы, будут ездить от утренней дойки коров до вечерней...»

...И вот нет теперь Токтуша. Совсем нет. Умер он в декабре. Катался в интернате по перилам с лестницы и упал. С третьего этажа. На цементный пол. До больницы не успели довезти мальчика.

Как ни хотелось, а не пришлось поехать в город старой Бараше. Эмилдей чуть с ума от горя не сошла. За несколько дней постарела. И глаза у нее потухли, и цвет волос.

Хоронить Токтуша ездил, кроме дочки, сын Ерукчи, тот самый, который в колхозной конторе, чтоботом работает. И он погрустнел, как про смерть Токтуша узнал, а Эмилдей старается после этого не попадаться на глаза. Дочка его тоже видеть не хочет. Даже в контору за деньгами не ходит, мать вместо себя посылает.

Кто ее знает, судьбу Эмилдей, кто предскажет? Молодая еще. Впереди у нее много дней и годов. Говорят, счастье человека может быть совсем рядом. Оно, счастье, может быть цвета молодого побега, может — цвета первого снега. Ищи его! Как узнаешь? Вдруг да выйдет замуж Эмилдей, и приютятся под ее подолом другие дети... А самой Бараше уже нечего от жизни ждать. Скоро, видно, отправляться и ей за своим Боролдоем, туда же, за солью... Там и увидятся они снова после долгой разлуки. А с Токтушем, скворчонком черноголовым, однако, не повстречаться и там...

...Снова весна на дворе. Прилетели скворцы. Тот, прошлогодний, на месте не посидит, не отдохнет, все таскает что-то в свой домик, прибитый к тополю.

Старая Бараша сидит на том же месте под окном, посасывает давно угасшую трубку, порывается встать, уйти домой, но взглянет на скворца и раздумает. Лишь бормочет печально одно и то же, одно и то же:

— Токтуш ты мой, Токтуш, балам... Прилетел бы из далекого города, как эта птица, в родное гнездо. Скворчонок ты мой, балам-сынок, Токтуш, Токтуш...

1969 г.

БОЦМАН

Я заведую в областной больнице стоматологическим отделением.

Мы недавно получили новое помещение — сплошь стекло, пластик, современная мебель, новейшее оборудование. И после той единственной комнаты, в которой мы ютились почти всегда при электрическом свете, с бормашинами, заедавшими в критический момент, ощущение новой, удивительной жизни вселилось в нас — врачей и сестер. Оно окрыляло, прибавляло уверенности. Я быстро привыкла к своему уютному, даже комфортабельному кабинету, но, честное слово, сознание своих новых возможностей постоянно присутствовало мо мне и, как бы это сказать, — кажется, молодило.

Может быть, поэтому, когда однажды в кабинет ко мне деликатно постучались и я сказала «Войдите», я так странно дезориентировалась.

В дверях стоял молодой еще — что-то около сорока — алтаец, невысокий, но крепкий, прямо литой, и такой широкий в плечах, какого тут редко увидишь. Именно размах плеч останавливал взгляд. И потом, черный безукоризненный костюм, белоснежная рубашка... — что-то было в нем еще необычное.

По-военному вытянувшись, он представился:

— Эрмен Эрменович!

Кажется, я поправила прическу — чего только не почудится женщине? — и в свою очередь произнесла:

— Ирина Сергеевна.

В ту же минуту я заметила, что левая щека у него вздута и отечна.

— Проходите, — говорю, — садитесь.

Он все смотрел пронзительным, испытующим взглядом и крепкими, мясистыми пальцами трогал левую щеку.

— Слушаю вас, Эрмен Эрменович.

И тут я поняла, что было в нем необычного: в открытом вороте белоснежной рубашки синели полоски матросской тельняшки. «Смешно и нелепо, — подумала я, подтрунивая больше над собой. — До конца двадцатого века каких-то два десятка лет, а сорокалетний мужчина, в элегантном костюме, щеголяет в тельняшке»...

— Я к вам, Ирина Сергеевна, с очень серьезным вопросом.

— Да, да, рассказывайте, — с усиленным вниманием хмурилась я.

— Тут в отделении, которое вы изволите возглавлять (господи, «изволите возглавлять»!), работает моя бывшая ученица Арова. М-мария Одуевна Арова!

Ах, вот в чем дело! Я тотчас представила себе Машу Арову. У этой девушки удивительно открытое круглое личико и такие же открытые чистые глаза. Нервные ноздри и быстрые реакции придавали ей особую характерность — что-то от косули, замеревшей на склоне горного хребта.

— Да, — говорю, уже улыбаясь, — работает, очень милая девушка, врач молодой, но дело знает.

— Вы так думаете?

— Конечно, Эрмен Эрменович, вы можете быть спокойны за свою ученицу. Значит, она училась у вас?

— Да, в школе. Я из системы народного образования.

— Очень приятно.

— Я рад. Только насчет Аровой вы ошибаетесь! Совсем не такой он человек. Вредный человек — вот что. А если знающий врач — то просто вредитель — вот так! — он встал.

— То есть?..

— А то, что это вот, это — она нарочно устроила, понимаете, специально! — он предоставил мне еще раз полюбоваться его щекой.

— Не понимаю, объясните, пожалуйста, — я сдерживалась, хотя чувствовала: девчонка натворила что-то, что для всех могло окончиться скверно. — Вы, пожалуйста, успокойтесь и расскажите. Я вижу, щека у вас отекла.

Он снова стал доказывать, что Маша с определенной целью развороти ла ему челюсть, выдернула здоровый зуб вдобавок к больному...

Я попросила его сесть в кресло, осмотрела: действительно, на месте двух верхних зубов слева виднелись кровоточащие ранки, но все было так, что вывод напрашивался один — у крепыша воспалилась надкостница.

— Если вы не разберетесь немедленно, я могу и в суд обратиться, Ирина Сергеевна, — говорил он свирепо, — подам не только на Арову, но и на вас — надо следить за кадрами, растить, направлять, а не устраивать здесь рассадник...

Он сглотнул крепкое словечко. Впрочем, понять его было можно. Он помнил Арову зловредной девчонкой — кажется, она сводила с ним какие-то счеты.

Если действительно дело обстояло так... — это ЧП. Тут же, прописав больному полоскание и назначив прием на завтра в семнадцать тридцать, я вызвала Арову.

Она явилась чуть побледневшая — уже доложили, в чем дело.

— Так расскажите, как вы лечили Эрмена Эрменовича, — строго проговорила я, дав понять, что все знаю. — Врач должен оставаться врачом даже с врагом!

Глаза у девчонки налились тоской. Она смотрела на меня прямо и неподвижно. И вдруг стеснительно и белоснежно улыбнулась.

— Ирина Сергеевна, вы не поверите, но я... это не я!..

— Что-о?

— Я говорю... — она опять пугливо уставилась на меня — сейчас сорвется и убежит! — Это не я была. Вчера! То есть я, конечно, однако не я... День, знаете, какой был тяжелый — больные все трудные шли. А тут он. Сел ко мне в кресло, смотрю — Боцман! Ой... Эрмен Эрменович... «Вот, говорит, счастье, у меня теперь собственный врач, зубы всегда в порядке будут. Смотри, чтобы все было о'кей, как я люблю, — ты-то знаешь». Я посмотрела: пятый вверху слева болит — свищ на десне, периодонтит хронический, обострение. Был когда-то лечен — перелечить невозможно, все равно удалять надо. А у меня в голове стучит и в глазах плывет. Смотрю на зуб, а сама думаю: только бы не выдать себя, что боюсь. И ведь недолго: р-раз — и все, и больше не придет, а там как-нибудь... Ну, предупредила его, укол сделала. Сидит, и я сижу, в журнал гляжу, будто жду, пока подействует, а сама уже там, в Салдяре. Салдяр-то наш, знаете, где? Далеко от больших дорог, за Катунью. А вокруг горы глухие, и никто туда не ездит, никто не заглядывает. Дворов сорок деревня, а двор — избушка да аил, да четыре-пять человек детей в каждом дворе — хорошо, да? Дворы далеко друг от друга, и Салдяр потому длинный-длинный. Ничего, что я рассказываю? А то никак не объяснить... Понимаете, сидит, и я сижу, но только это уже не я...

Маша подолгу молчала, начинала снова, сбивалась, останавливалась.

С тех давних событий прошло больше пятнадцати лет, Маша Арова училась во втором классе, была старательной девочкой, влюбленной в учительницу Антонину Экчеевну. Все первоклашки мечтали стать такими, как Антонина Экчеевна: так же шикарно выглядеть на единственной салдярской улице — в красном платье и красных туфлях, с тронутыми помадой и без того красными губами.

Но на следующий год в Октябрьские праздники Антонина Экчеевна уехала и не вернулась. Старшие говорили: вышла замуж, а муж — большой начальник или ученый в городе. Остались дети без учителя и долго не учились.

Когда стояли морозы, от которых у детей готовы были вот-вот отвалиться уши, когда в ясные дни было слышно, как трескается лед на Катуни, а эхо ударяется в скалы на той стороне, в Салдярскую школу вдруг прибыл новый учитель.

Ой, как мы обрадовались! Учитель-то оказался моряк! И так он походил на моряка, который был снят в «Огоньке» на обложке — чудо что за моряк! — мы и подумали, его к нам прислали.

В нашу глушь никто, наверное, не хотел забираться, а может, не хватало учителей, не успели их выучить, а тот согласился — добрый, наверное, смелый!

Когда новый учитель шел по запорошенному Салдяру, его широченные черные брюки мели улицу. А из-под брюк — раз-два, раз-два! — поблескивали толстые ботинки. А как скрипел снег под его ногами, как стонала мерзлая дорога! Учитель выдался морозостойким, всю зиму проходил в фуражке и коротком черном бушлате. На бушлате сверкали пуговицы.

— На первом же уроке, Ирина Сергеевна, мы и услыхали это слово — «боцман». Послушайте только, как начался наш первый урок. Перешагнул матрос порог да как крикнет: «Здравствуйте, дети!» Плечи видели? Во! Сам по стойке смирно стоит, а глаза, как у беркута или орла — то ли пуля, то ли огонь. «Якшилар. Здравствуйте», — затянули мы, как при Антонине Экчеевне. «Ка-ак? — фуражечка на нем так и дернулась. — Мне, например, такая встреча не нравится, товарищи ученики второго класса! А ну еще раз «Здравствуйте, товарищи ученики!» Мы ответили более дружно. «Немного получше, чуточку подходит». На сердце у нас полегчало, стали садиться. «Кто-о разрешил?!» А голос пронзительный, дикий такой. «Встать все, как один!» — закричал он по-русски, мы испугались, не знаем, что делась, как поступить.

— Вы что у меня — штрафная рота?! — и пошел по классу, ботинки тяжелые, скрипят, каждого поправляет, тычет, подстраивает: — Затылок в затылок, ясно? В одну линейку!

Стали усаживаться, а он снова поднял и опять объясняет чеканным своим, пронзительным голосом:

— Запомните раз и навсегда: перед вами не кто-ни-

будь, а боц-ман! Военный боцман, который морскими путями дошел до самого Син-га-пу-ра! Ясно? Садитесь...

А что ясно? Мы в те годы и не знали, что есть на земле порт Сингапур. В тот день все уроки были посвящены науке, как вставать, здороваться, выходить к доске, подходить к учителю, как отходить от него. И перед тем, как идти домой... ой, Ирина Сергеевна, видели бы вы своими глазами!.. Я потому и потеряла вчера рассудок, узнав Боцмана... словно опять маленькой стала...

Ну, кончился последний урок, мы табуном к двери. Куда там! Снова крик, снова взгляды — стой и замри! «Вы кто? Ошалелые овцы или лошади, за которыми гонятся волки? — надрывался он, а глазами так и сек, так и сек. В классе — ни звука. — Мне такое дело не нравится, товарищи ученики! Прошу не забывать, что я — военный боцман!» Пришлось вернуться, сесть на свои места, а он, по стойке смирно, командовал: «Первая пара с первой парты первого ряда встать и выйти!» Пошли — снова не так. У дверей надо было повернуться к учителю и сказать: «До свиданья, Эрмен Эрменович!» И так все двадцать четыре ученика: «До свиданья, Эрмен Эрменович, до свиданья, Эрмен Эрменович, до свиданья, Эрмен Эрменович...»

Со временем мы усвоили эти новые правила ученика Салдярской начальной школы...

Маша усмехнулась, вздохнула. Да-а, сложная жизнь началась у салдярских ребятишек. Все изменилось, как сказала Маша, — и учеба, и жизнь. Эрмен Эрменович стал очень видной фигурой в этой жизни, может быть — главной. И не дай бог, бывало, прозевать дежурному его выход из дому!

С раннего утра маялся дежурный на школьном крыльце, ожидая, когда возникнет черная, сбитая, массивная фигура учителя. Глаза дежурного, как две натянутые стрелы, стремились к двери Эрмена Эрменовича. Едва он появлялся, дежурный срывался и несся навстречу. Шага за два-три застывал, а Эрмен Эрменович со связками книг и тетрадей, которые нес, словно охапку дров, придвигался и сваливал их на руки дежурного. И тот с ношей шествовал уже впереди учителя, а добравшись до класса, складывал все на стол.

После того раздавалась команда «Встать!» — как положено, затылок в затылок, в струнку, и звонкий рапорт. «Второй класс к урокам готов, Эрмен Эрменович!» Этот матрос, или там боцман, и впрямь обладал даром внушения, магнетического воздействия.

Маша задумалась. А мне вдруг пришло в голову, что не так уж и давно происходило все это.

— А дальше? Дальше-то как?

— А дальше мы, естественно, стали хватать двойки. Пятерка означала какое-то высокое звание, кажется, капитан корабля, чуть ли не адмирал. А двойка — это штрафной батальон, это — наказанный матрос.

— Может, он хотел облегчить учение, придумал такую игру?

— Может быть. Только боцманские двойки были слишком тяжелыми. Повесить бы их на вашу шейку. Ирина Сергеевна... При встрече с Эрменом Эрменовичем и вы потерялись бы...

Новый учитель, оказывается, придумал вот что. Теперь тех, кто получил плохие отметки, украшали большие картонные двойки и единицы, болтавшиеся на груди, словно бревна. И уж, конечно, — ни-ни, не вздумай снять самовольно, таскай, пока учитель исправит оценку в табеле. На иных болталось по нескольку таких «позорищ». Отцы и матери — чабаны и табунщики — побаивались нарушить новую установку — кто его знает, может, метод такой утвержден.

— Откуда им было знать, нашим людям, живущим среди гор и снегов, — а вдруг издан закон, чтобы дети свои «грехи» на шеях таскали всем напоказ? — возбужденно вскричала Маша, защищая уже своих сельчан. — Вот только мама подружку мою Надю Мундукину жалела. Надя Мундукина часто таскала двойки. Картоны большущие, здоровенные, а Надя — маленькая-маленькая, вот такая была. Они по коленкам били ее, идти мешали, ноги у нее заплетались. А жила дальше всех от школы, в самом конце деревни. Мама моя говорила: «Ты ходи по задам, чтобы не видели». Что вы, она не смела — как же, Эрмен Эрменович велит идти серединой улицы, всем показывать его «подарок». Один раз мой отец привез из кошары больную овечку и возился с ней у двора. Смотрит, Надюшка зашла за сарайчик, снимает двойку с себя. Только справилась, под мышку взяла, из-за конторы — Эрмен Эрменович. Он ведь хитрый был, Боцман наш, навешает «подарков» на шеи, отпустит домой, а сам крадется за дворами, наблюдает — несут ли. Надюшка глаз поднять не может, носом шмыгает. Надел Эрмен Эрменович на нее двойку и погнал обратно в школу, чтобы оттуда шла улицей.

Отец мой не выдержал, подошел: «Что вы делаете, учитель? Как можно командовать так ребенком? Я сам сол-

дат, а в войну такого не видел». — «А это моя система воспитания, Одуй», — и надулся. «А у вас дети есть?» — «Как видите, только что из армии приехал, еще не женился». Отец рассказывал нам, что припугнул его: «Вытащу на суд общества, — сказал, — поставлю вопрос!» Он и хвост поджал. «Эх, Одуй, — говорила мама, — ты — передовой человек, зоотехник, поезжай в Онгудай, пусть начальство разберется». Но где уж съездить, окот овец начался, ческа козьего пуха, даже нас, школьников, мобилизовали сакманить и пух чесать. А потом лед на Катуни стал рушиться, как переехать, к тракту выйти? Только подозреваю, что мама с Боцманом сама говорила, не утерпела.

А Надюшка так мучилась. Она ведь старательная была, но слишком тихая, кроткая. И бледненькая такая. Нагнет голову, завесится волосами — они у нее тяжелые, но не черные, а соломенные. А перед Боцманом и совсем немела. Уткнется взглядом в ноги и не скажет даже того, что знает.

— Где же она теперь?

— В Салдяре. И семи классов не окончила. Все, Ирина Савельевна, начинается с детства. Нельзя убивать детство — вот как я думаю!

Вот как думала Маша. Для меня она становилась все интересней.

Одной весны она не могла забыть. Апрель подходил к концу. В тот год взлетел в космос Юрий Гагарин, и Салдяр, несмотря на удаленность от центров, радовался, услыхав об удачном его приземлении. Земляки Маши Аровой не спускали глаз с неба. А детям казалось, что звезды приблизились к Салдяру, и они старались разглядеть хоть на какой-нибудь звезде человека.

Любила Маша салдярскую весну. Светлую, пахнущую кизяком, навозом, солнцем, землей и плывущими с гор запахами трав и цветов. Вышли ребята на пришкольный участок работать. Солнце лилось с высоты, и Маша была без ума от всего. Велит Эрмен Эрменович принести лопату из дому — бежит, дом-то рукой можно задеть. Пошлет за граблями — опять бежит...

Вспомнив то весеннее состояние, Маша совсем успокоилась. Я больше не перебивала ее.

— Подхожу я с граблями, а он глядит испытующе, будто подозревает в чем-то: «Арова, твоя мать, наверно, самые плохие грабли выбрала для нас? — и не шутит, стоит

серьезный, руки по швам, взглядом колет, словно шилом: — Надо, Маша, другие грабли, получше. Беги-ка обратно». — «А у нас нету лучше!» — «Однако лжешь, Маша, а? Неужели у Одуя, твоего отца, нету других граблей? Что-то не верится. Может быть, мне самому пойти посмотреть?» Он уже и моего отца подозревает, представляете?! «Пойдите, Эрмен Эрменович, — говорю, — посмотрите».

Даром мне это не прошло... Беда скоро свалилась. Хотя нет, как я сейчас вспоминаю, мы перед тем еще одно слово узнали. Морское. Вы, Ирина Сергеевна, до сих пор, наверное, не знаете, что оно означает. Ну, скажите, что такое «чумичка»?

— Чумичка? Ну... грязнуля, что ли... замарашка...

— Э-э, вот и не знаете! А я с самого четвертого класса знаю! И вот думаю, как это получается: радуемся, гордимся, что человек покоряет космическое пространство, и тут же слезы льем из-за какого-то дурацкого слова — странно человек устроен, правда, Ирина Сергеевна? Надюшка старалась не отстать от других, изо всех сил копала, делала грядки, — вся взмыленная, косички по спине бьют-трепыхаются. Вдруг слышим голос Боцмана: «Эй, чумичка! — мы и работать бросили. — Эй, чумичка, я к тебе обращаюсь, Мундукина! — Смотрим, Эрмен Эрменович машет широченными своими штанинами. Подошел к Надюшке и — раз! Как щелкнет ее по грязному лбу. — Ты куда гряду повернула, чумичка?.. Не гряда, а прямо кривые собачьи ноги!»

Боже, какие мы были глупые! А может, подхалимничали перед учителем?.. Мы так и засмеялись над этим сравнением с собачьими ногами. И спрашиваем, а что такое «чумичка»?

— Чумичка — это... — Эрмен Эрменович глаза прикрыл, будто соображает, да ка-ак гаркнет: — Але-ха! А ты, Алеха, знаешь, то такое «чумичка»?

Был в нашем классе такой. Вообще-то он — Алеша. Но Эрмен Эрменович всегда звал Алехой. А он, Алеша, был взрослее всех. Я хорошо его помню. Таскали мы на шеях картонные двойки, но все же добрались до четвертого класса. Тут и догнали Алеху. Только в одном четвертом он просидел целых четыре года. И стал правой рукой Эрмена Эрменовича. За четыре-то года он усвоил программу четвертого класса и, наверное, единственный не таскал картонных двоек на шее.

— А как же, — важно так отвечал Алеха, — знаю! Как я могу не знать, что такое «чумичка»? Помните, когда мы с вами белковали в горах, Эрмен Эрменович, да под зане-

сенным кедром варили морскую уху из мерзлой рыбы, вы мне тогда объяснили.

— А коли так, Алеха, да ты к тому же собираешься в моряки, объясни-ка Мундукиной, что такое «чу-мич-ка».

Алеша вышел и встал рядом, словно второй Эрмен Эрменович — тоже в тельняшке! (может, сам Боцман и подарил):

— «Чумичка» — это... чисто морское слово, дети! В переводе означает просто ковшик! Разумеете, дети, — ковшик!.. Ха-ха-ха, вот так, Мундукина, — ковшик!

Мы рты раскрыли, хохочем. Только Надя закрылась грязными, в земле, руками и заплакала горько-горько.

И тут что-то стряслось с Алехой. Что? До сих пор понять не могу. Сдернул он с головы кепчонку, хватил ею о землю и, не боясь даже Эрмена Эрменовича, начал плясать и орать: «Эх, море-море! Эх, горе-горе! Эх, море-море, синие волны! Эх, Сингапур, далекий порт, далекая страна! Когда туда я попаду, когда надену бескозырку... эх, раз, эх, два, эх, эх...» Что-то такое орал он тогда.

А мы смеялись. А Надя плакала.

А назавтра и мне пришлось плясать.

Ночью чьи-то коровы зашли на пришкольный участок, истоптали гряды, всю нашу работу.

— Арова!

Когда я услышала, сердце в пятки ушло, а потом вот здесь, в горле, застряло, дышать не могу.

А он своим боцманским голосом спрашивает:

— Чей аил, чей дом возле школы, скажи-ка, Арова?

— Мой дом...

— Выходит, школьные гряды истоптали твои коровы, не так ли?

— Не знаю. Я ночью спала. Не видела я...

— Ты лучше признайся, Арова!.. Или это твои коровы, Мундукина? — ткнул он указкой в сторону Нади.

— Не-не-ет... — словно проблеяла она.

А он нарочно. Как же придут коровы с другого конца деревни? Это он надо мной издевался...

— А может, Алеха, твои коровы зашли на участок?

И Алешин дом на том краю деревни. Хотел Эрмен Эрменович еще что-то сказать, а я... ой, господи, откуда явилась решимость, сама не знаю.

— Не издевайтесь надо мной, — кричу. — Не смейте!

Боцман подскочил, словно ужаленный. В глазах злость. Так и жгут, как угли:

— Ы-ых, а ну замолчи!

— Я вам не щенок-кучук! — выпалила я.

Он сверлил меня глазами, сверлил, а потом указкой на дверь:

— Выйди, Арова!

Я ни с места.

— Арова, я кому говорю!

Я даже не шевельнулась. Стою как стояла и тоже смотрю злыми глазами.

— А-а, — у него голос задрожал, — ты решила доказать военному боцману?.. Я не таких видывал! — он как-то присел и вытянулся палкой: — Але-ха!

Я этого ждала. Уж если он хотел кого-то вывести из класса, всегда призывал своего Алеху.

Алеха вскочил, как солдат, схватил меня за руки. Но я вцепилась в парту и, как он ни дергал, не отпускала. Не вышла я тогда...

Вот так и было все. Но я зря надеялась, что на этом кончится. Не кончилось. Боцман другое испытание мне приготовил. Не стал спрашивать, вызывать на уроках. А что хуже — ребята перестали разговаривать. Совсем! Ну, будто меня не существует... Ой, Ирина Сергеевна, даже вспоминать нехорошо... Потом уж, в связи с каким-то большим праздником, когда надо было готовить концерт, меня простили. Я ведь пела хорошо...

А когда кончали начальную салдярскую школу, ой, как мы радовались, что не будет нас больше учить Эрмен Эрменович. Настанет осень, и мы в другие школы поедем. Я уехала в Горно-Алтайск. Но и Эрмен Эрменовича сюда отозвали как заведующего высокодисциплинированной, образцовой школой.

Вот и все... Нет, забыла! Еще встреча была.

Я уж студенткой стала, в Москве жила. И Боцман попал зачем-то в Москву и вдруг решил меня разыскать. В институте узнал адрес общежития и заявился. Сидим с девочками, пьем чай, вдруг — тук-тук, аккуратно так. Входит — как снег в ясный день на голову! Правда, теперь в гражданском был, попроще выглядел, но все равно важный, словно главное начальство. «Пришел, говорит, посмотреть на бывшую свою ученицу. Молодец, Арова, гордимся тобою. Только ведь, если бы не моя дисциплина... Моя закалка. Моя выучка! Так что, когда станешь стоматологом, прежде всего вставишь мне золотые зубы, как учителю своему и наставнику!» — и смеется, радуется чему-то.

Маша умолкла. Десятки мыслей и чувств переплетались во мне.

Маша поняла это по-своему.

— Что же мне теперь делать?.. — пробормотала она. — Ирина Сергеевна, честное слово, я не нарочно — как можно так думать? Вы-то хоть не думайте, Ирина Сергеевна!

— Надо было в рентгеновский кабинет послать, снимок сделать.

— Я и хотела. Только напрасно. Картина-то ясная, свищ на десне. Я же и видела, что пятый. А почему на четвертый наложила щипцы — сама не могу понять... Вся натянутая была, как в Салдяре. То есть я и была все время в Салдяре. Боцман рядом — и все рядом... Удалила, смотрю — корень белый, крепкий, как Боцман! Бросила в лоточек — он слышал. Минутку, говорю, еще посидите. И тащу больной зуб. Он сказать ничего не может, глаза вылупил, — представляете? А я стараюсь не видеть, только бы сделать как надо... Если он завтра опять придет, я... Почему я сейчас-то боюсь его, Ирина Сергеевна? Что же будет теперь? Я прошу вас... может быть, вы поймете... Вы верите мне, Ирина Сергеевна?

В глазах у Маши недоумение и страх перед тем, что случилось.

— Хорошо, Мария Одуевна, идите, подумаем, что с вами делать.

Она вышла из кабинета с той же неловкостью, что и вошла. А я еще долго перебирала в уме услышанное. Есть ли в наш бурный век профессия важнее, чем педагог, воспитатель? Хороший учитель значит в жизни не меньше отца и матери, в общем — семьи. Какие же трудные годы перешагнули мы, если приходилось прибегать к помощи боцманов? Но ведь он-то и сейчас «в системе»?..

На другой день деликатный стук в мой кабинет раздался ровно в семнадцать тридцать. Вот она — дисциплина!

Вчерашние отеки заметно опали на лице Машиного пациента. Это позволяло ему держаться с еще большим достоинством. Из расстегнутого ворота белоснежной рубашки по-прежнему выглядывала тельняшка.

— Ну, как, Ирина Сергеевна, разобрались? Выяснили, на каком основании врач так дерзко поступила со мной?

— Еще бы, конечно, выяснили! — сказала я с подъемом и даже весело — так отчетливо мне представилось, как попала Маша вчера в свое детство, словно в гости

съездила... Но я тут же спохватилась и со всей деловитостью и строгостью человека науки, недоступной простым смертным, объяснила:

— Мы очень внимательно отнеслись к вашему заявлению, я вызвала доктора Арову, беседовала с медперсоналом, проверила факты. Факты таковы, Эрмен Эрменович: на корне второго зуба образовалась киста, удалять было необходимо. Врач не могла вас предупредить. Она из самых гуманных побуждений, понимаете, так сказать, дремлющая инфекция... Это случается. Тот, который болел, — там был свищ на десне... Он показал... несколько спутал картину... — Я говорила и говорила, точно боялась остановиться.

Лицо его все более свирепело. И вдруг я вспомнила и, изо всех сил улыбаясь, докончила:

— По давнишнему вашему уговору, Мария Одуевна вставит вам вместо удаленных зубов золотые!

Ну что я еще могла сказать? Улыбаюсь, а сама жду, чем разразится Боцман, — с неприятным ознобом жду, — так, наверное, начиналось у Маши.

Но даже я не могла предвидеть реакции.

Рот его неожиданно растянулся в улыбке:

— А мне говорили, на золотые зубы очень большая очередь. Говорили — ведется какая-то специальная запись.

— Это все верно, конечно, именно так, — обрадованно подхватила я. — Но вас, Эрмен Эрменович, вас это не касается! Ведь Мария Одуевна — ваша ученица!

— То есть — значит...

— Ну да! Следовательно, для вас, Эрмен Эрменович, все возможно, все возможно... — и я улыбаюсь, улыбаюсь неудержимо.

1982 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Горные духи. *Перевод М. Назаренко* . . . 7
До смерти еще далеко. *Перевод А. Китайника* . 108
Убить бы мне голод. *Перевод В. Крупина* . . 172
Мой дорогой друг Арсланбек. *Перевод Александра Плитченко* 309

Рассказы

Схожие характеры. *Перевод А. Китайника* . 365
Весной, когда скворцы прилетели. *Перевод А. Китайника* 383
Боцман. *Перевод М. Назаренко* 396

2

Борис Укачинович Укачин

ГОРНЫЕ ДУХИ
Повести и рассказы

Редактор В. Извеков
Художник В. Еврасов
Художественный редактор В. Еранкин
Технический редактор Г. Заркова
Корректор Г. Ульченко

ИБ № 2195

Сдано в набор 21. 04. 1989 г. Подписано в печать 2. 08. 1989 г. Формат 84x108/32. Бумага кн.-журн. офс. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,42. Уч.-изд. л. 23,863. Тираж 10000 экз. Заказ № 945. Цена 1 руб. 80 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, пр. Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

1 р. 80 к.